

*15 сентября не стало Валентина Семёновича Непомнящего.*

Всю свою жизнь он посвятил изучению жизни и творчества Пушкина, но язык не поворачивается назвать его “пушкинистом”. Скорее, пушкинским собеседником. Его книги “Поэзия и судьба. Статьи и заметки о Пушкине”, “Пушкин. Русская картина мира”, “Лирика Пушкина как духовная биография” читались и воспринимались как диалог нашего современника с русским классиком, как беседа в Вечности.

Валентин Семёнович был редким гостем в нашем журнале. Но его выступления в защиту Пушкина, в защиту русского слова, унижаемого и обливаемого грязью в чёрные 90-е и позже, находили место и на наших страницах.

Вот что говорил он в одном из своих интервью:

“...ни для кого не секрет, что средний американский гражданин — едва ли не самый конформистский субъект на свете. Он весь, насквозь детерминирован внешними обстоятельствами: законами, “американским образом жизни”, интересами бизнеса, мощной пропагандой, культом успеха, культом потребления и, конечно, идеологией своей “империи добра”. Тирания рации есть — по самой природе, по логике — прямой путь к тому, что называется обществом потребления. У нас есть молитва ангелу-хранителю: “Не даждь лукавому демону обладати мною насильством смертного сего телесе”. *Насилие смертного этого тела* — как сказано! А гражданин общества потребления — это сплошное насилие смертного тела. Вспомните культовый для американцев роман “Унесённые ветром” — там у героини одна из важнейших фраз: “Я пойду на всё, но никогда больше не буду голодать”. Символ веры, честное плебейское кредо, формула “американской мечты”. У России другое кредо — пушкинское: “Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать”. Трезвая аристократическая формула достоинства и ответственности. В ней — понимание того, что в мире зла и греха остаться человеком без страдания практически невозможно, в ином случае это будет не человек — машина”.

*Приносим сердечное соболезнование родным и близким.  
Редакция*

# НАШ СОВРЕМЕННОК

*Журнал писателей России*



## № 10 2020

# СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

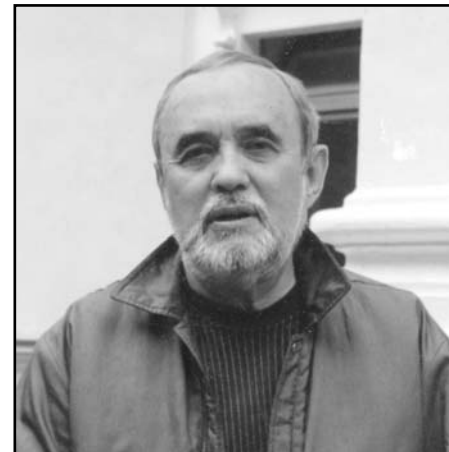
К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ



*Душа наша Шехеразада. Ей не страшно, что Шахриар точит нож на растленную девственницу, она застрахована от него тысячей одной ночью корабля и вечностью проскваживающих небо ангелов. Предначертанные спасению тоскою наших отцов и предков чрез их иаковскую лестницу орнамента слова, мысли и образа, мы радуемся потоку, который смывает сейчас с земли круг старого вращения, ибо места в ковчеге искусства нечистым парам уже не будет. То, что сейчас является нашим глазам в строительстве пролетарской культуры, мы называем: “Ной выпускает ворона”. Мы знаем, что крылья ворона тяжелы, путь его недалёк, он упадёт, не только не долетев до материка, но даже не увидев его, мы знаем, что он не вернётся, знаем, что масличная ветвь будет принесена только голубем — образом, крылья которого спаяны верой человека не от классового осознания, а от осознания обстающего его храма вечности.*

Сергей Есенин.  
“Ключи Марии”. Сентябрь 1918.

Статью Александра Водолагина “Лучезарное слово” читайте на стр. 222.



23 сентября не стало замечательного русского поэта Бориса Зиновьевича Сиротина, нашего многолетнего друга и автора. Мы приносим сердечные соболезнования его родным и близким.

Редакция

*“Сиротин принадлежит к тем поэтам, которые прикасаются к глубинным течениям духовной жизни страны и дают нам возможность весело, осязаемо воспринять эти как бы подводные незримые духовные токи в своих схватывающих живой трепет бытия стихотворных строках... нельзя не видеть живой ценности поэзии Бориса Сиротина. Это поэзия исканий, замечательных по своей душевной честности и ответственности, притом глубоко и остро современных исканий”*

(Вадим Кожин).

## БОРИС СИРОТИН

### ПЕНИЕ НА САХАРНОМ ЗАВОДЕ

*Творческой группе “Благовест”*

*В старом ветхом клубе сахарного завода  
Дочь моя пела о святом Серафиме,  
И ложилась на скучные лица сияющая забота,  
И губы шептали полузабытое Имя.  
И ещё слово “батюшка” вслед за дочерью повторяли  
Серые губы — и зал озарился сияньем,  
И сиял аккомпаниатор Слава за разбитым роялем,  
И сияла дочь моя в белом своём одеянье.*

*Батюшка Серафим так долго молился на камне,  
Что образовались две впадины от его коленей...  
А я думал о том, что скоро мы канем  
В бурлящей воронке подрастающих поколений.  
И не то что на камне, даже на мягком воске  
Не оставим следов (иль не солонь слёзы наши?),  
Может, останутся от имён какие-то отголоски,  
Но слёзы прольются мимо вселенской чаши...*

*Завод был старым и простаивал, люди эти,  
Что собрались в зале, остались без прочной опеки.  
Батюшка Серафим, батюшка Серафим, на том свете  
Молись перед Богом за нас — зане человеки!  
Ведь дочь моя, дочь Твоя, русская дочерь Людмила  
Поёт о Тебе с надеждой и покаяньем,  
И ветхому залу слово “батюшка” мило,  
И он ведь не зря как бы весь озарён сияньем...*



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1956 года

Главный редактор  
Станислав КУНЯЕВ

Общественный совет:

Л. Г. БАРАНОВА-  
ГОНЧЕНКО,  
А. В. ВОРОНЦОВ,  
Т. В. ДОРОНИНА,  
Л. Г. ИВАШОВ,  
С. Г. КАРА-МУРЗА,  
В. Н. КРУПИН,  
А. Н. КРУТОВ,  
А. А. ЛИХАНОВ,  
Ю. М. ЛОЩИЦ,  
С. А. НЕБОЛЬСИН,  
Д. Н. НИКОЛАЕВ,  
Ю. М. ПАВЛОВ,  
И. И. ПЕРЕВЕРЗИН,  
З. ПРИЛЕПИН,  
Е. С. САВЧЕНКО,  
А. Ю. СЕГЕНЬ,  
В. В. СОРОКИН,  
А. Ю. УБОГИЙ,  
В. Г. ФОКИН,  
Р. М. ХАРИС,  
М. А. ЧВАНОВ,  
С. А. ШАРГУНОВ,  
В. А. ШТЫРОВ

## Содержание

### Проза

Николай ИВАНОВ  
Реки помнят свои берега.  
Роман ..... 10

Михаил ПОПОВ  
Сталинский дом. Повесть ..... 63

### Поэзия

Владимир БЕРЯЗЕВ  
Полуденные льды ..... 3

Владимир СОРОЧКИН  
Правда моя ..... 6

Карина СЕЙДАМЕТОВА  
Жить по сердцу ..... 59

Илья КИРИЛЛОВ  
Привкус огня и металла... ..... 93

Новелла МАТВЕЕВА  
Сполохи духа ..... 234

### Очерк и публицистика

Станислав КУНЯЕВ  
“К предательству таинственная  
страсть...” ..... 97

Андрей ФУРСОВ  
На пороге нового мира:  
хмурое утро, огонь и сталь ..... 123

Владимир ЮДИН  
Идти своим путём ..... 142

Пётр ЧАЛЫЙ  
Итальянская печаль ..... 145

Николай БУРЛЯЕВ  
“Судьба свела меня...” ..... 154

### Память

Сергей КУНЯЕВ  
Вадим Кожинов ..... 180

Валентин КРУГОВЫХ  
В огнедышащих стихиях ..... 197

Геннадий КРАСНИКОВ  
“Кто тайное в явном откроет...” .... 228

Алим МОРОЗОВ  
Из забытой папки поэта ..... 241

## Редакция

Приёмная —  
(495) 621-48-71

А. И. Казинцев —  
*первый заместитель  
главного редактора* —  
(495) 625-01-81

С. С. Куняев —  
*заместитель главного  
редактора,  
зав. отделом критики* —  
(495) 625-02-81  
ns-kritika@yandex.ru

А. Ю. Сегень —  
*зав. отделом прозы* —  
(495) 625-30-47  
ns-proza@yandex.ru

К. К. Сейдаметова —  
*зав. отделом поэзии* —  
(495) 625-02-81  
ns-poetry@yandex.ru

Я. В. Сафронова —  
*редактор отдела  
критики* —  
(495) 621-48-71

Е. Н. Евдокимова —  
*зав. редакцией* —  
(495) 621-48-71

М. А. Чуприкова —  
*гл. бухгалтер* —  
(495) 625-89-95

Марина ЛИТВИНОВА  
“Жизнь моя, иль ты  
приснилась мне?..” ..... 253

## Критика

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА  
Христианский мир  
И. А. Бунина..... 207

Александр ВОДОЛАГИН  
Лучезарное слово ..... 222

## Память

Эльвира ТРИКОЗ  
К первому юбилею  
Музея-квартиры В. И. Белова .... 281

Александр ТРАПЕЗНИКОВ  
На пути “чёрной смерти” ..... 285

Редакция внимательно знакомится с письмами читателей и регулярно публикует лучшие, наиболее интересные из них в обширных подборках. Рукописи принимаются как в распечатанном виде по Почте России, так и по электронной почте отделов. Каждая рукопись внимательно рассматривается. Связь с авторами происходит ТОЛЬКО при положительном решении. Вступать в переписку по поводу рукописей редакция не имеет возможности. Рукописи не рецензируются. Журнал не публикует поэмы, сценарии, либретто. Журнал оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.

Адрес редакции: **Москва, 127051, Цветной бульвар, д. 32, стр. 2**

Сайт в интернете: **www.nash-sovremennik.ru**, эл. почта: **n-sovrem@yandex.ru**

Журнал зарегистрирован Мининформпечати Российской Федерации 20.06.03. ПИ № 77-15675.  
При изготовлении оригинал-макета журнала использованы шрифты ООО НПП "ПараТайп".

Компьютерная вёрстка: Г. В. Мараканов. Оператор: Н. С. Полякова

Корректоры: С. А. Артамонова, Н. А. Павлова

Подписано в печать 05.10.2020. Формат 70x108 1/16. Бумага газетная.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 25,4. Уч.-изд. л. 22,9. Заказ №2339-2020. Тираж 3800 экз.

Отпечатано в АО “Красная Звезда”, 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38.

Тел.: (495) 941-21-12, (495) 941-32-09 www.redstarprint.ru e-mail: kr\_zvezda@mail.ru

**ВЛАДИМИР БЕРЯЗЕВ**



## ПОЛУДЕННЫЕ ЛЬДЫ

\* \* \*

Не много раз себе принадлежав,  
Вне суеты, пороков и нажив,  
Ты на руинах рухнувших держав —  
Любви и веры — жив, покуда жив.

Из Толмачёво лайнеры плывут  
Туда, где неба злато-серебро...  
Кому-то — труд, кому-то — Голливуд,  
Кому-то — подаянье у метро.

А мне, на стыд и боль, уж коли трезв,  
Лишь повторять: “Помилуй и прости!”  
Отказываюсь напрочь, наотрез  
Синицы пух держать в горсти.

Играй, оркестр! Рыдай, гармонь, рыдай!  
Прощай, славянка, кончены слова...  
Лети, синица — прямо... прямо в рай,  
Где мама и любимая жива.

---

*БЕРЯЗЕВ Владимир Алексеевич родился на Кузбассе в 1959 году. Поэт, эссеист, переводчик, публицист. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Автор книг “Окоём”, “Могила Великого Скифа” и других, а также сборников стихов, книг очерков и эссе. Секретарь правления Союза писателей России и сопредседатель Ассоциации писателей Сибири. Живёт в Новосибирске.*

## ЗВЕНЬ ВОСКРЕСНАЯ

Звон раскрывшегося лотоса  
Золотого,  
Явью явленного логоса  
Молодого,

Исходящего свечением  
Сквозь печали,  
Сквозь страданья, сквозь мучения,  
Льна в начале,

Опадающего пеленой  
Плащаницы —  
Искрой во море нацеленной  
Звень-синицы!

Ибо кончилось рыдание  
Тлена страсти  
И назначено свидание  
Во причастье...

## ВОЛОДЕЕ

Ангел разбился фарфоровый,  
Ангел разбился.  
Не по случайности скоро ли  
Звон приключился?

Иль потому, что по-ангельски —  
Не до боязни?..  
Так разлетается на куски,  
Искрами — праздник.

Так отломилось крыло его,  
Флейта умолкла,  
Так золотая мелодия  
Таяла долго.

.....  
Слёзы твои вытру досуха.  
Возвеселею.  
И — звень-сияние воздуха  
Заново склею!..

\* \* \*

Полуденные льды. Песок. И склон оврага.  
Я здесь уже бывал и в жизни, и в стихах.  
Не знаю, что главней, где кровь, а где бумага,  
И где, чуть погода, останусь в дураках.

А с берега видать лишь ровное, пустое  
Полуденного льда лужёное лицо.  
Что в нём отражено? Лишь образы покоя,  
Где небо и вода мир обняли в кольцо.

О чём мне думать здесь? О том ли, что пустыня  
В библейской чистоте не знает о грехах.  
Нет женщины во льдах с её мольбой о Сыне,  
Лишь отражённый свет таится в облаках.

Нет женщины во льдах. Всё девственно, всё голо.  
Лишь трещина прошла от ног моих туда,  
Где солнце льёт своё неистовое соло,  
Где тают в полыньях, звеня, кристаллы льда.

Чудя, дробится луч в игольчатых кристаллах...  
Я думаю о нас... Я ведаю о них...  
Всё будет хорошо для сих — больших и малых,  
Уже взошла душа  
для всех для малых сих.

\* \* \*

Лишь ветер в ветвях января не забыл амфибрахий,  
Когда среди плёса Катуня гусыня кричит.  
Когда на Крещение в купели, во духе, во прахе —  
В ледовом окружье горит победительный щит.

И кто мне сулит во злобе немоту и сиротство?!  
Не перстью, не костью, но словом останусь вовек.  
А что до кровей и заведомых тайн первородства?..  
Спросите об этом алтайский сиятельный снег!

## ВЛАДИМИР СОРОЧКИН



## ПРАВДА МОЯ

### РАДУГОЙ ЧЕРНИЛ

*Рагиму Рахману*

Благодарю, Абдурагим,  
За твой Дербент, за высь над ним,  
За Каспий — с дымкой золотою,  
За прочность стен Нарын-Кале,  
Что поднялись, как на крыле,  
Над городской суетою.

Внизу — полны, как закрома —  
Видны мечети и дома,  
Сверкая донышком стакана,  
И вдаль — от времени черны  
В небытие плывут челны  
С княжною Разина Степана.

---

*СОРОЧКИН Владимир Евгеньевич родился в Брянске. Окончил Брянский технологический институт и Высшие литературные курсы Литинститута им. М. Горького (семинар Ю. П. Кузнецова). Стихи и переводы публиковались во многих журналах и альманахах — «Наши современники», «Русская провинция», «Москва», «Молодая гвардия», «Юность», «Смена», «Дружба народов» и других. Стихи переводились на многие иностранные языки. Автор поэтических книг «Луна» (1995), «Тихое «да»» (1997), «Завтра и вчера» (2005), «Потаённое небо» (2016), «Божье колесо» (2019). Лауреат Всероссийских литературных премий. Председатель Брянской областной писательской организации, секретарь Союза писателей России.*



Не видя нового врага,  
Стоят Железные Врата  
В подножье спящей цитадели.  
Всевластен времени пожар:  
Века сарматов и хазар  
Уже давно в земле истлели.

А мы с тобой, Абдурагим,  
Ещё живём, ещё горим,  
Пытаясь душу на листочек  
Перенести, вослед мечте,  
Сидим, как в каменном мешке,  
В плену нехитрых рифм и строчек.

Дана нам радуга чернил,  
А без неё и свет не мил.  
Мы сами выбрали тирана,  
Но знаю, что всему свой час:  
Бог даст — когда-нибудь и нас  
На свет достанут из зиндана.

Ну, а пока — не подшофе  
Мы чай с тобою пьём в кафе,  
Под сенью кущ — почти что райских,  
И улыбаются уста,  
И вдохновляет высота  
Щемящих звёзд табасаранских.

## ДВА ВИТЯЗЯ

Сузилось небо, как сеть.  
Сжалась звенящая высь.  
Там и сошлись, где не грех умереть.  
Только на том и сошлись.

Накрепко сшиты копьём и мечом  
Жизни и смерти края.  
Первый спросил у второго: “А в чём  
Верная правда твоя?”

И он услышал в ответ тетиву  
Жгучую, как суховей:  
“Правда моя, что, пока я живу,  
Правды не будет твоей”.

## ИЗ ЦИКЛА “ОЗЕРО”

Промелькнув над водою, тяжёлой, как сталь,  
Вдруг появится бабочка, падая круто  
На траву — лоскутком, заслоняющим даль,  
В никуда устремлённая из ниоткуда.

И опустятся крылья, как сколки слюды,  
Что постигли пространство и время углами,  
Ловким циркулем меряя толщи воды,  
Окаймлённые вокруг вековыми стволами.

И в создании хрупком, на лист резеды  
Разомкнувшем свой контур с рисунком размытым,  
Будет столько же чуда, души, красоты,  
Как и в озере, светлой слезою пролитом.

И поэтому сможет домысливать взор  
Впредь все тайны земли, все глубины под ними,  
Посмотрев лишь однажды на этот узор,  
На безмолвные крылышки в радужном дыме.

И колышется бабочка, воздух, вода,  
Как всё то, что не в силах умолкнуть, утихнуть,  
Замереть; то, что есть, но чего никогда  
И душой не понять, и умом не постигнуть...

\* \* \*

Осени признаки явные  
Видишь на каждом шагу.  
Слышно, как падают яблоки  
В стареньком нашем саду.

Дальнее поле распаханно —  
Всё из полос и заплат.  
Дверь ненароком распахнута  
На догоревший закат.

Можно простить и покаяться,  
Можно забыться виной.  
Вместе с тобой мы пока ещё,  
Ты ещё рядом со мной.

Помню себя каждой то́ликой  
Только твоим и ничьим.  
Пахнет зелёной антоновкой,  
Детством и небом ночным.

И расставаться не хочется,  
Но, словно загнанный зверь,  
Из темноты одиночество  
Смотрит в раскрытую дверь.

### ПОСЕРЕДИНЕ ЗИМЫ

Остановись, бредущая к зиме  
По снегу снов, простых — до немоты.  
Когда б ты рай искала на земле,  
Я б знал — где ты.

Твои уста прозрачны, как вода,  
И честь твоя не знает слова “честь”,  
Но только то, что есть не навсегда,  
Всегда и есть.

И тот твой враг, кто рядом, на штыке  
Несёт любовь, и, что ни говори,  
Метель твой след сжигает на стекле...  
Гори... Гори...

Обманчив снег. Закончены пути. —  
Но по привычке вторится: “Аз есмь...”  
А то, что мы пытаемся найти,  
Давно не здесь.

И всё же — глянуть вспять благоволи —  
Туда, где смертны люди и дела...  
Когда б я ведал помыслы твои,  
Я б знал, где я...

А тут — светло... Поскрипывает дверь,  
Да пусто по сусекам и углам...  
Когда увидишь ангела — не верь  
Его крылам...

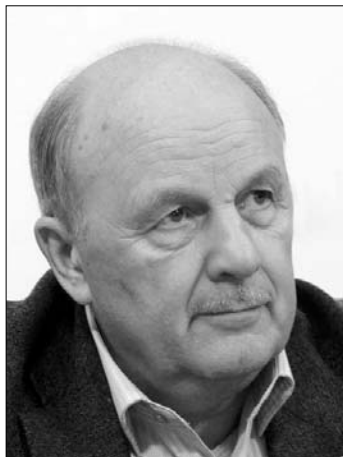
\* \* \*

Казалось: вся жизнь впереди.  
Коль молод — плевать на потери.  
Но шёпот твой: “Не уходи...” —  
Меня удержал возле двери.

С тех пор пролетели года.  
Я столько оставил и вышел  
Из столько дверей — в никуда,  
Но слов этих больше не слышал.

Давно отшумели сады,  
Давно уже выросли дети,  
Но шёпот твой: “Не уходи...” —  
Ещё меня держит на свете.

НИКОЛАЙ ИВАНОВ



## РЕКИ ПОМНЯТ СВОИ БЕРЕГА

РОМАН\*

*Боже... Ты допускаешь страдания избранных Твоих, чтобы они, как золото, на огне и через огонь страданий очистились... и еще больше засияли.*

Молитва о русском народе епископа Николая (Велимировича). Сербия (1935)

Часть первая

БЕЗ ПРАВА НА СЛАВУ

Глава 1

Холод никуда не спешил.

Жертва, оставленная ему на прокорм, прикована к стене. Стена — в пещере. Пещера — в горе. Гора — среди кишачей гадами колумбийской сельвы. Кащейю Бессмертному обзавидоваться, но не найти более надёжного места, чтобы спрятать свою смерть.

---

\* Журнальный вариант

---

*ИВАНОВ Николай Федорович родился в 1956 году в Брянской области. Закончил Московское суворовское военное училище и факультет журналистики Львовского высшего военно-политического училища. Воевал в Афганистане, провёл четыре месяца в плену в Чечне. Автор более двадцати книг прозы и драматургии, лауреат литературных премий им. Н. Островского, М. Булгакова, "Сталинград", ФСБ России. Награждён орденом "За службу Родине в ВС СССР" III ст., медалью "За отвагу". Председатель Союза писателей России. Живет в Москве.*

И времени — до утра. Много времени — сто звёзд упадут с небес, промелькнув отражением в священном озере Гуатавита, в котором смывал с себя позолоту вождь Эльдорадо\*.

В жертву принесён человек. Роста небольшого, потому что охранникам, которые привели его сюда, пришлось удлинять цепь, оставшуюся после предыдущего узника. Это не сильно облегчило жизнь пленника, но теперь он имел возможность хотя бы слегка касаться ногами пола, а не висеть на цепи.

Почему пленник здесь, холоду знать неинтересно. Люди вообще странные существа. На одном языке говорить не научились, но при этом спорят, кто из них ближе к Богу. Только ведь Всевышний охранной грамоты на главенство никому не выдавал, а потому и подвешивают раз за разом здесь несчастных...

Едва охранники вышли, холод коснулся оголённых рук пленника. Сбитые в кровь, жилистые, они не понравились ни на вкус, ни на запах. Тронул лицо, ощупывая скулы, изучая разрез глаз, трогая жёсткие чёрные усы. Попытался понять, конкистадору\*\* из какой страны оно может принадлежать. Угадывались черты перса, но это наверняка внешний обман, разгаданный логопедом: чужестранец способен приобрести черты народа, среди которого живёт, потому что звуки и слова на местном диалекте заставляют напирать определённые группы мышц, которые и формируют облик.

Да и холоду не раз предоставлялась возможность видеть здесь людей, которые в паспорте значились под одним именем, а потом признавались в иных. Следует лишь немного подождать: на каком языке человек молит о пощаде, оттуда и родом.

Пленник попытался размять лицо левой, свободной от наручников рукой. На какое-то мгновение оно покраснело, и холод чуть отступил. Но не из-за страха перед ожогами, а чтобы сосредоточиться: где-то он уже видел такие покрасневшие на морозе лица, где-то встречал на земле этот жест. Где-то на севере, потому что тут, в Колумбии, особой надобности людям учить северные движения нет. К сожалению, темнота, даже не постучавшись, уже вползла в грот, и какие-то детали, позволившие бы раскрыть тайну, с ходу разглядеть не удалось. Да и важно ли, в конце концов, чья кровь начнёт застывать в несчастном теле?

Переждав, холод подступился к жертве вновь. Одежда на ней, хотя и летняя, для жаркого дня предназначенная, всё же мешала завладеть пленником сразу и полностью. Но ведь и ночь только начиналась. И темнота звала, увлекала сиреной в самые дальние закутки. Нет большей гармонии и идиллии на земле, чем союз мрака и холода, при которых люди солнца обречены на погибель. И впрямь, надо лишь чуть подождать, и вкусный плод сам упадёт к твоим ногам.

Потом холод так и не вспомнил, в какой момент прикрыл в блаженстве и усталости глаза. Но когда спохватился, выход из пещеры для него самого оказался отрезан: проснувшееся солнце босой ножкой-лучиком уже заступало в подземелье. Темнота, всю ночь набивавшаяся в жёны, улизнула из пещеры в одиночку, не предупредив о рассвете ни вдохом, ни выдохом. Видать, женщинам если и страшно одиночество, то лишь ночью. При свете они все — неподступные королевы!

Зато никуда не исчез человек. Он висел на цепи без движения, пристроив голову около вздёрнутого плеча. Можно было ещё раз подступиться к сонному, потерявшему бдительность чужаку и пощипать его хотя бы в отместку за ночную неудачу, но временная победа не имеет мудрости. Не все песчинки на дне священного озера Гуатавита успеет осветить и пересчитать солнце, а день опять истлеет. Жертву же, судя по всему, привезли надолго. Так что время позабавиться ею ещё наступит.

\* Обычай чибча-муисков, когда нового правителя этого колумбийского племени натирали смолой и покрывали золотым порошком. На восходе солнца, сверкая в лучах, он плыл на плоту на середину озера и бросался в воду, смывая с себя золото в дар Гуатавита.

\*\* По-испански — завоеватель. Как правило, европеец, которого гнала в Южную Америку жажда наживы, романтика золота. Именно конкистадоры первыми начали искать сказочную страну Эльдорадо, прослышав о ритуале прихода к власти вождя племени чибча-муисков.

У входа в пещеру послышался скрежет гравия. Холод юркнул в первую попавшуюся расселину, и вовремя: вошедший охранник освещал себе путь жарким факелом. Подвернись такому под руку — бока подпалит, не спротив фамилию.

Пришелец проделал это с человеком, ткнув смердящий огонь под его вздёрнутую руку. Пленник, вмиг проснувшись, отбил факел свободной рукой. Охранник остался недоволен, но играть огнём перестал. О чём-то заговорил. До расселины, где затаился случайный свидетель пыток, донеслось лишь одно разборчивое слово — “советский”, и холод, едва не выдав себя, хлопнул по лбу: точно, его ночной соперник — славянин, из России. Как же он сразу не догадался! Именно там при его появлении трут носы и щёки. Там в сто-давние времена его измеряли не в градусах, а в смешных записях “зело” или “не зелено холодно”. После появления термометра, научив красный ртутный шарик скользить в стеклянной трубке, опять же там требовали от наблюдателей “смотреть накрепко, чтобы в близости одного инструмента никакая чужая теплота, кроме той, которая по воздуху чинится, не была”. Уважали. Ценили его в России. По большому счёту, там его историческая родина.

Но какие ветры занесли человека с края света в самый центр Земли? И стоит ли подтверждать “советскую” догадку надзирателю с факелом? Не получится ли, что вместо благодарности самому ткнут в лицо огнём, требуя подробности?

— Е-гор Бу-е-ра-шин.

Голос факельщика тихий, вкрадчивый. Так сдерживают радость, когда узнают тайну. Она — в имени?

— Е-гор Бу-е-ра-шин, — повторилось с ещё большим ехидством, теперь уже над самым ухом пленника.

Факел рисовал на стенах мало кому понятные разводы. В их дрожащих завитках прятал свои щупальца и холод, с интересом разглядывая при свете жертву. Пленник оказался настолько слаб, что повис на руке, не имея сил распрямить колени и опереться носками о пол. Прозвучавшее имя открыло ему глаза, но веки в тот же миг вновь бессильно опустились, оставив для света лишь тончайшую сеточку из ресниц. Возможно, чтобы увидеть приближающуюся смерть.

Охранник, освобождая ей путь, ушёл, воткнув факел в расселину. Огонь потянулся следом за хозяином, но оторваться от маслянистой, пузырящейся пакли сил не хватило. Оглянулся на того, с кем предстояло коротать время, и несказанно удивился перемене, вдруг произошедшей с пленником. И колени у того выпрямились, и ноги обрели упругость, и пальцы заработали, сжимаясь в кулаки. Значит, всё происходящее с ним, — обман?

Но едва охранник вновь появился в пещере, русский обмяк, повис на наручниках, уронил голову на грудь.

— Смотри, не подохни, падаль, — пригрозил конвоир.

Сказал на своём языке, но понятно и для огня, и для холода, и для несчастной жертвы. Но вместе с пренебрежением к пленнику в голосе послышалась и тревога. Скорее всего, в планы сторожей не входило заполучить подвешенный на наручниках труп.

— Эй, ты жив?

“Жив, — бессловесно откликнулся тот, кого назвали Егором Буерашиным. — Но ты подойди, посмотри”.

Умолял не зря: вплотную охранники приближались к пленнику, если действовали в паре. Это случалось лишь по вечерам, когда снимали с петли — вывести в туалет и дать лепёшку с чаем. Сейчас день, и надзиратель зашёл один: пленник хирел на глазах, и требовалось наблюдать за ним чаще.

Колумбиец приблизился настолько, что почувствовал запах чеснока и перегара. Егор задержал дыхание, и охранник сделал ещё один шаг. В ту же секунду Буерашин выбросил вперёд ноги, обхватил ими шею врага. Тот запоздало попытался отпрыгнуть, но свободной рукой пленник уже ухватил его за волосы. Правая рука обрывалась на цепи, не выдерживая двойной тяжести, но Егор продолжал тащить к себе отбивающегося тюремщика. И едва позволило расстояние, замкнул ноги на горле у чесночного пьяницы.

Захрипели — один от боли, второй от напряжения. Победителем мог выйти только один, и когда под коленкой Егора мягко хрустнуло, тело охранника мгновенно обмякло.

— Стоять! — зашептал Егор, заваливая мертвеца себе на грудь.

Труднее, чем совладать с колумбийцем, оказалось удержать его на весу, не дать упасть: ключ от наручников лежал в кармане, и теперь предстояла не менее сложная задача — достать его.

— Стоя-ять, — уговаривая и угрожая, шипел Егор в ухо мертвецу.

Тело удержалось, и пленник смог опереться на одну ногу, дал передышку правой руке, по которой текла кровь от содранной кожи. Осторожно заскользил рукой к карману, боясь оплошным движением уронить труп. Сумел. Дотянулся до вожделенного схрана, мелким воришкой запустил внутрь пальцы. Ухватил щепоткой нить, на которой — он помнил всегда! — висели два блестящих, словно от шифоньера, ключа. На этом силы кончились, и он опустошённо стяхнул с себя тюремщика. Теперь можно, теперь весь мир под ногами, когда в руках ключи от собственной свободы.

Передохнув и прислушавшись, Егор встал на труп. Не церемонились с ним, бьётся за жизнь и он. Дотянулся до наручников, не с первого раза, но попал ключиком в отверстие. Рука, освобождённая из металлического захвата, упала вниз. От неё, покалеченной и прижатой, помощи ждать не приходилось, и Егор сунул болящую меж оборванных пуговиц рубашки к животу: греться, лечиться. Ещё пару секунд потратил на то, чтобы однолапо обшарить одежду убитого. Оружия не оказалось, попался лишь складной нож, а в нагрудном кармане куртки — плоская зажигалка да завёрнутый в фольгу кусок недоеденной шоколадки.

— Спасибо, — порадовался находкам Егор. Пленнику вредно мечтать о будущем: чтобы оно существовало, необходимо подчиняться только настоящему. А оно звало к выходу. Факел, остающийся в пещере в одиночестве, заметался от страха, потянулся за сокамерником — возьми с собой. Не возьмёт. От выхода сеялось зыбкое свечение наступающего дня, и это шло бывшему заключённому на руку: ночью в сельве делать нечего, к темноте нужно готовиться, чтобы проснуться утром живым, а не ублажать брюхо койота или крокодила.

Густеющий с каждым шагом свет манил, но Егор, как мог, сдерживал порыв. Свободы ещё нет, она лишь приподняла вуаль со своего прекрасного личика. Существует ли внешняя охрана пещеры? С какой целью его прячут в сельве? От кого? Сколько времени прошло после ареста\*?

Недалеко от входа послышались голоса, но охрана, на счастье, занималась утренней приборкой лагеря и пропавшего товарища могла хватиться не сразу. Но как узнали его имя? Кто из группы не выдержал\*\*?

Егор осторожно осмотрел местность. Перед гротом лежала небольшая, свернувшаяся преданной собачкой поляна. Справа — сборно-щитовой домик. Дверь распахнута, словно приглашает в гости. Спасибо, когда-нибудь в следующий раз. И желательнее не в этой жизни. А вот налево должна уходить тропинка к туалету — это Егор помнил по ночным выводам. Где-то внизу протекает ручей — водили мыться. Туда по склону и легче бежать, но разведчик юркнул за пещеру. В густую, даже на вид непроходимую, влажную лесную гущу.

## Глава 2

Возраст такой, когда внукам — сладкие конфеты, а ему — горькие воспоминания. А их у Фёдора Буерашина — целая жизнь, почти от гражданской войны.

\* Разведчикам, находящимся в тюрьмах иностранных государств, день засчитывается за шесть.

\*\* Группу Е. Буерашина вскрыло РУМО — военная разведка США, после того как советские боевые пловцы, обеспечивая скрытый заход советских субмарин в Карибское море, “заглушили” американские контрольные буи, установленные на морском дне. Более подробно о действиях советских боевых пловцов за пределами страны говорить ещё рано.

Хотя на судьбу грех обижаться, перепадали и счастливые времена за семьдесят пять годков. Да вот крылья у ангела, что прикрывал доселе их род, видать, сильно истончились, а беда как ждала за воротами. Сначала списали по сердцу из лётчиков старшего сына Ивана. Словно доказывая врачебную ошибку, боясь оказаться ненужным, сразу же подрядился на ликвидацию аварии в Чернобыле. Да ещё с женой. Успокаивал земным: за день работы в заражённой зоне — месячный оклад. Зато дом обустраивают. Да только когда дармовая копейка счастье приносила? Свой угол с Марией не успели поставить, здоровье долго не продержалось. Купили имеющийся колхозный. Да пожили в нём совсем ничего, и всё больше в радиационных муках. Чернобыль закрыли в саркофаг, а Ивана с женой — в домовины...

Сердце ещё не перестало разрываться за детей, а на погост влед за ними отправилась жена. Думал, после всех напастей от пушинки повалится, но и случившегося кому-то показалось мало — пропал младший сын Егор. Считай, с Нового года ни слуху, ни духу. Был бы пьяница или коммерсант, волнений меньше: память отшибло или дела закрутили. Но тут расклад иной, офицерский. Военком, знамо дело, убеждён в лучшем:

— Раз процент от его зарплаты переводят вам строго по месяцам, то жив. Значит, он так велел финансистам делать.

— Но ведь не случалось, чтобы на двадцать третье февраля не поздравил.

— По погибшим платят другим макарон и один раз.

Майор вышел в начальники из местных и не чурался земляков. Шепнул военную тайну:

— Скорее всего, на каком-либо задании ваш Егор. Может, и за границей. Вот поглядите, моя будет правда.

При другом случае погордиться можно было бы секретным заданием сына, но ведь неспроста ни с того ни с сего эти почтовые проценты-переводы идут, всё-таки стряслась с Егором какая-то беда. Бог с ним, с Днём Советской армии, но и в День Победы весточки не подал...

— Дедушка! — вдруг встревоженно вскрикнула внучка Анечка.

Фёдор Матвеевич поднял голову. Возле одного из столбов, замерших вдоль дороги с обвисшими, словно казацкие усы, проводами, увидел людей. По машине узнал Бориса Сергованцева, первого фермера в районе, про которого устали писать даже газеты. Сын бывшего комиссара их партизанского отряда, а затем первого секретаря райкома партии Евсея Сергованцева.

— Дедушка, а что они делают? — вцепилась в рубаху Аня.

Испугалась не зря: Борис с шофёром, придавив к земле мальчика, надевали ему на шею металлический ошейник. Кто-то третий при появлении свидетелей юркнул в машину, и Фёдор, боясь угадать знакомую спину внука Василия, опустил взгляд на валявшиеся у обочины кукурузные початки. Крикнул:

— Что ж вы творите, природы!

На него безбоязненно обернулись. Почувствовав слабость в хватке, мальчик попытался вырваться, однако его ударили по ногам, заставив замереть.

— Езжай, дед, как ехал, — огрызнулся водитель.

Но Борис узнал прохожих, вышел навстречу, поднимая лёгкое пыльное облачко от потревоженной придорожной травы.

— Здоров, Фёдор Максимович. Куда собрался?

— Я-то собрался, а вот вы что творите?

— Не будет шляться по чужой кукурузе. Посидит до вечера — и другим закажет.

— Но на цепь... — не понимал Фёдор.

— Так если на веревку — перегрызёт, — в свою очередь не понял удивления фермер.

— Отпусти, — приказал старик, для острастки застучав передним колесом велосипеда по дороге. — Никто не давал тебе права людей за собак держать.

— Фёдор Максимович, ты мне не указывай, — улыбнулся Борис, не убоившись велосипедного гнева. — Земля моя, дадена государством, и я буду на ней делать всё, что пожелаю.

— Отца постыдись.



Напоминание не пошло на пользу. Борис раздражённо хмыкнул, развернулся идти обратно. Водитель уловил настроение начальника, побежал к машине, завёл мотор. Стараясь не пылить, бережно подал джип к ногам хозяйина. Вытолкнул дверцу с нарисованной на ней молнией.

— Ты бы лучше уговорил его поехать в больницу, — попросил Борис лесника, закрывая глаза тёмными очками. Не попрощавшись, скрылся теперь уже за тонированными стеклами джипа весь. Был человек — и нету. Лишь мальчик остался на цепи. И в машине второй спрятался. Васька или, даст Бог, не он?

Прижал внучку, укрывая от взметнувшейся после машины пыли. Ветра не было, облако повисло надолго, и к столбу пришлось идти едва ли не на ощупь. Мальчик лет тринадцати отрешённо сидел на земле. Походил на городского, и Фёдор первым делом поинтересовался:

— Ты чей?

Тот пробормотал что-то неразборчивое и уткнул голову в поднятые колени, стыдясь своего рабского и воровского положения.

— погоди, Анечка. — Фёдор попробовал оторваться от внучки. Но та вцепилась мёртвой хваткой, и только сейчас он заметил, что она дрожит. Положил на землю велосипед, присел перед девочкой. Заслоня заложника, постарался как можно спокойнее улыбнуться: — Это дяди так шуткуют. А мы поможем мальчику. Поможем?

Аня закивала, и старик снял с руля сумку. Отыскал в ней кулёк с конфетами:

— Вот, ещё гостинец маме с папой. И сама можешь взять.

Сладости пересилили испуг, и пока девочка возилась с кульком, Фёдор Максимович выудил молоток и зубило. Для иных целей предназначались, а в дело вступать придётся им раньше срока.

— Дай посмотрю, — подступил к парню.

Тот опустил руки, открывая схваченный болтом ошейник из медной пластины. Фёдор приноровился к цепи, и нескольких ударов по зубилу хватило, чтобы она разъехалась по столбу обрубленным хвостом.

— А ошейник дома ножницами срежешь, — посоветовал мальчику.

Аня сердобольно протянула ему конфету. Забота маленькой девочки совсем отняла у парня силы, и, поняв, что слёз не спрятать, он сквозь прорвавшиеся рыдания проговорил:

— Я приехал в Алёшки... а у бабушки кушать нечего, болеет... Я всегда кукурузу рвал...

— А откуда приехал? — попробовал отвлечь мальчугана Фёдор.

— Из Москвы. А бабушка лежит...

— Как звать?

— Витёк.

— Ничего не бойся, Витя. А сейчас иди домой.

Пряча неожиданные вериги под рубашку, не глянув на валявшуюся под ногами кукурузу, кромкой поля мальчик поспешил прочь.

— А зачем дядя это сделал? — никак не могла отойти от потрясения Аня.

— Денег много, — нашёл единственное объяснение Фёдор.

### Глава 3

Егор присел на корточки, огляделся. На слух отыскал увильнувшее в сторону русло реки. Нашёл в его извилистом, зажатом камнями теле укромный изгиб. Разделся. Сначала постирал одежду, потом тщательно вымылся сам, используя вместо мочалки песок. Словно товар на прилавок, выложил на ствол слоновой пальмы бороду, постарался поровнее отчеккрыжить ножом лишнюю длину. Развевал волосы среди тростника.

Знал, учили: не потому он смог оторваться от погони, что преследователи оказались плохими ищейками. Настоящий охотник не гонится за зверем, он перехватывает его близ водопоев, на перевалах, у переходов через реки и ущелья. По отношению к Егору задача у них одна — водворить беглеца на прежнее место. К прежним оковам. Но уже на обе руки. И на ноги

тоже. И шею. И каждое утро затягивать на них болты на четверть оборота. Сначала это покажется незаметным, но со временем именно рассветы превратятся в ожидание очередной ступеньки в сужающийся ад.

“Закон крокодила”: не возвращайся по тому пути, по которому пришёл. Как ни универсально и неуязвимо бронированное чудище с острыми гребёнками по спине, охотники за его шкурой прекрасно знают главный недостаток рептилии: в воду он возвращается только по своему следу...

Теперь для разведчика самую большую опасность представлял вёрткий и осторожный чибис. Он не только чистит зубы аллигатору, но является и непревзойдённым сторожем. В отличие от полицейских, птица бдительно-сти не теряет, и если тревожно вспорхнёт, крокодил тут же сомкнёт все тридцать клыков и бросит тело в родную водную стихию.

Спецназовец вытащил нож, потрогал заострённый конец лезвия, похвалил чесночного полицейского, не покупившегося на хорошую сталь. Самая безопасная охота на крокодила — это, конечно, выстрелить в его улыбку, в уголок губ. Но где тот карабин!

Отыскав в зарослях корявый сук, проткнул его лезвием. В траве бесшумно подползти к сладкой парочке не удастся, самый оптимальный, но и самый опасный путь — это вода, приблизительно тридцать метров среди пиявок и возможных собратьев пляжного ловеласа! При этом зная, что крокодилы не сразу поедают свою жертву, а затаскивают её в подземные пещеры и дают время размокнуть, чтобы потом рвать кусками. Бр-р-р-р...

Охотник передёрнулся, но ступил в воду, держа наготове нож с уродливой рукояткой. Приходилось надеяться, что мощные особи не терпят рядом в водоёме себе подобных.

Человек поначалу шёл, согнувшись, вдоль берега, разрешая воде обгонять себя. Оставшийся десяток метров, не рискуя тишиной, погрузился в воду, поддаваясь её течению. “У дороги чибис, у дороги чибис, он кричит, волнуется, чудака”, — вспомнилась школьная песенка. На уроках пения каждый ряд в классе исполнял по одному куплету. Те, которые сидели справа от учителя, поневоле знали начало всех песен...

У самого берега ногу обожгло чьё-то прикосновение. Скорее всего, о тело споткнулся какой-нибудь малёк, но пловец поторопился на сушу. Это в Африке о попавшем в пасть крокодилу спокойно говорят: “Ханзуру схаври йя мунгу — Ничего не произошло, на то была воля Божья”. Но не надо такой вышей воли! Нам желательно вкопать деревяшку с торчащим ножом в след, оставленный на песке аллигатором...

Вкопал. Отполз обратно в воду. Отплыл вниз по течению. Прихватив со дна камень поувесистей, восстановил дыхание и с шумом выскочил на берег. А вот теперь давай, чижик-пыжик, поднимай тревогу!

Чибис вспорхнул так стремительно, что едва не оставил лапки меж клыков. Крокодилу же пришлось сначала разворачиваться на сто восемьдесят градусов, а потом лишь бросаться к воде. Достичь её в один прыжок с коротких лап не смог, и тогда сильным гребком подтянул себя незащищённым брюхом к реке — да по песку, да по собственному следу, а там — по торчащему острию ножа. Из раскрывшейся пасти раздался утробный звук, ящер попытался вырваться из боли, жгущей снизу, но резкое движение только усугубило её. Спасение ждало в воде, и из последних сил зверь вновь потянулся к плещущейся мутной кромке.

Боясь, что добыча уйдёт, человек бросился к раненому чудищу, что есть силы ударил камнем меж глаз-перископов. Тут же отскочил, опасаясь удара хвостом. Вовремя — острый наконечник едва не достал ног. Охотник схватил новый камень, бросил его в открывшуюся навстречу пасть. Хвост вновь взметнулся, но уже не чувствовалось в замахе стремительности и неотвратимости возмездия. А спецназовец всё бросал и бросал в голову, в пасть камни. И коряга под нож, видать, попала удачная, держалась в песке надёжно, причиния рептилия дополнительные страдания при каждом новом движении.

Когда обессиленный хищник оставил попытки вырваться из западни, человек сел неподалеку и, подобно чибису, принялся сторожить его. Это для аборигенов вся живность делится на два вида: много мяса и мало мяса.

Змеи, косули, броненосцы съедаются сразу, а вот буйволы, крокодилы разделяются на части, мясо вялится на будущее. Знал и охотник, что делать. Сначала выпотрошить внутренности, отделить себе несколько кусочков мяса, по вкусу похожего на курицу. Остальное закопать в песок, чтобы ничего не попало в воду и не привлекло запахом новых рептилий. Потом залезть внутрь чучела и на рассвете проплыть в нём меж полицейских постов.

Рано утром по залитому солнцем, провонявшему рыбой городу бродил глухонемой старик. До него никому не было дела, и это помогало бродяге исподлобья изучать дорогу в порт. Там кипела своя, прибрежная жизнь: люди скандалили, что-то меняли, продавали, попрошайничали, готовили кушанья. Бродячие музыканты выщипывали из гитарных струн популярную здесь мургу, выдували трели на свирелях-чиримиях. Детвора гоняла в футбол, бородатые метисы, особо не прячась, предлагали прохожим белые пакетики с наркотиками. А в воздухе витал, царствовал божественный запах касуэладе-марискос — тушёных морепродуктов.

Здесь легко было затеряться на года, но в толпу старик не пошёл. Он отыскал себе местечко в тени пальмы, где никто не мешал оглядеть и изучить флаги на кораблях, стоявших на рейде и под погрузкой. Утешительного, судя по всему, ничего не увидел, и тогда позволил вниманию переключиться на себе подобных бродяг, рыскающих вокруг порта в поисках еды. Свернул к ним.

#### Глава 4

К Тихоновой пустыни народ прибывал на лошадях, велосипедах, машинах, а кто и пешком. Манила всех, конечно, в первую очередь, родниковая вода. По преданию, первым стал на колени перед бившим из-под земли ключом и сделал глоток воды некий старец Тихон. Кто он, откуда, куда и зачем шёл — про то преданий не сохранилось. Чем глянулось ему это место, тоже осталось неизвестным, но у воды блаженно и завершил земную жизнь, отмаливая в долгих часах людские прегрешения. Тогда и потянулись к Тихоновой пустыни люди. А когда ещё и чернобыльская радиация непостижимым образом обошла святое место стороной, во всей округе уверовали в его целебную силу.

Анютке не сподобилось побывать в Пустыньке раньше, и она глядела на скопление народа во все глаза.

— А люду-то, люду! Как в Москве, — прошептала заворожённо.

— В Москве поболее будет, — не согласился Фёдор, хотя сам последний раз бывал в столице едва ли не сразу после войны.

Боясь нечаянно нарушить чужие порядки, какое-то время оба приглядывались к паломникам издали. Пообвыкнув, подошли к ручейку в каменном жёлобе, под который люди подставляли посудину или просто ладони.

За порядком наблюдала старая монашка в склонённой молитвенной позе. Очнулась при появлении свадьбы. Неодобрительно глянула на шумливый людской клубок с гармонью внутри, но когда жених с невестой подошли к источнику, придала голосу надлежащую назидательность:

— Чтобы водица была целебной, промойте сначала ею глаза и уши. А то вы в городе слишком много плохого видите и слышите.

Молодые притихли, прилежно принялись тереть глаза. Монашка подучила и дальше:

— Вы забрызгивайте, забрасывайте воду внутрь, чтобы не веки, а глаза омылись.

Аня внимала происходящему с благоговением. Дождавшись своей очереди, попробовала повторить омовение по услышанным правилам. Старушка одобрительно кивнула и, убедившись в установленном порядке, отошла к сосне, к стволу которой была прибита, словно скворечник, подставка для иконки и подсвечника. Прикрыв глаза, зашептала неслышимую молитву. Аня и здесь собралась последовать за ней, но Фёдор, наполнив бутылку, повернул внучку в другую сторону.

Там поодаль сидел, пристроившись на огромной бетонной лепёшке, седой полусумасшедший старик. Увидев Фёдора, поднял руку, заулыбался. Рядом с ним на бетоне, как на скатерти самобранке, лежала еда, которую старик шамкал беззубым ртом.

— Здорово, Евсей Кузьмич, — присел рядом Фёдор.

— И тебе не хворать, — ответил старик. Показал глазами на Аню: — Внучка?

— Ивана, — подтвердил Фёдор, усаживая девочку рядом.

— Жалко Ивана.

Фёдор лишь кивнул: когда молчишь про смерть сына, крепиться ещё можно, а голос подашь — всё, слёзы не остановить, слишком близки к глазам стали. Отвлекаясь, полез в сумку, вытащил зубилот — длинный металлический палец, соединявший некогда гусеничные траки. В кузне ему расплющили один край, закалили — и служила поделка верой и правдой Фёдору лет двадцать, если не больше.

— Попробуем этим.

Наставил острière в выбоину, примерился и одним ударом молотка отвалил кусок бетона. Аня, поглядев на счастливо улыбнувшихся стариков, дернула деда за рукав — пошли отсюда, мне неинтересно, что вы делаете. Фёдор кивнул, но не двинулся с места, пока не отбил ещё один кусок.

— До зимы бы успеть, — оглядев глыбу, оценил будущую работу Евсей Кузьмич. — Надежда только на тебя, Федя. Я что-то совсем тяжёлый стал.

— Бориса видел, — отвлекая командира от болячек, сообщил Фёдор.

Но зря, наверное, сказал, потому что глаза Евсея Кузьмича помутнели, и он, повторяя друга, отвернулся, скрывая слёзы. Значит, это старческое — плакать по детям. Что по героям, что по непутёвым...

— А он меня довёз сюда. Но сказал, что в последний раз...

Фёдор обернул инструменты в тряпицу, подсунул под камень. Прикрыл тайничок травой.

— Ничего, Евсей Кузьмич, потихоньку-помаленьку, да одолеем. Не то одолевали. А на первый раз хватит — нам тоже пора, — кивнул на внучку. — Да и на могилки надо заехать. Не хвораю, — вернул пожелание, полученное в начале встречи.

— И тебе того же, — поделился поровну добром старик.

Припадая на левую ногу, прошёл к велосипеду, придержал его, помогая Ане устроиться на раме. Долго смотрел вслед.

— Дедушка, а почему вы долбите этот камень? — отъехав на приличное расстояние, вернулась в свой мир любопытства Аня.

— Дело давнее, — попробовал отмахнуться Фёдор.

Но девочка вывернула голову, требуя продолжения. Руль вильнул, колесо завязло в пыли, и пришлось остановиться. Забыв про вопрос, внучка нырнула носом в сумку.

— А давай на ходу есть, — предложила она не везти обратно съестные припасы. — И будешь заодно рассказывать.

— Ты, значит, есть. А я — мели языком.

— А ты не мели, а правду говори. С какой-токой надобности вы тут встретились, как партизаны? И его на войне ранило, что так сильно хромает?

— Это его поп в детстве побил.

— По-оп? Зачем?

— В церковь залез, иконы топором порубил.

— Ой, люди добрые! Дурак был?

— Комсомолец.

— И после этого его Боженька наказал, сделав сумасшедшим?

— Кто ж его знает, кто и за что нас наказывает... Только он не сумасшедший, Анечка. Он просто старый.

— И он твой друг?

— Как тут сказать... Он в войну сначала комиссаром числился, а потом и вовсе партизанским отрядом командовал. После немца в первые секретари райкома партии вышел. Почитай, самым главным в районе стал. Но не зазнавался, всегда ручкались при встречах.

— А поп?

— Отседел своё в тюрьме, а когда вернулся, церковь уже под зерновой склад оборудовали. Ушёл молиться сюда, к источнику. За ним, как водится, люди потянулись. Евсей Кузьмич в отместку за ногу и приказал залить родник бетоном. Три машины ухнули.

— Так это он свой бетон отбивает?

— Наш с ним. Я машины привёл, Анечка. Я... А родник, как видишь, пробился в стороне. Но мы с Евсеем Кузьмичом пожелали очистить его истонное место.

— Страшные истории рассказываешь, дедуль.

— Какие получились на нашу жизнь, внученька.

— Да-а, наплела она кружева, — согласилась Аня. Некоторое время шла молча, переваривая новости, потом осторожно спросила: — Дедушка, а если бы иконы, что он разрубил, остались целы, они бы спасли моих мамку и папку?

— Может, и спасли бы. А может, и нет. Радиация живёт без царя и Бога.

— А вот землю нашу, я слышала, они от врагов охраняют.

— Говорят. С севера — Тихвинская, на юге — Иверская.

— На юге — виноград. Дядя Егорка привозил, помнишь? Когда он ещё придет?

— Скоро. И обязательно с подарками. Дядя Егор и тебя, и Ваську любит и не забывает.

— Я знаю. Только быстрее бы. Я Зойке хвалилась, что он бананы и ананасы мне дарил. Так она знаешь, что удумала? Пусть, говорит, бананы едят обезьяны, а ананасы — как их там...

— Подходят вроде “папуасы”.

— Во-во, точно. Прямо как припев к песне. А ещё какие иконы что стерегут?

— С запада русскую землю берегут Почаевская и Смоленская. А где солнце всходит, на востоке, — там сияет самая большая наша заступница — Казанская икона Божьей Матери.

— А баба Маня ещё про Владимирскую рассказывала. Что она в войну на самолёте летала и спасла Москву.

— Ага, икона летала, а солдаты только кашу ели, — по-детски ревниво за личное прошлое хмыкнул Фёдор.

— Дедушка, а откуда ты всё знаешь?

— Живу я долго.

Возле хаты их ждали гости. С отыскавшимся Тузиком игрались белоголовый малец и девочка, а молодая женщина с двумя баулами поднялась со сложенных у палисадника брёвен.

— Кто это? — удивилась Аня.

Фёдор пожал плечами:

— Не знаю. Может, новая училка? Так вроде говорили, что уже не придет.

## Глава 5

Обживатьея в Журиничах основательно или только переждать в них подступающую зиму, новая учительница Вера Родионова ещё не определилась. Село насчитывало до двухсот дворов, школа, клуб, больничка имелись, и до Суземки, районного центра, асфальт. А оттуда до родного Брянска на электричке всего пару часов. И хотя Журиничи считались тупиковым селом, потому как сразу за коровником начиналась Украина и дороги обрывались, Вера радовалась другому: после получения работы ей, наконец, разрешили забрать из детского дома под опеку брата с сестрой. Не оказалось после распределения и проблем с жильём: как и обещали в районо, местный лесничий Фёдор Максимович Бурашин выделил для постояя дом своего старшего сына.

— Под твою фамилию, дочка. Пусть это будет твоя новая родина, — ободряюще улыбнулся, сам радуясь тому, что дом сына вновь наполнится жизнью.

— Вер, смотри, что написано про здешние места, — копавшийся в книжном шкафчике Женька показал “Географию Брянской области”. — “Суземь — непроходимые места, глухомань”.

— Ничего, люди живут, — успокоила Вера. Занялась сумками с едой. — Оксанка, хлеба нет.

Из дома ещё не выходили, магазинов не знали, но это ли проблема в селе? Церковь, хлеб и песни тут всегда в центре.

— Я с ней, — первым выскользнул за дверь Женька.

На крыльце нос к носу столкнулся с парнем в цветастой рубашке, завязанной узлом на животе. Подался назад, но гость протянул руку знакомиться.

— Не бойся, это мой брат, — послышалось с улицы.

Стараясь не встречаться с Васькой взглядом, Аня вошла в калитку, протиснувшись в сенцы. На правах свахи кивнула появившейся Оксане:

— Это Васька, брат. Тоже можете познакомиться.

## Глава 6

Июльским вечером в одном из колумбийских портов встал на погрузку сухогруз под редким для этих мест советским флагом. Корабль, тем не менее, ждали: слабосильные портовые краны, покачиваясь от напряжения, начали переваливать через борт контейнеры. По сходням под контролем полицейских и таможенников зашныряли грузчики, таскавшие в трюмы коробки с провиантом.

Загорелый молоденький капитан, для солидности не выпускающий зажатую меж пальцев трубку, поглядывал то на часы, то на клонящееся к закату солнце. Экипаж поджимали сроки, но более всего капитан рвался услышать звуки фанфар в родном Владивостоке по случаю завершения первого самостоятельного рейса на другой континент с пересечением экватора.

Отправив катер с лоцманом, капитан спустился в каюту и избавился, наконец, от представительской трубки. Прежде чем взяться за сортировку документов, подвинул к себе портрет девушки на ромашковом лугу. Подмигнул ей, тронул фото пальцами, но вдруг почувствовал в каюте постороннего. И вскочил, увидев в дверях глухонемого портового грузчика.

— Я свой, — проговорил тот на чистейшем русском и поднял руки, всем видом призывая не делать резких движений.

— Откуда? Почему? Как? — выгадывая время и приходя в себя, капитан схватился за курительную трубку. Хотя хвататься, конечно, требовалось за трубку телефонную...

— Я свой. Надеюсь, кроме меня, никто не зайдёт к вам без вызова?

Однако тот наложил палец на селекторную кнопку:

— Я вызываю старшего помощника. Кто вы?

— Скажем так, сотрудник одного из наших силовых ведомств. Мне необходимо нелегально вернуться в СССР. И, если возможно, срочно выйти по закрытой связи на Москву. В экипаже обо мне никто не должен знать.

— Ваши документы, — потребовал капитан, не принимая условий.

Бородач, оглядев свою рваную одежду, усмехнулся, и капитан настаивать посчитал излишним. Хотя в мыслях уже выстраивались предположения. Первое: он спасает разведчика, и к лаврам покорителя океана ему прибавляется медаль на грудь за участие в спецоперации. И второе: это, несомненно, провокация, и вместо триумфа на Родине его ждут наручники в нейтральных водах.

Пришедшие на ум версии тащили в противоположные стороны, и тогда он, несмотря на молодость, решил разделить то ли славу, то ли ответственность со своим помощником, которого не без оснований подозревал в тесных отношениях с особым отделом пароходства. Да-да, в игре пятьдесят на пятьдесят лучше ни медали, ни наручников.

Настороженность стала пропадать лишь по мере удаления американских берегов, а когда до Владика остался один шаг циркулем по карте, капитан и вовсе спокойно вздохнул. Корабль выходил из нейтральных в территориальные воды Советского Союза, провокации не случилось, а значит,

таинственный незнакомец, которого и портовое начальство по радио приказало беречь пуще корабельного компаса, — и в самом деле разведчик!

— Теперь вам можно выходить на палубу и не прятаться от экипажа, — разрешил капитан таинственному бородачу.

Тот не преминул воспользоваться свободой. Вечерело, прямо по курсу надвигалась гроза, но разведчик поспешил на нос корабля.

— Домой, — сжав кулаки, прохрипел он. На просьбу капитана укрыться от непогоды улыбнулся и выбросил руку вперёд: — Домой!

Не зря, наверное, преграждали Егору Буерашину морские штормы путь на Родину. За время заточения он как-то подзабыл о политических страстях, кипевших в Москве, а ступил на родную землю, и оказалось: главное их в стране ничего нет. И не вывернись он сам из плена, никто всерьёз им бы заниматься не стал.

В Домодедово его по старой дружбе встречал лишь Юрка Черёмухин, с кем вместе начинали службу в КГБ и строили планы на нелегальную работу. Да только уже через пару лет им обоим поставили в личном деле красный штамп: “Известен противнику”.

Обиднее всего, что сами они нигде не засветились и собирались свято исполнять главный принцип контрразведчика: “Увидел — молчи. Сказал — не пиши. Написал — не подписывай. Подписал — откажись”.

То есть я — не я, а что такое КГБ — вообще понятия не имею. Но какая-то сволочь из Управления кадров переметнулась к американцам, и мгновенно на всех, с кем соприкасался предатель или чьи личные дела брал в руки, поставили жирный крест. В виде того самого красного штампа, после которого работа за границей не светила контрразведчику ни при каких обстоятельствах. “Простампованный” народ поник, заскулил, стал приглядывать новые должности. Егора попытались переманить аналитики, но носить по кабинетам пусть и умные, но бумажки его не прельстило, и через бывших конкурентов он предложил свои услуги Главному разведуправлению Генерального штаба.

Егора в новом ведомстве буквально препарировали. Не в смысле проверки на благонадёжность — комитетская чистка считается одной из самых надёжных в мире, а он своего прошлого не боялся: отец и мать в войну партизанили, старший брат Иван, списанный из армии по состоянию здоровья, был чернобыльцем. Так что озабоченность у новых командиров могла возникнуть лишь по части его психологических, оперативных и физических способностей. Намекали на жёсткую работу медкомиссии и особенно встречу с психологом, который после многочисленных тестов обязан найти наиболее слабые точки кандидата и давить на них в беседе: если в течение пятнадцати минут руки у того не вспотеют, допускают к следующему этапу.

У Егора не вспотели, потому что разрешили передохнуть и даже посмотреть какой-то пустой американский фильм. Интересы он особого у Егора не вызвал, втихаря намерился придремнуть в полутёмном небольшом кинозале, но благо, быстро вспыхнул свет. И не случайно: ему поднесли блокнот и ручку с безобидной просьбой вспомнить и написать, сколько машин, каких марок и какого цвета проехало в увиденном отрывке. Сколько машин остановилось, кто из них выходил, кто садился. В чём одеты, что держали в руках...

Вроде не сильно ошибся, потому что после этого его без денег и документов стали забрасывать на машинах и в самолётах в какие-то лесные дебри с задачей выбраться из них и незамеченным вернуться в Москву. Он стрелял, плавал, дрался, изучал дельтаплан и акваланг, боевую машину пехоты и малую сапёрную лопатку. Учился давить отвращение, поедая извлечённых из-под коры деревьев личинок. Спал привязанным к этим самым “санитарно-обработанным” стволам. Делал самому себе уколы. Утром мины обезвреживал, а вечером “подрывал” ими опоры мостов или цистерны. Отцеплял вагоны на ходу поезда. Непрерывно учил языки. В отличие от Лубянки, в военной разведке главный принцип формулировался намного короче: “Пришёл — увидел — уничтожил”.

— Тяжко? — хитро улыбались новые сослуживцы, когда-то сами ходившие этими же лабиринтами испытаний.

— А мне присяга иного и не обещала.

Испытания выдержал, и его представили разведверям ГРУ. И сразу в элиту — группу дальней заброски, где, несмотря на погоны старшего лейтенанта, поставили на должность рядового бойца.

— У нас много своих законов. Но уясни главный — закон крокодила, — полагая, что новенький обязательно должен знать его, предупредил “капраз” — поджарый капитан первого ранга с аккуратными седыми усиками, который и давал своё окончательное крокодильское “добро” на службу. Он же определил новенького на южное, “песчаное” направление к “каплею” Максиму Оличу. Капитан-лейтенант, за какие-то диверсионные морские дела дослужившийся до командира группы и медали “За боевые заслуги”, тоже не преминул напомнить о крокодиле. Но уже более конкретно:

— Никогда не ходи по тропам, где однажды уже ступал. Зашёл в одном месте — выйди в другом. В широком смысле — не дай поставить на себя капкан. Знаешь, как ловят крокодилов? — Вскинул голову, а на скуластом лице самодовольная улыбка: откуда вам, на Лубянке, знать настоящее боевое искусство во время броска “на холод”! “Холодом” в ГРУ обзывались операции, сопряжённые с риском для жизни. По большому счёту, Егор мог в ответ щегольнуть чем-нибудь фирменным от “Комитета глубокого бурения”, но грушники ему понравились, и он промолчал. Придёт время, и Лубянка покажет, как и чем хлебают щи. Так что там крокодилы? — Они возвращаются в реку тем путём, по которому выползли на берег. Охотники за их шкурами и вкапывают в этих местах ножи, о которые несчастные и глупые рептилии распарывают себе брюхо.

В “песчаной” группе почему-то оказалось много моряков, оттого они и баловались всякими страстями от пресноводных. Хотя основным предметом для изучения оказалось так называемое страноведение — детальное изучение государств, где спецназовцы в силу каких-то обстоятельств могли теоретически очутиться. В какой мечети какой имам служит, кто любимая жена у наследного принца и когда она забеременела, сколько лошадей или верблюдов у владельца центрального рынка, какие газеты что печатают, пофамильные списки физиков и лириков — эти сведения должны были отлетать от зубов по каждому городу и более-менее значимому аулу на южном направлении.

Сведения, надо полагать, обновлялись постоянно. Если спутник засекал более-менее масштабную постройку, появлялась новая трасса, — резиденту шла шифрограмма: доразведать объект. В местной прессе упомянули на первой полосе новое имя — кто такой? И вот уже якобы восторженные якобы туристы якобы случайно сфотографировали уголок интересного объекта, привязывая затем его к космической фотосъёмке.

Подобной сетью опутывался весь мир, и страноведы, собери их вместе, могли бы расказать о земном шаре увлечённое и глубже телевизионного Сенкевича. Разве что не коснулись бы, наверное, Антарктиды. А там шут его знает, гарантировать в разведке ничего нельзя: о ней уважающие себя страны никогда ничего не опровергают, но и не подтверждают. Есть такой гениальный уход от проблемы — по умолчанию...

Первое серьёзное испытание Егору Буерашину выпало на “Бурю в пустыне”, войну в Персидском заливе американцев против Ирака в самом начале девяностых годов. Трудно сказать, чем советские политики и чьи интересы блюли, но “грушный” спецназ вдруг запрягли в упряжку к янки. И не просто участвовать в совместной морской блокаде Ирака, а досматривать идущие в эту страну корабли. Американцам оставалось лишь принимать доклады советских десантников, самим оставаясь как бы чистенькими: мы ни при чём, это русские ищейки лазят в корабельных трюмах.

Лазить послали как раз группу Максима Олича. Аукнулось, что в командах ходил моряк. Спецназовцы подлетали на вертолётах к обнаруженному в море судну, по фалам скользили на палубу, нейтрализовывали команду и принимались шупать тыки и нюхать углы. Экипажи презрительно глядели на них, а надсмотрщики, опуская от стыда головы, докладывали по рации сидящим в вертолётах американским офицерам:



— Судно осмотрено, груз стратегического значения не имеет.

О-о, и как плевались, оставаясь одни. Как поносили даже не звёздно-полосатый флаг, а Москву, улегшуюся калачиком у подножия этого полотнища: откуда такое подобострастие и унижение самих себя? И тогда Егор Буерашин стукнул кулаком сам. Обнаружив при очередном осмотре в утробе ветхого рыбацкого судёнышка ящики из-под зенитных снарядов, тем не менее, процедил по рации:

— Груз стратегического значения не имеет.

Ирак отбивался от американской авиации из последних сил, и боеприпасы ему были необходимы не меньше, чем советским офицерам чувство собственного достоинства и гордости за страну. Но пока вылезал из трюма, на палубу спустился американский подполковник: скорее всего, наводка на подозрительное судно всё же к ним прошла. Солнцезащитные очки не скрыли, а скорее, подчеркнули высокомерие, с которым он глянул на Буерашина, квакнул что-то сквозь зажатую в зубах сигару.

— Перепроверить! — перевели его команду, хотя Егор понял смысл без суфлёра. — И снова доложить.

Качка на море отсутствовала, но Егор стал, расставив ноги и закрыв собой трюм. И хотя никогда не курил, выхватил у кого-то из своих сигарету, тоже бвил её себе в зубы:

— А пошёл он...

Подполковник побагровел, выдавая взаимное прекрасное знание языка вероятного противника, с которым хотя и на выгодных Америке условиях, но вынужденно пришлось объединиться. Подошёл вплотную. Тыча сигарой Егору в грудь, процедил:

— Ты — ещё раз!

Буерашин не сразу понял, что команду, уже не церемонясь и не играясь в военную тайну, отдали на его родном языке. Не ведая о последствиях, шагнул навстречу американцу, спасательным жилетом сминая его сигару.

— Ещё раз тыкнешь, смою через клозет за борт. — И свою сигаретку, хоть и тонкую по сравнению с американской, но выставил навстречу белоголовому орлану, распластавшему крылья над карманом кремовой рубашки подполковника. Интересно, сам-то он хоть знает, что эта птица всего лишь венчает пищевую цепочку североамериканского региона? Пищевую, сэр! — Это ты тоже, надеюсь, понял.

Ещё как понял! Глаза вспучились, налились кровью, потом сузились в щёлочку. А Егору что бык, что японец. Ему ни вожжа под хвост не попала, ни водки он не перепил, ни на солнце не пережарился. Просто когда воду греют, она поневоле начинает кипеть. А Олич, который мог бы осадить, работал на другом судёнышке.

Так и замерли, сжав кулаки, на палубе иракского кораблика советский старший лейтенант и американец в подполковничьих погонах. Иракские рыбаки ждали своей участи на носу судна, зато разведвери ГРУ вмиг разделились: одни оказались за спиной взвившегося сотоварища, другие — у подполковника. Вскинулись автоматы. Бунт. На чужом углу судёнышке, на чужой войне СССР, похоже, впервые за годы перестройки выпростал коготки. “Наверх вы, товарищи...”

Сумасбродного демарша тем не менее оказалось достаточно, чтобы янки дрогнули. Несмотря на кружащие в воздухе вертолёты, главенствующую должность, не посмел перепроверить трюмы или послать лейтенанта туда же, куда сам только что был отправлен. Мертвецки бледные рыбаки-контрабандисты-оружейники глядели на Егора, как на Бога, и он сказал себе: никогда, нигде и ни перед кем больше не опущу голову. Я — советский офицер и сын партизана. И плевать на иное.

Усмехнулся американцу: и на тебя плевать тоже. Это в старости подумал — и забыл. В молодости же сказал — и сделал!

Хотя в действительности Егор силноул за борт. Всё же хотелось, чтобы снаряды дошли до Ирака. А вот брызги полетели по закону ветра: его за выходку, естественно, по головке не погладили, из Персидского залива срочно отозвали. Готовился к худшему, однако вместо международного разноса ему

пусть и втихаря, но бросили на погон ещё одну звездочку — ходи капитаном. Даже среди руководителей остаются люди, отстаивающие интересы Отечества.

При расставании Олич всунул в “дембельскую” сумку Егора перламутровую ракушку и пластмассовую ящерицу, в хвосте которой располагалась точилка для карандашей.

— Передай сеструхе.

На ракушку Буерашин внимания не обратил, но ящерку удивлённо повертел в руках. Командир успокоил:

— У Иры сейчас фамилия такая — Точилкина. Коллекционирует.

— Убью, — пригрозил “каплею” уже из Москвы Егор, когда встретился с Ирой у фонтана перед Большим театром. Миниатюрная, точёная, с белыми волосами по плечам — наверняка Бог минимум трижды поцеловал при рождении! А он — “сеструха”...

— Вам. — Егор вытащил из сумки подарки.

Ира по-детски хлопнула в ладоши и сразу же приложила ракушку к уху. И лишь услышав шум Персидского залива, спохватилась:

— Как Максим?

— Приказал сводить вас на кофе, — не моргнув глазом, соврал Егор.

Ира посмотрела на часы, сложила в мольбе ладошки, сделала бровки домиком:

— Если я опоздаю на работу, меня уволят.

— А после работы?

После работы её тоже удерживали какие-то планы, капитан Буерашин в них никак не вписывался, но слишком ярко блистала рядом женщина, чтобы просто так с ней расстаться. Он не имел на неё никаких прав, она не дала никаких поводов для дополнительного внимания, но единственная сила, с которой способны совладать монахи, но отнюдь не офицеры, — это женская притягательность. Эх, и на безымянном пальчике правой руки обручальное колечко. От какого-то Точилкина.

— Вы мне позвоните через месяц, — нашла Ира для него ближайшее времечко. Но точки над “i” расставила сразу: — И вы мне расскажете всё, что можно.

— А раньше? — обнаглел Егор.

— А раньше меня просто не будет в Москве. Спасибо. Я убегаю. Извините. До встречи. Самому-то будет заняться чем в Москве без меня? — стрельнула лукаво глазками...

К какому шкафчику теперь подведут? У отбывающих за границу ни одного намёка на принадлежность к СССР не должно быть, даже родных пломб в зубах, не говоря уже о клейме советских прачечных на белье.

— Готовься в Латинскую Америку, — “кап-раз” провёл Егора в самый угол помещения. Пригладил и без вмешательства идеально подправленные усики, распахнул шкаф с летними песчаными костюмами. — Пойдёшь “на холод”...

И вот “холод” кончился, и Егор вправе был рассчитывать хотя бы на служебную машину, чтобы не ловить такси с архивариусом Лубянки.

— Да тут без тебя напряжёнка непонятная по всем линиям, — уловив разочарование на лице друга, попытался оправдать “грушников” Черёмухин.

“В любом случае не такая, как была у меня”, — поджал губы в детской обиде Егор: не каждый день вырываются пленники самостоятельно. Надежду на жизнь, конечно, давал негласный договор всех разведок мира: поскольку разведчики являются военнослужащими, то их физическое уничтожение приравнивается к нападению на страну. Тюрьма — да, перевёрбовка — да, но под расстрел подвести не должны были. Только это если бы держали официально в тюрьме, а не в пещере в сельве...

— Да вон бежит, радется, кто-то из твоих, — вычислил Юрка в аэровокзальной суматохе родственную душу.

Бежал сам “кап-раз”. Он схватил Егора в объятия, приподнял, словно через лёгкую тяжесть веса подчинённого убеждаясь, что перед ним не призрак.

— Я рад. Остальное всё потом, — отстранился командир и с надеждой посмотрел на Юрку. — Добросишь товарища до дома?

Не дожидаясь ответа, ещё раз прижал к себе Егора, шепнув приказ:

— Сидеть дома, никуда не высовываться и ни во что не вмешиваться. Ждешь только моей команды.

И подтверждая, что подчинённый не был забыт, что ценен и дорог, добавил ещё тише:

— Тебе бумаги на большую награду готовим. Высшую. Только т-с-с-с. И без меня никуда и ни во что.

Ошарашил — и исчез столь же стремительно, как и появился.

— Я же говорил, что у вас какой-то напряг, — обрадовался собственной дальновзоркости близорукий Черёмухин.

Но Егор застыл от известия о награде. А почему, собственно, нет? Не к теще на блины ездил. А для человека военного звезда на груди порой весомее звёзд на погонах. Но что случилось в конторе? В честь чего напряг и суматоха?

Взгляд зацепился за электронное табло: 18 августа 1991 года. Не тринадцатое и вроде не пятница...

## Глава 7

На Лубянке Черёмухин встретил у тыльных ворот центрального здания, втянул Егора в узкую щель внутри двора.

— Здесь загружено полторы тысячи личных дел агентов и находящихся в разработке фигурантов, — кивнул на грузовик-фургон с надписью “Хлеб”. Рядом валялись выброшенные лотки. Очки у Юрки были всё те же, слегка великоватые, и после заботы об архиве он постоянно занимался их охраной на носу. — Надо прорваться на спецобъект. Иначе представляешь, что будет?

Представить списки агентов в газетах не было сложностью: времена для прессы наступили такие, что многие редакторы ради сенсации готовы в уголке юмора публиковать отчёты о похоронах собственной матери.

Хотя публикация списков иным митингующим как раз и поубавила бы пыл. Перед переходом в ГРУ Егор, нёсший службу в первом подъезде, сопровождал правозащитницу, на всех углах требовавшую открыть архивы спецслужб. Председатель КГБ сделал всё гениально и просто: пригласил её к себе в кабинет и, как понял Буерашин, показал личное дело отца, чьё имя долгие годы выставлялось как символ борьбы с тоталитаризмом. Почитав протоколы, женщина как будто цементного раствора глотнула. Причина оказалась более чем банальна: по оговору её отца-символа в тридцатые годы было расстреляно более десяти его же друзей. Ох, не плоской была история страны. Не чёрно-белой...

Только ведь наряду с подобными стукачами, которых, в принципе, как-то можно понять с позиций нынешнего времени, в картотеках имелись имена тех, кто предупреждал о терактах, безалаберности, антисоветчине. Кого внедряли в преступные группировки. “Подбрасывали” к иностранным посольствам. Кто закрывал каналы с наркотиками, пресекал похищения людей. Аксиома для всех стран мира: государство обязано защищать свои интересы, свой государственный строй, своих граждан. В том числе и негласными методами.

В первую очередь, имена таких негласных сотрудников и спасал Юрка. И Буерашин молча протрубил ему гимн.

— Стреляем без предупреждения по каждому, кто приблизится. На крайний случай — взрываем.

О-о, какая же несусветная глупость посетила Юркину доселе светлую голову! Взрыв разметаёт листочки по всей округе, а “секретка” обязана уничтожаться до последней буковки в документе. В ГРУ на этот случай держат напалм...

Оторвать козырёк у кепки и, проведя ею по пыльному колесу, нахлобучить на самые глаза, засучить рукава рубашки и повесить на губу вместо

окурка хотя бы веточку-зубочистку, — и чем не водила из пятого или четырнадцатого автопарка? А очкарик рядом — бухгалтер. С накладными на хлеб, который выпекается круглосуточно. Вперёд, на пекарню!

Ворота медленно отворялись. Почуввав добычу, от толпы на площади отделились с десяток митингующих, готовых по той же методике сексотов, которых сами же брезгливо выскивали, останавливать выходящие из лубянского комплекса машины или записывать их номера. Даже у хлебовозок. Егор, как и полагается водиле из пятого или четырнадцатого автопарка, плюнул им под ноги бычок и дал по газам.

Ехали по враждебной Москве молча. Да и о чём говорить, когда за спиной фургон с личными делами фигурантов, а впереди — полная неизвестность и разбитая дорога, на которой даже хозяин архива плохо ориентировался.

Однако за Химками после некоторых раздумий Юрка попросил Егора уступить ему руль, а потом и вообще вылезти из машины, дожидаться возвращения на дороге. Егору бы обидеться, но сам себя и остановил: не в бирюльки играют, объект не выдаётся даже любимой теще. Напялил Черёмухе кепи без козырька и, снимая с него чувство вины, поторопил:

— Только мухой. Туда и обратно.

Грузовик неуверенно дёрнулся, рывками набрал небольшую скорость и скрылся в незаметный поворот среди только-только начинающих желтеть клёнов. Спецобъект — он и есть спецобъект, посторонний глаз не привлекающий. Может, это просто трансформаторная подстанция или склад металлолома...

Зато разгрузился и вернулся настолько быстро, что Егор не успел соорудить себе лежанку из лапника.

— Надо в Зеленоград, — высунулся через опущенное стекло кабины Юрка.

Очки на переносице наспех перетянуты синей изолентой: видать, уронил при разгрузке. Но это не мешало архивариусу пристально смотреть сверху вниз: если ты не согласен, я еду один. Честно сказать, Буерашин не ожидал, что в дохляке Юрке окажется столько твёрдости и ответственности. Но куда ему одному при минус пять на каждый глаз и с изолентой на очках?

— Надо! — поторопил Юрка.

Зеленоград слыл ярой демократической зоной Москвы — именно оттуда приезжали на митинги самые многочисленные и по-военному организованные колонны с зелёными полотнищами транспарантов. Победа над ГКЧП могла добавить им агрессивности, и тут даже Ельцин не успеет всех привести в чувство.

— К Москве идут танки, — сообщил последнюю новость Юрка.

— Чьи? За кого?

— Не знаю. Скорее, за Ельцина. — Опустошённость Черёмухина была явной. — Начальник зеленоградского отдела получил сведения, что с минуты на минуту ожидается штурм его здания. Просит вывезти архивы.

— А что, на всё КГБ — ты один? С украденной хлебовозкой? — раздражённо бросил Буерашин. А скорее, выплеснул эмоции от сообщения о танках. Не зря дрожали и опускали глаза на пресс-конференции члены ГКЧП. Так и не нашлось среди них никого решительного, идущего до конца. И Юрка прав — надо спасать хотя бы тех, кто помогал стране...

Черёмухин в ожидании ответа прилепил отошедший кончик изоленты на очках. Он стыдился за контору, ещё вчера приводившую в трепет весь мир, а сегодня прячущуюся по лесам. Но поскольку Егор сам был выходцем из Лубянки, горько исповедался:

— Перед твоим звонком увидел в туалете одного нашего генерала. Он рвал бумаги, бегал по толчкам и спускал в них обрывки. Грешным делом, подумал, что уничтожает документы, но, оказалось, избавлялся от рукописи о демократах. Таким нынче стало КГБ, Егор. Грустно.

Зря Юрка стыдился — Буерашин сам отвёл глаза. Он не знал, что творилось на данный момент в ГРУ, но если и там генералы дрогнули, то куда возвращаться и кому верить? Или быстрее бы уж Ельцин брал всю власть в руки, чтобы утвердить порядок?

Зеленоградского комитетчика нашли мятым, небритым и, кажется, под градусом. Увидев хлебовозку, заглохшую у крыльца на последней капле бензина, он сразу обмяк: так бывает, когда приходит уже не ожидаемая помощь. Выводя его из прострации, Буерашин поинтересовался:

— Сто грамм есть? Меня зовут Егор.

— Серёга, — легко поддержал знакомство хозяин кабинета.

Бутылка с остатками стояла под столом — зеленоградец лишь опустил за ней руку. Но за закуской пришлось идти в угол, к холодильнику. Тот, потерявший в переездах переднее резиновое копытце, кивнул хозяину украшенным детскими наклейками лбом. И душу распахнул широко и светло: чем богаты, то — ваше.

Щедроты оказалась понятной, когда на ржавых решётках обнаружили лишь маслянистая банка из-под тушёнки с ломтиками пожелтевшего жира да надломленные, покрытые инеем, кусочки хлеба на одноразовой тарелке. Капитана смутило малое количество закуски, и он полез за добавкой в морозилку. Там ножом наковырял пропахших рыбой кусочков льда и вывалил их рядом с хлебом.

Сдвинули почерневшие от чая разнокалиберные чашки — не на поминках. Тост предложил капитан, выдавая свою родословную:

— Казак пьёт в двух случаях. Первый — когда есть огурец. И второй — когда огурца нет. До дна.

Подмога и спирт, затушенный не менее обжигающим льдом, пробудили его к действиям.

— Предлагаю: не очень существенное перебросить в ментовку, с начальником отношения нормальные. Но мешков семь надо сжечь.

Костёр в лесу, на свет которого наверняка подскочат какие-нибудь вояки? Из тех танков, что опоясали Москву? Кто окажется командиром? А вдруг из желающих заработать у новой власти звезду на плечи или на грудь?

— Открытое место нежелательно, — похоронил Егор чью-то удачу на дополнительные блага. Там, где участвует он, халява не пройдёт...

Капитан макнул в жир скрюченный от возраста и холода кусочек хлеба, посмаковал прилипшие к нему жёлтые крошки. Потянулся к телефону, доставая из пиджака потрёпанную записную книжку со множеством записочек. Найдти такую на улице, ни за что не догадаешься, что она принадлежит главному зеленоградскому контрразведчику. Но он отыскал в ней нужные цифры практически мгновенно — дольше набирал номер на таком же колченогом, как холодильник, аппарате:

— Борисыч? Что плохого в этой жизни?.. Молодец, и я про то же. Слушай, подошли-ка мне свою аварийку. И жди меня, я к тебе на ней подъеду. Всё потом. Давай.

Поправил, словно удачливую колоду карт, листочки в книжице, вернул её в лоснящуюся щель кармана. И только после этого соизволил пояснить:

— Тут у меня среди провинившихся начальник теплосетей. Сделает всё.

Котлы ТЭЦ — это хорошо, это надёжно. За это можно выпить. Остатка в бутылке хватило на второй круг:

— Ну, раз нет огурца...

Раздался телефонный звонок. Пока Серёга, опустошая чашку, держал трубку на весу, все расслышали:

— Это КГБ? Сидите? Ну-ну, недолго осталось. Ждите.

Щекочут нервы перед штурмом? Или уверовали в свою всеильность? Где ГКЧП? Где аварийка, чёрт побери! И неужели у Серёги больше нет ничего в заглазнике? А рыба в морозилке лежала всё-таки поганая...

Начальник ТЭЦ сработал быстрее звонивших и угрожавших. Контрразведчики, предав хлебовозку, в спешке побросали в жёлтый проём аварийки утрамбованные под завязку, печатанные сургучной печатью мешки. Через минуту им гореть в топке, а всё равно от инструкции ни на шаг. Если в Книге рекордов Гиннеса есть раздел “педантизм”, то КГБ явно претендовал на первую строчку.

На воротах ТЭЦ встречал сам Борисыч — сухонький мужичок в тесноватом, в катышках на животе, пуловере. Серёге кивнул несколько раз, чем подтвердил свои какие-то прегрешения перед властью. На попутчиков, сидевших на мешках, лишь покосился: более всего осведомители опасаются расширять круг знакомств.

— Надо сжечь, — кивнул на груз комитетчик. Икнул, поморщился от рыбной отрыжки, но довёл задачу до конца: — Срочно. При нас.

Борисыч поник, сделался ещё более сгорбленным и маленьким, и оказалось, что пуловер ему вообще-то впору. А катышки на нём оттого, что старик от волнения постоянно трёт ладони о живот...

— Что так? — недовольно поднял голову Серёга. Видать, сильно был обязан Борисыч органам, если тамошний представитель и мысли не допускал о невозможности выполнить просьбу.

— Сделаем, — со вздохом согласился поделиться огоньком начальник теплоцентрали. Махнул водителю, гусакон вывернувшему голову из кабины: — Подъезжай к главному корпусу.

Тот оказался не чем иным, как тюрьмой-ангаром для томившейся внутри огромной избушки на металлических лапах. В её оконцах бушевало пламя, но мощные газовые форсунки все продолжали и продолжали выжигать ей нутро. Бедная Баба Яга! Говорят, при матриархате она ходила в жрицах и была прекрасной девушкой, и это мужики в отместку за своё прежнее унижение переиначили её в чудище. А тут ещё посягнули и на её кров...

Серёга, ухватив мешок за чуб, потащил его по металлическим ступеням вверх, к смотровому лазу. Запечатанные в смертный саван документы не желали мириться с угованной участью и цеплялись углами папок за стёртые ступени, боковые прутья перил. Ни Золотая Орда, ни инквизиция не тащили с такой настойчивостью людей на костры, как Серёга, не обращавший внимания на рваные раны мешковины, торчащие белые кости папок, кровавые пятна корешков-переплётов, свои документы.

Около заслонки Борисыч металлическими штырями, согнутыми и худыми, как он сам, поднимал накалившиеся от огня запоры. Егор, не желая повторять изуверство контрразведчика, затащил свою ношу на плечах. Металлический квадрат оконца с грохотом откинулся на спину. Изнутри полыхнуло, обдав палачей жаром.

— Отлично, — порадовался Серёга всепожирающей мощи огня.

Приподнял свой мешок, примерился и, последнее мгновение посомневавшись, швырнул в пламя.

— Торопись, — прокричал сквозь гул Борисыч. — Давление уходит.

Из операторской будки под самой крышей ангара и впрямь выбежала женщина в белом халате. Увидев начальника, застыла у ограждения, но Борисыч махнул ей: всё в порядке, возвращайся к приборам. А когда Буерашин, сменив забронзовевшего от натуги, жара и решимости капитана, расстался с последним мешком, начальник ТЭЦ всё тем же металлическим прутом вернул дверцу на прежнее место. Вытирая о живот руки, подошёл к глазку, словно мог увидеть через него, как сгорают чьи-то истории и судьбы...

Наутро, увидев в новостях победоносное возвращение из курортного Фороса в Москву Горбачёва, Егор поехал на Полежаевку. С рапортом. На увольнение. Подобное в армии следует делать по команде, но Олич, его непосредственный начальник, так нигде и не проявился, и Буерашин пришёл сразу к “кап-разу”: вы меня принимали на службу, вы и выгоняйте.

Начальник сидел понурый и рвать с ходу листов не стал. Долго вглядывался в него: формат А-4, плотность бумаги до 80 граммов на метр квадратный. Для ксерокопирования. Экземпляр единственный. Копий не снималось. Только адресату.

Встал, прошёлся по кабинету. Остановился в углу, около огромного глобуса. Повертел его. Земля закрутилась, замелькала материками и океанами. Где-то в этом круговороте крутились он сам, Егор, Максим Олич, Юрка Черёмухин с хлебовозкой. Горбачёв с Ельциным. Все вместе, в космос никто не улетел...

Командир вернулся к столу. Выдвинул ящик, задумался. Егор не видел, что там находилось, но подумал: пистолет или собственный рапорт. Власть в те дни оставила служивым людям небогатый выбор: кому-то умирать вместе со страной, кому-то поднимать тосты за победу над ней.

— Служки, — “кап-раз” медленно порвал листок с нервными ночными каракулями Егора. Выбросил бумажки в урну. — Страна-то остается. Люди остаются...

— Но я не желаю снова...

— Будешь желать! — вдруг резко перебил моряк, возвысив голос. — У нас сейчас на плечах не погоны, а судьба страны. И что, её тоже коту под хвост? Не дождётся. Неделя отпуска, пока во всём разберёмся.

## Глава 8

Фёдора Максимовича разбудил телефонный звонок. Вроде встал по расвету, потоптался по двору, смазал велосипед ехать в Пустынь, бросил горсть пшеница курам, обмолвился настроением с Тузиком. Да и прилёг обратно, чтобы грюканьем дверей да ходьбой не тревожить внуков.

По телефону звонили редко, в основном — начальство, но тут с другого конца провода закричал военком:

— Фёдор Максимыч, это военком. Доброе утро. А что я тебе говорил?

— Что? — никак не мог отойти от дрёмы и резкого звонка Фёдор.

— Егор твой жив-здоров. Встречай, едет.

Фёдор бросился к окну, пытаясь разглядеть сквозь ветки черёмухи улицу. Намеревался же после снега спилить, совсем из-за неё света не стало в доме, да закрутился, допустил, что расцвела. А у кого рука поднимется цветущую черёмуху да под корень? Такую только ломать на букеты...

Выскочил наружу, набросив пиджак на майку. Улица была пустынной. Моторы не гудели даже вдаль, и Фёдор поспешил обратно в дом. Перво-наперво надо приготовить для Егора что-нибудь вкусное. Хотя тому любимая еда хоть в детстве, хоть в офицерах — сковородка поджаренной на сале картошки. Может, заслать Аньку к свахе, а та уж сподобится мясца сготовить, блинов напечь? А Егорка-то живой, живой! Отыскался. Где же пропал целых полгода? Пора бы угомониться, перестать шляться там, куда другие даже не глядят! Ремня всыпать — и послушается. А у военкома не хватило ума сказать, когда точно ждать! Ладно, он сам от неожиданности все слова забыл, но майору-то по статусу положены чёткость и точность. В ногу был ранен в Афганистане, а не в голову, прости Господи. Теперь вот бегай по селу, будоражь людей. Хоть в колокол звони, как на пожар.

— Что там, дедуль? — послышался из спальни голос Анютки.

Заглянул к ней. Внучка вопрошала глазками из-под одеяла, Васька, разметавшись по дивану, спал непробудно.

— Надо потихоньку вставать. Дядя Егор едет. Военком доложился.

— Ура-а-а! А Васька знает? Ты пока не говори, я с ним на что-нибудь поспорю.

— Вставай, спорщица! Порядок в хате навести надо женским взглядом. Васька! Вставай тоже.

— У-у-у, — промычал тот, закутываясь в одеяло.

— Оксанка с Женёной в гости идут, — нашла мгновенный способ поднять брата на ноги Аня.

Всклопоченная голова взметнулась под потолок, Фёдор участливо посмотрел на внучку — никто за язык не тянул, выкручивайся теперь сама. Поспешил в кладовку удостовериться, что бутылка беленькой стоит среди закуток нетронутой. Как чувствовал, попросил неделю назад Степана купить в районе, куда тот возил в больницу лечить свой радикулит. Картошки пожарят, яйца, сало есть, капуста, огурцы — в подполе. Лишь бы правда была от военкома...

В кладовку заглянул Васька.

— Дед, а правда, что дядя Егор едет?

— Если военком не сбрехал. Но ему нельзя, он при исполнении.

Внук исчез. Скорее всего, спор с Анькой всё же состоялся, и наверняка в её пользу. Посылать к сватьям, чтобы те тоже занялись чем-нибудь существенным к столу? Но не взглянуть бы. А то начинает казаться, что майор и не сообщил ничего, что разговор с ним придумался как желанный спорок. Сейчас он сам и позвонит ему в обратную сторону. А номер военкомата узнает по справочной. Сообщат, куда не денутся. С чего это они откажут? Он представится — и пусть говорят. Мало ли какой вопрос его интересует! Например, как добираться Егору до дома? Автобус пойдёт только в обед, и то, если бензин найдётся. А он запряжёт в колхозе Орлика, он ещё ходкий, и через час дома будут. Но надо и впрямь сначала позвонить и ещё раз услышать от военкома новость. А ещё лучше, пусть Васька разговаривает. А то с Анькой спорить — тут он первый, а как в район трубку поднять — его нету.

— Васька, звонить будешь! — приказал внуку, входя в дом.

— Куда? — не понял тот.

— Куда, куда... Скажу, когда потребуется. Отказываешься тут!

— Да ничего я не отказываюсь. Хоть в Москву.

Москва не требуется, а в справочную и военкому — надо.

— Ладно, пойдём картошки накопаям да огурцов соберём. Анька, по хозяйству.

Суетливость деда больше всего подтверждала, что новость правдивая, и внуки закрутились без понуканий. Однако не успели выкопать и пяток клубней, в огород ворвалась Анна. Тузик пугался под ногами, она шикала на него, но собака принимала бег за игру и мешала ещё больше.

— Уйди, проклятуший... Дедушка! Дедушка, дядя Егор едет! Прямо сию минуту. Звонил из Суземки... Ой, бабоньки, я вся, — села на жердины, приготовленные под новый забор.

— Так... автобусу ещё рано, — у Фёдора перехватило в горле. Опёрся на лопату, обретая устойчивость.

— А его, как короля, на машине.

— Васька, живо приберись около крыльца.

Тот по пути дёрнул за волосы сестру и скрылся за углом дома.

— Анютка, картошку чистить, — остановил Фёдор внучку, погнавшуюся за братом.

А сам не мог двинуться с места. Значит, не подвёл своё слово военком. Правду сказал. А что на машине привезут Егорку — это хорошо. Чай, заслужил, чтобы не на телеге тащиться или даже в автобусе. И народ пусть бы увидел, как уважают его сына.

— Степан, — крикнул через забор. Соседа хотя и не видно, но наверняка во дворе колуается. — Степан, покажись на минуту.

Тот вынырнул над узким гребешком забора — мордочки нет, одни уши и козырёк картуза. Обычно он всё лето в трусах и галошах на босу ногу, но после того, как схватил радикулит и пролежал полтыщи в больнице, жадности чуть поубавилось, достал фуражку.

— Егор мой отыскался. Везут из района на машине. Так что, если не хватит беленькой, я у тебя займу. Потом отдам, — успокоил сразу.

Козырёк с ушами кивнул и скрылся за досками, чтобы больше ничего не попросили.

А Фёдор вдруг вспомнил, что не брился с прошлой недели. Заторопился в дом, бросил мыло на картон из-под книжной обложки, налил банку тёплой воды, начал взбивать мокрым помазком пену.

Успел выскоблить лишь одну щеку, когда у дома затарахтели машины. Да много — он обомлел, глянув в окно и увидев штук пять всяких разных и иностранных тоже. Убравшийся на крыльце Васька кинулся навстречу вылезшему из первой “Волги” Егору. Анька, заревев от обиды, что не она первая, бросила в кастрюлю недочищенную картофелину и выскочила непокрытая. Стерев полотенцем пену с небритой щеки, Фёдор подался вслед за ней, но ноги вдруг надломались в коленях, и он, нащупав рукой деревянный резной диван, обмяк на нём.



— Да что ж это такое, — силится перебороть свой неожиданный недуг, помогая руками расправить и закрепить ноги. — Люди ведь ждут.

А на улице голоса, очень много голосов и боязливое повизгивание Тузика со двора.

— Дедушка, смотри, дядя Егорка мне подарил, — влетела в дом Анна с хлопающей ресницами огромной куклой.

— Хорошо. Помоги мне, внученька, — попросил Фёдор, протягивая руки.

Анна стремительно и ладно подставила под них плечики, словно всю жизнь провела в сиделках, — у старого с малым своей генетический код, своя историческая память на вырубку. Первые шаги дались с трудом, но когда затопали в сенцах и звякнула дверная ручка, он освободил девочку и сам выстоял то мгновение, пока к нему не шагнул с порога Егор — худее худого.

— Ну, батя, ты что, — шепнул сын ему в невыбритую щёку, мокрую от слёз. Придержал, помог сесть на диван.

А хата всё наполнялась и наполнялась незнакомыми людьми. Защёлкали фотоаппараты. Парни с блокнотами о чём-то пытали Ваську и Анну.

— Чего это? — шёпотом спросил сына Фёдор.

Его услышал военком, поднял обе руки, требуя тишины и внимания:

— Товарищи, я думаю, мы покурим на крыльчке. Прошу, — решительно указал всем на дверь.

— Чего это все? — переспросил Фёдор, когда вслед за военкомом выскользнула в сенцы даже кошка.

— А, — отмахнулся Егор, притягивая к себе племянников. — Военкому делать нечего, катается.

Нечего-то нечего, но никого в село так не привозили. Как космонавта.

— А мне сказали, что дяде Егору звание Героя Советского Союза дадут! — чтобы показать свою осведомлённость, Анна оторвалась от дядьки и прошептала в ухо деду секрет всего тарарама.

— Что? — оторопел Фёдор. Поднял взгляд на сына. Егорка — Герой? Поэтому понаехали журналисты, как на свадьбу!? А что, Егорка может, он всегда во всём ходил в первых рядах. А ноги вновь стали рассыпаться: — Где ты был? — подался к сыну. Из-за слёз строгости в голосе не нашлось, и запоздало ужаснулся лишь тому, что могло происходить с Егором, ежели дают такое звание.

— О-о, там меня уже нету, — с довольной улыбкой, при которой, тем не менее, потемнели глаза, ответил тот. — А до Героя ещё далеко, пока все бумаги подпишут. Пока только запрос в военкомат пришёл, а тут уж растрезвонили. В армии надо ждать приказа, да, отец? Как сам?

— Шкандыбаю помаленьку.

— И на велосипеде ездит, — подтвердила Анютка, не желая оставаться в стороне от разговора. Подластилась к главному гостю: — Дядя Егорка, а герои ведь бывают только на войне и в книжках на картинках.

— Вот и я им то же самое говорил, — поддержал племянницу Егор. — А как у тебя поведение?

— У меня хорошо. У Васьки плохо.

— А Ваську мы накажем — будет в армии гранатомётчиком, заставим таскать самое тяжёлое оружие. Так, Василий? Или Анна напраслину наводит? Ясно. За неделю, пока буду тут, ситуацию проясним? Молодец. Погоди, это тебе давно обещанное, — достал из пакета морскую тельняшку.

Васька выхватил сверток, из которого для полного счастья выскользнул и впился в пол диковинный охотничий нож с ручкой из козлиного копытца. Анна попыталась сообразить, насколько она прогадала с гостинцами, но Егор хлопнул в ладоши:

— Ну что, гостей будем потчевать?

Анна уже выкладывала из сумок гостинцы. Фёдор лишь отметил пару диковинных бутылочек с вином — такие потом в стеклопосуде точно не примут. Хотя, когда Егорка станет Героем, пусть попробуют отказать! Неужто и правда — Герой? А мать не дожила. И людям ведь надо как-то сказать, а то возьмётся в хлеву со скотиной и не ведают, от чего скоро ахнут...

В дверь постучали, и вместе с кошкой вошёл, зацепившись ногой за порожек, военком.

— Егор Фёдорович, Фёдор Максимович, — обратился он к хозяевам уже по значимости воинских званий и будущей награды. — Мы попрощаться. Работу вместо нас никто не сделает.

— Как отъезжать? А стол? — не понял Егор. — Нет-нет, у нас в доме так не принято.

— У нас ещё будет повод, — успокоил майор. — А пока отдыхайте с дороги. Если нужна машина — звонок лично мне, и никаких проблем.

— Всё равно не пойдёт! — запротестовал Егор, подтаскивая майора за рукав к столу.

Но тот проявил упёртость:

— Нет и нет, все уже в машинах.

— Тогда держи, — Егор вытащил из сумки ещё одну бутылку, закатал в районную газету, сунул в руки военкому. Тот запротестовал, но не настойчиво. А от порога ещё раз поклонился.

— Нехорошо получилось, — не одобрил Фёдор Максимович, когда майор исчез. После первой волны радости захотелось оправдать свою сентиментальность и волнение. — Тебя везли, а ты не посадил людей за стол.

— Но ты же сам видел, — принялся оправдываться Егор. И мимоходом подтвердил про награду: — Ничего, может, и впрямь повод найдётся ещё собраться.

— Дядя Егор, а мы завтра идём в лес с новенькими. Ну, которые у нас в доме живут. Ну, учительница...

— Не тараторь, — остановил Фёдор внучку. — Накрывай на стол, раз одна в доме в юбке.

Сам пошёл в кладовку за белянкой — проверенной, не отравись. А заморские наливки пусть постоят. Васька мерил тельняшку, не выпуская нож из рук, и Аня вновь подлезла с новостями, которыми не терпелось поделиться:

— А у тех, у новеньких, Оксанка есть, и в неё Васька наш влюбился. И Женька ещё у них, мы подружились. Но не так, чтобы прямо завтра свадьбу справлять. А Вера Сергеевна, сестра их старшая, теперь у нас пионервожатая, перед началом учёбы в лесу проводит "Партизанские костры". И мы завтра все идём туда. Пойдёшь с нами?

— Если отосплюсь, — поставил условие Егор.

Главное, он дома, а идти здесь можно на любые стороны, всё родное и всё хочется увидеть...

## Глава 9

Не за шкурой зверя и не за мясом его брёл по лесу охотник. Не те глаза имел Фёдор Буерашин, не так крепки были руки и быстры ноги, чтобы заниматься промыслом. Ружьишко устраивалось за спиной больше по привычке, с послевоенных времён, когда по лесу хозяевами рыскали волки.

Двустволка цеплялась за ветви и просилась на другое плечо, с которого, как ей казалось, не пришлось бы поминутно сползать. Но поскольку жизнь давила хозяину на оба плеча одновременно, то откуда второму оказаться моложе или сохранив близнеца?

Польза имелась в случае, повесть хозяин ружьё на стенку. Да только когда подошла для Фёдора Буерашина пора лежать на печи да греть кирпичи, никого не оказалось в округе, кто бы смог заменить его в лесу. В пенсионные проводы начальство навезло подарков и грамот больше, чем за всю предыдущую жизнь — лишь бы продолжал исполнять обязанности лесничего вкупе с лесником, что почти одно и то же. Оно и дураку понятно: кому охота бродить вокруг чернобыльской радиации, рыжей кляксой упавшей на лес. По карте глянуть — прям родимое пятно на лбу у Горбачёва...

Позади Фёдора пробирался среди кустарников Егор. Сбоку плуτούν шерочкой с машерочкой Анна и Женька. За то, что потеряются, не беспокоился: Аня звенела без умолку, коровы с колокольчиками на шее быстрее

забредут в никуда. Притихли Васька с Оксаной, но у тех и разговоры более взрослые, не для каждых ушей.

В верхушках деревьев начал зарождаться шум листвы, и Фёдор Максимович остановился перед муравейником. Вгляделся в чёткое мельтешение рыжих паровозиков. Дети присели рядом, и Аня озабоченно покивала головой:

— И к гадалке ходить не надо — дождь скоро.

Женьке муравьиная пирамида ничего не известила, но простофилей показаться не захотел и на всякий случай тоже кивнул: скорее всего, так и получится. Поторопился проявить себя и Васька, показывая Оксане остриём подаренного ножа на холмик:

— Видишь, муравьи бегут только в кучу и закрывают свои убежища папочками? Точно от дождя.

Все подняли головы вверх, где верхушки деревьев штриховали и без того малый просвет неба. Фёдор Максимович приладил удобнее ружьё:

— Надо поспешить, авось успеем.

Идти требовалось до бывшего партизанского аэродрома, на окраине которого школьники и проводили свои соревнования. Раньше делали это чаще, теперь — всё реже. Лесничего на них никто не приглашал, но когда Анька сказала, что новая учительница вместе со старшеклассниками возрождает “Партизанские костры”, засобирался. Лето простояло сухое, и ежели не углядят за огнём, то тому доскакать до Рыжего леса — как голодным курам Степана до чужого корма. Вот тогда всем в округе ложись и помирай. По крайней мере, так говорили начальники в Брянске. Из их формул и графиков Фёдор Максимович запомнил твёрдо одно: если полыхнут заражённые деревья, границу радиации смело можно увеличивать на десятки километров. Скорее всего, это правда, будь по-иному, выжгли бы чернобильское пятно — и дело с концом! Пока же ни на дрова лес нельзя брать, ни на мебель, ни на колья к ограде, ни на оглоблю к телеге. Стоять и умирать лесу поодиночке. Хотя, что делать дальше с умершими и упавшими деревьями, тоже никто не знает...

К огромной опушке, приспособленной партизанами в войну под аэродром, вышли под усиливающийся шелест листьев. Ветерок приятно освежал, но поскольку нёс грозу, радоваться прохладе не приходилось.

— Вон там они должны быть, — показал Фёдор Максимович на противоположный край уже заросшего кустарником поля.

Аня и Женька побежали вперёд, но вдали, распеваясь перед концертом, пророкотал гром, и дети тут же вернулись под руки взрослых.

Лагерь нашли по песням из магнитофона и расстилающемуся под листвою дыму. Разномастные палатки, натянутые среди сосен, окаймляли плешивый косогор, в центре которого дымился бесхозный костёр. На подошедших гостей внимания никто вроде не обратил, но едва они ступили за черту лагеря, сбоку появилась Вера Сергеевна в красной пилотке и с пионерским галстуком поверх спортивного костюма. Оксана и Женька подались к сестре.

— Фёдор Максимович, здравствуйте, — кивнула она старшему. Остальным улыбнулась. Несколько задержала взгляд на Егоре, запоминая новое лицо, хотя Анна уши прожужжала своим героическим дядей. — Какими ветрами к нам, да ещё вместе с дождём?

— Ветра служебные, Вера Сергеевна. Вон костёр оставили без присмотра.

— Не ругайтесь, Фёдор Максимович, мы с огнём аккуратные. Сейчас затушим.

— А это наш дядя Егор, он вчера приехал. Я же говорила! И знаете... — Аня потянулась сообщить новость на ушко, но осеклась под взглядом взрослых, заулыбалась виновато. А чтобы язык сам случайно ничего не сболтнул, побежала к костру, увлекая Женьку.

К огню прокурором пошёл и Фёдор Максимович. Пионервожатая протянула для знакомства руку Егору, но тут громыхнуло так, что даже дым от костра пригнулся к пустым консервным банкам, защитным частоколом выложенным вокруг огня. Егора и Веру обдало водяной пылью, обычно клубящейся впереди ливня, и тут же наверху застучало, закрипело, завозилось —

дождь с ветром обрушились на деревья, выкручивая им ветви, выворачивая наизнанку листья, сгибая непокорные верхушки. В расшатанные в небе щели обрушились потоки воды.

— Укрыться, всем спрятаться, — бросилась к лагерю Вера.

Егор на бегу сгрёб выложенные на просушку одеяла и подушки, бросил их в первую попавшуюся палатку. Тральщиком сгрёб себе на грудь развешенную на ветвях одежду.

— Это наше, наше, — раздался из-за трепещущего на ветру полога девичий голосок, и Егор швырнул ношу в проём.

Ещё дальше на разложенной палатке виднелись коробки с провиантом, и Егор, уже окончательно мокрый, побегал к ним. Носить продукты по отдельности времени не оставалось, и он вздёрнул края солдатской скатерти-самобранки, сваливая еду в кучу.

— Сюда, — услышал голос Веры Сергеевны. Согнувшись под ливнем, она махала рукой от крайней, приспособленной под продовольственный склад палатки.

Прежде чем забросить в темноту узел, Егор подтолкнул внутрь пионервожатую. Вера попыталась воспротивиться, побегать снова что-либо спасти, но небеса метнули такие молнии, разразились такой раскатиистой гневной тирадой, что сама потащила под брезент невольного помощника. В тесноте Егор остушился, упал на острые края рассыпавшихся консервных банок.

— Вы живы? — прошептала Вера.

— Вам-то зачем мокнуть? — как маленькой, назидательно выговорил учительнице. Расчистив местечко рядом, протянул руку: — Идите сюда, в середину.

Оставаться одной в палатке с незнакомым мужчиной на виду у всего лагеря, а к тому же перебираться под его руку посчитала не совсем удобным. Неделю назад уже оставалась в кабине с мужчиной одна, опыт приобрела...

— Мне надо ещё проверить всех...

Егор легко понял причину беспокойства соседки, и, хотя совсем не имелось желания вылезать под ливень, подался к выходу сам.

— Оставайтесь. Оставайтесь, оставайтесь. Я к своим.

Сказал, абсолютно не имея понятия, в какой палатке укрылись отец с ребятами. Дверцы всех брезентовых домиков были плотно зашнурованы, и никого, собственно, не интересовало, где и с кем оказалась вожатая. Но раз забоялась саму себя и захотела, чтобы исчез, — вопросов нет.

Его не остановили ни словом, ни жестом, и он перебежал под ближайшую сосну. Отыскал над головой сук потолще, прижался к потемневшей от влаги золотистой чешуе ствола. Если смола прилипнет к рубашке, потом не отстирать. Кто будет виноват? Конечно, Пушкин! Вот если бы с Ирой Точилкиной оказаться в такой ситуации... Удастся ли вообще встретиться ещё? Вот где грация и красота!

Оборвал себя. Самое постыдное для мужчины — сравнивать женщин для личной выгоды. К ним надо или как в омут с головой, или...

— Скоро не кончится, — вдруг раздалось за спиной.

Егор отпрянул от ствола: с другой стороны сосны стояла Вера и вприщур, спасая от дождя глаза, глядела вверх. Только ведь самый толстый сук он уже занял.

— Зачем вы вышли?

— У нас в отряде мушкетёрский девиз: “Один за всех, и все за одного”. Тогда могла бы и воспротивиться его уходу из палатки...

— Вы промокли.

— Не больше вашего.

— Перемещайтесь сюда, здесь меньше капает.

— А в палатке не капает вообще, — пожалала плечами Вера.

И улыбнулась, всё понимая, принимая, успокаивая и прощая одновременно. Благородно оставляя при этом мужчине право выбора — идти или остаться. А она не такая уж и простенькая против Иры...

— Вы — первая, — с радостью согласился вернуться под тесную крышу Егор.

— Вместе, — не согласилась пионервожатая больше делиться.

Под дождём едва не взялись по-детски за руки, чтобы не упасть в мгновенно образовавшиеся лужи. У палатки Егор элегантно распахнул мокрый полог, позволяя даме юркнуть в темноту первой. Стойко выдержал непогоду, пока Вера устраивалась среди коробок, и лишь после этого нырнул следом.

— А холодно, — произнесла в темноте Вера.

Не просила погреть, — конечно же, нет! — просто констатировала факт. Но Егор, распознав по белым ободкам на спортивном скрещенном на груди руке, принялся быстро-быстро тереть, разогревая, женские плечи. Вера не сопротивлялась — сама проделывала подобное со своими юнармейцами. В том, что ей могла быть приятна мужская забота, она себе никогда бы и не призналась. Идёт выживание в экстремальных условиях — какие нежности, о чём разговор! От них она еле отбилась в джипе, колено до сих пор болит. Вольности с противоположной стороны пока не допускаются, а как дождь прекратится, они вообще с Егором разойдутся, будто не виделись.

Но ведь увиделись! Утверждая это, Егор чуть сильнее сжал женские плечи. И прежде чем Вера деликатно повела ими, восстанавливая границу дозволенного, успел почувствовать, как соседка волнительно вздрогнула, задержала дыхание. Всё это было настолько микроскопическим, а потому неправдоподобным, что поведай Егор ей об этом мимолётном отзвуке, рассмеялась бы, как над великим сказочником. И Вера отталкивает, конечно, не его, а свой страх. Что не устоит, не справится с собственными чувствами...

— А вы мне... понравились, — поспешил он оправдать вожатой её поведение.

— Все вы... поначалу... так.

— Я готов извиниться за всех, кто вас когда-то обидел, — по-гусарски склонил голову. Как легко просить прощения за чужие грехи!

— Меня не обидишь, — успокоила Вера и попыталась гордо усмехнуться.

— Я вас ещё увижу? — боясь спугнуть неосторожным словом или движением замершую девушку, поинтересовался Егор. Хотя зачем спросил? Поддержать разговор? Потому что ни Ира, ни Таня не вспомнились?

— Я в школе работаю, — ушла от прямого ответа пионервожатая.

— Тогда наверняка увидимся.

Помолчали, не зная, до какой степени они могут позволить себе игру в “холодно-жарко”. Но едва Егор попытался устроиться удобнее, Вера кожей почувствовала новое приближение и подалась к выходу:

— Дождь там не утих?

По палатке по-прежнему безостановочно стучало, но пионервожатая приоткрыла полог.

— Наверное, я всё-таки пойду. А то... потом будет неудобно.

Вера невольно признавала их пребывание в палатке тайной, и Егор сделал для себя неожиданно сладкий вывод: это хорошо, когда женщине есть чего стыдиться. Значит, это и будет ею вспоминаться.

Дождь явственно стихал, кое-где уже начали хлопать брезентовые пологи, и Вера торопливо вынырнула наружу. Втянув голову в плечи, побежала к палатке, над которой тяжело, словно больной, потерявший все силы в борьбе с недугом, висел мокрый флаг. Но прежде чем скрыться в новом пристанище, Вера оглянулась и, как показалось Егору, улыбнулась.

“Ты ведь не забудешь меня?” — запоздало подмигнул и он.

Ответа дожидаться не удалось — слабее прошлого, но прогрохотал гром. Попыталась начертать его образы на светлеющем небе молния, но слишком быстрым и ломаным оказался её росчерк.

## Глава 10

Дождю, похоже, был рад только Фёдор Максимович — не придётся волноваться за кострище. Уловив перерыв в дробной пляске по брезенту, вылез наружу. Лагерь был пуст, только Егор оценивал последствия грозы.

— Вера Сергеевна, мы прощаемся и уходим, — позвал по сторонам, не зная, где искать вожатую.

Вышла из штабной палатки. Стараясь не встречаться взглядом с Егором, зябко охватила плечи, став совершенно не похожей на ту бойкую и уверенную в себе вожатую, которая увиделась перед дождём.

— Чем-то озабочены, Вера Сергеевна? — отметил перемену лесничий. Хотя, какой ей быть, если остаётся с ребятами на ночь в мокром лесу?

Брат с сестрой подались к Вере, та прижала их к себе, торопливо попыталась улыбнуться:

— Нет-нет, всё нормально. Просто девочки... двух девочек гроза застала в лесу.

Веру начала бить мелкая дрожь, но не от холода, а от осознания того, что могло случиться с ребятами, оказавшимися без присмотра. Егор опустил глаза: Вера винит и его, что сами спрятались, а ребят не проверили?

— Промокли, колотит их, — попросила взглядом помощи или совета.

— Пойдёмте, глянем, — направился Егор к “медсанбату”. — И найдите для них сухую тёплую одежду.

Вера исчезла в первой попавшейся палатке, Егор вошёл к девочкам. Те сидели, укутавшись в одеяла, одновременно кашлянули, и Егор вытащил фляжку с оставшейся после Пятака водкой. Захваченная скорее по привычке разведчика, чем по надобности, оказалась к месту.

— Раздеться и представить мне спины для растирки. Минута времени.

Пропустив Веру с ворохом одежды, вышел наружу. За брезентом захихикали, и, наконец, позвали его. Егор налил пригоршню спиртного, подышал на водку, согревая её. Наклонился над девчачьими спинками с торчащими лопатками, принялся втирать влагу в загорелую кожу. Вера стояла наготове с куртками, и едва Егор сделал передышку, укрыла ими девочек.

— Ещё, — скомандовал Егор.

Когда вновь под ладонями стало сухо и горячо, кивнул Вере — укутывай. Сам вышел наружу. Отец с ребятами разводил костёр, и он помедлил, дожидаясь вожатой.

— Давайте, я останусь. А то вы одна, с детьми...

— Нет-нет, спасибо, ни в коем случае. — Вера даже замахала руками. — Да и что здесь случится? Лагерь большой, семь отрядов, из всех ближайших районов. Это просто мы крайние. Не волнуйтесь. Мы уже привычные.

В глазах — и благодарность за помощь, и страх за свою репутацию, если вдруг Егор всё же останется. Ребята взрослые, станут домысливать, потом пойдут разговоры по селу...

Страхи вожатой прочитались легко, и он протянул фляжку:

— Это остатки на растирку. Высушите у костра одежду. Побольше чая горячего. А главное — сами держитесь.

— Спасибо. — У Веры опустились плечи. Впервые за много-много лет кто-то позаботился о ней самой. — Если можно, посмотрите там за братом с сестрой. Они самостоятельные, но...

Уходили под завистливыми взглядами высыпающих на поляну ребят.

— Вы чего не записались в отряд? — скользя по мокрой тропе, поинтересовался Егор у Васьки с Оксаной.

— Женьку не взяла по годам, Оксанка без него никуда. Ну, а Васька, соответственно, за компанию, — дала тактический расклад идущая впереди, но вращающая ушами, как локаторами, Анна. А уж чтобы совсем утвердиться в роли начальника “генерального штаба”, выложила и сведения от “резерва верховного главкомандования”: — Да и Зойка Алалыхина в отряде. А кто с ней рядом — тому жизни нет.

Васька, выдавая себя с потрохами, соскользнул с горбатой тропинки, чертыхнулся, и Анька засемила быстрее. Егор разлучницу Зойку совсем не помнил, может, даже растирал именно её водкой, но с Оксанкой племянник не прогадал. Красивая девочка.

К селу пошли вкруговую, вдоль Неруссы, чтобы не собирать в лесу за поворот дождевые капли с веток. Освобождённое от облаков солнце грело

на плечах влажные куртки, “в сто тысяч солнц”, как по Маяковскому, сверкали водяные бусинки на листьях. Хватит ли солнцу сил пробиться сквозь деревья, чтобы обсушить лагерь и ребят? Или всё же плюнуть на пересуды и вернуться?

Отгеснив Анну с Женькой, догнал отца. Однако совета спросить не успел: тот остановился, пристально взглядываясь в излучину реки и озаряясь улыбкой.

— Что? — спросил Егор.

— Ого! Река русло поменяла, — ответил за спиной Васька.

Честно говоря, Егор уже не помнил, как петляла здесь Нерусса.

— Она не поменяла, внучек, — не отрывая взгляда от воды, ответил Фёдор Максимович. — В войну она текла именно здесь. И именно в этом месте мы переходили её вброд, когда выводили бригаду Ковпака в рейд на Украину.

Ребята замерли, но скорее не от увиденного, а услышанного: об этом же в книжках написано! Столетняя давность. И вот это всё перед глазами? И дед знал Ковпака?

— А... а почему вода вернулась обратно? — не могла не полюбопытствовать Анна.

— А реки помнят свои берега, Аннушка, — улыбка не сходила с губ Фёдора Максимовича. — Увели мелиораторы её течение ближе к полям, а вот пошёл бурный поток после грозы, дал воде силы, — и всё стало на свои места. И лопнул пшик.

— Хорошо, — повернулась к Женьке Аня.

Что хорошего в пшике, Женька не понял. Он пока ещё мало что понимал в деревенской жизни, детдом причаёт или выбиваться в лидеры, или притихать...

— Вот и вы не меняйте своих берегов, — оглядел всех Фёдор Максимович. — Не предавайте свой род, страну, историю.

Пошёл дальше — спокойно, уверенно, пусть и немного скорбленно под тяжестью ружья и прожитых лет. Уверенность, скорее всего, ему придала Нерусса, вернувшаяся в свои берега. А ещё сын и внуки, идущие с ним одной тропой. След в след.

— Незавидная у нас с тобой доля, — поймав паузу во взрослых разговорах, прошептала Аня на ухо Женьке. Придержала, отставая от всех. — Плохо, если дяде Егору наша Вера Сергеевна понравится.

— Почему плохо?

Посмотрела на жениха с сожалением: неужели и тебе всё разжевать и в рот положить, как Ваське?

— Так до нас очередь никогда не дойдёт.

— Какая очередь? — продолжал недоумевать Женька.

— Так сначала твоя сестра может замуж выйти за дядю Егора. Потом могут и Васька с Оксанкой посвататься. А мы с тобой вон — аж третьи на очереди. Не дойдёт...

Женька резко отстранился, словно Анька уже повела его под венец. Но женские заботы согнули девочку так, что она ничего не видела, кроме мокрой дороги. Куда выведет?

Зато остановилась Оксана, протянув руку в поиске опоры. Васька поддержал, испуганно заглянул в лицо попутчицы.

— Что-то кольнуло, — не менее испуганно улыбнулась Оксана, пытаясь вздохнуть. — Сейчас пройдёт.

Она попыталась осторожно набрать полную грудь воздуха, этого не получилось, и она опять виновато заулыбалась сквозь непонятную боль.

— Конечно, столько ходить с непривычки, — успокоил Васька, не выпуская руку. — Сейчас отдохнёшь и раздышишься.

К ним вернулся Егор, внимательно всмотрелся в побелевшее лицо девочки.

— Сейчас пройдёт. Первый раз так далеко ходила, — поторопился оправдать остановку племянник.

— Тогда не торопитесь, потихоньку. Можете даже отстать, — разрешил Егор. — Одни справитесь?

А может, ребята и хотели остаться одни?

Усмехнувшись гениальной расшифровке лежавшей на поверхности тайны, заторопился за ушедшими гуськом старым с малыми...

После обеда и отдыха Фёдор Максимович и Егор, прятаясь друг от друга, стали собираться каждый по своим делам. Лесника ждала Тихонова пустынь с бетонной глыбой, от которой он худо-бедно, но уже отколол за эти дни заметный кусок. С Евсеем Кузьмичом пересеклись лишь однажды — бывший командир слабел на глазах, забывался всё чаще и в помощники не годился.

Наверное, можно было сдёрнуть плиту трактором. На худой конец, нанять отбойный молоток. Но раз решили с Евсеем Кузьмичом очистить родник собственными руками, то и посчитали этот способ единственно возможным. Зато народ не шибко любопытствует двумя Микеланджелами, тихо бьющими по зубу и собственным пальцам...

Егор выискивал в чулане одежду попроще, чтобы не жалко было измарать её в темноте. В первые годы службы он много чего привозил из военной формы, пока не перестали её выдавать, заменяя деньгами. Надеялся, что отец отправится по своим делам, и отвечать на лишние вопросы не придёт. Хотя что отвечать? Может, он вообще не дойдёт до лагеря. А если и дойдёт, то не останется ночевать и сторожить ребят. А к утру в любом случае будет спать на собственной кровати в подвале.

Чутко уловил, как отец вывел велосипед за калитку. Анька ускакала к постояльцам, Васька гонялся где-то за собственным хвостом, и Егор торопливо облачился в походное. Начеркал на тетрадном листочке: “Я в гостях”, — положил записку на телевизор — до программы “Время” не заметят, а там, может, он и вернётся. Всё по-честному, просто забыл написать, к кому именно пошёл в гости. Из одноклассников в селе не осталось никого, но учителя живы, рыбаки на озере сутками сидят...

Себе признался, что идёт в лагерь ради Веры. Она не выказала особой приветливости, а позвони перед отъездом Ира или случись встреча с Таней — возможно, сейчас бы шёл в другую сторону или, наоборот, спокойно лежал на диване. Неужели Вера всё же заинтересовала? Жениться он, ясное дело, не собирается: его профессия, к сожалению, предполагает вдов и сирот. Просто побыть вместе, помочь чем сможет... Но смелая! Пойти лагерем в лес с детьми — это не ему под прикрытием всего Советского Союза кувыряться с американцами в тёплых морях.

В одиночку расстояние до лагеря покрыл значительно быстрее, чем утром цыганским табором. Уже выглядывал палатки среди так и не просохших сосен, как уловил гул мотора: кто-то пробивался по лесной дороге. Скорее всего, с проверкой из района. Тогда надо подождать, чтобы к пионервожатой не возникло вопросов о постороннем.

К лагерю юзил залепленный грязью по крышу джип. На его звук от палаток выбежала Вера — всё в том же спортивном костюме с белым ободочком. Не во что переодеться? На себе сушила? Увидев и, скорее всего, узнав машину, она непроизвольно подалась назад, под защиту ребят, но переборола себя и перегородила дорогу в лагерь.

Водитель, несмотря на скользкую дорогу, сумел подъехать к пионервожатой вплотную, и та вынужденно отступила от пышущего жаром капота машины.

— Здесь горят “Пионерские костры”? — с улыбкой приоткрыв стекло, высунулся из кабины Борис Сергованцев. Не дожидаясь подтверждения, вышел из автомобиля. Предусмотрительно обутый в сапоги, он вначале осмотрел машину, покачал головой, вызывая к соучастию пионервожатую. — Вот так к вам добирался! — Открыл заднюю дверцу, вытащил два холщовых мешка, взвалил на плечи. Мимо ничего не понимающей девушки начал выбирать на обочину.

— Это... что? — на правах хозяйки спросила Вера.

Борис свистнул выглядывающим из палаток ребятам — ко мне. Перевалил в их руки мешки, разрешил тащить в лагерь.

— Что это? — уже требовательнее поинтересовалась Вера.



— Спонсорская помощь. Встретился с главой района, он и рассказал про лагерь, попросил помочь. Плащи от дождя, кое-что из теплой одежды, одеялки, сухари, пряники, чай...

Вера не знала, как реагировать на подарки. Бесплатный сыр, известное дело, лишь в мышеловке, но если глава района просил...

— Спасибо.

— Вера Сергеевна, вы простите меня за... за моё поведение в прошлый раз. Я воистину был очарован вашим обаянием и... Не сдержался. Простите.

Развёл руками, склонил повинно голову. Стало слышно птичье пение, пахнуло дымом от костра. Около палаток раздались возгласы — ребята наверняка рассматривали подарки. Но это же на все отряды, не только для Журиничей! Ничего не ответив, Вера поспешила к юнармейцам. Борис легко перевалил на машине через игольчатую обочину и поехал вслед за ней.

— Вот и вся недолга, — усмехнулся Егор. Такая женщина воистину достойна того, чтобы к ней ездили на джипах, а не приходили пешком в заштопанных солдатских брюках и с посохом. Вера уже приглашала водителя к костру, тот благодарно кланялся, рассказывая что-то весёлое. В её фигуре исчезло напряжение, и, не увидев угрозы лагерю со стороны приезжего, Егор повернул в обратную сторону. Авось успеет до возвращения отца убрать записку. Да и в Москву можно собираться...

## Глава II

В столице Егора ждал срочный вызов к начальнику управления.

Срочным могло оказаться всё: в стране каждый день что-то горело, взрывалось, прорывалось, а главное — ничего не исполнялось. Ничто никем не контролировалось, никто ни за что, по большому счёту, не отвечал. По телевизору шёл нескончаемый сериал из драк и споров депутатов Верховного Совета, в стране правилом хорошего тона считалось разоблачать историю, обзывать самих себя “совками”, ходить на митинги, спорить, собирать бесконечные подписи “за” или “против”. Но только не работать. Впрочем, и работы оставалось всё меньше...

Томаясь в коридорах управления в ожидании приёма, подошёл к стенду с фотографиями членов Политбюро и высшего командного состава. Всмотривался в лица людей, кому выпало на своих плечах держать громадину континента, не вмещавшегося даже на одной страничке географического атласа. И невольно стал усмехаться. Министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе, обязанного первым стоять на страже международных интересов страны, вдруг наградили американской антивоенной премией мира и австрийским орденом “Милого Августина”. Вадим Бакатин, назначенный за время отсутствия Егора председателем КГБ, сдал Америке суперсовременную схему подслушивающих устройств, разработкой которых десятки лет занималось несколько институтов. Говорят, начал публиковать главы из своей книги “Избавление от КГБ”. Начальник — об избавлении от собственной организации и подчинённых. Бред!

Да что они! Горбачёва на Западе наперегонки объявляли то “лучшим немцем”, то “другом” Америки и Великобритании, но только не собственной страны.

Не менее знаменит оказался и Борис Ельцин. Ещё вчера ломавший хребты тем, кто не желал вступать в партию, сегодня водит толпы демонстрантов по Москве, страстно обличая то, к чему сам ещё вчера всех призывал. Егор Гайдар, внук яростного борца за Советскую власть Аркадия Гайдара и сын бессменного руководителя военного отдела газеты “Правда” Тимура Гайдара, сам долгое время проработавший в журнале “Коммунист”, назвал советские годы химерой и возглавил реформы против того, за что боролись его предки и он сам. Генерал Дмитрий Волкогонов, отвечавший в Вооружённых Силах за идеологию, написавший пафосные книги “Советский солдат” и “Доблесть”, которые по его же указаниям заставляли солдат поголовно конспектировать, лично же и возглавил комиссию по... ликвидации этих

самых политорганов в армии и на флоте. Под Геннадия Бурбулиса, заставлявшего ещё вчера учить студентов в свердловском институте марксистско-ленинскую философию и научный коммунизм, на американский манер создали должность госсекретаря — с ней он и клеймил советский строй. История России, вне сомнения, не знала примера, когда одновременно стали перевёртышами десятки людей, оказавшихся в высших эшелонах власти. Океан способен абсорбировать грязь и самоочищаться, а тут в руководстве страны оказались предатели, страну не знавшие и не любившие. Порядочные люди вообще-то стреляются, когда к ним приходит прозрение и они вдруг убеждаются, что вели народ не в ту сторону. В крайнем случае, затихают и уединённо отмаливают грехи.

— Буерашин, — донеслось из приёмной.

А может, пришло известие о Звезде Героя? А почему бы и нет? Вроде стыдно об этом думать, но раз уж завертелось... Уже без напряжения вошёл к “кап-разу”, ответил на рукопожатие.

— Попросят человека в охрану Ельцина. Пойдёшь? Он же для тебя вроде кумира... — В словах горечь и усмешка. Оттого, что Ельцин на каком-то этапе в сравнении с Горбачёвым был предпочтителен Егору или что надо ему самому отдавать подчинённого? — При этом гарантий никаких по твоему обратному возвращению.

“Кап-раз” взгляд не отвёл, и Егор понял: вопрос с переходом из ГРУ в службу безопасности президента России ему решать самому. При этом догадываясь, что разведуправлению желательно иметь своего человека около “Тела”. Вообще-то на Полежаевке онемели, когда у них неожиданно запросили офицера в растущую, как на дрожжах, охрану Ельцина, в знаменитую “девятку”. Если уж и там был некомплект офицеров, если собирали с миру по нитке, то можно представить, как упало в глазах политиков КГБ, откуда всегда пополнялась эта самая “девятка”. На госбезопасность навесили столько собак, ей приписали такие прегрешения, что решили держать старые чекистские кадры от греха подальше?

Генштабовскую, военную “разведконттору” подобное миновало лишь потому, что, в отличие от своих извечных конкурентов, они никогда не занимались политикой, по крайней мере, в своей стране. Не имели военные разведчики в пределах Садового кольца и зданий, памятников, которые можно было бы митингующим громить под объективами телекамер, доказывая свою лояльность и приверженность демократии.

Оказались “грушники” более недоступными и для общественного мнения, которое формировали депутаты вкупе с журналистами, взявшими на себя право оценивать жертву каждого ведомства на алтарь Отечества. При этом за эталон кристальной чистоты брались “общечеловеческие ценности” и права человека — понятия настолько расплывчатые, что понимались каждым по-своему. Эдакая абракадабра из Сальвадора Дали и Шагала в красном круге Малевича.

И вот капитана Буерашина собственный командир спихивал в чан, из которого вчерашние глашатаи коммунизма звали народ идти в прямо противоположном направлении.

— Ты только не раскрывай там рот, — дал моряк самый ценный совет, словно согласие Егора было уже получено. — И не петушись. От тебя ничего не зависит, поэтому...

— Имею право спросить: за что?

— Свои люди везде нужны, — наконец произнес “кап-раз” ключевую фразу, за которой, надо полагать, и скрывалась глубинная суть неожиданного предложения.

Взял стоявший у глобуса военно-морской вымпел, подержал его на весу, словно прощаясь, — и в самом деле протянул Егору. Смысл мог быть двойкий: если на флоте вымпел вручают кораблю, который доказал свою готовность к самостоятельному плаванию, то в разведке высший пилотаж — это войти в стан противника под чужим флагом.

Не заговор и не новое ГКЧП, естественно, подразумевались: в этом плане людей в погонах приучили служить “за”, а не “против”. Скорее всего,

Генштаб в самом деле боялся уничтожения разведки как таковой и потому спешно выставлял глаза и уши в любых местах, откуда могла исходить угроза, — рядом с Горбачёвым, Ельциным, где-то в окружении Буша, у самого чёрта на рогах. Геральдисты, определяя в эмблему ГРУ летучую мышь, накрывшую распахнутыми крыльями земной шар, оказались крайне дальновидными\*. Только вот сам Егор, похоже, подпал под девиз нелегальной разведки: “Без права на славу — во славу Отечества”. Без права на славу...

— Когда и куда прибыть? — обречённо попросил уточнений Егор.

— В четверг в девять сорок пять. Белый Дом на Красной Пресне. Метро “Баррикадная”... Что улыбаешься?

— Интересное словосочетание — красные, белые, баррикады, — поймал игру слов Буерашин. — Такое ощущение, что пока не сменим названия, будем обречены на бесконечные революции.

— Только не они, — поднял руку “кап-раз”. — У них одна привилегия — выкашивать далеко не худших людей. И последнее. Тут Олич заскакивал в Москву на минуту, передавал привет и просил по возможности помочь сестре.

— Я звонил, она уволилась с работы...

— Держи домашний.

Заискрило, пошёл ток по крови, воссоздавая образ той, что занимала в последнее время слишком много места в мыслях Егора. Наверное, больше всего удивилась бы этому сама виновница, ни сном ни духом не ведавшая о переживаниях капитана после встречи у Большого театра. Фамилию можно было не называть, ибо не осталось в Москве магазинов, где бы им не были скуплены все мыслимые и немыслимые образцы точилок. Выстроенные в два ряда на полке в комнатухе офицерского общежития, они теперь категорически не давали забыть точёное личико Иры, детскую чёлку, волосы по плечам. Максим, Максим! Где бы тебя и под какой фамилией ни носило, ты виноват, что однажды передал ракушку. А с ней не просто шум моря, а и голоса сирен, что тащат в пучину...

Выйдя из кабинета начальника, принялся названивать по долгожданному номеру. Получив раз за разом короткие гудки, через Черёмухина “проколол” номер, вычислил по нему домашний адрес абонента. Помчался на другой конец Москвы в надежде на встречу хотя бы около подъезда. Сидел в засаде до тех пор, пока местные старушки, заприметив лугающего семечки незнакомца, не позвонили в милицию. Маленький молоденький участковый, которого захотелось угостить конфеткой, почти грозно потребовал документы, но после их изучения сам всё и доложил: жильцы Точилкины свою квартиру только-только продали, новое местожительство пока неизвестно — требуется оформлять официальный запрос.

В Белом Доме с капитаном Буерашиным долго не разговаривали. Возможно, доверяли рекомендации ГРУ, и требовалось лишь удостовериться, что кандидат жив-здоров. Когда наличие подтвердилось и не вызвало отторжения, сухощавый подвижный майор прямо в фойе “БиДе” расписал ему ближайшую карьеру:

— Пойдёшь сначала “под сосну”, затем поработаешь “мешком”.

Названия таили в себе профессиональную тайну, но, судя по всему, должности Егору светили не очень престижные. Да только что офицеру престиж? Как поётся, жила бы страна родная... Памятуща наказ “кап-раза”, от уточнений воздержался. И, кажется, зря, потому что даже рядом с президентом России имелись не просто низшие, а откровенно тупые должности, от которых Егор мог при собеседовании отказаться. Как бы то ни было, а к Герою представлен. И посмотрим, как все закрутятся вокруг, когда указ будет подписан...

— Стоишь на этом повороте. — Взявший над Егором кураторство майор самолично привёз в какой-то лес и выставил на обочину.

— Задача?

---

\* При этом в каждом подразделении ГРУ эмблемы имеют свои отличия. У боевых пловцов место летучей мыши занимает лягушка.

- Просто стоишь. На случай, если здесь поедет Ельцин.
- Как долго?
- Неделю, три, месяц, полгода...
- И всё?
- Всё.

Это было даже не мелководье, где рыба чувствует близкую погибель. Здесь Егора целенаправленно выбрасывали на берег. Два-три взмаха жабрами — и как профессионал останешься навеки с открытым ртом. Увидев поникшее лицо подчинённого, “рыбак” снизошёл до объяснений:

— Пост круглосуточный, поскольку охрана — процесс непрерывный. Если в ней существуют промежутки, её смысл теряется. В шесть вечера смеяют. А пока стой под сосной, думай о женщинах или пиши стихи.

О женщинах думать сладко, если предполагаются будущие встречи с ними. Москва оказалась для лирических знакомств у Егора каким-то проходным двором, Таня и Вера из Журиничей далеки и не его. Стихи не сложились, бросил рифмы ещё в суворовском училище, когда занялся рукопашным боем и стрельбой. Скорее всего, последнее его увлечение службе охраны президента и приглянулось. Но зачем же опускаться столь низко? Его, арабийско-тарантула? Может быть, даже Героя? И ради чего?

После смены и вовсе духом пал. В общаге включил телевизор, а над Кремлём реют уже два флага. Красный, советский — над Горбачёвым, оставшимся сидеть “на уголке”\*, и новый российский триколор — над Ельциным, въехавшим в четырнадцатый корпус Кремля\*\*.

Два президента, люто ненавидящие друг друга, ужиться в одной берлоге не могли ни при каких обстоятельствах, так что схватка предполагалась скорая. Бедные чубы холопов... Однако говорить велух об “огошках” — объектах государственной охраны — в “девятке” было не принято. Даже менявший Егора “под сосной” майор Штиблет, получивший прозвище за то, что протопал в Кремлёвском полку от солдата до большой звёздочки, говорил о чём угодно, но только не о нравах нынешних обитателей Кремля. А тем более не затрагивал причину, по которой его самого сослали в лес. Все разговоры Штиблет переводил на своего любимца, бывшего министра обороны Дмитрия Фёдоровича Устинова.

— С ним начинал. Святой человек для страны.

Егор при Устинове носил ещё курсантские погоны, в училище министра за огромную фуражку и возраст называли “мухомором”, а тут, оказывается, святой... Штиблет не обиделся на скептицизм сменщика, но счёл нужным прочистить память:

— В сорок первом, в тридцать три года — нарком вооружения. В сорок втором — единственный военный, кто получил звание Героя Социалистического Труда. За то, что перевел все заводы на Урал.

Этих энциклопедических фактов должно было оказаться достаточно, чтобы новичку замереть от благоговения.

— А как он любил скорость! — Штиблет служил у министра водителем, и предстоящему рассказу Егор мог верить безоговорочно. — У нас же по инструкции после гибели Машерова в автокатастрофе — не более ста двадцати. Вырвемся на Кутузовский, Дмитрий Фёдорович начинает молча буравить меня взглядом. Втягиваю голову в плечи, но скорость держу согласно приказу. Маршал терпит, терпит, а потом говорит: “Если мы влетим и покалечимся, тебя вылетит Министерство обороны. Но если я тебя выгоню, тебе не поможет никто”.

— Логично, — оценил Егор больше юмор, чем непослушание маршала.

— Но ведь не выгонял! — прорвалась у Штиблета уже сегодняшняя

\* На жаргоне охраны — резиденция президента СССР.

\*\* Этот советский флаг, последним развевавшийся над Кремлём и тайно снятый ночью 25 декабря 1991 года, выкупят потом немцы и вывезут над одним из зданий в Берлине. Для истории. Или наשמки, ведь по мирному договору с Германией красный флаг вечно должен был развеваться над рейхстагом. Чтобы это исключить, все послевоенные годы купол рейхстага находился на реконструкции. Впоследствии именно немцы выкупят и мемориальную доску с дома Л. И. Брежнева.

боль, когда его убрали с какой-то должности близ “Тела”. Скорее всего, по каким-то причинам не оказался рядом с ним в день путча. — Не выгнал. А ежели спешил, сам сел за руль, чтобы не подвести меня. Кстати, тогда и пошло гулять по Москве удивление: если маршал сидит за рулем, то кто же тогда рядом с ним такой маленький и лысый?! Я сидел рядом!

Штиблет гордо погладил свою гладкую тыковку, улыбнулся далёким воспоминаниям, когда можно было гордиться даже втянутой в плечи головой...

Несмотря на грызню двух президентов, “девятка” продолжала оставаться общей и, в отличие от хозяев, лодку не раскачивала, ажиотажа не нагоняла. И это при том, что охранники, оказавшиеся в дни путча рядом с Ельциным, вышли в герои, а горбачёвцев таскали следователи. Это и понравилось Егору больше всего, что никто не стал бегать от одного хозяина к другому. Единственное, шутки пошли слишком уж прямолинейные:

— Ну что, стрелять будем друг в друга?

— Только из-за женщин.

Тем не менее, все ждали развязки. Ельцин мог поделиться последней бутылкой водки, но ни при каких обстоятельствах — завоёванной властью, так что одним четырнадцатым корпусом в Кремле он не мог удовлетвориться, а при неумении Горбачёва держать удар исход противостояния определялся заранее.

Новая должность позволяла Егору иметь сутки отдыха, и он регулярно вырывался на Полежаевку, добросовестно пересказывал новости, касающиеся президента России. Но в какой-то момент почувствовал, что его слушают вполуха, что жизнь и контакты Ельцина грушников практически не интересуют. Вывод напрашивался парадоксальный: “кап-раз” засунул его в охрану не в качестве засланного казачка, а чтобы элементарно спасти. Как ни странно, около Ельцина оказалось самое спокойное место: здесь никого не трогали, а самих охранников властью наделили такой, что любое их шевеление пальчиком приравнялось к постановлению ЦК КПСС. “Кап-раз”, вручая вымпел, предполагал его сохранность, сбережение, а отнюдь не выставление напоказ в бою...

А тут сбылось и предсказание майора из “БиДе” насчёт выдвижения. Не успел Егор пересчитать сосны в зоне ответственности, как его выдернули на очередную ступеньку тупости — в “мешки”. Отныне его обязанностью стало сидеть в машине сопровождения президента с единственной целью — выполнять команды старшего экипажа.

— Что, кровь перелили? — усмехнулся грустно Штиблет, узнав новость.

Егор вопросительно посмотрел на сменщика: это значит...

— Ну, ты теперь голубых кровей, белая кость, — пояснил майор новое физиологическое состояние сменщика. — Приближен к “Телу”.

Вот оно что! Майор, сам того не осознавая, открыл, наконец, Егору тайну его миссии. Конечно же, его готовили в камикадзе, чтобы однажды он мог направить машину сопровождения на... Додумывать до конца не хотелось. Да и не верилось, что ГРУ так глубоко влезло в политику.

Ельцин, в отличие от Устинова, на скорость и предписания не обращал никакого внимания. Он говорил, где и в какое время требовалось быть, и охрана сама выбирала и маршрут, и скорость. Сидеть у президентской машины “на хвосте” или идти перед ней “лидером” — это для охранников роли не играло, заменяемость шла полная. Только теперь капитан Егор Буерашин перестал быть просто “мешком”: он стал тщательно анализировать маршруты движения Ельцина, состояние трассы — кюветы, придорожные столбы, парапеты, повороты. Всё, что могло помочь ему в час “Х”. Если он случится. Ну, а потом... Потом, если жив останется, позабудет и имя своё.

## Глава 12

— И как служба?

“Кап-раз”, даже если и хотел выразить сочувствие Егору, добился обратного. Уж ему-то не предугадать настроение бывшего подчинённого! Но раз

командир отыскал его в выходной день, предложил погулять в Сокольниках и поинтересовался службой — пора потирать руки? Курок, надолго оставленный во взведённом состоянии, или заклинивает, или у него происходит самопроизвольный спуск...

— Руки-то чешутся по настоящему делу? — считал, как с листа, мысли Егора “Крокодил”.

Ладони вообще-то хотелось потереть от мороза, потому что конец ноября не баловал теплом, а от прошлой зимы осталась одна перчатка — вторые народ теряет так же часто, как и зонтики. А вот командир внимания на холод не обращал, хрустел себе промерзшими с краёв лужицами на дорожках да покуривал. В какие-то мгновения он забывался в своих думах настолько, что Егор чувствовал себя рядом с ним лишним. Но едва делал неосторожное движение, выпадавшее из ритма, “кап-раз” встряхивался, оглядывался вокруг и закуривал новую сигарету. Вне сомнения, всё шло к тому, что прозвучит приказ. На что?

— В Белоруссии бывал? — вдруг поинтересовался командир.

— Пролётом, проездом.

— В начале декабря планируется встреча Ельцина и Шушкевича. В Минске.

Егор слышал о её подготовке, но мало ли с кем встречается президент России. Имеет право. Но только и командир спецназа ГРУ о лишнем, второстепенном заводить разговор не станет. Пришло время “Х”? И что ещё не сделано в этой жизни? Кому, чего и сколько должен? Эх, Героя не успел получить. Лучше бы вообще не всплывало это представление...

По телу пошла мелкая дрожь, и Егор, согреваясь, глубоко засунул руки в карманы полупальто. Сжал там кулаки. Но плечи всё же передернуло от озноба, и “кап-раз” внимательно посмотрел на него сбоку. А что смотреть? Чай, не каждый день выходишь на острый копы, которое... Которое — что?

— Мне напрашиваться на мероприятие? — дал понять Егор свою готовность действовать. Но при этом хотя бы чуть-чуть заранее знать, что от него потребуется.

Командир остался доволен реакцией.

— Встреча планируется в Минске, но белорусам прошла команда готовить резиденцию и в Вискулях, это небольшой охотничий домик в Беловежской пуще. И не на двоих — Кравчук из Украины ожидается тоже.

Судя по сказанному, Егору доставалась роль информатора. Слово для гражданских крайне пренебрежительное, тянет на “стукача”, зато для разведки первичные сведения — это ключ для дальнейших действий. Правильных действий.

— И что они могут напечатать друг другу? — осторожно начал выуживать уже для себя информацию капитан.

Грушник растёр уши, то ли согревая их теплом ладоней, то ли невольно намекая, что о разговоре не должен прослышать ни один человек. Ответил, словно зачитал справку:

— Анализируй. В августе Ельцин издаёт Указ и переподчиняет себе всю исполнительную власть СССР, включая Министерство обороны, МВД, ГКБ, печать, правительственную связь. Бред, но Совету Министров РСФСР предоставляется право приостанавливать любое распоряжение кабинета министров СССР. В октябре под юрисдикцию России переходят вся наука и высшая школа СССР. Ноябрь. К России переходит Госбанк, вся прокуратура, включая военную. Продолжать?

— Скоро от СССР останется только должность Горбачёва, — согласился спецназовец.

— В состав российской делегации вкупе с Ельциным включены Бурбулис, Гайдар, Шахрай, а как они ненавидят советскую власть, говорить излишне. Ориентирован на Запад Шушкевич. Референдум на Украине вообще прошёл в пользу отделения от СССР, и Кравчук с этого конька теперь не слезет. Так что желательно знать обстановку на встрече из первых уст.

— А Горбачёв что?

Усмешки командира в усыхватило, чтобы Егор сам же и ответил себе: с президентом страны каши не сварить. Если не пересолит, то сожжёт.

— Против Горбачёва и играют. А он сопли жуёт. Поработай.

Что ж, приказы иногда отдаются и вот так обыденно, без стойки “смирно” и металла в голосе. Тем более “кап-раз” уже и не командир Буерашину, и вообще — не дело Главного разведуправления Генерального штаба расшифровывать словоблудия политиков. Спецназ — он там, где война, где реальный противник...

— Сам ни при каких обстоятельствах в одиночку ничего не предпринимай. Но когда вернёшься — встретимся.

В конце аллеи показались мужчина и женщина, и, увидев их, “кап-раз” протянул руку для прощания и поспешил на новую встречу. Егор в задумчивости вернулся в общежитие. Значит, никаким наконецником никакого копыя ему не нужно становиться. И ни к чему особенному можно не готовиться. Радоваться или огорчаться? Солдат на войну не спрашивается, но и отказываться от неё погони не позволяют.

Вискули — это три запылённых снегом деревянных коттеджа, банька, хозблок да сам охотничий домик, построенный в 1957 году по указанию Никиты Хрущёва. И двигала им не блажь, но зависть, когда во время визита в Югославию его вывезли на охоту. Организация отдыха превзошла все ожидания, и Хрущёв, не сделавший ни одного промаха, возжелал занять что-либо подобное в СССР.

Впрочем, вопросы истории — не для охраны. Её дело — зачистка. Проехать от военного аэродрома “Засимовичи”, где сядет самолёт с Ельциным, до Вискулей: осмотреть качество дороги, оценить безопасность поворотов. Деревья, которые теоретически могут упасть на кортеж, спилить. Это сажать в Беловежской пуще ничего нельзя, лес должен оставаться девственным, самовоспроизводящимся, иначе исключат как заповедный из списка ЮНЕСКО. У съездов на лесные дороги, откуда возможно появление лыжников или даже зайца, выставить переодетых в форму гаишников сотрудников КГБ. Вынюхать все углы в здании, где будет находиться Дед. Вычертить схему ходов-выходов, окон, дымоходов и печных труб. Перекрыть, замуровать, опечатать, зачистить лишние. Проверить всех живущих в округе. А в первую голову тех, кто окажется приближен к “Телу”, — егерей, истопника в бане, поваров. Впрочем, кухню обязалась привезти с собой минская команда, что значительно облегчало задачу.

В российской охране набралось человек двадцать, так что свою работу завершили за полдня. К вечеру 6 декабря подкатил присланный из Москвы персональный ельцинский “ЗИЛ”. Начал крепчать мороз, и машину от греха подальше загнали в тёплый гараж, выдворив на холод белорусские “Волги”.

Шушкевич прислал пятерых охранников, которые не посмели что-либо возразить россиянам. Кравчук оказался чуть “подороже” — от Украины прибыло с десяток парней, но они держались особняком, словно подчёркивая: всё, ребята, отныне табачок и сало врозь. С тем и разошлись по закоулкам резиденции переспать ночь. Утром первыми поскакали прогревать заиндевевшие машины сябры. Официальный протокол неизменен: первым на объект прибывает хозяин резиденции, чтобы самолично потом встречать гостей у трапа самолёта или у крыльца.

В белорусской делегации больше всего мельтешили корреспонденты и официантки, и это чуть успокоило Буерашина: на тайную вечерю свидетелей не приглашают. Да и с чего “кап-раз” взял, что встреча таит опасность? Для кого? Сработало профессиональное недоверие к тем, кто исподтишка твякает на хозяев? Но достаточно взять хлыст, и любая моська подожмёт хвост, заюлит и, если не примется лизать руку, то заползёт под диван. Или командир боится, что Горбачёв как раз и не способен взять хлыст?

Вторыми схватились за рации украинцы — на подлётном времени находился самолёт Кравчука.

— Берите наши машины, — кивнул им Шушкевич, решив не ехать по

морозу на аэродром. Обернулся к стоявшему за спиной премьер-министру: — Всё же прибыл Макарыч. Никуда не делся.

— Это в Москву он ни ногой, — ответил Кебич. А вздохнул в предчувствии проблем: — Надо ждать, что будет настаивать на чем-нибудь более серьёзном, чем просто разговоры.

За плечами президента Украины был референдум, на котором шестьдесят процентов проголосовало за самостоятельность. Результату откровенно завидовал Шушкевич, уважая политическую силу соседа. У Кравчука — сила, у Ельцина — дурь. Прокрутите между такими соседями...

Вздохнув, пошёл на второй этаж смотреть помещения, подготовленные для гостей. Хотя было бы из чего выбирать: в резиденции имелись всего четыре комнаты, пригодные для жилья. Ельцину отвели самые комфортабельные апартаменты, предназначавшиеся некогда для Хрущёва. Для себя Шушкевич выбрал деревянный, машеровский коттедж, который усиленно протапливали. Держали под парами на непредвиденный случай и оставшиеся два домика.

Егор Буерашин, памятуя разговор с командиром, старался вникать во все детали, отлавливал обрывки любых фраз. Но они пока ничего не проясняли. Или политические реверансы намного хитроумнее армейских тактических уловок? В бою уже знал бы, куда вызывать огонь артиллерии, где самому поднимать людей в атаку. Как ни крути, а войны выглядят более честным занятием, чем игры политиков. Наверное, прав был, когда умолял не идти в политику тех, у кого кожа тоньше, чем у носорога...

Время тянулось в ожидании Кравчука, а по большому счёту — Деда. Как ни старались руководители Украины и Белоруссии строить из себя равных братьев, но именно они больше всех понимали, что дела начнут крутиться от состояния и настроения Ельцина.

— Только бы держался на ногах, — переговаривались меж собой телевизионщики. — Из минской встречи так и не смогли выбрать ни одного трезвого кадра.

Приметив Егора, прикусили языки, уткнулись в камеры. Уткнулся в пол взглядом и он сам. Парадокс: политика страны определяется тем, насколько пьян её правитель!

Кравчук оказался значительно ниже ростом, чем виделся по телевизору. Этот зрительный обман играл для политиков исключительно важную роль, превращая едва ли не в недосягаемых божков. А на деле, оказывается, они такие же, как все, — чихающие, сморкающиеся, мёрзнущие человечки. Отведи от них телекамеры, пусти по улице без охраны — ни одна собака не обратит внимания и не гавкнет.

Время клонилось к вечеру, из аэропорта по российскому борту № 1 не поступало никаких известий, и Егор слонялся без дела.

— У кого-нибудь случайно нет казахстанского флажка? — метался по резиденции шеф белорусского протокола. — Может, кто-нибудь помнит, хоть как он выглядит?

На встрече ждут и Назарбаева? Егор невольно пожалел об этом: казахстанский президент казался мужиком рассудительным, без националистических вывертов. А может, это к лучшему: возьмёт нагайку и по-азиатски прочистит славянские мозги?

Мороз крепчал, усиливался снег за высокими окнами, сооружая для каждого пня персональную шапку Мономаха. Нашли зелёный флажок с восходящим казахстанским солнцем. Всё же не зря, видимо, “кап-раз” положил на белорусскую встречу глаз: в послепутчевское время сход подобного формата вдали от Кремля, да ещё без приглашения Горбачёва, ожидался впервые. Ясное дело, в Пуце на каждом суку должны сидеть ребята из КГБ. А может, и сидят.

Прошелестело, наконец, сообщение и для российской “девятки”: самолёт с Первым на подлёте. Начал торопливо одеваться Шушкевич, вознамерившийся, в отличие от Кравчука, встречать Ельцина лично. То, что у президента Украины не оказалось своей машины, выходило на пользу: Леонид Макарович и Борис Николаевич терпеть не могли друг друга, и вместе их



свела только ещё большая ненависть к Горбачёву. Так что, чем дольше гости не будут видаться, тем спокойнее Беларуси.

— Кравчука займите, организуйте ему охоту, что ли, — торопясь к машине, бросил на ходу Шушкевич.

От длинного хвоста свиты отстали нужные люди, поздовали директора заповедника Сергея Сергеевича Балюка. Тот пожал плечами: проблема, что ли, с лишним кабанчиком? Выгоним...

Ельцин, к сожалению, оказался верен себе. Даже Шушкевич отвёл взгляд, когда в проёме самолёта обозначилась покачивающаяся фигура российского коллеги. Дело усугубилось тем, что на военном аэродроме не оказалось трапа, и к борту лайнера пришлось приставлять техническую стремянку. Её со всех сторон придерживала аэродромная обслуга, но под неустойчивой тяжестью гостя она всё же заскользила вдоль самолётного борта. А тут ещё прибывшие машины включили фары, и ослеплённый, теряющий устойчивость российский президент кувыркнулся вниз.

Но “личка” — великое дело! — телохранители рядом с охраняемым лицом... Вот кто не даёт небожителям прилюдно падать носом в салат или на бетонку аэродрома! Не позволяет им проявить свою истинную суть. Вот кто надёжнее телеэкрана лакирует и выставляет на обозрение свой объект в наиболее выгодном свете!

Успела охрана ухватить, удержать своё непутёвое “дитя”. Замахали руками — уберите свет, это он стал причиной конфуза. Уж на что Егор никогда особо не уважал “всенародно избранного”, и тот вслед за Шушкевичем отвёл взгляд, стараясь не замечать усмешек белорусов.

Не спасли ситуацию и полтора часа, отведённые Ельцину для отдыха в резиденции. По крайней мере, на ступеньках маршевой лестницы он появился со сбитым набором галетуком и вылезшей из брюк рубашкой. Один из фотокорреспондентов вскинул камеру, но тут же получил по рукам от собственной белорусской охраны. Пишущая братия, поняв рамки дозволенного, на всякий случай поспешила убрать в карманы даже блокноты.

Самого Бориса Николаевича публика внизу чем-то не устроила. Не сказав ни слова и даже не кивнув для приличия, прямым ходом направился в обеденный зал, где мелькали в белых передничках официантки. За ним вынужденно тронулись остальные, выталкивая вперёд Шушкевича: хозяин отвечает не только за стол и кров, но и за поведение приглашённых.

— Часа на два ужин, потом баня, — кто-то за спиной у Буерашина шёпотом расписал распорядок предстоящего вечера. “Кап-разу” потребовался очередной компромат по пьянке? Что-то дешёво... — А тут бы минут по шестьсот на каждый глаз, — не унимались за правым плечом.

— И грамм по триста на них же, — добавили уже из-за левого. Может, первые сатана и ангел нашли точки соприкосновения.

Кто кого в итоге услышал после ужина, роли уже не играло: президентская троица гуськом пропетляла меж сугробов в баньку, отправив остальных отдыхать в гостиницу. В ней оказалось холоднее, чем на улице, и корреспонденты, народ более ушлый и коммуникабельный, набились в одну комнату. Принялись грушироваться и охранники. Егор своим для них так и не стал, пить со всеми не хотелось, и потому ушёл к себе в номер. Привычно разделся, однако через несколько минут облачился обратно в свитер, а затем и в полуальто. Это не спасло, и спать улёгся в подвязанной под подбородком шапке, укрывшись сдёрнутым со второй кровати матрасом. Знала бы охрана того же Буша, в каком виде пребывает “личка” президента России — посинела бы от зависти.

К утру посинел сам Буерашин, вкупе с корреспондентами и “личкой” сразу трёх президентов, спавшими вповалку там, где грелись. Небритые, покормленные в дымном буфетике тёплой коричневой водичкой, названной чаем, и яичницей с зелёным горошком, они выдвинулись к переполненному огням, запахом кофе и тепла охотничьему домику — пусть как к отчиму, но в надежде получить хоть немного обогрева и пищи.

Внутри здания лунатиками бродили с листочками бумаг такие же невыспавшиеся, небритые Козырев, Гайдар, Шахрай и Бурбулис. Они вычитывали

какие-то тексты, морщились от их корявости, черкали слова, согласовывали друг с другом варианты и расползались по разным углам. Похоже, текст документа нужен был только российской делегации, и его подготовку удачно спихнули молодой поросли российской политики более сообразительные украинские и белорусские коллеги, которые продолжали нежиться в постелях.

— А что, телефон не работает? — вдруг поинтересовался вечно любопытный фотокорреспондент, ходивший слегка боком, на котором висело больше всего аппаратуры. Все озадаченно переглянулись: в резиденции главы республики отсутствует связь? Пример с Горбачёвым в Форосе во время ГКЧП был слишком свеж...

— Бурашин! — позвал со второго этажа старший группы, всю ночь продежуривший у дверей Ельцина.

Егор поднялся по ступеням, отрапортовал и перевёл взгляд на худощавого мужчину, стоявшего рядом с полковником. Лишних в домике быть не могло, и начальник представил:

— Это здешний лесничий, Георгий Константинович. Поедете с ним в Каменюки, привезёте машинистку. И не забудьте захватить бумагу и копирку. Естественно, машинку тоже. Чего дрожим?

— Северный полюс, — дал характеристику гостинице Егор.

— А что, не знаем, как согреться? — удивился полковник.

— Я на службе.

Тот едва не сорвался: “А мы?” — но в это время из комнаты напротив вышел Кравчук.

— Как Борис Николаевич? — с ехидной усмешечкой поинтересовался он у российских охранников.

— Выспался, бодр, уже работает, — заученно отчеканил полковник.

Кравчук снова усмехнулся, предупредил:

— Если вдруг поинтересуетесь мной, я на прогулке.

Егор вместе с ним стал спускаться вниз, но на последних ступеньках отстал, чтобы не открывать Кравчуку входную дверь: в швейцары не нанимались. Тем более к таким, как Леонид Макарович. Хочется самостоятельности — отныне и толкайте сами свои двери.

“Уазик” из местного гаража уже ждал у крыльца, и, объехав заваленные сугробами клумбы, посыльные нырнули в узкую лесную дорожку. Снег здесь расчистили под одну колею, и приходилось надеяться, что навстречу никто не выедет.

— Далеко? — спросил Егор у лесничего. “Уазик”, хотя и обтянутый внутри утеплителем, напомнил номер в гостинице, и хотелось побыстрее вернуться в тепло.

— По птичьему полёту — километров десять, напетляем все двадцать, — завидно кутался в заднем сиденье в полушубок лесничий. В таком одеянии хоть сотню накручивай!..

— Что тут у вас интересного помимо зубров? — попробовал отвлечься от холода Егор.

— Обитают ещё пятьдесят пять видов млекопитающих, двести четырнадцать — птиц, семь — пресмыкающихся...

“И ещё три вида поселились сегодня ночью”, — отметил про себя капитан, особо не вникая в пространный ответ лесничего.

Утренний снежок прекратился, но берёзки под его тяжестью нависали над дорогой заиндевельными шлагбаумами. Деревья так и не смогли загореть за лето, но особо удручающий вид представляли не они, а участки со старыми соснами, потерявшими хвою — словно высветились у леса рёбра, обглоданные зверьём. Спасала картину мельтешившая среди просветов лёгкая серебристая изморозь — так летом при заходе солнца вьётся столбиками у них в Журиничах над озером мошкара.

На скорости проскочили центральное здание заповедника. Лесничий лишь успел показать в замерзшее окошко памятник, на гранитном постаменте которого застыл за “максимум” пулемётчик:

— В сорок первом трое бойцов здесь в полном окружении положили роту ээсовцев.

“И теперь трое собрались, да ещё ровно через пятьдесят лет”, — вновь машинально и без какой-либо связи отметил Егор. Командировка не нравилась ему ни по каким параметрам, а уж если исходить из бытовых условий, то лучше добывать воду в песках Аравийского полуострова, чем хранить остатки тепла в родном советском “уазике” посреди Европы.

Каменюки оказались основательно вытянутым вдоль центральной улицы селом. И, конечно же, по закону подлости секретарша директора жила на самом дальнем его краю. Видать, собирались “беловежские зубры” в Вискули всё же спешно и, скорее всего, не намечали ничего подписывать, ежели не захватили собственных машинисток. А вот после ночной баньки, видать, спохватились: если не появится пусть и дежурного, но письменного сообщения о встрече, у Москвы и народа возникнет вопрос: о чём шептались? Это в разведке молчание означает жизнь, а для политиков закрытый рот — смертельный приговор...

— Всё, Юра, тормози, — попросил водителя лесничий, когда поравнялись с раскрытой калиткой в одном из палисадников. В доме, выкрашенном в голубой цвет, из трубы валил густой дым, во дворе слышались голоса. Вроде рановато хозяйничать зимой.

— У-у, пенёк, — стукнул себя по лбу лесничий. — Какой сегодня день?

— Восьмое декабря. Суббота. Выходной, — перечислил водитель все параметры наступившего дня.

— У её мужа сегодня юбилей, шестьдесят лет! — сконфузился Георгий Константинович, захлопывая обратно дверцу кабины. — Хуже татар будем.

Он посмотрел на капитана, признавая его за старшего и испрашивая совета. Егор пожал плечами: если есть замена, давай возьмём другую машинистку. Хотя приказали везти именно секретаршу директора, с собственной машинкой...

“Ничем не могу помочь”, — развёл руками Егор, торопя Константиныча. Знобило всё сильнее, и Егор испугался: не хватало ещё заболеть!

## Глава 13

Евгения Андреевна Потейчук примеряла к будущему праздничному столу скатерть, когда в сенцах завозились с дверной ручкой. Не справившись с ней, постучали.

— Андреевна, ты дома? — узнала голос главного лесничего заповедника. — Здравствуйте вам в хату.

— Заходи быстрее, не студи дом, — впустила внутрь хозяйка неожиданного утреннего визитёра. Муж хотя и не работает в дирекции, а вот начальство приехало поздравить. Приятно...

— Павел Григорьевич, с юбилеем, — протянул гость в знак особого расположения к хозяину обе руки для пожатия. — Извини, что без подарка — всю ночь на работе. И супружницу твою на часок-другой велено привезти.

— Кому там неймётся в выходной, что за срочность? — удивилась Евгения Андреевна.

— Да директору позарез потребовалось отпечатать какой-то документ. Думаю, ненадолго. Назад, не волнуйся, привезём.

Хозяйка обернулась на невестку, протиравшую фужеры. Та махнула краем переброшенного через плечо полотенца: езжайте, справимся, до прихода гостей ещё половина дня.

Евгения Андреевна набросила шубу, надела шапку и теперь уже сама подтолкнула бусурманина к двери — только быстрее. По привычке намерилась сесть впереди, но рядом с водителем располагался сумрачный незнакомый парень, она здравстнула с ним и поглядела на коллегу: кто? Лесничий махнул рукой — всё потом.

В дирекции их никто не ждал, и хотя сопровождающий остался в машине, Константиныч продолжал играть роль простачка:

— Нам тут взять лишь машинку и листы с копиркой. Балук в Вискулях.

— Так что сразу не сказал! Это же не ближний свет, — расстроилась Евгения Андреевна. Что за полуправда? Вроде и не обманули, а рассчитать время возвращения к гостям не можешь.

Лесничий взял со стола синюю “Оптиму”. Вилка в разболтанной розетке подгорела, и шнур не желал выдергиваться, отпускать машинку с исконно рабочего места. Уметь бы кому-то из них расшифровывать тайные знаки...

— Темнишь что-то, Константиныч, — собрав папку с бумагами, пожурела коллегу секретарша. Помогла справиться с розеткой.

— Сама всё увидишь, — не стал отрицать тот важности вызова, но и язык проглотил ещё глубже. История научила: его не вырывали только немцы.

А увидела Евгения Андреевна в Вискулях скопом всех тех, кто не сходил с экрана телевизора. Слушок по дирекции ходил, что могут приехать высокие гости, но их перевидали в Беловежье столько, что если всех держать в памяти, места для таблицы умножения не останется. Но тут оказались такие чины и такие персоны, что...

— Машинистка? — подошёл к ней незнакомый полный мужчина. — Сюда.

Провёл в небольшую комнатку под центральной маршевой лестницей. За ними боком, боясь наступить на волочившийся по полу шнур, внёс “Оптиму” Константиныч. Не успели разложиться, влетел с исписанными листами в длинных пальцах Бурбулис — уж его-то острое лицо с коротко посаженными глазами нельзя было спутать ни с каким другим. Как и тонкий, нудный с первой фразы голосок.

— Вам как лучше — диктовать или сами разберётесь? — шныряя глазками по листочкам и всем углам комнаты, спросил он.

С сомнением, но дал Евгении Андреевне возможность заглянуть в бумаги. На листках почерк оказался разный, но одинаково неряшливый, с множеством вставок и зачёркиваний, и она осмелилась:

— Лучше диктовать.

Бурбулис намерился сразу начать работу, но вошёл молчаливый парень, который сопровождал её в машине. Помог снять шубу. Протянул руку и за шапкой, но Евгения Андреевна вспомнила, что не успела причесаться, и трогать головной убор не осмелилась. Подвигала машинку, устраивая поудобнее. Вот теперь готова. Однако Бурбулиса позвали со второго этажа, он взглядом настоятельно попросил охранника выйти, и Евгения Андреевна, оставшись в одиночестве, уже спокойно заглянула в оставленные листки. Сначала выхватила несколько фраз, но потом они сложились в текст, и руки, зависшие над клавиатурой, задрожали. Испуганно оглянулась: знают ли другие, какие бумаги ей дали печатать? А Союз ССР — это СССР? “Союз ССР как субъект международного политического права и геополитическая реальность прекращает своё существование...”

Как прекращает? Когда? В честь чего? Глупость какая-то.

Рядом вырос очередной незнакомец в строгом тёмном костюме. А раз в пиджаке и при галстучке, то либо высоко партийный, либо из КГБ.

— Ну что, теперь по всем Каменюкам будешь рассказывать, что печатаешь?

Она ещё ничего не печатала. Но потому, что назвали пренебрежительно на “ты”, что испортили юбилей мужа, что ничего не сказали заранее, что в шапке становилось жарко, что документы государственные, а не для заповедника, а подошедший даже по телевизору не знаком, — огрызнулась:

— Будь слишком разговорчивая, не работала бы тут.

— Извините, — понял свою ошибку надсмотрщик и сам огляделся по сторонам: не заметил ли кто из начальства нервозность машинистки? Нервничают нынче все, но при каком-либо срыве мероприятия нагоняй получит крайний.

Вместо Бурбулиса в комнатку бочком протиснулся министр иностранных дел России Козырев. Бочком же, как сова, посмотрел на бумаги. Она отметила его крючковатый и словно бы прищемлённый нос — будто однажды

просунул его куда не надо, а дверь взяли и прихлопнули. Но то были личные проблемы министра, а ей требовалось печатать. Только вот руки продолжали дрожать.

— Соглашение, — немного гнусаво начал диктовать Козырев.

Терпеливо дождал, пока Евгения Андреевна сменит листы — в первом же слове от волнения сделала ошибку. Чувствовала, что российский министр торопится, но подгонять, слава Богу, не стал, и она осталась ему благодарна.

— Соглашение, — повторил Козырев, хотя увидел, что Евгения Андреевна уже перепечатала заглавие. Тоже волнуется? — Принимая во внимание...

Заглянул мимоходом знакомый охранник. Его лицо с красными воспалёнными глазами выражало озабоченность, словно по обстановке в комнатке он хотел понять, какой важности документ печатает попутчица, но Евгения Андреевна уткнулась в машинку со стёртыми до металлического блеска краями рядом с клавиатурой. Кто тут чего удумал — её дело маленькое, она из Каменюк, ей не тягаться с верхушкой из Москвы, Минска и Киева. Чай, не дурнее её. А охранничка жалко — похоже, заболевает. Чаю бы с медом ему и пропотеть... Пожалела и своих, домашних — как там без неё соберут стол? И сколько времени ей придётся здесь пробыть? Надо выкроить минутку позвонить домой, предупредить о задержке...

Козырева вновь сменил Бурбулис. Не успев начать диктовку, вернулся на чей-то возглас обратно. Нервозность гостей передалась и ей, стало доходить, что документ, который она печатает, — это серьёзно, очень серьёзно, то есть, по-настоящему. Но нет, не может быть! Прямо вот не нашлось во всём Советском Союзе на такой документ машинистки, кроме как в Каменюках!? Скорее всего, она распарилась в тепле и недопонимает мудрёных фраз...

— Печатаем дальше, — раздалось за спиной, и Евгения Андреевна вздрогнула: в комнатке незаметно обосновался небольшой человечек с чёрными усами. По телевизору тоже не раз его видела, но фамилия сразу не вспомнилась, потому что даром была не нужна.

Незнакомец прочёл из-за её плеча уже отпечатанное и безошибочно продолжил текст, которого она ждала с наибольшим страхом:

— "...констатируем, что Союз ССР как субъект международного политического права и геополитическая реальность прекращает своё существование..."

Далее перечислялись многозначительные и непонятные пункты, статьи, ссылки и уверения всех в вечной дружбе. После последнего, четырнадцатого пункта, в котором столицу нового государства переносили в Минск, диктовщик крикнул в дверной проём:

— Ну что, оставлять подпись под Назарбаева?

— Оставляй. Он уже в Москве.

— Надо заканчивать, — скорее для себя, чем невидимого собеседника, проговорил усач и так резко вырвал отпечатанные листки из каретки, что валик взвизгнул. Наэлектризованная копирка не хотела отлипнуть от бумаги, и Шахрай — да-да, точно Шахрай, она вспомнила, по-украински это ещё означает "мошенник", смеялись над фамилией, — нетерпеливо стал сдирать её с документа ногтями. Копирка взамен притянулась к его волосатой руке, и "мошенник" принялся отмахиваться от чёрных листков, как от дьявольских меток.

— Вам принести кофе? — на этот раз в комнатку заглянула официантка с подносом, и Евгения Андреевна торопливо кивнула — да-да, дайте попить. А ещё лучше — отпустили бы домой. Там гости, там семья, там всё понятное и родное, и соседи по ночам топоры и косы друг на друга не точат...

— Машинистку отпускать? — вновь кто-то "позаботился" о ней.

— Пусть посидит. Ждём до последнего, вдруг Назарбаев всё же решится...

До последнего ничего не сообщали и журналистам, которых захватил по личной инициативе в Вискули премьер Белоруссии Кебич. Из гостиницы, в отличие от охранников, их не привозили до тех пор, пока не расставили последние запятыя в тексте Соглашения: чтобы не пугались под ногами, не задавали лишних вопросов и раньше времени не проговорились. Хотя кому проговариваться? Связь в резиденции оставили только внутреннюю, из посторонних — директор заповедника, лесничий да машинистка.

Вообще-то подписывать на встрече ничего не планировалось. Поговорить узким кругом о том, как урезать права доставшего всех Горбачёва, — да, тут желание у всех совпало, в первую очередь, у Ельцина, который не мог простить президенту СССР свои предыдущие унижения.

Вовремя подсутились и те, кто ходил под Борисом Николаевичем. Шахрай выдвинул саму идею — Советский Союз как бы легально существует, но уже ничем не управляет. У министра иностранных дел России Козырева от одного этого возбуждённо заблестели глазки. Бурбулис пошёл дальше и осторожненько, по-лисий выглядывая реакцию окружающих, выстроил фразу про то, что СССР как субъект международного политического права и геополитическая реальность прекращает своё существование.

Едва это прозвучало вслух, в делегациях онемели. Даже Кравчук, ратовавший за наибольшую самостийность, посмотрел на Ельцина, ожидая грома и молнии на голову зарвавшегося госсекретаря. Но президент России или вообще не слушал выступавших, или после ночной бани до него просто не дошёл смысл произнесённого. Тут даже белорусы хмыкнули: раз русским ничего не надо, то им — тем более. Заварили москали кашу, пусть и готовят её до конца. Соглашение — так соглашение!

Замешкались на другом — очень хотелось подтянуть на подпись хотя бы ещё одного президента из союзных республик. Более всего подходил Назарбаев, авторитету которого в стране отдавал должное даже Ельцин. Ради этого даже пошли на изменение заглавной формулировки документа: вместо первоначально одобренной фразы “Союз славянских государств” записали — “независимых”.

Однако время шло, а вестей от казахстанского президента, которого попросили срочно прилететь в Беларусь, не поступало. Приходилось признавать очевидный факт: Нурсултан Абишевич или по-восточному хитро решил выждать на стороне, или его самолёт просто не выпускают из Москвы, где он приземлился на дозаправку. Так что машинистку можно было отпустить: под документом, к сожалению, останутся лишь три подписи. Точнее, шесть — для большей его легитимности решили присовокупить к главам государств и премьеров.

Где-то к четырнадцати часам в фойе стали заносить столы. В центре установили бело-красно-белый флажок Белоруссии, по правую руку — российский триколор, по левую — жовто-блакитный Украины.

— Авторучки, надо положить на стол авторучки. Вдруг у них не окажется.

— Попросите у журналистов.

— Куда подевали папки?

— Кто отвечает за журналистов? Никаких вопросов Ельцину! Никаких!

Милая бестолковщина, если не знать уровень встречи.

Ельцин как раз спускался по лестнице с левого крыла анфилады, нависавшей над фойе. Как ни хорохорились, ни старались держать независимый вид Кравчук и Шушкевич, главным действующим лицом оставался Борис Николаевич. Подними он сейчас на смех ночное эпистолярное наследие своих помощников, выгоны их взашей на мороз прочистить мозги, все дружно закивали бы, возможно, даже с облегчением, что затея сорвалась. Для того и наступает утро, чтобы стать мудрее себя вчерашних...

Но Борис Николаевич молча направился к своему флажку. К столам торопливо шагнули и Кравчук с Шушкевичем: у Ельцина что с правилами протокола, что с нормами приличия всегда было туговато. Плюхнется хозяином на стул первым, а ты потом мельтеша, изображай равноправность...

Успели, порадовав телевизионщиков синхронностью. Шефы протоколов подсунули папки с документами. Ни речей, ни гимнов, ни благодарности, ни сожаления. Шесть размашистых подписей в гробовой тишине — и всё! Оказалось, чтобы прервать существование империи, не нужны ни войны, ни миллиарды, — надо просто вырастить амбициозных политиков, столкнуть их лбами, заставить их грызть друг друга. Старееющее Политбюро не захотело делиться властью с выросшим подлеском, и молодая поросль сама рванула вверх так, что затрещали суставы-сучья у вековых дубов. Хотя какая молодая! И Ельцин, и Кравчук, и Шушкевич десятилетиями подвизались на ниве политпросвещения и пропаганды КПСС. Неуёмные амбиции и месть двигали ими в этот день.

Заместитель главного редактора белорусской “Народной газеты” Валерий Дроздов по журналистской привычке зафиксировал время подписания документов, а по сути, распада СССР — 14 часов 17 минут. По иронии судьбы, на циферблате его часов были прорисованы контуры Советского Союза!

— Ну, а что же никто ничего не спрашивает? — удивился, явно красуясь перед журналистами, Ельцин.

Зная непредсказуемость российского президента, Кравчук и Шушкевич тоже вышли вперёд. Вопросов, согласно предварительной установке, не возникло, и тогда Ельцин сграбастал врагов-единомышленников, подтянул к себе: вот так мы всегда будем вместе.

Из столовой выплыли официантки с подносами, на которых стояли фужеры с шампанским. Раздался хрустальный звон, приглушённые здравицы. Веселья тем не менее не получалось, не говоря уже о торжественности. Вольно или невольно, но делегации стали группироваться вокруг своих лидеров, одинаковыми полосами магнитов отталкивающих друг от друга. Премьер Беларуси даже вышел на улицу, несмотря на тридцатиградусный мороз. Вгляделся в сумрачное небо.

— Не летят? — поинтересовался у возникшего рядом фотокорреспондента АПН Юрия Иванова, не доверяя своему слуху и зрению.

— Кто?

— Бомбить.

Удивиться или уточнить слова премьера Иванов не успел — из здания вышли директор заповедника Сергей Сергеевич Балюк и наконец-то освободившаяся машинистка. Медленно, боясь поскользнуться, они сошли на вычищенный к приезду гостей тротуар, направились к воротам, за которыми их ждал заиндевший “уазик”. Осознание того, что они оказались первыми, кто узнал о ликвидации Советского Союза, что своими глазами и ушами всё видели и слышали, а более того, и печатали документ, повергло их в глубокое смятение. Но молчать оказалось ещё тягостнее, и Евгения Андреевна побабьи взяла вину на себя:

— Развалили мы с вами Советский Союз, Сергей Сергеевич.

Оглянулись назад, на светящийся огнями домик, где продолжалось настороженное веселье. Балюк развёл руками: а что мы могли сделать?

— Если бы знала, оделась бы в траурное, — хоть так попыталась оправдаться Евгения Андреевна.

А у противоположных ворот, которые вели к аэродрому, заходясь в капсуле, мёрз Егор Буерашин. Едва поняв суть беловежской встречи, он выскользнул из резиденции и перекрыл отход заговорщиков к самолётам. Не сомневался: раз о встрече знали в Москве и, скорее всего, догадывались о возможных решениях, то с минуты на минуту в Вискулях должны появиться десантники или обыкновенная зековозка.

Но время шло, гул в доме нарастал, а никто не летел и не ехал. Горбачёв надеется, что всё рассосётся само собой? Тогда где КГБ? Под каким кустом, на какой ветке сидят и прячутся? В крайнем случае, почему молчит “кап-раз” со спецназом ГРУ? А если изначально был политически бессилен, зачем послал его сюда? Констатировать факт? Завтра в газетах обо всём можно прочесть, не влезая в тапочки. Или заговорщиков будут брать на аэродроме? Или каждого в отдельности по прибытии в Москву, Минск

и Киев? И неужели ещё кто-то будет носить им сухари в Лефортово? А уж памятника, как советским солдатам из 1941-го года у въезда в заповедник, им точно никогда не поставят...

Ельцина, Кравчука и Шушкевича занимало иное: кому и как сообщить о свершившемся? Без огласки Соглашение как бы не фиксировалось, не обрело силу. Ельцин показал рукой на второй этаж, и Кравчук с Шушкевичем пошли, как на Голгофу, вверх по ступенькам в номер российского президента. Дождавшись, когда закроется дверь, Ельцин не без удовлетворения назвал первого адресата:

— Я думаю, теперь надо и Михаилу Сергеевичу сообщить.

При этом усмешкой дал понять, что лично он этого делать не станет. Кравчук стоял с каменным выражением лица: основное для меня сделано, больше я ни в чём не участвую. Ельцин, прекрасно поняв Леонида Макаровича, запустил бильярдный шар в белорусскую сторону:

— Станислав Станиславович, ты с ним больше всех разговариваешь, позвони. Ну, и мировую общественность, наверное, надо проинформировать. Кому сообщим первому?

— Ты его лучший друг, — не называя имени и страны, вернул шар российскому президенту Шушкевич.

Так и стали созваниваться: о неприятном — Шушкевич в Москву, Ельцин о радостном — американскому президенту Бушу. Козырев, владевший английским в совершенстве, подсел рядом за переводчика. Первыми зацепились они и за абонента.

— Джордж, привет.

Ельцин мог себе позволить подобную фамильярность в общении с Бушем хотя бы потому, что в российских структурах власти к этому времени работало около двухсот американских советников, перелопачивавших законы, политику и экономику страны на американский лад.

В это время отозвался и Горбачёв. Узнав голос белорусского председателя Верховного Совета, вдруг неожиданно и заискивающе обратился к нему на “вы”, чего никогда не делал:

— Что там у вас?

Ельцин отвернулся, чтобы разговор Шушкевича с Кремлём не перебивал его беседу с Вашингтоном. Собственно, Горбачёв улетал, как олимпийский Мишка, в небытие и уже ни на что не влиял, ничего не озарял и ни к чему не вёл. У него уже отобрали судейский свисток и отстранили от игры, но он, не желая верить в случившееся и свою нынешнюю никчёмность, начал кричать Шушкевичу от кромки поля:

— Да вы понимаете, что вы сделали?! Вы понимаете, что мировая общественность вас осудит? Гневно!

Шушкевич отстранил от уха трубку, давая и остальным послушать разговор и оберегая собственный слух.

— Что будет, когда об этом узнает Буш? — не унимался Горбачёв.

Ельцин уже простался с американским президентом, и Шушкевич пожал плечами:

— Да Борис Николаевич уже сказал ему обо всём. Нормально он воспринял.

В трубке, наконец, установилась тишина, и Шушкевич, используя момент, отключил аппарат. Не глядя в глаза друг другу, а ещё больше боясь, что телефоны зазвонят и придётся вновь объясняться, заговорщики поспешили выйти из апартаментов Ельцина. Когда-то именно в них провёл свою единственную бессонную ночь Хрущёв. Потом уверял всех, что находится в таком номере можно лишь беспамятно пьяным...

Первыми Вискули покинула украинская делегация — едва начало темнеть. Под покровом уже сплошной темноты увёз на аэродром Ельцина его персональный “ЗИЛ”. Проводив гостей, дал команду на отлёт и Шушкевич. Все трое клятвенно договорились лететь в Минск и дать в новой столице СНГ совместную пресс-конференцию, но в небе самолёты взяли курсы в разные стороны. Лидеры трёх государств разлетелись, чтобы больше никогда за свою



политическую карьеру не встретаться вместе. И ни разу не посетить Беловежскую Пущу\*.

Только через пять дней после прибытия из Вискулей Ельцин испугается по-настоящему. 13 декабря в Ашхабаде соберутся лидеры бывших Республик Средней Азии и в противовес славянскому Союзу предложат создать тюркский — Центрально-азиатскую конфедерацию, которая бы раскалывала бывший СССР по оси Европа — Азия. Ельцин в лучшем случае мог остаться губернатором Московского края, и потому каждые полчаса звонил Назарбаеву, умоляя вразумить собравшихся. Чаша Горбачёва не была испита им до дна только благодаря Нурсултану Абишевичу, уговорившему ашхабадских гостей повременить с созданием конфедерации: мы же все из Советского Союза, были партийными руководителями...

Не лукавил. Борис Николаевич Ельцин — секретарь ЦК КПСС. Шушкевич Станислав Станиславович более двадцати лет состоял в рядах партии. Кравчук Леонид Макарович партийной работой занялся едва ли не раньше всех — в 1960 году, и не простым клерком, а на самых острых направлениях: возглавлял отдел пропаганды и агитации, заведовал идеологическим отделом ЦК Компартии Украины. Бурбулис Геннадий Эдуардович преподавал в Уральском политехническом институте марксистско-ленинскую философию. Кебич Вячеслав Францевич заканчивал Высшую партийную школу. Премьер Украины Фокин Витольд Павлович являлся членом КПСС с 1957 года...

Во времена, когда на охоту в Беловежье ездил царь Александр II, самым зрелищным моментом считался так называемый царский штрек, когда добытые туши свозились ко дворцу и укладывались перед парадным входом. В первом ряду располагали по видам дичь, подстреленную государем императором, за ней — добычу других участников охоты. Трофеи любовно украшались гирляндами дубовых веток. Здесь же выстраивалась вся охотничья команда. По краям стояли дворцовые работники в красных рубашках и с факелами в руках, освещающая счастливые лица участников праздника. Начинались подсчёт туш и их взвешивание, после чего устраивался грандиозный ужин. Собирали на площади и жителей Беловежи, чтобы раздать им часть добычи.

Как, в какой последовательности выстроится в истории участники охоты на СССР? Захотят ли они, чтобы ярко горели факелы, освещающая их лица? Кто будет взвешивать и оценивать трофеи? Эти мысли не давали покоя Егору Буерашину, пока летел до Москвы и добирался до дома. Кого обманывала всю жизнь беловежская троица — себя или других? Зачем десятилетиями призывали и вели за собой коллег, подчинённых, студентов, целые народы, если ни во что не верили? Или это и составляло их истинную натуру — ломать жизнь другим, мешать другим, надзирать над другими и поучать их? предавать и бросать! И вновь тащить, звать и увлекать за собой. Кто же они?

Милые Августины. По оперативной терминологии — “кроты”, выгрызающие всё изнутри. И неужели он им будет служить дальше?

## Глава 14

Егор появился в хате настолько неожиданно, что Фёдор Максимович выронил из рук пакет с макаронами. Трубочки покатились по полу под ноги сыну, и тот, чтобы ненароком не наступить на них, отступил к порогу.

— Ты... как?

— Автобусом. — Егор наклонился, стал собирать макароны. И по той разнице, как шумно привозили сына в прошлый раз и как втихомолку оказался он дома сейчас, — в том угадывался Фёдором Максимовичем плохой знак.

---

\* Бориса Николаевича, приезжавшего в 1995 году на празднование 50-летия Победы в Брестскую крепость, пригласят посетить и Беловежье. Ради такого случая там даже обновили теннисный корт, завезя для него из Чехии песок. Но президент России, словно совестясь воспоминаний, уклонился от приглашения.

— А...

— Не стал никого тревожить, без шума спокойнее, — прочитал недоумение отца Егор и, наконец, обнял его. И впервые почувствовал, какая худая у него спина...

Объяснение немного успокоило Фёдора Максимовича, и он затоптался по дому, хватаясь за сто дел сразу. В итоге, не одевшись, поспешил в огород. Там, разметав ногой снег, подступился к соломенной копне, притулившейся к стенке сарая. Уготованная для подстилки скотине, солома служила ещё и незаменимой кладовой для яблок. Фёдор Максимович полез рукой вглубь стожка, отыскивая на ощупь антоновки. Закладывал по осени яблоки далеко, детской рукой не долезть, потому и сохранялись до самой весны на радость внукам. А Егору будет подарок из детства, давненько он зимой не наведывался домой.

Угодил. Сын, уже награждавший подарками проснувшихся племянников, сразу ухватил яблоко, впился в него зубами. Оставив от огрызка только хвостик, заинтересовался, словно отсутствовал в селе только день:

— Как живёте тут без меня? Какие новости?

— Какие могут быть новости! Волки вон на село пошли, крутятся под свахиным забором.

Про Тузика промолчал, ребята тоже опустили головы.

— Отстреливать пора.

— Кому? Зверя не обманешь, он слабинку чует за три версты. А новости — они у вас в Москве, хоть телевизор не включай. Васька, воткни шнур в розетку.

Внук поднял с пола шнур с привязанной верёвочкой: перед сном, чтобы не вставать с постели, дёргали за неё и выключали телевизор. По экрану шла рябь, хотя Васька и попытался покрутить ручку настройки. В итоге выбрать пришлось что-то одно — либо звук, либо резкость.

— Послушаем, — остановил внука Фёдор. Сам незаметно попробовал ноги — вроде работают, можно лезть в погреб. Там и грибов баночка должна где-то затесаться, сваха пырнула по осени. Хорошо, что картошку в печь поставил вариться, да как знал — полный чугунок. — А вы чего портфели не собираете? — прикрикнул на внуков.

— Дед, так мы же с третьего урока, — глянул Васька на ходики.

В селе зимой испокон веков учатся днём, когда не так холодно и больше света в классах.

На крыльце затопали, сбивая снег с обуви, и в дверях появился военком, вновь зацепившийся раненой ногой за высокий для него порожек.

— Непорядок! — с ходу напал он на Егора. — Мне говорят, видели вас и точно поехал на автобусе. А я не поверил, потому как нельзя так. Думал, догоню, высажу и заставлю пешком идти. С приездом.

Вновь первое внимание уделил Егору, потом лишь хозяину. А Фёдору Максимовичу это только в радость — гордость за детей и внуков сияет ярче собственных дел. И спокойствия больше: раз майор рядом, значит, и впрямь волноваться не за что.

— Анна, стол пустой, — приказал внучке готовить еду.

Пока всем гуртом занимались сервировкой, по телевизору прорезался голос Ельцина. Егор и военком вслед за хозяином прошли во вторую половину хаты, в которой на круглом столе доживал свой век под вышитой салфеткой старенький белорусский “Витязь”. Егор по памяти безошибочно покрутил нужные ручки, и вместо звука появилось изображение, заставившее Фёдора Максимовича вздрогнуть: протянутая вперёд левая рука Ельцина с обрубленными пальцами напомнила перебитую лапу волка, растерзавшего Тузика. Егор постучал по крышке “Витязя”, и вместо Ельцина проявилось искажённое полосами лицо президента СССР.

— Оставь, оставь, — попросил отец.

Горбачёв собирался зачитывать какое-то сообщение, бумажка дрожала в его руках, и Егор торопливо принялся ловить звук. Из мутного экрана доносилось:

— В силу сложившейся ситуации с образованием СНГ прекращаю деятельность на посту Президента СССР. Только что мной подписан указ

о сложении президентом СССР полномочий Верховного главнокомандующего Вооружённых сил СССР и о передаче права на применение ядерного оружия президенту Российской Федерации...

Звук хрипел, угасал, и стало слышно, как погнал под окнами короткохвосток петух. Чего они делают в палисаднике зимой? Опять Степан пожадничал чулан открыть? Где живности прокорм в снегу найти! Самого бы вот так же...

— А как же теперь... награда? — глянул растерянно на сына.

Тот закусил губу, но совладал с собой, усмехнулся как над чем-то мелким, несущественным:

— Значит, не успели\*. Значит, пойдём в этой жизни как нелегалы.

— Какие нелегалы? — не понял отец.

— Разведка. У них девиз хороший... — Егор замылся, глянул на поникшего и растерянного отца и произнёс лишь вторую часть: — "...во славу Отечества".

— Но заработанное-то отдай, — по-крестьянски не понимая несправедливости, поднял взгляд на сына Фёдор Максимович.

— Ничего. И это я виноват... — кивнул на экран. Конечно, он. "Капраз" ему дал вымпел как символ самостоятельного принятия решений. А он не принял... — Надо было мне действовать самому, а не ждать приказов!

Его не поняли: каких приказов надо было ждать? Но Егор отмахнулся:

— Закрыли тему.

Пальцы выбивали на дверном косяке чечётку, и, увидев свою нервозность, отдёргнул руку. И сам же не выполнил приказ насчёт молчания, не удержав внутри себя боль:

— И кому сделали лучше?

Телевизионный диктор охотно объяснил:

— Как подчеркнул в своём заявлении президент США Джордж Буш, "Соединённые Штаты приветствуют исторический выбор в пользу свободы, сделанный новыми государствами содружества. Несмотря на потенциальную возможность нестабильности и хаоса, эти события явно отвечают нашим интересам", — подчеркнул Буш.

— А вот теперь всё ясно. Цинично, зато откровенно, — усмехнулся Егор. Приложил ладони к печи, и, хотя нагретые кирпичи жгли руки, не отстранял их, словно через боль наказывая себя за одному ему ведомый проступок.

— А м-можно нам не п-пойти сегодня в школу? — поймала нужный момент Анна.

— Можно, — разрешил Егор. — Налей нам, отец.

Фёдор Максимович, присевший послушать новости на табурет, не вставал, растирал ноги, и Егор сам прошёл к серванту с посудой. Заграничные бутылки, оставшиеся с прошлого приезда, отодвинул, взял за тонкое горлышко бутылку водки. Сдёргнул за ленточку алюминиевую бескозырку-пробку. Провёл булькающую пол-литровку полумесяцем над стаканами. Протянул первый растерянному военкому, разрывающемуся между необходимостью мчаться к служебным телефонам и страхом остаться одному перед рухнувшим миром. А здесь хотя бы Герой, человек из Москвы, из самой охраны Ельцина...

Подошёл, задевая половики, вслед за Егором к Фёдору Максимовичу. Тот, не дождавшись объяснений от сына, глянул на военкома как на должностное лицо:

— Что же они творят...

— Пьём! — прервал стенания Егор.

Поднял стакан. Подождали друг от друга тоста. Но говорить было нечего, и выпили, как на поминках, не чокаясь и молча. Испугавшись хмурой тревоги взрослых, Васька сам увёл в школу Аньку, на ходу набивавшую портфель гостинцами.

---

\* Последним Героем Советского Союза станет военный акванавт, водолаз-глубоководник, капитан III ранга Леонид Михайлович Солодков — указ о присвоении звания подписан 24 декабря 1991 года.

— Дядя Егор приехал, — прокричала с улицы в закрытую дверь родительского дома.

На крыльце тут же появилась Вера Сергеевна. Счастливые лицо девочки и пузатый от подарков портфель подтверждали причину её радостного настроения. Торопливо скрылась обратно в сенцах, прислонилась к дверному косяку. Прикрыла глаза. Если бы Егор в августе пришёл, как обещал, вечером в их лагерь! Если бы он, а не Борис...

— Ты чего, Вер? — выглянула из избы Оксанка.

— Ничего. Собирайся в школу, Анька с Васькой уже пошли.

— Там по радио какие-то новости про Советский Союз говорят...

Вера отмахнулась: при чём здесь Советский Союз, тут бы зиму прожить в заметённых сугробами, обложенных волчьими следами Журиничих.

Зато недалеко по улице, в избе брянского лесника держали за страну гранёные стаканы три её воина — старый партизан, прошедший Афганистан военком и бросивший начальству вместе с погонами рапорт на увольнение спецназовец, не успевший стать Героем Советского Союза. Пили коренники, рабочие лошадки, которых ни о чём не спросили, о которых политики и не вспомнили при своих играх с Союзом.

Эх, по третьей!

Угнетённые стенами, вырвав за шнур изображения кривляющихся друг перед другом президентов, мужчины убито вышли из дома на улицу. Вышел морской диверсант, три месяца вырывавшийся из колумбийской сельвы на родину, которая теперь осталась только на картах. Уже привычно зацепившийся раненой ногой за порожек артиллерийский корректировщик огня, оставивший здоровье на афганских склонах. И старый партизанский разведчик, пускавший под откос фашистские поезда, идущие на Москву. Вроде бились насмерть за правое дело, но когда пропустили врага в столицу? Почему не разглядели на дальних подступах — ни в горах, ни на море, ни в лесах? И теперь, 26 декабря 1991 года, им оставалось черпать ладонями колкий морозный снег и растирать им лица.

Не помогало.

Не трезвели.

И только, давая надежду, тянулись из деревенских труб к застывшему от мороза небу белые, извивающиеся под собственной тяжестью столбцы дыма...

*(Продолжение следует)*

## КАРИНА СЕЙДАМЕТОВА



## ЖИТЬ ПО СЕРДЦУ

\* \* \*

Повинную голову меч не сечёт!  
Кровавая выдалась зорька —  
Постичь непреложный житейский расчёт.  
Сердешный мой, что же так горько?

И день понесётся сорвиголовой  
По диким степям-бездорожьям.  
Не каждое слово — удар ножевой —  
Излечишь целебной ложью.

Степняцкие ветры, лихие мечи  
Упрятаны в ножны земные...  
Ну что ж ты, сердешный, в сторонке молчишь,  
Решив повиниться впервые?

С улыбкой смиренной идущий на казнь,  
Не жди воздаяния — в слове!

---

*СЕЙДАМЕТОВА Карина Константиновна родилась в Самарской области. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького (семинар Э. Балашова). Автор нескольких поэтических сборников. Стихи публиковались во многих бумажных и электронных изданиях России и Ближнего зарубежья: журналах "Наши современники", "Москва", "Подъём" (Воронеж), "Дон" (Ростов-на-Дону), "Гостинный Двор" (Оренбург), "Волга XXI век" (Саратов), "Коломенский альманах" (Коломна), "Аргамак" (Татарстан), "Простор" (Казахстан), "Новая Немига Литературная" (Минск), "Сухум" (Абхазия), ВЕЛИКОРОССЪ и др. Лауреат литературной премии имени Юрия Кузнецова. Член Союза писателей России. Живёт и работает в Москве.*

Твою беспощадную чую приязнь,  
Я меч свой держу наготове.

Спокойно сижу у холодной реки,  
Смотрю, как дрожат золотые  
Кувшинки речные, вдеваю в крючки  
Рыбацкие лески простые.

Мне лстивые вражди повадки видны  
В цветении болиголова...  
Я чаю под вечер с речной стороны  
Урочного часа улова.

\* \* \*

За разлукою встреча, за встречей разлука,  
Нет нужды называть имена...  
Тополиная стылость — скупая порука —  
Без вины виноватых вина.

Участь всех разлучённых взывать к милосердию  
От начала библейских времён...  
Отчего же бедой отдаётся в предсердьи  
Свято-Троицкий ласковый звон?

И растёт, и гудёт, подпирая некрополь,  
Исполиновый, как на духу,  
Вечно памятный, неумираемый тополь,  
И земля утопает в пуху.

Снова временный выскерк внезапной любви  
Гасит ненависти прямота...  
Шелестит растворённое в листовном слове  
Первородное имя Христа.

День и ночь отпевает расхристанный ветер  
Расставальный разлучный рассвет...  
И щебечут птенцы — соловьиные дети:  
“Смерти нет, смерти нет! Смерти нет...”.

\* \* \*

В России скучной жизни не видать,  
То бьём, то пьём, по-новой наливая,  
Умеем с пылом, с жаром наподдать,  
А если не добьём — перебиваем!

Подхваченный стихийною волной,  
Поддавшись разгуляю в росном поле,  
Народец залихватский и шальной  
Боль терпит до потери чувства боли!

Который век выписывает дождь  
Стальной автопортрет в небесной раме,  
То Белобог, то князь, то царь, то вождь,  
То сам Христос мелькнёт за облаками...

...Лишь избранным почувствовать дано,  
Что Крыма не бывает без Нарыма...  
Россия — вервие, веретено,  
Что вьётся сквозь века неутомимо.

Очередной опасный поворот...  
Мы снова на краю, но может стать ся,  
Что человек заоблачный придёт  
Чтоб с небом на земле не разлучаться!

Мы ждём его уже который год,  
На взятки гладки, с недругами квиты.  
Ведь если он однажды повернёт,  
На Русь идеша — нас, хмельных найдёт —  
Отъявленных, отпетых и отбитых.

\* \* \*

Божия милость резка,  
Правда — не тёмная копоть.  
Шип от сухого бруска  
Впился занозой под ноготь

И поперёк, и повдоль  
Ноет, кровит, нарываает,  
Но через жгучую боль  
Вновь ощущаю — жива я.

Так же, наверно, в душе  
Ноет заноза-приблуда,  
А исцеленье уже  
Уподобляется чуду?

Трепетной жизни щепы  
Хищно впивается в тело.  
Душу на щепки щипать —  
Наше привычное дело!

В барном плену куража  
Мир забывая устало,  
Здесь ни к чему обнажать  
Слово — пчелиное жало.

Злобным занозным речам  
Верится волей-неволей.  
Свойственно слову крепчать,  
Душу ужалив до боли.

Чтобы сквозь боль и огонь  
Пришлого, подлого, злого  
Солнцем сочиться — лишь тронь! —  
В жизненных сотах медовых.

\* \* \*

Крутится с песней по детской юла,  
Пляшет юла.  
Сына себе — молода и кругла —  
Я родила.

Только заплачет мой славный кричун —  
Юлку кручу.  
Сын улыбается, нежен и юн —  
Мир по плечу!

Ну а про то, что великая стынь  
Застит пустырь,  
Пусть до поры не узнает мой сын,  
Мой богатырь!

Маленький дом наш — четыре угла,  
Дни да дела,  
Сын подрастает, тружусь, как пчела —  
Пляшет юла.

Крутится ночи и дни напролёт,  
Пляшет, поёт.  
Сын мой растёт, и тревога растёт  
Из года в год.

Как ни раскручивай, как ни крути,  
Шар наш земной —  
Сын мой, надежда моя во плоти  
Передо мной!

Будни — тщета, суета, маята,  
Продыху нет...  
Певчей юлой озаряет мечта  
Детский рассвет!

Как ни юли, так созвездья легли.  
Мчится волчок!  
Яркий маяк ты мой, чудо земли,  
Мой светлячок!..

\* \* \*

Из редакции выйдешь на улицу — сотни машин  
И мелькание фар по дорогам разбито невзрачным,  
А в тиши кабинетной Василий Макарыч Шукшин  
С фотографии смотрит, прищурившись неоднозначно.

Нам, Василий Макарыч, поэтам, не всё ли равно,  
Что приять за роман откровенный с финалом счастливым?  
А иначе-то разве бывает в хорошем кино,  
Где вздыхают и смотрят искательно и сиротливо?..

Нам, Василий Макарыч, избыть бы хандру-кутерьму,  
Саркастически лыбиться всем ко всему безучастным.  
Только русский привык жить по сердцу, а не по уму,  
Зарекаться и снова рыдать под калиною красной!

Сердце-сердце смятенное... Как быть спокойным ему,  
Принимая и радость, и боль, и судьбу добровольно  
И закат и восход, и навет, и суму, и тюрьму,  
Хоть и крикнуть охота порой: "...Презираю. Довольно!",

Недовольная выйдешь навстречу ревеню машин,  
Мельтешению фар и неоновым вывескам злачным...  
И спиной ощутишь, как Василий Макарыч Шукшин  
Одиноко с портрета глядит, ухмыляясь наждачно.



МИХАИЛ ПОПОВ



## СТАЛИНСКИЙ ДОМ

ПОВЕСТЬ

Редактор был типичный — трубка, лысина, пуловер и какая-то печаль в глазах. Когда Степан Родионович сообщил ему, что сочинил семитомник, печаль сделалась ещё глубже.

— Но не принёс с собой.

— А что так? — поинтересовался редактор, вытащив трубку изо рта.

— Рекогносцировка, — кратко пояснил Степан Родионович.

— А? — редактор сунул трубку обратно. — Разведка?

— Рекогносцировка, — поправил его автор, — то ли вы издательство.

Тема — важнейшая. Путь России. Первый том — Россия, умытая кровью.

— Россия, кровью умытая, — привычно среагировал человек с трубкой.

Степан Родионович улыбнулся.

— Нет. Россия, умытая кровью. Второй том...

— Знаете, мы издаём только за деньги, — быстро сказал редактор.

— Вестимо, времена какие.

Тут в глазах издательского работника появилась первая искра интереса.

В комнату вошёл кто-то с бумагами в руках, но был спроважен.

— Вы понимаете, о каких суммах идёт речь? Семитомник у вас, кажется?

— Вы мне лучше про ваш портфель. Серьёзен ли? Мне девочки в неглиже на обложке не нужны.

Редактор вздохнул.

---

*ПОПОВ Михаил Михайлович родился в 1957 году в Харькове. Окончил Литературный институт. Произведения автора публиковались в журналах "Наши современники", "Москва", "Юность", "Московский вестник" и др. Автор нескольких сборников стихотворений и более двадцати книг прозы. Лауреат ряда литературных премий. Живёт в г. Москве.*

— Девочки на обложке у некоторых авторов вас не должны волновать. Мы выступаем и вполне солидно, вот. — Он порылся в столе и извлёк альбомного вида книгу. — Вот, если угодно, наша визитная карточка

— Что это? — Степан Родионович вынул из кармана очки.

На обложке читалось “Мы смертию пали”.

— Это о миноносце “Стерегищий”. Вы не на флоте служили?

— Я служил на земле, — веско сказал Степан Родионович. Он полистал книгу. Поднял взгляд на редактора, протиравшего очки с таким тщанием, как будто тут же собирался засесть за семитомник. — Но вы правы — капитан первого ранга.

— О-о.

— А ещё нет?

— Есть. Но пока в типографии. История уральских заводов.

— У меня тоже много про Урал. Хребет экономики.

Редактор надел очки.

— Как вас, извините, по имени-отчеству? — спросил гость.

— Оскар Борисович.

Степан Родионович пожевал губами, привыкая к непривычным очертаниям слов.

— Вы не могли бы мне посчитать?

— Чего посчитать? А, да. Семь томов. — Оскар Борисович придвинул к себе бумажный куб, отслоил от него страницу. — Семитомник. А по сколько листов том?

— По восемьсот.

— Я имею в виду... мы считаем по-другому. Наш лист — двадцать четыре страницы. Сорок тысяч знаков.

Степан Родионович закрыл глаза — считать в уме он мог только в темноте.

— Примерно тридцать.

— Понятно. Бумагу хотите хорошую?

— Хочу.

— Переплёт?

— Кожаный.

Оскар Борисович посмотрел вверх очков, и губы у него вытянулись в трубочку, как будто он хотел поцеловать клиента.

— Тираж?

— Я ещё не решил.

Редактор чуть наклонился вперёд.

— Ну, хотя бы порядок?

— Это будет зависеть от количества денег у меня.

— Резонно.

Оскар Борисович выпустил клуб дыма в сторону. Гость продолжал сидеть строго вертикально, слегка покручивая свою шапку в руках. Редактор отслоил второй листок бумаги, долго что-то на нём зачёркивал, наконец, получил окончательную сумму и придвинул его к заказчику, одновременно повернув.

— Это только за один том.

Ни один мускул не дрогнул на лице Степана Родионовича.

— Хорошо, — сказал он и встал.

Оскар Борисович развёл руки: мол, всё, что могу.

Капитан первого ранга прибыл на Войковскую, где располагались дома военных, обёрнутые в крокодилову кожу. Высокие железные ворота закрывали вход во двор, тихие, чистые подъезды, могучие лифты, высоченные двери, выходящие на площадку, — всё наводило на мысли о сдержанной силе и мощи среди развала и бардака, который впоследствии назовут лихими девяностыми.

Выйдя из лифта, Степан Родионович опешил. Дверь его квартиры была приоткрыта — неужели обворовали?! Его смущение ещё более усилилось,

когда он понял, что, судя по всему, грабители ещё находятся внутри. Слышались разговоры, раздавались шаги. Первым делом подумал о своих орденках, и тут же сразу — о жене. Один из голосов показался ему знакомым. Дверь распахнулась, и на площадку вышел молодой офицер, бросился к стоящему на этаже лифту. Через незатворённую створку Степан Родионович увидел своего старшего сына Валерия, тот стоял, выпятив значительный живот, в глубине коридора и что-то перелистывал, кажется, это были платёжки за коммунальные услуги. Он увидел отца и, засовывая бумаги в карман, двинулся к нему, разводя руки в дежурном каком-то объятии. Сердце Степана Родионовича ёкнуло по-новому: он уже догадался, что произошло, только ещё не сформулировал для себя смысл события.

Сын обнял его и сказал:

— Мама.

Степан Родионович подумал одновременно с этим: “Зина...” Да, она была плоха, ждали со дня на день, но всё равно неожиданность. Ноги заиграли, захотелось сесть. Сын почувствовал это и подвёл его к диванчику, стоявшему тут же рядом, у телефона. В коридор вышла дочь, младшенькая Нина, — невеликая, тихая, с испуганными глазами. Сразу же вслед за ней вышел её муж, который Степану Родионовичу никогда не нравился, — скромный провинциал; отцу, конечно, же, хотелось для своей кровиночки чего-нибудь поярче, но перечить не стал. А вот и Светка, эта одна, эта при муже журналисте-международнике. Светка бойкая, как однажды выразился Валера, свирепая до жизни. Как это они так сразу собрались? Как же они узнали? А, соседка зашла по делу и очень удивилась, что ей никто не открывает. Позвонила сыну.

Он посмотрел в сторону комнаты, которая ничуть не разгрузилась, выпустив всех детей в коридор.

— Милиция, “скорая”, — пояснила Светка.

Остальное прошло, как в полусне. Степан Родионович даже не ожидал, что он так накрепко связан со своей женой. Её уход чуть было не утянул его за собой. Но оставалось ещё дело, державшее его здесь. Он как бы плыл над поверхностью похоронно-поминальной суеты, ни до чего не касаясь и не удивляясь тому, что всё разрешается само собой, не требуя от него ни малейшего участия в делах. По традициям нового времени, состоялось отпевание, и Степан Родионович выстоял в церкви, что было положено выстоять, высидел на поминках, что положено по русскому обычаю высидеть, выдержал трёхдневный караул родственников, опасавшихся, не без основания, за его душевное здоровье, и, наконец, остался один.

Он встал в то утро, сварил себе кашу, сделал зарядку. Только потом сообразил, что надо в обратном порядке. Ничего, всё наладится. Со временем. Прошёл аккуратной, сосредоточенной походкой в кабинет. Там на столе лежали в семи стопках его тома. Взял в руки первый: “Россия, умытая кровью”, — полистал, положил на место. Взял том последний: “Россия, поцелованная Богом”, — открыл на последней странице, что-то сверил, шепча. Оставалось дописать несколько абзацев. Технология работы такая — сначала пером от руки, потом перепечатка на грохочущей, как трактор, “Москве”. Степан Родионович специально отставил в сторону иностранную мягкую “Оптиму”, чтобы в его работе никак не были задействованы иностранные влияния.

Взялся за перо. Ручка отличная, чернильная “Яуза”; занёс над бумагой... Замысел свой он сравнивал только с “Божественной комедией”. Три тома крови и страданий, три тома очистительной работы, и один том, собственно, состояния поцелованности Создателем. Только в одном погрешил Степан Родионович против конструкции великого флорентийца — не хватило на два тома райских описаний. Легче всего дались картины кошмара, в котором пребывала до определённого момента родина. Хлебнула горюшка, разнообразно и поверх головы. Тут не пришлось ничего выискивать и выдумывать, мрачных фактов в избытке, кровищи — бочки, расстрелы и застенки. Что касается чистилища, тут уже пришлось потрудиться, повыискивать и в глубинах своей памяти, и в литературе примеры самоочистительных

практик. Многое осталось как бы под вопросом, потому что не всегда можно провести чёткую разграничивающую линию между самоочищением и самобичеванием. Но вот уже райские картины дались Степану Родионовичу с трудом адским. Он, в конце концов, дал послабление, всего лишь в одном томе сформулировать концепцию счастливого существования. Объяснил всё тем, что со времён мрачного Средневековья ужалась, как шагреновая кожа, райская действительность. Лишний факт в пользу необходимости такого семитомного труда, который был предпринят капитаном первого ранга.

Название он дал своему труду ёмкое — “Сталинский дом”.

А что, были примеры в истории. Вон Гегель из всех своих диалектик вывел, что вершиной мирового государственного процесса является Прусское королевство, а персонально на самой вершине он, философ. Степан Родионович решил, что он намного скромнее немца и остался в качестве всего лишь заинтересованного наблюдателя, в проводники себе взяв не кого-нибудь, а Солженицына. Причём отношения у него с классиком строились отнюдь не снизу-вверх, сплошь и рядом Степан Родионович ставил Александру Исаевичу запятую, а то и вовсе громил за несообразность и нелепый ход рассуждений.

Итак, он взял в руки перо.

Раздался звонок в дверь. Кто бы это мог быть? Степану Родионовичу никто не был нужен. Не открывать? Он бы и не открыл, но ведь подумают, что умер, и начнётся свистопляска. Пошёл в прихожую. Щёлкнул замком. На пороге стоял Валерий.

— Здравствуй, папа.

— Здравствуй.

— Можно войти?

— Ты зачем пришёл? — Не дожидаясь ответа, Степан Родионович пропустил сына внутрь, сам испугался своего слишком жёсткого вопроса.

Войдя внутрь, Валерий прошёлся по коридору, как будто осматривал совершенно чужую ему квартиру, оценивающе.

— Чаю предлагать тебе не буду. Я работаю, — становясь похожим на старого князя Болконского, сказал Степан Родионович.

Валерий как раз находился напротив открытой двери кабинета. Если бы она была закрыта, он бы не посмел войти, а тут посмел.

— Извини, что отрываю тебя, папа... Это, конечно, грандиозное произведение, особенно про десять сталинских ударов, мне иногда даже снятся... Я, ты понимаешь ли, ни у кого, ни у Бондарева, ни у кого не читал ничего равного по силе...

— Был у издателя, — почему-то мстительным тоном сказал Степан Родионович.

— Да-а?

— Собираются издавать.

— Всё?

— Конечно, всё.

— Ну, тогда...

— Что тогда?

Валерий сел в кресло, как будто силы у него были только на одно существенное действие — или стоять, или говорить.

— Понимаешь, папа...

— Понимаю. Квартира.

— Ну, да, — с неожиданным вызовом сказал сын. — Я ведь не по своей воле, или, скажем так, и по своей, но под давлением... Верка...

— Не изображай из себя подкаблучника, когда тебе это выгодно. При чём здесь Верка? Не сваливай на жену.

Валерий выпрямился в кресле, как будто в нём проявилась неожиданная решимость.

— Почему не сваливай? Вернее, я хочу сказать, мы четвером живём в двух комнатах.

Раздался звонок в дверь. Степан Родионович повернулся в сторону входной двери и злорадно улыбнулся:

— А Светка втроем в однокомнатной.

— Ты ещё Нинку вспомни, она вообще снимает.

— Это да, это правильно, — сказал хозяин квартиры, направляясь открывать дверь.

— Я и хочу, чтобы у всех чуть-чуть улучшились условия. Мы сюда, Светка на моё место, Нинка сможет не снимать...

На пороге стоял юноша лет восемнадцати. С конвертом в руке. Почтальон из совета ветеранов, догадался Степан Родионович. Они никогда не опускают письмо в ящик.

— Приглашение?

— Так точно.

Второй лифт остановился на площадке. Из него вышла дочь Светлана. Степан Родионович развернулся и пошёл внутрь квартиры. Дети осторожно последовали за ним. Чтобы показать своё отношение к ситуации, капитан первого ранга сел за стол и углубился в чтение. Валерий и Светлана стояли на пороге комнаты, не зная, что предпринять.

Степан Родионович перевернул страницу, не глядя в их сторону.

Валерий нашёлся, наконец:

— Папа решил издать свой труд.

Светлана тут же отреагировала:

— Олег мне говорил, что написано очень сильно. Даже сравнил папу с адмиралом.

Степан Родионович искоса стрельнул взглядом.

— Нет, правда. С... Шишковым, ведь был такой, да?

Отец кивнул. Вообще-то следовало отринуть от себя “незаслуженные титулы”, но уж больно точное попадание. Конечно, адмирал. Как он сам не подумал...

— Он ещё сказал, Олег, что во время грозы... двенадцатого года именно адмиралу предложили составить обращение. К народу. Читали в церквях. Был там ещё один говорливый...

— Сперанский, — коротко помог отец.

— Да, он. Ему не доверили. А адмиралу доверили. С ветхозаветным слогом в дни бед уместнее всего обращаться к народу. Правильно, папа? Олег прав, да?

Степан Родионович встал. Насчёт Олега он не удивился. Тот всегда держал нос по ветру и из этого ветра выуживал чужие мысли, очень уместные в том или ином разговоре. Отсюда и слава о его образованности.

— Значит, говоришь, сильная вещь?

Вопрос был обращён к дочери, но ответил сын.

— Очень, папа, очень. Тебе надо пойти в издательство, сейчас их полно, и немедленно печатать.

Степан Родионович искоса посмотрел на него.

— Я же тебе сказал только что, что ходил уже.

— Ну, вот я и соглашаюсь с тобой.

— Да, — коротко подтвердила дочь.

Степан Родионович прошёлся по кабинету.

— Позвоню сейчас Нине, если она скажет, что надо издавать...

Телефон был старинный. Вообще кабинет выполнен в прежнем тоне. Лампа, дубовые панели, тяжёлый тумбовый стол, тяжкие портьеры.

Трубку долго не брали.

— Спит, — ухмыльнулся Валерий.

— Извини, доча, разбудил. Да ты не стесняйся, скажи, разбудил, старый идиот. Ладно, ладно, вопрос у меня ещё более неуместный в такое раннее утро, чем звонок. Я тут задумал издать свой труд. Да, издавать. Полностью, все семь томов. Как, по-твоему, стоит? Чего ты молчишь? Ну, ты скажи, как тебе, ты хоть полистала? Ах, полистала.

Степан Родионович замолчал. Слушал, речь Нины. Выражение лица его не менялось, но чувствовалось, что он слышит что-то непривычное и необычное.

— Я догадываюсь, что ты меня любишь. Как отца любишь, а не как

мыслителя. — На губах капитана первого ранга мелькнула улыбка. — Ну, ладно, ладно.

Повесил трубку. Поднял глаза на старших детей.

— Говорит, что не поняла ничего. Что не может судить. Любит меня как отца, а насчёт печатания ничего сказать не может.

Старшие дети переглянулись.

— Что это с ней? — сказала Светка, но как бы от обоих.

— Папа, — начал было Валерий.

— Идите с Богом.

На самом деле Степан Родионович пребывал в некотором смущении. В реакции младшей дочери он был уверен, как в себе. Если уж Валерка со Светкой находят какие-то слова, то Нина могла бы...

Закрыв за старшими дверь, капитан первого ранга вернулся в кабинет. Он собирался поразмышлять над тем, годится ли в употребление новый эпиграф. Он случайно натолкнулся на строфу молодого поэта, и теперь, открыв первую страницу своего труда, положил выписанное четверостишие поверх названия и задумался.

*Под мерный благовест дождя  
Мы обживаем сумрак синий,  
Где позади — портрет вождя,  
А впереди — Христос в пустыне.*

Стихи, он чувствовал, хорошие, и собирался всласть поразмышлять над тем, стоит ли ставить их на такое ответственное место в рукопись. Но телефонный разговор с младшей дочерью вторгся в стройное, возвышенное размышление. Всё же Степан Родионович испытывал сильнейшую досаду. Как же она могла так? Он специально отдал ей первый экземпляр рукописи, чтобы облегчить чтение. Он был уверен, что Нина прочтёт, в отличие от старших, которые только полистают, а оно вон как обернулось! Представить себе, что Нина просто невнимательна и за заботами забыла об отцовском вершинном труде, он не мог. Что значит это её заклинание — люблю как отца, а остальное... Ерунда какая. Разве непонятно, что он весь сейчас воплотился в эту рукопись, и любить его без объединения с ней невозможно. Кто он такой без этого труда, усталый, теперь уже одинокий пенсионер, никому не интересный и не нужный... Поверхностная реакция старших детей им была предугадана. Они, конечно, оцепенели перед величием сделанного, пошуршали у подножия громадной горы, увидели, что до вершин добраться не в силах, и решили отделаться общими словами. Всё же общее понимание их не обмануло — что величественно, то величественно. Он, например, свою покойную супругу и не просил высказываться по поводу рукописи, хотя, бывало, и зачитывал ей целые страницы. Она только плакала или вздыхала. Последние несколько месяцев она была без сознания, и работа над "Раем" шла без неё. Хотя в самом её начале она ещё способна была что-то понять. Но инерция воспитания, наверно, заставляла её пугаться самых наиболее решительных умозаключений мужа. Когда он заявил, что закончит дело, начатое Гоголем Николаем Васильевичем, напишет не только второй том, но и третий, с ней сделалось нехорошо. Степан Родионович понимал, что резкое ухудшение, вплоть до потери сознания, любимой жены, не может быть связано так уж напрямую с его умствованиями, но факт был фактом — Зинаида Ивановна перестала существовать как личность именно после этого разговора о третьем томе.

Но вот дочь... Что было теперь с этим делать?

Днём Степан Родионович отправился в совет ветеранов, ему не хотелось игнорировать приглашение. Пришлось посидеть в предбаннике. Генерал Гафуров Рифат Гумерович решил какой-то срочный вопрос. Входили в кабинет и выходили какие-то женщины с бумагами. Разговор там происходил, судя по всему, довольно нервный. Степан Родионович ничего хорошего от визита этого не ждал, даже явился в гражданке.

Наконец, пригласили.

— Садись, — пригласил генерал и стал тщательно причёсываться, хотя в этом не было никакой нужды. На углу стола высилась стопка томов собственного Степана Родионовича переплетения. Чёрный коленкор — три тома про умытую кровью Россию; коричневые — годы созидания и побед; голубая папка, не законченная — неожиданный в боевом советском офицере поворот в небеса. Капитан первого ранга искал человека, хотя бы одного, кто мог бы ему дать консультацию о рае Данте. Не нашёл. Он слишком хорошо помнил свой визит в профильный институт, выбранный в основном из-за географической близости к собственному дому. Помнил, как его изящно и аккуратно бортанули оттуда, сочтя, видимо, кем-то вроде городского сумасшедшего, несмотря на то, что туда он надел свой полковничий наряд.

— Садись, — повторил генерал, хотя Степан Родионович давно уже сидел. — Вот что я тебе скажу.

Капитан первого ранга посмотрел на генерала исподлобья.

— Это выдающийся труд. — Рука Рифата Гумеровича легла поверх стопки томов, так что ладонь генеральская оказалась на уровне головы. — Солгу, если скажу, что одолел все части твои. Занятость. Сергей Сергеевич также смотрел.

На этих именно словах вошёл всем известный заместитель, вертодел и крутоправ Сергей Сергеевич, толстяк с круглой, но недоброй физиономией. Вошёл, приложив обе руки к сердцу, оторвал руки и стал пожимать ладонь Степана Родионовича.

— Сильно, сильно.

Гумеров опять схватился за расчёску.

— Ну, что там у нас?

— Пишем письмо... а вот уже написали. — В комнату вошла одна из женщин, входивших к руководителю пару минут назад. Принесла листок бумаги и положила на стол.

— Что это? — рассеянно приложил сложенные очки к глазам руководитель.

— Испрос. Деньги на семитомник Степана Родионовича. — Сергей Сергеевич сел напротив гостя и промокнул лысину платком. Этот не сторгит на работе, слишком много выделяется из него жидкости.

Гумеров прочитал лист бумаги и протянул его гостю. Степан Родионович пробежал текст, отдал текст генералу, тот щегольски его подписал.

— Вы меня просто потрясли, — сказал Сергей Сергеевич, наклонившись вперёд, — как у вас про Пермь. Я ведь мальчишкой пришёл на завод в Мотовилихе. Спали в цехах. Всё для фронта.

— Да, — подтвердил генерал и напустил на лицо задумчивость, — а меня больше всего пронял расстрел Колчака. Герой, вам по морской части особенно дорог, но враждебность родине какова!

Степан Родионович шумно вздохнул.

— Так вы считаете, можно рассчитывать?

— А как же? Будущий финансовый год, — быстро сказал Сергей Сергеевич. — Сто экземпляров истребовали. Но всё равно оголяем фланг. Некоторые книги, нужные, придётся перенести.

— Новый финансовый год, это почти через год?

Генерал вздохнул.

— Финансовая дисциплина. Порядок.

Степан Родионович прикинул, сколько можно выручить за старую “Волгу”. Сто экземпляров — капля в море. Но капля камень точит.

— Спасибо. — Встал. — Я пойду.

Сергей Сергеевич быстро заговорил.

— У нас здесь обязательно презентация рукописи, в главном зале. Это, — он кивнул в сторону стопки переплетённых томов, — оставьте. Отдадим читать. Тема-то какая!

— Я думаю, через месяц, — сказал генерал.

Выйдя из здания совета ветеранов, Степан Родионович сел на детской площадке и задумался. Предстояло принять какое-то решение. Сегодня он закончит “Рай”, ему во всей отчётливости представилась последняя фраза книги. И всё, надо решаться. Книга очевиднейшим образом нужная. Вот даже Гафуров, о котором ходят совершенно чудовищные рассказы, не решился отказать. В коридоре совета ветеранов Степан Родионович натолкнулся на вечную активистку Шаболдаеву. Она, схватив его за лацканы гражданского пиджака, минут десять рассказывала ему, что за чудо его книга. Капитан первого ранга считал себя трезвым человеком, чтобы вестись на причитания Шаболдаевой, по его мнению, она вообще была неграмотная. Но, стало быть, даже людей малограмотных понимает. Свой труд он считал в целом довольно высокообразным. Столько ссылок, и ни разу он не опустился до очевидных расшифровок. Типа, маршал Конев — освободитель Праги. Только по-настоящему трудные, тёмные места шли в растолковывание. Одним словом, и для профессоров будет работа, надо же будет как-нибудь оценить весь гигантский материал и структуру его построения, и для людей типа Шаболдаевой, оказывается, небезынтересны его умствования.

Машина, да, машина. Старая “Волга”, купленная восемнадцать лет назад, но ввиду идеального стиля эксплуатации сохранившая не только бока, но и двигатель в идеальном порядке. Но всё равно, много не дадут. Гафурову он всё же не слишком верил — сто экземпляров практически через год... Кто же будет ждать, когда семитомник прожигает стол! Степан Родионович спокойно работал все эти годы, почитывая различные книжки с исторической полки в книжном магазине, Суворов-Резун был ему смешон, остальные вообще ничтожны. Так вот, он спокойно работал, но, когда книжка оказалась завершена, возникла болезненная почти тяга к её немедленной публикации. И потом, что значат сто экземпляров? Какую часть спроса это удовлетворит? Надо сразу грохнуть по общественному мнению. Да так, чтобы бесчисленные рецензенты оцепенели, а потом взорвались криками восторга. Тираж нужен немаленький.

Валерий Степанович ждал у подъезда.

— Что это ты замок сменил?

— Сломался, — уклончиво ответил Степан Родионович, ковыряясь неудобным ключом в теле нового запорного устройства.

— Замок?

— Да.

— Сталинский замок?

— Да что ты в самом деле, всему когда то-то приходит конец. Сталинскому замку тоже.

Дверь отворилась.

— Но мне-то ты дашь ключ?

Степан Родионович, словно не слыша его, снял туфли, надел тапки и пошёл внутрь квартиры, но не таков был сын его, чтобы сойти с темы, не добившись положительного результата.

— Послушай...

— Я дам тебе ключ. Позже. Пока есть только один. Надо сходить и сделать. Я потом схожу и сделаю.

Валерий Степанович был потрясён тем фактом, что отец его лжёт. И, главное, зачем? И так неумело... Ну, это от отсутствия практики.

Степан Родионович вошёл на кухню и поставил чайник.

— Хочешь чаю... — сказал он странным тоном, в котором не было вопросительной интонации.

Сын, наконец, нашёл решение проблемы:

— Я понимаю, тебе хочется кончить книгу в тишине, чтобы никто не врывался. Но я не могу не врываться. Ты должен понять моё нетерпение. Это как в тюрьме, когда осталось сидеть всего несколько дней, и они тянутся... Я не знаю, каковы твои финансовые возможности...

— Я был в совете ветеранов. Дают позицию. Но через год. Сто экземпляров.



— Ну, отлично. Или... тебя не устраивает? Что? То, что через год? Ну, вот ты меня, значит, поймёшь! Так вот, пусть она сохраняется, позиция эта. Мы возьмём свои меры. Повторяю, я не знаю, каковы твои финансовые дела... Ты, вероятно, решил продать машину. Могу помочь. Эти сто экземпляров будут у тебя через месяц.

Степан Родионович заварил чай, накрыл его тёплой тряпицей, сел спиной к окну, посмотрел на сына снизу вверх.

— Меня не устраивает сто экземпляров.

Сын тоже сел.

— Я хотел избавить тебя от необходимости продать машину. Ну, продай, пусть будет двести. Хотя, на мой взгляд, это не существенно.

— Что не существенно?

— Каким тиражом издать твой семитомник.

Степан Родионович уронил голову на грудь. До Валерия Степановича дошло, что он сказал чудовищную неловкость.

— Да, нет. Это замечательный труд, и... Послушай, как ты себе это представляешь?

— Что?

— Процесс издания?

— Давай пить чай.

— Не хочу.

Валерий Степанович встал, с трудом подняв свой могучий живот. Всё же была какая-то странность в том, что у такого сухого, подтянутого полковника такой животастый сын.

— Надо, папа, быть реалистом. Несмотря на очень большие достоинства твоей книги, есть еще законы рынка.

— Я слышал об этом.

— А вот если слышал, то прикинь хрен к носу, а потом нос к хрену, — взорвался вдруг Валерий Степанович и порывисто покинул кухню.

Сколько еще непреодоленных сложностей в отношениях между людьми! Степан Родионович не смог сесть за работу. Его слишком взволновал разговор с сыном. Он решил отправиться к Петровичу и поинтересоваться, в каком состоянии та самая машина, о которой шла речь только что. Петрович обитал в гаражах, был на все руки мастер, собственно, даже и звали его как-то иначе, но ему по роли его в обществе полагалось называться Петровичем, так его все и звали. Человек он был примерного поведения: “Хоть бы в рот хмельного...” Степан Родионович доверил ему не только свою “Волгу”, но и семитомник, желая знать мнение рабочего класса.

Метрах в трёхстах от подъезда располагались они, гаражи. У самого входа на территорию четыре мужика равнодушно забивали “козла”. В ответ на вопрос, где Петрович, хмыкнули, один махнул снаряжённой камнями рукой куда-то себе за спину. Там, мол.

Ступая по неровному асфальту, Степан Родионович прошёл по проулку, с одной стороны заросшему репейником, а с другой — засыпанному окурками, повернул. И тут же нашёл, кого искал. На вынесенном на воздух диване кто-то спал. Впрочем, можно было догадаться, кто. Просто не хотелось верить. Наверно, сильно устал, попробовал мысленно выгородить Петровича Степан Родионович, но это было напрасно.

— Что это с ним? — спросил он, хотя никого рядом не было.

Петрович похрапывал. Можно попробовать его разбудить, хотя зачем, он всё равно в таком состоянии не мог ничего путного сказать ни о машине, ни о книге. Степан Родионович подумал, что дал Петровичу первую часть, самую мрачную. Неужели до такой степени его разобрало? Ладно, пришлось разворачиваться и идти обратно. Возле любителей домино он остановился, не решаясь прервать их игру. Но они сами поняли, что он хочет поговорить на тему увиденного.

— Да вы не сомневайтесь, он правда не пьёт, — сказал самый молодой.

— Вчера пришёл весь в слезах! — вступил в разговор партнёр постарше.

— Что, его так разочаровала моя машина?

Все четверо дружно заржали. Потом говоривший первым пояснил:

— Машина действительно дрянь. Там всё сгнило, днище вот-вот отвалится.

— Но плакал он не поэтому, — вступил третий.

Степан Родионович не торопил события, ждал, когда они сами скажут, что это от прочтения его книги.

— Он там что-то читал, — сказал первый парень.

— Перечитал, — высказал мнение сосед, дулясь.

— Книгу? — спросил Степан Родионович. — А про что книга?

— Не знаю, что там за книга, — самый молодой громко шарахнул камнем по фанере, на которой лежали кости, — только про старину.

— А что там было в старину? — Спросил Степан Родионович, и понял, что это лишний вопрос. Пора уходить, самое главное он узнал. Мужчины вдруг все разом покосились на него — чего это он разведывает?

— До свидания, — сказал гость, — зайду завтра.

Оскар Борисович ждал его. Степан Родионович явился в форме, не в парадной, но всё же. Это как бы свидетельствовало — решение принято. Пришло время заключения договора. В прошлый раз капитану первого ранга показалось, что в издательстве довольнолюдно, в это посещение такое впечатление не подтверждалось. Не было никого, кроме секретарши, легкомысленного вида девчонки, что сидела за столом в приёмной. Такое впечатление, что действие должно состояться без свидетелей. Впрочем, возможно и более прозаическое объяснение — какой-нибудь неприсутственный день.

Оскар Борисович встретил гостя всё в том же пуловере и тою же трубкой в углу рта, в фигуре чувствовалось какое-то плохо скрываемое недовольство. Степан Родионович насторожился — не услышит ли слова отказа.

— Садитесь, — сказал редактор и сел сам. Нажал кнопку на селекторе. Сейчас потребует чаю, подумал Степан Родионович и сел тоже.

— Маша, у вас готово?

— Айн момент, Оскар Борисович.

Толстые губы пососали негорящую трубку.

— Ну что, вы решились? Сегодня мы подписываем договор.

— Извините, но мне кажется, что вы чем-то недовольны.

Редактор ответил не сразу, так что это можно было истолковать как согласие с наблюдением автора.

— Мне не слишком нравится ваше название.

— Название выстраданное.

— В том-то и дело. Удивительно, что результатом вашей продолжительной мыслительной работы стало именно такое название.

— Другого быть не может. — Внутри у Степана Родионовича что-то сжалось. Ему вдруг показалось, что его сейчас отправят отсюда. Хотя секретарша явно печатает что-то, подразумевающее его, Степана Родионовича, наличие.

— Другого никак не может быть, я пришёл к выводу этому объективно, посмотрев на вещи за всю историю длительного существования нашего отечества. Именно эта фигура стоит в центре. Я же не апологет какой-нибудь.

— Вы не апологет, — вздохнул Оскар Борисович.

— Вы всё прочли?

Редактор ушёл от ответа, применив очень сильный ход.

— Дело в том, что мой отец и двое дядёв загремели по пятьдесят восьмой статье и сгинули в ГУЛаге.

— Сочувствую. — По тону было слышно, что сочувствует Степан Родионович формально.

— Да не сочувствуете вы ни черта! — холодно сказал редактор, и тут появилась Маша с текстом договора. Она бросила быстрый заинтересованный взгляд в сторону гостя и, указав какую-то цифру в тексте, спросила: — Это правильно?

— Это правильно, — вздохнул Оскар Борисович.

Степан Родионович подождал, пока секретарша уйдёт, и, собравшись с силами, начал было речь:

— Я бы не хотел...

— А я вот хочу, — сказал редактор. Он встал, подошёл к шкафчику, достал оттуда начатую бутылку коньяка и блюдец с нарезанным лимоном и рахат-лукумом.

— Я не пью.

— А я пью, — грустно ответил Оскар Борисович и достал из шкафа рюмки.

Договор ещё не был подписан.

— Я должен подписать первым?

Разливая коньяк по рюмкам, редактор кивнул.

— Да. Сказать по правде, генеральный просил вас подумать над другим названием. И я присоединяюсь к просьбе. Ну, что такое “Сталинский дом”!

— А что не так?

— Ну, во-первых, слишком близко лежит ассоциация — “Пушкинский дом”.

— Ну и что?

— Получается ненужная переключка с битовским романом.

— Кто такой Битовский?

Оскар Борисович осанисто выпил, закислолся лимончиком, закрыл от удовольствия глаза.

— Ладно, замнём для ясности. Будем считать, что ваш контекст шире.

— Если угодно.

— Одно непонятно: почему такой перекосяк? “Россия, умытая кровью” и “Выше стропила” по три тома, а “Россия, Богом поцелованная” — один том, да и тот, как я выяснил, не закончен.

— Теперь закончен. Одна только финальная фраза.

— Ну, да. “Пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат”.

Степан Родионович решил, что редактор бредит.

— О чём вы?

— Да так... — махнул рукой Оскар Борисович, наполняя свою рюмку. Гость только коснулся своей, даже не отпил.

Степан Родионович придвинул к себе листы бумаги и вчитался. Скоро стало понятно, что он не просто знакомится с узловыми местами договора, как-то — тираж, оплата, а читает всё подряд. Редактор откинулся в кресле.

— Сама по себе идея хороша. Из мрака обычной нашей жизни в жизнь новую. Полемика даже с христианской мыслью. Степан Родионович Трофимов может войти в царствие небесное, а Россия не может войти в царствие небесное, так считалось до сих пор, вы же решили, что через страдания и труд мы все вместе окажемся там, наверху.

Степан Родионович читал договор. Отложил первый экземпляр и взял второй.

— Под копируку, — сказал через некоторое время собеседник. Выпил вторую рюмку, бросил в рот кусочек рахат-лукума. — Мы так мало знаем о физике будущего мира. Даже Данте написал бессодержательнейшую книгу о рае. Только ради того, чтобы соблюсти гармоничность постройки.

— Не считаю так, — буркнул капитан первого ранга.

— Вы читали третий том?

— Естественно.

— Ах, вот вы на кого замахнулись!

— Я ни на кого не замахивался.

— Чего вы ждёте? Подписывайте!

— Я сомневаюсь.

Оскар Борисович заволновался. Наклонился вперёд, поставил взятую в руку бутылку на стол.

— Что так?

Степан Родионович пошёл на откровенность:

— Будет ли успех таким оглушительным, как я рассчитываю.

— А, — редактор успокоился, — успех вещь уклончивая. Мой знакомый режиссёр говорит: “Если зритель не пошёл, его уже не остановить”.

— Да нет, — досадливо поморщился Степан Родионович, — в окончательной победе сомнений нет. Где вы ещё столкнётесь с такой стройной и мощной концепцией? Но быстро ли это будет? Замедленная реакция может мне дорого стоить.

Это был скользкий момент, и началась со стороны Оскара Борисовича демагогия, хорошо поддержанная коньяком.

— Вы знаете, я держусь той точки зрения, что не уважать успех — не уважать народ! Неуспех иногда не заслужен, а успех заслужен всегда.

— Понимаю, вы не хотите отвечать на мой вопрос.

— Хочу, хочу отвечать на ваш вопрос, — опять забеспокоился редактор, — могу привести в пример “Божественную комедию”: её современники сразу же оценили. Кстати, вы, наверное, знаете, что там в тексте полно реальных личностей, в разных кругах ада, в основном.

— У меня тоже полно реальных личностей. Горбачёв, к примеру, и прочие “прорабы”.

— Да, — оживился Оскар Борисович, — Яковлев расписан щиро. Откуда, кстати, у вас эта информация, что он был гонителем братьев Стругацких?

— Верная информация, от участников.

— Впрочем, ладно. Подписывать-то будете?

— Да.

Степан Родионович проигнорировал ручку, предложенную издательством, достал из кармана свою, чернильную. Развинтил её и задумался. Оскар Борисович занервничал, хотя процедура имела ничтожное юридическое значение.

— А представьте себе другой способ одоления Гитлера, кроме Сталинской сверхмобилизации!

— В каком смысле?

— Ещё когда Сталин скупал в Америке заводы, чувствовалось, что он понимает, испытание какого рода предстоит стране. За двадцать лет до события.

— Ну, допустим.

— Из болот и лесов вылезшая лапотная Россия должна была столкнуться с самой передовой силой своего времени. Знаете, что перед Второй мировой войной шестьдесят процентов всех научных публикаций осуществлялось на немецком языке.

Оскар Борисович солидно кивнул, приветствуя одну восьмую немецкой крови в своих жилах, и солидно наполнил свою рюмку.

— У них уже было цветное телевидение; симфонический современный оркестр — это оркестр немецких народных инструментов; а философия...

— Что философия? Ах, ну да, ну да.

— Немцы, как ни странно, я пишу об этом, имели основания считать себя высшей расой.

— Да что вы?

— Вот вы ёрничаете.

— Нисколько!

— Желаете играть роль шута?

— Помилуйте, Степан... э-э ...Родионович!

— А между тем, Олимпийские игры. У нас стыдливо выставляют вперёд одного негритянского спринтера, забывая сказать, что по медальному зачету победила-то Германия. Так что, вот что — силу эту надо было как-то побеждать. Поэтому заводы без крыши над головой в Сибири, дети на ящиках. Какие там сверхскорости продвижения! Наполеон в сентябре был под Москвой на конной тяге, а Гитлеру потребовалось время до зимы.

— Вы обо всём этом пишете, — кивнул Оскар Борисович.

— Дом, который построил Сталин, наполовину завод, весь быт — койка и рукомыльник возле станка, однако русский народ сдюжил.

— Так и назвали бы “Русский дом”.

Степан Родионович помялся, видимо, редактор угадал его мысль, но природная честность требовала названия другого.

— Да, есть для этого основания. В сорок третьем был приказ — никого, кроме славян, в армию не призывать. Мелкие народы беречь.

— Ну.

— Но кем мы будем без справедливости? Гибли не только русские. Да и гибли тёмные аульщики без понятия, без света родины в сердце. Их использовали втёмную. Ну, правда, Сталин сказал свой тост.

— За русский народ? А у меня всё время ощущение, как у породистого коня, которого похлопывают по шее.

— Что вы такое говорите?

Оскар Борисович снова налил.

— Только не надо мне сейчас намекать, что я не вполне русский человек, и поэтому права не имею на такие чувства.

— Я и намекать не стану, я прямо скажу.

Редактор выпил.

— Обидели, а зря. Мои предки строили мосты по всей стране. И ни один из них не обрушился без помощи извне.

— Извините. Занесло.

— Нет, привычно. Знаете, как генерал Ермолов написал про Баркляя, когда того сняли и назначили Кутузова. Шотландец лица на себе не имел, а Ермолов: “Велики, должно быть, огорчения!”

— Наполеон — первый объединитель Европы.

— Вы подписывать будете?

Но разговор явно затягивался.

— Папа, ты замок сменил.

— Уже неделю как.

— Зачем?

— Света, я захотел сменить замок. Почему я должен отчитываться?

— Папа, вот это и наводит на мысли.

— Гони их, Свет.

— Я понимаю, ты считаешь меня идиоткой, но вот Олег...

— Что Олег?

Светлана уселась с размаху за стол, на котором Степан Родионович заваривал свой обычный крепкач, манипулировал с сосудами, любовался на просвет, чуть-чуть подсыпал сольцы.

— Ладно, Олег сейчас в отъезде, но он предсказывал, что ты захочешь продать квартиру.

Степан Родионович опустил руки. То ли сообщаемое было для него новостью, то ли свидетельством того, что его тайный план разоблачён.

— Нет, доча.

— Правда, нет?

— Хочешь, перекрещусь?

— Да не верю я в то, что ты веришь.

— Я верю в Россию, — усмехнулся Степан Родионович, но тут же почему-то внутренне осунулся, будто что-то вспомнив.

— Папа, ты должен мне дать слово, что даже ради своей прекрасной книги, а Олег говорит, что это выдающаяся книга, и я ему верю, ты не продашь нашу выдающуюся квартиру. Ведь мы получали её все вместе. Даже Нинка была уже на свете.

Степан Родионович отхлебнул чаю, поставил чашку на стол, встал прилительно по стойке смирно и сказал:

— Даю тебе слово, дочь, у меня не было в мыслях продавать квартиру. Хотя, когда пойдут продажи, деньги некуда будет складывать, поверь мне.

Лицо Светланы вытянулось.

— Так ты...

— Да, собираюсь издать. Уже закончил.

— А третий том? А Данте?

— Очень ужмусь. Нет у меня такого таланта, как у итальянца, не настолько я проник в тайны вещества, только политическая сфера мне даётся, надо понимать свои ограничения, оказываешься на зыбкой территории. Петрович мне отрегулирует машину, я ему звонил, ну и...

Степан Родионович прихлопнул себя по бедрам.

— Все вы получите своё. Понимаешь, как красиво получается. Хотя, если вдуматься, квартира в сталинском доме пошла на издание книги “Сталинский дом”. Пошла бы. А?

— Папа!

— Дал слово, дал.

— Письменного обязательства я с тебя брать не буду. Понимаешь, мы устали торчать в четырёх стенках, как в камере. Валерка переедет сюда, он всё-таки замдиректора, но и мы с Олегом не чужие тебе. Нинка устала снимать. Понимаешь... Что ты нахмурился?

— Да, Нина.

— Да, ладно тебе, не семи она палат ума, или как там надо сказать?

Но ведь любит тебя.

— Понимаешь, любить надо не меня, а моё.

— Ты стал такой сложный, папа. Большой мыслитель, говорю совершенно серьёзно, но мы-то простые люди, со своими маленькими радостями и горестями. Улучшение жилищных условий нас заботит больше, чем благо человечества.

Степан Родионович покивал головой.

— Ну, я поехала. На Нинку не сердись, она правда тебя любит.

— Передай Валере, что я зла на него не держу. Поговорили, повздорили. Видишь, он тебя подсылает.

— Я по собственной воле.

— Ладно, ладно.

Три дня спустя Степан Родионович вышел с чёрным дипломатом из здания банка “Изумрудный”, что на Комсомольском проспекте. Тревожно оглядываясь, он быстро продвинулся к ожидавшей его “Волге”. Там, на заднем сиденье, сидели два полковника, специально в форме по просьбе владельца машины. Он всё же опасался бандитского беспредела: вдруг кто-то из банковских шепнул уголовщине о том, что дедушка в погонах получает приличную сумму. Наслышан был о таких случаях. Два прежних сослуживца согласились помочь. У одного даже было право на ношение оружия — он всё ещё тянул ляжку, — второй пристал за компанию.

Усевшись за руль, Степан Родионович шумно выдохнул.

— Ну, первая часть предприятия завершилась. Едем на Мясницкую. Смотрите, ребята, в оба.

— Да ладно тебе, — сказал хриплым голосом тот полковник, что имел право на ношение.

— Послушай, — сказал второй, — а ты всё обдумал?

— И обдумал, и два раза обдумал, и три. Деньги не проблема. Книги нужно только довести до книжного магазина.

Сидевшие сзади переглянулись.

— Пойдут продажи, некуда будет складывать дензнаки.

Машина подъезжала к зданию МГИМО.

— Что вы там затаились, переглядываетесь, решили, что с глузду съехал?

— Да нет, — сказал тот полковник, что с правом ношения, — ты же мне давал смотреть наброски ещё. Замах чувствуется. И в издательстве схватились.

Степан Родионович хохотнул.

— Ещё бы! Такая сумма наличманом прямо им в кассу. Они-то думают, что используют дурака-полковника, а на самом деле, это я их использую. У них же общемосковская система распространения.

— Да, — сказал другой, более молодой полковник, — я читал вторую часть, вы же мне давали. Убойный материал, и изложено так, что...

— Старался.

Москва была подозрительно свободна, как будто все автомобилисты столицы решили предоставить полковнику режим наибольшего благоприятствования. Вот уже мы у Главпочтамта, минуем Чайный домик, ещё чуть-чуть...

— Здесь я просил бы вас пойти со мной. Дешёвый, конечно, приём, но количество погон сыграет свою положительную роль.

Встречал самый главный. Тут три полковника, там генеральный директор, какая-то сплошь военизация. Оскар Борисович был явно во вторых рядах со своей трубкой и пуловером. Сопроводили все вместе виновника яркого издательского события в бухгалтерию. Там, наконец, Степан Родионович успокоился.

У дверей бухгалтерии скопилась маленькая толпа из сотрудников издательства, а потом начала рассасываться. Собственно, всё интересное оказалось позади. Наконец, остались только два бравых офицера и Оскар Борисович — люди, имевшие непосредственное отношение к событию. Редактор посасывал пустую трубку и нахваливал Степана Родионовича.

— Редко встречающийся тип автора.

— Что вы имеете в виду? — поинтересовался вооружённый полковник.

— Такая вера в собственный успех встречается нечасто.

— Так вы что, считаете, что это предприятие с негодными средствами? — поинтересовался второй офицер.

Оскар Борисович достал трубку изо рта и нарисовал ею некую загогулину.

— Пути успеха неисповедимы. Налицо читательский голод в стране. Если б вы знали, что мы порою издаём!..

— Пойдите, пойдите, вы хотите сказать... — первый полковник спросил тоном, в котором явно чувствовалось табельное оружие.

— Нет, — отскочил редактор, — я считаю труд Степана Родионовича выдающимся произведением. Из ряда вон.

Тут появился герой разговора. Вид у него был опустошённый. Оскар Борисович чуть не кинулся ему на шею. Впрочем, его интерес в деле был предельно ясен.

— Ну, что же, вперёд. Не может быть, чтобы вы не заказали где-нибудь в приличном месте приличного столика по случаю такого события.

Тут полковники ничего не стали возражать, и Степан Родионович кивнул.

— Оскар Борисович, куда у вас обычно ходят после такой акции?

— В “Славянский базар” — после операций такого значительного характера, только туда.

— Ну, туда, так туда.

Разумеется, даже такой отчаянный человек не мог не оставить какой-то суммы на накладные расходы в период издательской компании.

— Правда, я рассчитывал переговорить о сроках с вашим генеральным директором.

— Там уже итальянцы, — верещал редактор, — а что касается информации о прохождении рукописи, я вам могу изложить всё наилучшим образом сам. Уже сегодня мы оплатим услуги типографии. Первый том всю читают корректоры, на днях мы с вами снимем вопросы и... Такие заказы, как ваш, Степан Родионович, на дороге не валяются!

Сели непосредственно у фонтана. Оскар Борисович взял управление ситуацией в свои руки. Такое впечатление, что он знал, на какую сумму может рассчитывать, потому что заказал ровно так, чтобы денег у Степана Родионовича хватило. Сыпал своеобразными редакторскими шуточками, рассказывал бородатейшие анекдоты из писательской действительности, благо слушатель благодарный, привыкший к немного брутальному военному юмору. Так что дело пошло, и скоро веселье стало искренним.

Поначалу сквозило в поведении редактора нечто, вызывающее сомнения, он, например, упомянул о том, что в “ту суровую пору” два его родственника сгинули в лагерях. Степан Родионович отлично помнил, что во время первого разговора было таких родственников три. Или всё же память подводила?

Постепенно коньячные пары окутали разговор, трёп Оскара Борисовича перестал казаться рискованным. Тем более что он не уставал клясться в глубочайшем почтении к труду своего подопечного.

Степан Родионович всё же спросил, как же так? Два или три? На что редактор беспечно махнул трубкой.

— Третий — Петренко, просто хороший знакомый, мы его считали членом семьи.

— А-а...

Разошлись непоздно, в полном убеждении, что дан старт значительному начинанию.

Перепрыгиваем сразу через несколько недель, наполненных разными видами томления, волнением, нетерпением, что овладевали всеми участниками семейно-производственной истории. Наконец рано утром, часов в девять раздался звонок в квартире уже три часа как не спавшего Степана Родионовича, и хриплый, может быть, даже похмельный полубас Оскара Борисовича выпустил в пространство долгожданную фразу.

— Тираж вышел, через пару часов его привезут.

Капитан первого ранга остался сидеть на кухонном стуле, на который опустился ввиду слабости ног, с трубкой в руке. Надо сказать, помимо радости, которая не могла его не охватить, на него напал ужас. Что теперь делать? Куда бежать? Может, даже самому придётся разгружать, хотя, скорей всего, об этом позаботятся. Надо ехать в издательство! Но рано. Степан Родионович уже изучил режим работы этого предприятия. Раньше полудня там никто не появляется. Надо позвонить Оскару Борисовичу для уточнения подробностей, но ведь известен только его рабочий телефон.

Как Степан Родионович провёл эти три часа, рассказывать мы не будем, лучше сразу переключимся на кадр, где он стоит перед штабелем, сложенным из больших пачек в два экземпляра книги: два толстых тома и один тоненький. Рядом иронически курит господин редактор, кутаясь в светлый небудительный плащик. На дворе, видите ли, осень. Ангар сырой, неухоженный, и в этом видится Степану Родионовичу какое-то смутное неуважение к его ослепительному труду.

Рядом с редактором — невысокий мужчина с бумагами в руках, он что-то там чёркает и смотрит на пирамиду “Сталинского дома” без должного почтения. Наверно, какой-то кладовщик. Так и оказалось. На попытку Оскара Борисовича представить автора он только махнул рукой, словно это не имело никакого отношения к делу, и протянул счастливому автору счёт.

— Что это? — спросил Степан Родионович, хотя все сразу понял.

— Ну, не бесплатно же здесь будет находиться это всё.

— Это что, не ваш склад?

— Да, не наш. У нас все забито.

— А-а...

— Пару пачек можете взять с собой, — вступил Оскар Борисович.

— Ну да, ну да... — Степан Родионович хотел всё же большей торжественности вокруг факта выхода в свет своего эпохального труда.

— А генерального не будет? — задал он совершенно неуместный вопрос.

Кладовщик аж кашлянул.

— Зачем?

— Я возьму пару пачек. И ваш счёт возьму. Только это вот что мелкими цифрами?

Мелкими цифрами была набрана довольно крупная сумма.

— Это за месяц вперёд.

— Угу.

— Ну, до свиданья, — сказал кладовщик и растворился.

— Кладовщики — люди без сердца, — заметил Оскар Борисович и полез в карман за чекушкой. Аккуратно отпил, даже не поморщился. — Утренний декохт, — пояснил он.

— Куда я со всем этим?

— На просторы мировой культуры, — сказал повеселевший редактор.



Долго скрывать истинное положение дел, конечно, невозможно. Во время очередного дежурного визита Валерий обнаружил в доме трёхтомное свидетельство того, что история не стоит на месте. Взял в руки голубоватый том с золотыми большими буквами, повертел: будучи тугодумом, он медленно осознал смысл произошедшего.

— Они сунули по три моих тома под одну обложку, а “Рай” пошёл отдельно, поэтому так странно выглядит, — сказал Степан Родионович.

Сын бросил на отца подозрительный взгляд и полез в конец книги, туда, где указывался тираж. Вслед за этим последовал другой взгляд — отчаянный.

— Пятнадцать тысяч, — прошептал он.

— Да, — с насильственной гордостью произнёс старик, — и знаешь, по сколько продаётся?

— Продаётся?

— Именно. Во всех магазинах. Даже на Калининском и в сотом магазине на Горьковской.

Валерий сглотнул слюну — не получилось. Сглотнул во второй раз.

— А сколько всё это стоило?

Степан Родионович прошёлся по кабинету. Скрывать дальше не имело смысла. Никакого. Пора давать объяснения. Сын поспешил с вопросом, поэтому можно было дать объяснение утешительное.

— Ты что, продал квартиру? — просипел Валерий.

— Нет.

— Нет? А откуда у тебя...

— Я взял кредит.

— Под залог квартиры? — Валерий вдруг стал соображать с повышенной скоростью.

— Можно и так сказать, — с достоинством ответил Степан Родионович.

— Но это же... просто замедленный способ потерять её, квартиру.

Капитан первого ранга решительно покачал головой.

— Пойдут продажи. Идут продажи.

Пузатый сын обрушился в кресло отца и стал похож на жабу.

— Ты меня, в общем-то, обижаешь этим своим недоверием, — пытаюсь перейти в атаку, сказал Степан Родионович.

И тут перешло превращение жабы в медведя.

— А ты меня не обижаешь? — вскочил Валерий. — Ты ради удовлетворения своей фантазии пустил по ветру единственное ценное родовое имущество и ещё смеешь мне говорить про обиды.

— Что значит — по ветру?

— То и значит. У тебя три внука, где они будут жить?!

— Здесь.

— Как ты считаешься с банком? Думаешь, кто-то сейчас посмотрит на твои заслуги и тебе простят должок?

— Почему должок? Поехали, посмотришь сам, всё стоит на полке.

— Будет стоять там до скончания века!

Тут впервые Степан Родионович почувствовал в словах сына нечто направленное не только против себя, но и против книги.

— Так ты хочешь сказать...

Валерий на секунду замер, но тут же волна несущего его гнева перебросила через мысленное препятствие.

— Да, я хочу сказать, что заработать на твоём “Сталинском доме”...

— Договаривай. — Голос Степана Родионовича сделался твёрдым, сын знал этот его голос. Последнее время отец не часто прибегал к такому тону, но со времён детства помнил, что следом последует что-то страшное.

Сын опять превратился в жабу, но жабу всё же способную к сопротивлению. Он опять сел в кресло и неуверенно проговорил:

— Сомневаюсь я, что ты заработаешь достаточно, чтобы расплатиться за квартиру.

— Так ты что, лгал мне всё время про то, какое это великолепное произведение?

Валерий очень тяжело вздохнул и покачал головой отрицательно.

— Нет, конечно, папа. Это очень сильно, очень много... мыслей важных. Но народу этого не нужно. Ему нужен детектив, балаган.

— Уходи.

— Папа.

— Чего я не потерплю, это двуличия.

Сын засопел, собираясь с силами.

— Что ты там раздуваешься, смотри не лопни.

— Да, на мой взгляд, это провальный проект. Ты просто капитан первого ранга, а не спаситель отечества.

— Договаривай. Возможно, это наш последний разговор.

Валерий опять вскочил с кресла, хватаясь за сердце и брызгая потом и слюной.

— Ты просто городской сумасшедший, которого развели, как лоха, и теперь там хохочут по углам. Не будет продаваться эта галиматья! — Он ткнул пальцами в голубой том. — Не будет, и жить тебе на улице.

— Уходи, а то я тебя застрелю.

Конечно, после этого Валерий освободил ринг.

В книжном магазине на Калининском книга Степана Родионовича продавалась в разделе “философия”. Это было лестно. Но это единственный бонус. Капитан первого ранга приехал на торговую точку и, пользуясь тем, что народу довольно много и затеряться довольно легко, устроился у полки с надписью “эзотерика” так, чтобы краем глаза наблюдать, как народ будет ломиться за “Сталинским домом”. Книгу, считал Степан Родионович, разместили неудачно, ниже уровня глаз и лишь корешками к будущему благодарному читателю.

Несмотря на то, что “Дом” занимал довольно солидное место на полке, никто за половину часа не обратил на него никакого внимания. Степан Родионович страдал, ему казалось, что стоит только подтолкнуть слегка ситуацию, и телега помчится, но рекламировать свою продукцию нельзя, иначе тут будет черт-те что, сотни авторов встанут у полок и давай драть горло. Но всё это несправедливо, имя у него пока неизвестное. Надо откупорить сосуд с этим джином, чтобы все поняли, с чем имеют дело. На днях должна выйти заметка в “Красной звезде”. Степан Родионович понимал необходимость рекламной кампании, но также понимал, что заметки этой будет маловато.

Нет, не берут.

Оглядываясь, как карбонарий, автор “Сталинского дома” пробрался к полке, на которой этот “Дом” стоял, и, вынув первый том, поставил его лицом к возможному покупателю. Отойдя, опять затаился.

Возможность более полного знакомства с великой книгой никак не повлияла на продажи. Как не брали, так и не стали брать. Через пятнадцать минут работница магазина, проходя мимо этой полки, на автомате вернула “Дом” в прежнее положение. словно бы высунувшись перед покупателем анфас, он нарушил некие правила.

Степан Родионович позвонил Оскару Борисовичу и рассказал о своих наблюдениях. Тот весело рассмеялся и сказал начинающему автору, что карта торгового зала магазина расчерчена на своеобразные зоны, и поэтому одни книги лежат на прилавке рядом с кассой и там стоит фотография автора, а некоторые, как “Сталинский дом”, стоят корешком в мир, и есть весьма маленький шанс, что кто-то обратит на них внимание.

— Ну, так что же вы...

— Всё это стоит денег.

— За хорошую позицию надо платить?

— И немало.

— А кто должен платить? Издательство?

— В особых случаях — да.

— Так значит, я — не особый случай?

Оскар Борисович покашлял.

— Поймите, когда издательство рискует своими деньгами, оно старается их вернуть.

Степану Родионовичу открылась часть истины, впрочем, лежавшая не слишком глубоко.

— То есть с меня вы и так получили достаточно, поэтому...

— Ну, да. Хотя, вы же не можете сказать, что вас продают по бросовой цене.

— Что это значит?

— Вот вернитесь в магазин и сравните порядок цен. Ваш трёхтомник на три рубля дороже, чем трёхтомник Джойса, такой белый.

— Что это значит?

— Ну, пока не то, что вас считают фигурой превосходящей Джойса, но ваша книга...

— Я должен подумать. — Степан Родионович резко повесил трубку.

— Раньше надо было думать! — с чувством глубокого удовлетворения сказал в пустой эфир редактор.

Дни замелькали, как сумасшедшие. Старший сын не звонил. Средняя дочь тоже. Звонки младшей Степан сбрасывал. Сходил ещё раз в совет ветеранов с тем, чтобы спросить хотя бы часть суммы, которая зарезервирована на издание его книги в будущем году. Гафуров ответил, что не может никак, деньги в бюджете будущего года, они там, как за каменными стенами. А идти ни на какие махинации он не намерен. У него всё чисто, комар носу не подточит. “Сказал бы я тебе”, — подумал капитан первого ранга и почти хлопнул дверью.

Дома его ждал звонок со склада, где лежала основная часть книг: пора платить. Степан Родионович что-то подсчитал в голове, и вышло, что действительно надо. Накануне ему пришло письмо из банка с подобным же напоминанием. Он сел, открыл стол, где лежали записки, пересчитал бумажки. Выходило, заплатить он может только в одно место. Он позвонил на склад и спросил, что будет с книгами, если он затянет с выплатой. Ответом было одно скользкое, как змея, слово:

— Утилизация.

— Под нож пустите?

— Ну, да.

То есть вопрос решил сам собой — с квартирой можно подождать.

Но не собирався ждать Валерий, и, чтобы поговорить с отцом, он избрал неожиданный ход. Впрочем, по-житейски уместный. Позвонила его жена и мягонько так спросила о размерах кредита, полученного в банке. “Ага”, — сказала она в ответ, услышав сумму. Степан Родионович отчётливо ощущал, что пузатый сынок стоит рядом и нашёптывает ей слова.

— А погашать вы будете из своих... авуаров?

— Из своих, — ответил капитан первого ранга. Он испытывал острое желание прервать разговор, но понимал, что это единственный способ довести до сына всю финансовую информацию, на которую тот имеет право.

— И...

— Что — и?! Источник моих сбережений только жалованье. Воровать не обучен. Мой родной сынок мог бы припомнить своё детство. Как нам далась посредственная наша машина, и икрой мы его не обмазывали. Как только он сумел наесть такой живот!

Первым не выдержал Валерий. Схватил трубку и прокричал:

— Так значит, через пару месяцев наше родовое гнездо уйдёт в собственность банка?

— Пойдут продажи...

— Наивный папа! Не пойдут они! Нельзя продать то, что нельзя продать. Ты там что-то сочинил, ну, наверно, важное, но народу это по фигу.

Степан Родионович сдержался.

— Погашай кредит ты, у тебя вроде бы есть записочки.

— Ах, вот оно что! Ты хочешь, чтобы я выкупал квартиру, которая

принадлежит мне по праву наследования. Да я лучше куплю квартиру в новостройке!

— Какой новостройке! Разве сейчас так построят? Это ведь сталинский дом! — сказал Степан Родионович.

Сын почему-то взвыл на том конце провода. Хотя понять его нетрудно — это был вопль человека, которого заставляют платить за то, что он рассчитывал получить бесплатно.

— Плевать я хотел на сталинский дом, — просипел он, и трудно было понять, что имеется в виду, квартира или отцов труд.

Имел место и разговор с дочерью. Будучи подготовлен психологически, Степан Родионович без обиняков предложил, чтобы Света подключилась к общему проекту спасения роскошной четырёхкомнатной квартиры путём слияния капиталов. Света никак не ожидала такой хладнокровной решительности со стороны отца и сказала, что посоветуется с Олегом, этот, как всегда, был за границей.

— А что такого? Ты хочешь двухкомнатную квартиру, Валерка — четырёхкомнатную, помогите друг другу.

— А Нина?

— Я с ней не разговариваю.

— Папа, а ты что, всё до копейки угрохал в свою книжку?

— Разве она того не стоит?

— Стоит-то, может, и стоит... Нет, я посоветуюсь с Олегом.

Степан Родионович продолжал шляться по книжным магазинам. Был в сотом на Тверской, в “Молодой гвардии” на Полянке, в многоэтажном рядом с музеем Маяковского. Везде заставал одну и ту же картину. Книга не шла. Спросить продавцов прямо — продали ли они хотя бы один экземпляр, он не рещался, сразу будет понятно, что он автор.

Обратиться к друзьям? Обратился. Тот полковник, что имел разрешение на ношение, ответил ему прямым текстом. А текст такой: если бы Степану Родионовичу деньги были нужны на что-то существенное, например, на лечение, то одолжил бы. А тут, прямо скажем, какое-то баловство. Произнесено было так уверенно, что Степан Родионович смутился.

— Наше дело родину защищать, а не книги писать. Пусть даже и этакие.

Уже положив трубку, он придумал аргумент, что, если разобраться, деньги ему нужны как раз на существенное — на квартиру, его запросто могут лишить крыши над головой. Он сам, дурак, в договоре указал, что квартира — не единственное его жилище. Но не считать же жильём развалюшку в Тверской губернии!

Позванивал иногда Оскар Борисович, он всегда находился в весёло-философском состоянии, необидно шутил и ничуть не удивлялся тому, что “Сталинский дом” не пользуется никаким успехом.

— Нужна презентация.

— Что это? — Необразованность Степана Родионовича извинительна, в те времена ещё не во все направления нашей жизни вошли современные способы культурного продвижения издательского продукта. — А где это?

Оскар Борисович сказал, что нотная библиотека имени Михельсона будет рада его видеть.

— Это над Яузой. На первом этаже одной высотки.

— Бесплатно?

— Зал бесплатно.

— А что не бесплатно?

— Банкет.

Степан Родионович подумал, позвонил по записанному телефону, поговорил со скрипучим, но любезным голосом — это было в понедельник, — а уже в субботу явился по указанному адресу с двумя сумками напитков и еды. Как ни странно, Оскар Борисович согласился его сопровождать, и не только до библиотеки, но и в магазин. Давал путные советы по поводу того, что следует приобрести. Никаких тортов, бутылка коньяка только одна,

для председателя клуба, вино — сухое, побольше дробной закуски — оливки, нарезки. Все под шуточки и присловья.

— Колбаска, сырок, всё наискосок. Постепенно вырабатывается оригинальная отечественная фуршетная культура. Вот попробуйте купить копчёную курицу — все перепачкаются. Хотя давайте всё же одну купим. Ну, там, для оригиналов.

Приехали. Были встречены милой карлицей в огромных очках, с которой Оскар Борисович подчёркнуто расцеловался. Он вёл себя как завсегдатай, как успешный добытчик, все с ним раскланивались. Явился и руководитель клуба — опять поцелуи. Григорию Петровичу, человеку, в котором очень чувствовалась должность, Оскар Борисович продемонстрировал два больших пакета с книгами “Сталинский дом”. Надо сказать, что на дворе впервые со времён погромной перестройки стояла лёгкая идеологическая оттепель, когда стало возможным хоть в какой-то форме разговаривать о вожде народов. Да и то — только благодаря особому положению Оскара Борисовича в здешнем клубе и обещанию, что будет разговор аналитический, а не камлание в честь сомнительной фигуры.

— Вы меня знаете, — убеждал господин редактор.

Конечно, он должен был вести этот вечер. И потихоньку настраивался, отлучаясь в буфет за поддерживающей дозой из внутреннего кармана на этот раз довольно стильного пиджака.

Специальные женщины накрывали стол в тылу нескольких рядов кресел и стульев, что выстроились мягким полукругом перед двумя столами, за которыми предстояло расположиться Григорию Петровичу, гостю и господину ведущему.

Наконец, уселись. Григорий Петрович взял слово: мол, время идёт, наступают периоды спокойного отношения к одиозным историческим личностям, и сейчас такой период наступает. Надо изучать, а не кричать на площадях. И перед нами вот товарищ капитан первого ранга со своим актуальнейшим трудом. Похлопаем.

Раздались вялые хлопки. Надо сказать, что в зале было примерно две трети занятых кресел, и большинство из них занимали старушки и старички, с чуть-чуть испуганным интересом рассматривавшие идеологических героев, решившихся кинуться в пучину такой зубодробительной темы.

Степан Родионович подумал, что для этой публики как раз неплохо было бы приобрести парочку тортиков.

Взял слово Оскар Борисович. Он вынул изо рта трубку, неопределённо показав ею что-то в пространстве, и в этот момент гроыхнула входная дверь в зал. И один за другим стали входить молодые мужчины чёрных костюмах с клепаными узорами, в высоких ботинках, а иные даже в чёрных очках. Они, не говоря ни слова, усаживались в задних рядах, заслоняя собой бутылки.

Оскар Борисович не сбился, не затормозил ни на секунду с изложением своей витиеватой мысли. Словно появление банды громил в нотной библиотеке не было для него особой неожиданностью.

А Степан Родионович заволновался. Но решил, что, была не была, не станет он корректировать свою речь, от этой корректировки начнётся в голове полная сумятица. Есть план, будем его держать.

Товарищ капитан говорил на одном дыхании. “Да, — говорил он, — мы пытаемся объяснить себе, что случилось в нашем отечестве в те суровые годы. И невольно обращаемся ко временам ещё более ранним и не менее суровым, и постепенно в нашем сознании возникает образ дома, дома, где мы все живём и который защищаем, и ему хочется в какой-то момент дать имя. Что это, дом Александра Невского? В какой-то степени да. Может быть, Ивана Грозного? И опять-таки да. Петра Первого? Екатерины Великой? Столыпина? Безусловно. Возникает мысль, а всегда ли во главе государства был тот, кто заслуживает высокого имени строителя? Нет, конечно, были и вредители. При Грозном — Курбский, при Петре — сын Алексей, при Екатерине — Никита Панин. — Большинство присутствующих не знали, кто такой этот Никита, но дали себе слово выяснить и не полюбить его со всей

силой страсти. — Но больше всего их в наше время, — говорил Степан Родионович. — Тут и Керенский, и Распутин, и Ленин, и Парвус, и ещё один Никита, Хрущёв... Не говоря уже, уж извините, о героях перестройки, где господин Яковлев смотрится даже более зловещим образом, чем сам Горбачёв...»

Проговорив эти слова, Степан Родионович промокнул пот. Он ожидал какой-то резкой реакции в этом месте, но, кажется, пронесло.

— В моей книге, построенной по принципу “Божественной комедии”, для каждого хулителя и разрушителя найдётся место в пекле или во льду. Никто не ускользнёт от карающего меча. В качестве моего Вергилия я избрал Солженицына. Он мне необходим, потому что есть носитель якобы взвешенной позиции. Мы с ним иногда схлёстываемся в кратких словесных дуэлях, над головами отдельных личностей. И не всегда, я признаюсь, Солженицын побиваем моей точкой зрения, иногда я уступаю его объективности. Так вот к какой точке зрения я прихожу. Последний вариант нашего национального русского дома, который мы можем признать, есть сталинский дом. Мы разрушили его, но не до основания, ещё теплится жизнь в отдельных местах. Поэтому название именно такое. Нельзя же сказать, что Горбачёв что-то построил. Растаскиваем головешки с пожарища. А теперь вопросы.

В заднем ряду встал, по всей видимости, руководитель группы молодых бандитов и спросил, где они могут приобрести книгу.

— В книжных магазинах города! — не без гордости в голосе произнёс Степан Родионович.

Оскар Борисович влез сбоку в разговор.

— Но для вас припасён специальный экземпляр с подписью автора. — Он постучал трубкой по крышке первого тома.

Молодой человек счёл нужным представиться.

— Александр Петров, известный в определённых кругах под именем Крюк. Руководитель рок-группы “Стальные сплавы”.

Оскар Борисович заплодировал.

— Ты их знаешь? — шёпотом спросил Степан Родионович.

— Впервые вижу.

Герой вечера посмотрел в ряды бабушек и попробовал вернуть действие в русло.

— Ну, а теперь вопросы!

— Давайте все вопросы в неформальной обстановке, — опять вмешался редактор, указывая в сторону накрытого стола. Предложение было с восторгом принято. Оскар Борисович аккуратно отгеснил от капитана нескольких старушек с их худосочными вопросами и сделал всё возможное, чтобы Степан Родионович оказался рядом за столом с лидером рок-группы. Это был, несомненно, серьёзный человек. Он разговаривал, хмурия брови, и немного искоса поглядывал, словно не веря, что встретил человека, столь совпадающего с ним по взглядам.

Выпили водки. Оскар Борисович чувствовал себя на коне, с невероятной уместностью он вёл стол, не забывая упомянуть и отторгнутых бабушек, “которые ковали оружие победы в наших тылах”, и тех, “кто на переднем крае рвал в куски германскую военную мощь”, и “нынешнее поколение, что понимает жертвы отцов и готово подхватить знамя великой победы, не дать ему пасть в наше время меркантильного расчёта и всеобщей тяги к обогащению”.

— Чем я могу вам помочь? — наконец, спросил Степан Родионович Крюка.

Тот бросил в рот оливку и сказал, что помогать нужно не им, а общему делу.

Степан Родионович тоже съел оливку.

— Мы будем брать ваши книги на наши выступления. Экземпляров по двести-триста в зависимости от аудитории, ну, и торговать. Все деньги, разумеется, в вашу пользу. От вас потребуется только появляться в самом начале концерта, если можно, в форме и говорить два слова.

Предложение было шикарным, даже эти “два слова” не шли вразрез с тем, как мыслил свою роль полковник в деле возвращения родине её престижа и статуса.

— В форме? — спросил он глухо.

— Конечно. Нам тут нечего скрывать. Вы боевой офицер, у вас же есть парадная форма. — Крюк выпил водки.

Степан Родионович тоже выпил и кивнул. Попытался сказать, что в год окончания войны ему было всего одиннадцать лет, но его сбил с неприятной откровенности своей активностью Оскар Борисович:

— У вас, стало быть, есть уже и песни на тему?

— Пока одна, — сказал Крюк, — но будут ещё.

— Ну, вот видите, Степан Родионович, как всё складывается логично. Жизнь сама сводит нужных людей. Не только рок-композиции, столь необходимые молодёжи, но и тут же идейное обоснование в трёх томах. А будут покупать? — обратился он к рок-музыканту.

— Я скажу — будут.

На другом конце стола уже открыли книги, подаренные нотной библиотеке, водили бледными старческими пальцами по страницам, например, по тем местам, где описывалось, как Яковлев, тот самый, из Политбюро, кипит в смоле возмездия и рассказывает о том, как специально пошёл в партию, чтобы её разрушать. Это всё в отместку за раскулачивание. Те, кому не досталось книжки, запели “Артиллеристы, Сталин дал приказ”, и бледный директор библиотеки искусственно улыбался, понимая, что в этой аудитории по-другому быть не могло. Только бы не стало известно кое-где. Он не знал, где именно, но всё же... Это ведь всё равно, что запеть “Дойчланд убер аллес” где-нибудь в нотной библиотеке в Германии. Все уж подзабыли эти времена, а ведь было такое.

— Мне было одиннадцать лет... — силится быть честным Степан Родионович.

— Так что же, подпишем договор? — влез Оскар Борисович.

Крюка это канцелярское предложение ничуть не удивило.

— Завтра, — сказал он.

— За союз слова и ноты! Заметьте, всё происходит в нотной библиотеке. — Редактор поднял немалый фужер водки и обратился к трясущемуся директору: — Давайте выпьем за хозяина этого уютного логова, держащего нос по ветру перемен.

“А может быть, чёрт возьми, он и прав”, — устало подумал директор.

Разбудил на следующее утро Степана Родионовича неприятный звонок.

— Это ваши пачки посреди моего склада?

Голова капитана после вчерашнего не просто плохо соображала, а изрядно гудела, потому что они после библиотеки отправились с Оскаром Борисовичем в Дом журналиста. Он настаивал, что пора прибегать к богемной жизни, и кроме того, есть такое правило: если не отметишь события, его как бы и нет.

— Нет такого правила!

— Есть.

На пороге Дома “с самым лучшим в Москве буфетом” капитан всё же взял себя в руки. Он чувствовал, что пить дальше нет никакой больше возможности. Крюк укатил на какую-то оперативную квартиру, ему предстояло решить ещё кое-какие дела сегодня вечером.

— Нет, — сказал Степан Родионович, — не могу я больше пить и, главное, не хочу.

Сказал он это настолько прочувствованно, что даже сильно поддатый редактор ослабил хватку.

— Ну, ладно. Метро тут через дорогу. Но помните о правиле.

— Да нет такого правила.

На том и расстались. И вот неприятность с самого утра.

— Я же заплатил.

— Что ты заплатил, кому заплатил?

Степан Родионович не помнил фамилии, которому перечислялись деньги.

— Семенюку?

— Да, да, Семенюку!

— Труп твой Семенюк. Мне отошли все его гаражи и склады.

— И что делать?

— Забирай свои манатки, иначе всё пойдёт в печку.

Только в этот момент для капитана стали ясны размеры бедствия.

— Послушайте! Нельзя же так!

— А как можно? Сегодня ночью приходит два больших трейлера с контрафактом, и мне твои брошюры — как кость в горле. Забирай, прошу тебя, забирай.

Степану Родионовичу стало холодно стоять босиком на полу. Никакого решения в голову не приходило.

— Слушай, я дам тебе машину и грузчиков. За деньги, конечно. Только сваливай.

Что-то забрезжило.

— Я приеду.

— Час тебе, максимум — полтора, я загружаю самосвал. Если тебя через полтора часа не будет, он получит путевой лист на ближайшую свалку.

Который час? Половина восьмого. Куда отвезти священные кирпичи? Да, издательство. У них не может не быть какого-нибудь склада. В полвосьмого поднимать директора по такому сугубо транспортному делу... Да и где взять его телефон? Договор! Там были какие-то цифры. Полез в стол, одновременно одеваясь. Одной рукой натягивал спортивные штаны, другой раскрывал папку. Да, вот. Отчаяние придавало решимости. Чего он просит? Всего лишь перекантоваться сутки-трое, а там понаедут ребята Крюка.

Оскар Борисович почти мгновенно снял трубку, как будто и не спал вовсе. Или не ложился!

— Нет, — зевнул он, — телефона генерального у меня нет. Домашнего. А был бы, я не дал бы. Он выгонит за такую изобретательность.

— Так что же делать? — спросил Степан Родионович почти паническим тоном.

— А не поддаваться панике.

— Легко сказать...

— Сейчас поедем на склад. Захватите с собой все деньги, какие есть в доме. Предвижу траты.

— Да, мне сказал этот сумасшедший, наследник Семенюка.

— Дальше будет видно.

Когда таксомотор полковника подлетел к воротам промзоны, там уже маячила длинная вопросительная фигура в коротком плаще — редактор. Степан Родионович испытал чувство, похожее на благодарность. Впрочем, ему сейчас было не до чувств, требовались действия. Оскар Борисович коротко объяснил, в чём дело.

— Не пускают.

В серой будке у железных ворот виднелась большая голова с нагло выставленным золотым зубом.

Полковник постучал кулаком в шаткое, но реальное препятствие — железные ворота на висячем изнутри замке.

— Меня Семенюк прислал.

— Да хоть Лужков.

Ситуация идиотская. Ещё стояли времена отсутствия мобильных телефонов.

— Он же твой начальник. — Этим переходом Степан Родионович показывал всю степень презрения к халдею.

— Мой начальник Гаврилюк.

Чтобы не сводить с ума свою голову изучением местной иерархии, капитан длинно, по-морскому выругался, хотя и вполголоса.

— Разрешите позвонить, — раздался голос Оскара Борисовича.

— У меня нет телефона, и вообще — не положено.

Редактор достал из кармана початую бутылку коньяка.



— Хлебни, друг.

Пока золотозубый кряхтел после дозы, капитан проскользнул внутрь замызанной сторожки и тут вспомнил, что телефона Семенова не помнит, да и не знал никогда, а к тому же звонить надо тому, другому дядьке, что овладел его наследством. Что-то хрустнуло в груди Степана Родионовича — это его флотское сердце дало сбой в условиях бессмысленной жестокой суши.

— Сто пятьдесят семь! — крикнул золотозубый, то ли объявляя количество отпущено, то ли давая внутренний номер.

Капитан набрал сто пятьдесят семь, и на него обрушился поток матерных слов, из которого с трудом выуживался вопрос: чего вы там топчетесь, мы уже загружаем.

Оскар Борисович забрал у охранника бутылку, и они устремились в глубину территории, обходя кажущиеся совершенно бездонными лужи.

— Это что, мусоровоз? — в отчаянье воскликнул Степан Родионович, увидев страшный “КамАЗ”, стоявший тылом ко входу в известный склад Семенова. Там суетились какие-то люди, летали пачки книг из рук в руки и обретали упокоение в недрах до невозможности грязного автомобиля.

— Не мусоровоз, но мусор возил, — сказал редактор.

Протестовать было и поздно, и бесполезно, тем более, что большая часть пачек была уже загружена.

Водитель, неопределённого восточного типа человек в фуражке, надетой козырьком назад, спросил:

— Куда едем?

— Сейчас скажу, — ответил Степан Родионович, заглядывая в кузов. Пачки там лежали кое-как, что ранило сердце, но всё же было не так уж и грязно.

— Символично. С грани уничтожения книга возвращается к жизни, — сказал сзади редактор.

Водитель дёрнул его за рукав.

— Куда едем?

— Сейчас позвоним.

— У меня два часа, — сообщил со всей возможной враждебностью восточный человек, которого не интересовала отжившая своё время мудрость Европы.

Оскар Борисович посоветовал капитану сходить к сторожке, отдавая свою драгоценную бутылку.

— Я тут прослежу.

Он предчувствовал, какой у него будет разговор с Валерием.

— Что?! Я вчера лёг в три часа, а теперь ради твоей... я...

— Послушай, иначе отвезут на свалку.

— Там ей и место.

Возможно, в процессе разговора они бы и вышли на приемлемый результат, и Валерий пустил бы отца с его “КамАЗом” в свой дачный сарай, но Степан Родионович вспылил и сам бросил трубку. Выскочил вон из сторожки. Вернулся и выхватил у ласкового золотозуба бутылку — там ещё плескалось на доньшке граммов сто.

— Они пошабашили, — сообщил Оскар Борисович.

— Да, всё, — вытирая руки грязной ветошью, сообщил бригадир. И назвал какую-то несусветную сумму за работу.

— Стоп, стоп, стоп, — вмешался редактор, вытирая рукавом плаща горлышко принесённой капитаном бутылки, — дели на три и забирай.

— Что? — аж присел старший грузчик. Но тут же согласился: — Ладно, давай.

Водила уже сигналил из кабины — время!

Забрались внутрь.

— Откуда ты знал, сколько у меня денег? — спросил полковник.

— Даже боги не могут сделать бывшее не бывшим, а редактор может, — с ненужной загадочностью ответил Оскар Борисович. Как ни странно, такой ответ полковника устроил.

— Куда едем?

— К Светке. И без предупреждения.

Зарядил дождь. Мелкий, осенний, противный.

Водила угрюмо правил рулевым колесом, губы его шевелились, звуков слышно не было, но можно было догадаться, что с губ этих слетают сплошные проклятия.

“Мне бы твои проблемы”, — думал Степан Родионович, трясаясь на продавленном сиденье. Оскар Борисович сонно поглядывал на дорогу и кутался в плащ.

Сначала шли сплошные заборы промзон, кое-где украшенные поверху колючей проволокой. Дорога состояла из сплошных дуж, изредка попадались навстречу бедолаги на легковушках.

Светка снимала дачу в известном дачном посёлке километрах в восьми под Москвой, снимала необыкновенно удачно, буквально за копейки: кто-то из друзей Олега, надолго загремевший собкором куда-то далеко за моря, не стал брать с них полную сумму, главное — сохранность имущества. Степан Родионович справедливо рассудил: самосвал книжек — это не убыток для имущества, а прибыль. Да и лежать ему весьма недолго, судя по решительности Крюка.

Некоторое беспокойство? Ну, что ж, придётся пойти папе-полковнику навстречу.

Вывалили из бетонных теснин на трассу. Водила стал ругаться значительно отчетливее, хотя и по-прежнему бесшумно.

— Что-то мне это напоминает, — сказал Оскар Борисович.

Дождь усилился, усилились и звуки автомобильного встречного движения. Мелькали чёрные, кривоватые деревни с печальными и безнадежно пустыми автобусными остановками... Старуха с козой...

Степан Родионович радовался тому, что Светка так удачно поселилась: не надо форсировать столицу. Он чувствовал, что денег дал он водиле мало, при этом, кажется, лишил возможности полноценно халтурить где-нибудь на вывозе мусора.

Переезд. Могли проскочить, но шлагбаум опустился прямо перед носом. Долго ждали возникновения состава. Когда он появился, легче не стало, потому что полз он невероятно медленно, как будто неуверенный, стоит ли ему вообще двигаться.

— А это тебе ничего не напоминает?

— Как вы думаете, в посёлке там есть магазин?

— Откуда мне знать!

— Вы что, не навещали вашу дочь?

— Приглашала как-то.

Вагоны шли привычной линией.

— Как он не порвётся...

Водитель аж подпрыгнул на месте в ответ на удивление редактора.

— Послушай, друг...

— Я те не друг!

— Но не враг же! Будет магазин по дороге — тормозни!

— Чего?!

— Тормозни.

— Послушайте, Оскар Борисович... — поморщился полковник.

Проклятия, рассылаемые водителем разным ведомствам, начиная с небесной канцелярии, сделались слышны, и пассажиры услышали трагическую повесть о категорически не задавшемся дне, о подлой Москве, подлом Семёноке, который обманул с оплатой, и теперь ему, водителю, приходится ликвидировать его косяки.

Будь у Степана Родионовича деньги, он бы добавил обойдённому автомобилисту, но оставалась только мелочь.

Поезд кончился. Тронулись. И почти сразу же оказались у ворот Светкиного дачного посёлка. Тут тоже оказался шлагбаум, даже посолднее железнодорожного. И будка. Обитаемая. Внутри горел свет. Увидев, какая

громадина желает вклатить на территорию обустроенного поселения, на порог вышел зевающий человек. Степан Родионович кинулся к нему.

— К Светлане Степановне?

— Ну, да.

Охранник покосился на самосвал, но ничего не сказал, наверно, потому что и так было ясно, что отец прибыл к дочери с самосвалом.

— Можно от вас позвонить?

— Отчего же... — сказал охранник, являясь, видимо, человеком, не любящим тратить слова зря. И вошёл вслед за гостем, потому что на улице по-прежнему лило.

Водитель самосвала от нетерпения начал подпрыгивать на ягодицах, Оскар Борисович напротив, вроде как задремал.

Появился радостный полковник.

— Сейчас приедет, — сообщил он.

— А почему они по телефону не дали команды пропустить? — поинтересовался редактор.

Пока полковник думал, в конце улицы, что начиналась за шлагбаумом, показалась белая, по-видимому, иностранная, машина. Такое впечатление, что знаменитый зять полковника сидел за рулём. Шикарно развернулся у будки, подмигнул охраннику.

— Ну, что там, скоро? — торопился всё сильнее водитель самосвала.

— Олег...

— Да, я вижу. И что, вы решили со всем этим ко мне на дачу, на которую нас пустили Христа ради?

— Но.

Олег посмотрел на Степана Родионовича сверху вниз, хотя не был в принципе выше ростом. Очки и зачесанные назад волосы давали такой эффект. Да и весь облик его был какой-то особенный, тут даже не в границе дело.

— И что же мне делать?

Водитель самосвала первым почувствовал, что дела обстоят плохо, и закрыл глазами. Степан Родионович закрыл глаза и сглотнул слюну. Перешёл сразу к сути.

— Здесь, в этом кузове, дело всей моей жизни. Здесь книга, которой ждут многие. И уже на следующей неделе первые гастроли.

— Что-что? — Олег поправил очки.

— Нашлись люди, очень современные люди, молодые, которые будут торговать книгой на своих концертах. Книга мгновенно уйдёт. Никто и не заметил, что она...

Олег смотрел на Степана Родионовича снисходительно, как только можно смотреть на сотрудника генштаба, решившего стать писателем.

— Неужели вы ещё не поняли, что книга ваша — тяжёлая графомания, а вся акция по изданию — разводилово.

Рядом почему-то оказался Оскар Борисович.

— Я официальный представитель издательства...

— Ну, так и подержите книгу у себя на складе, пока эти удивительные молодые люди будут торговать ею на концертах.

На это было совершенно нечего ответить.

— И не смотрите на меня так, Степан Родионович, как на двуличного, я хоть раз хвалил ваше сочинение?

— Но Света передавала...

— Выковыривала положительные слова из потоков брани.

Это были слова, переворачивающие для Степана Родионовича реальность. Он вдруг как-то сразу осунулся, одно плечо стало ниже другого, глаза сузились, как от внезапной боли. Он мог произнести любую другую фразу, но сказал:

— Так что же мне сейчас делать?

Олег отступил на шаг, одновременно разворачиваясь.

— Смотрите сами.

Хлопнула дверь иномарки. Хлопнула дверь самосвала. Поддетел водитель, вопя что-то нечленораздельное. Стало ясно, что больше он ждать не намерен. Оскар Борисович встал между ним и полковником.

— Милейший, сейчас мы что-нибудь придумаем. — Хотя было ясно, он то понимает, что в данном положении ничего придумать нельзя.

Хозяин будки стоял и с интересом разглядывал участников драмы.

Олег умчал, и в его отъезде зияла своя безжалостная справедливость. До сочувствия он не захотел подняться.

— Степан Родионович, хочу напомнить, что у вас есть ещё одна дочь. Скажите мне номер её телефона.

Полковник тихо произнёс сквозь потоки брани, извергаемые водителем самосвала:

— Она живёт в городе, на съёмной квартире. — Он назвал номер телефона Нины. Эта информация его словно опустошила, и он медленно присел на ступеньку у входа в будку.

Дождь припустил сильнее. Водитель самосвала вдруг стих. Могло показаться — он вдруг проникся положением человека, не стоящего на ногах.

Оскар Борисович уговаривал жителя будки позволить ещё позвонить, тот справедливо выражал неудовольствие. Сколько можно? Солидность гостей сильно пострадала от поведения Олега.

Водитель самосвала решительно пошёл к самосвалу. Запрыгнул за руль и, не закрывая дверь, взревел двигателем. Ни у кого не нашлось сил ему помешать. Задний ход. Мощный разворот. Огромный автомобиль действовал с ловкостью “жигулёнка”.

Это был выход из ситуации, не предполагавший звонка дочери, которого Степан Родионович не хотел, поэтому он остался сидеть. Может быть, он отвезёт всё это обратно на склад?

Оскару Борисовичу и хозяину будки стало просто интересно. Отъехал метров пятьдесят, самосвал стал моститься задом к кювету, заскрипел, поднимая кузов.

Первым среагировал сторож. Он завопил про то, что нельзя, что строго пресекается, и побежал к самосвалу.

Оскар Борисович невозмутимо отправился звонить.

Степан Родионович остался сидеть. Поведение самосвала естественно вытекало из поведения Олега. И с этим ничего нельзя было поделать.

Самосвал, выпустив напоследок чёрное облако, уехал.

Сторож в неожиданных слезах стоял над кучей книг, внезапно ставших кучей мусора, и кричал, что этого нельзя делать. Полковник закрыл глаза, ему было нехорошо. Редактор описывал все эти события Нине.

Сторож вернулся, ноя. Он был в отчаянье. Он рассказывал, какие кары ждут его в связи с этим неожиданным подарком.

— Сдадите на макулатуру. Там тонны четыре, — сказал Оскар Борисович, раскуривая трубку.

Полковник не обиделся: понятно, что сказано только для того, чтобы утешить сторожа.

— Послушайте, — слабым голосом сказал он.

— Если вы мне дадите ещё раз позвонить, то очень скоро это всё отсюда уберут.

— Делайте, что хотите.

— Она сейчас приедет. С деньгами и с мужем.

Степан Родионович попытался встать.

— Нет. Оскар Борисович, не считите за труд. Позвоните Крюку.

Сторож сел рядом и обхватил руками голову. Он услышал слова про деньги, но ещё не понял, какое они имеют к нему отношение, и решил переждать в позе пострадавшего.

— Занято, — сказал редактор.

— Не волнуйтесь. Сейчас дочка подъедет. Мы тут... заплатим что-то. А потом ребята всё постепенно заберут.

Дождь прекратился, и даже в разрыве туч у горизонта проклюнулся луч света, как напоминание о том, что светлые моменты в жизни бывают.

- Оскар Борисович...
- Да, товарищ полковник.
- А вы что скажете?
- В каком смысле?
- А в самом прямом. Чего стоит моя книга?

Оскар Борисович пососал трубку, как будто добывал оттуда нужную мысль.

— Не сочтите за лукавство, но я отвечаю лукаво. В области разума нет прямых, математических доказательств того, что ваше произведение хуже “Дон-Кихота”, и нет также доказательств, что оно лучше. Вообще, профессионалы сохраняют от профанов эту тайну, как одну из важнейших. Всё держится на сговоре посвящённых.

— А я профан?

— Безусловно. Но наделённый огромной творческой силой. Однако природа этой силы скрыта от вас. Кто знает, какова она?

— Вы имеете в виду вкус?

Редактор ещё немного пососал трубку.

— Можно и так сказать. Знаете, вкус ведь пассивное качество, он оценивает. Создаёт талант. В какой степени в процессе создания произведения участвует вкус, понять бывает трудно. Может быть, в большой. Но, с другой стороны, ведь смешно сказать: у Пушкина был хороший вкус.

— Почему?

— Потому что это как бы несущественно. Какое нам до этого дело? Наслаждаемся плодами деятельности таланта.

Степан Родионович посмотрел на часы.

— Ладно. Я вас понял. Мнение о произведении есть продукт сговора.

— Не простого сговора, но сговора самых умных. Причём сговора на протяжении известного времени, в каждый отдельный момент времени мнение и самых умных может быть ложью. Тургенев считал “Войну и мир” растянутым текстом, а теперь мы упиваемся длиннотами.

Степан Родионович помотал головой.

— Вот вы редактор...

— Редактор. Представитель читателя в издательском процессе. Моя профессия ближе к критике, чем к литературоведению.

— При чём здесь...

Но Оскар Борисович сел на своего конька:

— Литературовед — это ведь прозектор, он вскрывает литературное произведение, как труп, и должен описать то, что видит: печень увеличена, сосуды забиты... Критик — врач, он решает, живо ли то, что он читает, и будет ли жить.

— Помилуйте, не надо. Вы мне скажите как редактор, как критик, как человек со вкусом, почему вы носитесь со мной? Это от того, что моё произведение произвело на вас впечатление?

Редактор пожал плечами:

— А я не читал ваш “Сталинский дом”. Пойду ещё раз позвоню.

Степан Родионович остался сидеть на ступеньке, осознавая услышанное.

Кажется, дозвониться удалось. Слышался звук разговора. Редактор был потрясён услышанным, несколько раз переспрашивал. Потом задал вопрос, получил на него, видимо, развёрнутый ответ. Вернулся к полковнику.

— Крюк умер. Они после нашего вечера вчера купили бутылку “рояля”. В разной степени перетравилась вся группа. Два трупа.

— Каких два трупа?

— Холодных, наверно.

— Крюк... умер?

— Умер.

Пока происходило осознание размеров события и его влияния на судьбу “Сталинского дома”, приехала Нина. Отец с трудом поднялся ей навстречу. Чтобы дать близким родственникам поговорить, Оскар Борисович увлёк полковничьего зятя к тому месту, где сидел хозяин будки. Надо было решать вопрос с оплатой места хранения книги. Пока шла очень даже рьяная торговля,

Степан Родионович стоял, обнявшись с дочерью, и что-то шептал ей на ухо.

Оскар Борисович оговаривал сумму и подчёркивал её трубкой в воздухе.

— Меня уволят!

— А кто сказал, что это случилось в ваше дежурство?

— Да как это можно скрыть? Сменщик...

— Хорошо, а почему вы должны отвечать за действия каждого сумасшедшего водителя?

Степан Родионович продолжал обнимать дочь.

— Папа, поехали домой.

Наконец, всё уладилось. Хозяин будки ушёл к себе. Остальные сели в машину и под усилившимся дождём покатали прочь. У кучи книг остановились. Степан Родионович попросил взять, сколько войдёт в багажник.

Зять выскочил, взял под мышки две пачки, две в руки. Таким образом, получалось четыре. Один экземпляр взял Оскар Борисович.

— Почитаю на досуге. А остальное не сгорит. Мокрая бумага не самое лучшее топливо.

Однако он оказался не прав. Дождь кончился, мокрая бумага подсохла, и вечером того же дня, хищно прокравшись к куче книг с канистрой бензина, хозяин будки подпалил её.

ИЛЬЯ КИРИЛЛОВ



ПРИВКУС ОГНЯ И МЕТАЛЛА...

БАТЮШКОВ

I

1822

По раскисшему тракту в болотной глуши  
на четвёртой неделе поста  
он в кибитке наёмной — ящик, поспеши! —  
в незабвенные едет места.

В непролазной тоске, в непроглядном чаду  
он покинул Европу — и впредь  
неподвластен ни слову её, ни суду,  
и вольно ж ему будет с собой не в ладу  
в захолустье своём умереть!

Утешителен дар его — воображать,  
и мучительна цель его — преображать.  
Но как долго, как долго ему  
безъязыкую бездну ещё вопрошать  
и протягивать руки во тьму?

---

*КИРИЛЛОВ Илья Николаевич родился в Оренбурге. Окончил филологический факультет Оренбургского государственного педагогического университета. Публиковался в журналах "Наш современник", "Москва", "Русское эхо", "Парус", "Бийский вестник", альманахах "День поэзии. XXI век", "Гостинный Двор" и др. Автор книги стихов "Дни ледостава". Лауреат Всероссийской Пушкинской премии "Капитанская дочка", Оренбургской региональной премии имени П. И. Рычкова. Живёт в Оренбурге.*

Видит Бог, он мечтал, на возвратном пути  
вновь отеческим солнцем согрет,  
не мольбу о спасенье с собой принести,  
а поклон и сыновний привет.

Отчего ж у округи зарёванный вид  
и от ветра не скрыться нигде?  
О провинция русская! Твой алфавит  
отсырел на апрельском дожде.

Ты струишь ему в очи холодный рассвет,  
ты колеблешь деревья в тоске  
и невнятное что-то бормочешь в ответ  
на плакучем своём языке.

Или время пришло, и беды не избыть?  
Что же медлит возница, несмел!  
Не ему предстоит онеметь и забыть,  
что ещё позабыть не успел.

Прошлогодней листвой на ветру закружит,  
сухостоем мелькнёт напослед  
всё, чем сердце поэта ещё дорожит  
и к чему возвращения нет...

О судьба! Повидавший в холодном дыму  
столько крови и пролитых слёз,  
вот он в голос рыдает в холодном доме  
среди северных чахлых берёз.

Вот он Тасса берёт... И бросает его...  
Вот к стеклу сиротливо приник,  
глядя сквозь отраженье лица своего  
на отчизны неузнанный лик.

Что ж он кучера кличет, мол, ехать пора,  
дождь закончился, ветер ослаб,  
будто нынче не все им попутны ветра  
и не всякий им родствен ухаб?

Будто важно, отчалив от всех берегов,  
отзываться на имя своё,  
понукать ямщика, отдыхать у стогов  
и тревожить лесное зверье.

## II

### В ВОЛОГДЕ

На сквозняках больших дорог  
до сердца певчего продрог.  
Очнулся — звёзды зажжены,  
с тобой ни друга, ни жены,  
и на отшибе бытия  
душа аукает твоя.

Но только призраки встают —  
тебя, как воды, обстоят,  
и песни вдруг перестают,



когда, как рожь, перестоят.  
Покуда слиты явь и сон,  
мир точно снегом занесён.

Ты сам, как рожь, перезревал,  
с Торквато милым зоревал,  
прозревши на беду себе  
свою судьбу в его судьбе.  
Но всюду — только занедужь —  
не Рим, а северная глушь.

В любой из берегов волна  
плеснуть вольна.  
Так от истоков ремесло  
тебя далёко унесло,  
но вновь свело тебя с собой  
молчанье, ставшее судьбой.

\* \* \*

Как оголились за ночь пашни!  
Семь туч, семь грозовых предтеч  
с утра ползут по-черепашьи  
и над водонапорной башней  
грозятся ситечком протечь.  
Пора великого ущерба!  
В рябой канаве на меже  
ветрами крученная верба  
себя не различит уже.

Как одиноко! И до срока  
пройдушь по тёмному двору.  
Пусть ошалелая сорока  
клюёт сухарик на юру.  
Её занятя не нарушу,  
согласный в этот час и в ней  
почуять родственную душу,  
к великой радости своей.

Как много их, тех, без которых,  
наследством не обременён,  
ты в родовых своих просторах  
как будто не укоренён,  
всему как будто посторонний,  
неразличимый вдалеке,  
под ветра свист и грай вороний  
стоишь с сухариком в руке...

О Боже, в этой смертной дрожи  
объемли облаком меня.  
Нет ничего милей и строже  
Тобой распахнутого дня.  
О, никогда мой бедный разум  
постичь не в силах тот объём  
всего, мне явленного разом  
в едином выдохе своём.

Но погляди: по всем приметам,  
Ты сам среди цветущих трав

когда-то хаживал по свету,  
по-птичьи голову задрав.  
Был окоём лучист и светел,  
но, чист и светел, Ты один  
им любовался. И свидетель  
Тебе вдруг стал необходим.

Тот, на кого, закрыв полнеба,  
падёт туман и сны падут,  
и тот, над кем склонится верба,  
Тобой поставленная тут,  
кто по негласному зароку  
живёт, как в поле будыльё...  
Дорога. Радуга. Сорока...  
Прими свидетельство моё!

\* \* \*

...Вновь самум задувает с востока,  
и на западе порох и дым.  
Ты, я вижу, обманут жестоко,  
что зовёшь это время худым.

По душе тебе дом у дороги  
и слепое круженье листа,  
но растущее чувство тревоги  
не врачуют родные уста.

И покуда оно не окрепло, —  
губы алы, глаза голубы, —  
злое облако пыли и пепла  
оседает на спящие лбы.

И витает, звучит над тобою,  
долетев с пограничных застав,  
сказ о том, как вернулся из боя,  
ни семьи, ни страны не застав...

Пробудиться, вскочить запоздало!..  
Ночь как ночь, только дали тесны.  
Только привкус огня и металла  
отравляет поэмы и сны.

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

## “К ПРЕДАТЕЛЬСТВУ ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ...”

**“ОН ПЕРЕДЕЛАТЬ МИР ХОТЕЛ...”**

Весной 1957 года, завершая работу на V курсе филфака МГУ, я вымучивал диплом о публицистике Михаила Кольцова, погибшего в ГУЛАГе, но помнил, что знаменитая настенная газета филологов “Комсомолия” недавно опубликовала мою лирическую поэму. Воодушевлённый успехом, я набрался храбрости, отпечатал на пишущей машинке несколько замечательных, как мне казалось, стихотворений, засунул их в конверт и, спустившись на первый этаж общаги, затолкал толстый конверт в почтовый ящик. Всё это произошло на Ленинских горах в зоне “Б” 63 года тому назад. А стихи свои я отправил в редакцию литературного журнала “Октябрь”, откуда через месяц мне пришёл ответ от неизвестного сотрудника журнала по фамилии Окуджава. Это письмо каким-то чудом сохранилось в моём архиве, чтобы наконец-то быть опубликованным.

**“УВАЖАЕМЫЙ ТОВ. КУНЯЕВ!**

*Чувствуется, что Вы не новичок в поэзии, формальная сторона не вызывает возражений. Но хочется сказать о манере письма. Дело в том, что Вы часто (умышленно или неумышленно) искусственно усложняете структуру стиха. Это искусственность приводит к позе, поза – серьёзное зло в поэтической работе.*

*Отказываясь от штампов (что очень хорошо), Вы часто впадаете в крайность.*

*Окутан в нервах каждый палец...*

*Это же просто не по-русски.*

*Или:*

*На площадях Москвы ночной  
Гудит гигантским пульсом город.*

*“Город гудит на площадях Москвы”. А что же ещё может “гудеть”?*

*Или:*

---

Продолжение, начало в № 11–12 за 2019 год и № 1–5, 7–9 за 2020 год.

*Слова — не пойманы...  
...как непростреленный пистон.*

А как можно “поймать” “непростреленный пистон”? и т. п. Но если в первом стихотворении, несмотря на перечисленные неудачи, в общем поэтическая картина существует, есть то, ради чего написаны стихи, то во втором — главное место занимают рассудочность, риторичность. Ведь как хорошо сказано

*Осенний чистый холод неба.*

А рядом

*Опустошён, чтоб солнце вновь  
Горячий свет мне в сердце влило...*

Искусственная, надуманная фраза. Не спасают и междометия и внешняя приподнятость стиха

*И дышит грудь, и рвётся грудь,  
О, как люблю я эту землю!*

Это обыкновенный крик, он очень неубедителен. Это вместо найденного образа. Думается, что у Вас есть всё: и способности, и определённая подготовка, и любовь к стихам. Необходимо быть придирчивее к себе самому, критически воспринимать каждую вновь найденную деталь, не обольщаться.

Очень рекомендуем Вам связаться с литературным объединением “Магистраль”, которым руководит известный критик и поэт Григорий Левин.

Комсомольская площадь, ЦДКЖ. В 8 часов вечера, по понедельникам и четвергам.

С товарищеским приветом!

*По поручению редакции журнала “Октябрь”  
(Б. Окуджава)”.*

Уяснив, что журнал “Октябрь” это тебе не “Комсомолия”, я летом того же тысяча девятьсот пятьдесят седьмого уехал в Сибирь, на журналистскую работу в Иркутскую область, откуда вернулся через три года с грудой стихотворений, и, вспомнив о совете неизвестного мне Окуджавы, разыскал литературное объединение “Магистраль”, в котором и состоялся мой публичный поэтический дебют и в котором я познакомился с литературным консультантом из журнала “Октябрь”...

\* \* \*

Что нужно молодому литератору? Прежде всего писать и в этом находить главное счастье. А потом? — Потом печататься, хотя оно не всегда получается, а иногда и просто мешает трезво относиться к самому себе.

Но когда ты молод, пишешь стихи обильно и вдохновенно, тебе совершенно необходим собеседник, слушатель, критик, ровесник, который либо восхитится твоими перлами, либо не оставит от них камня на камне, а потом отдаст на “суд толпы холодной” плоды своего вдохновения. “Ты царь, живи один”, “Ты сам свой высший суд”, — сказал Пушкин, но это для гениев, но не для нас грешных...

Такой средой товарищей-собеседников для меня в начале шестидесятых годов стало литературное сообщество “Магистраль”, куда я забрёл по совету Окуджавы. Помню, с каким нетерпением ждал я наших еженедельных заседаний, как заранее обдумывал, о чём скажу, что восславлю, с чем не соглашусь. Не преувеличиваю — на каждое заседание нашей “Магистральной” я шёл как на личный праздник, на пиршество интеллекта, декламации, восторгов, разочарований. Все мы тогда были уверены в себе, откровенны, добры и беспощадны друг к другу. В те времена молодых издавали крайне скупой,

критика не возилась с нами, не нянчила нас, почти не замечала, и мы были сами себе и критиками, и издателями, и слушателями, и читателями. Никаких агрессивных комплексов самоутверждения, которыми болеют многие нынешние молодые литераторы, у нас не было, потому что в первую очередь мы были бескорыстны, не думали, как о конечной цели, о вступлении в Союз писателей, о Литфонде и слыхом не слыхали, о всяческих всесоюзных совещаниях и не мечтали, о Центральном Доме литераторов имели весьма смутное представление, а если и случайно попадали туда, то вели себя робко и целомудренно. Слава богу – многие соблазны в то аскетическое время миновали нас.

Пример бескорыстного служения поэзии подавал нам уже тогда бессребреник Григорий Михайлович Левин, автор до сих пор звучащей песни “Ландыши, ландыши, белый букет”, окружённый своими “студентами”... Не буду перечислять их всех – скажу только, что из “Магистралей” вышло около 50 поэтов, прозаиков, критиков, переводчиков, ставших членами Союза писателей. Целая крупная организация, не меньшая, чем в Иркутске или в Одессе. А те, кому не хватило таланта, стали редакторами, журналистами, песенниками. А те, кто не стали литераторами, всё равно вспоминают “магистральные годы”, как лучшее время своей жизни, в которое они встречались и с Николаем Заболоцким, и с Ильёй Эренбургом, и с Назымом Хикметом, и с Павлом Антокольским, и даже с Александром Серафимовичем... В те времена известные писатели были отзывчивее и легче на подъём, нежели нынешние. И конечно же чуть ли не все значительные московские поэты военного поколения, чуть ли не все будущие знаменитые поэты моего поколения побывали в те годы в гостях у нас.

Дабы сегодняшнему читателю стало более понятным, что представляла собой “Магистраль”, приведу отрывок из книги “Портрет счастливого человека” весьма известного в 70–80-е годы журналиста и критика Геннадия Красухина:

*“Булат, как и я, любил бывать на этих руководимых Григорием Михайловичем Левиным занятиях. Порой невероятно интересных. “Магистраль” не зря именовали малым Союзом писателей. Состав участников казался мне очень сильным. Владимир Войнович, Александр Аронов, Эльмира Котляр, Владимир Львов, Наталья Астафьева, Нина Бялосинская, Юрий Смирнов, Вадим Черняк, Сергей Козлов, Владимир Леонович, тот же Евгений Храмов, даже, что теперь может удивить многих, – Станислав Куняев <...> Да, состав “Магистралей” был очень сильным. А тут ещё Григорий Михайлович устраивал вечера, которые в то время собрали бы большой зал Центрального дома литераторов – встреча с Борисом Слуцким, с Назымом Хикметом, с Даниилом Даниным, или с Давидом Самойловым”.*

К этому “сильному” списку можно добавить Льва Халифа, Игоря Шаферана, Владимира Британишского, Инну Миронер и многих других литобъединенцев, что позволяет мне сегодня назвать этот, по выражению Красухина, “малый союз” “малым народом”. Многие из того, что озадачивало меня в “Магистрале” уже в те благополучные годы, засело в моей памяти. Помню, как, возвращаясь с каких-то поэтических хмельных посиделок, мы с Вадимом Черняком заговорили о Сергее Есенине, и он вдруг резко оборвал разговор: “Да ненавижу я этого Вашего крестьянского поэта”...

По прошествии шестидесяти с лишним лет, просматривая список магистральцев, я понимаю, что из всего обилия имён лишь присутствие турка Назыма Хикмета и, как писал Красухин, “к удивлению многих Станислава Куняева” (русского) вносило некоторое разнообразие в монолитный национальный союз знаменитого в те времена сообщества, любимой песней которого после наших застолий была возведённая в гимн клятва Окуджавы:

*Поднявший меч на наш союз  
достоин будет худшей кары,  
и я за жизнь его тогда  
не дам и ломаной гитары.  
Как вождельно жаждет век  
нащупать брешь у нас в цепочке...  
Возьмёмся за руки, друзья,  
чтоб не пропасть поодиночке.*

В названии этого “гимна” (“старинная студенческая песня”), впервые опубликованного в сборнике “Арбат, мой Арбат” (1976 г.), было заключено явное лукавство, как и в другом популярном булатовском шлягере:

*Возьму мешок, и вещмешок, и каску,  
в защитную окрашенную краску,  
иду себе, играя автоматом.  
Как славно быть солдатом, солдатом.  
А если что не так — не наше дело,  
как говорится, родина велела...*

Евтушенко в своих воспоминаниях хвастался, что он спас это стихотворение для печати, подарив Булату название “Песенка американского солдата” в то время, когда оно воспринималось проницательным либеральным читателем, как осуждение наших солдат, вторгнувшихся в 1968 году в Прагу. . .

Окуджавские сборники стихов “Арбат, мой Арбат” с дарственной надписью: “Дорогим Гале и Стасику сердечно. Булат”, и “Март великодушный” со словами “Стасику Куняеву на дружбу. Булат” до сих пор хранятся в моей библиотеке. . . Но эти слова “сердечно” и “на дружбу” к середине шестидесятых годов уже не отражали сущности наших отношений. “Магистральский” период моей жизни уходил в прошлое, гимны “возьмёмся за руки друзья” и подтексты “Песенки американского солдата” уже не волновали меня, поскольку к середине 60-х годов я естественно и прочно сблизился с Вадимом Кожинным, Николаем Рубцовым, Анатолием Передревым, Владимиром Соколовым, Василием Беловым, Валентином Распутиным, Петром Палиевским и многими другими русскими людьми, с которыми мне посчастливилось прожить вторую половину жизни. Однако эти перемены в судьбе, слава Богу, не затмили тех чувств, с которыми я метельными московскими вечерами в предвкушении “пира на Олимпе” спешил к трём вокзалам навстречу жёлтым окнам громадного советского Дворца культуры железнодорожника. . .

\* \* \*

Когда Булат издал в 1967 году книгу стихотворений “Март великодушный”, я внимательно прочитал её, пытаюсь понять, почему охладел к его творчеству, и, поразмыслив, понял: милые и задушевные песенки это одно, а стихи в книге, лишённые музыкального обаяния и авторского неповторимого исполнения, — это нечто другое. . . Сам Булат, видимо, тоже почувствовал эту закономерность и все свои стихи, которые он исполнял под гитару в домашней обстановке или на эстраде, поместил в отдельном разделе под названием “Мои песни”. Увидев это, я вспомнил, что поэты Серебряного века — Есенин, Маяковский, Гумилёв, Ахматова, Цветаева — не оставили никаких воспоминаний о творчестве Вертинского, видимо, чувствуя, что его творчество живёт по иным законам, нежели те, которые были завещаны нам Пушкиным, Лермонтовым, Тютчевым, Некрасовым. Мне захотелось написать об этих своих размышлениях, и вскоре статья “Инерция аккомпанемента” лежала на моём письменном столе. Я предвидел, что её публикация отразится на наших отношениях с Булатом, но что делать? Булат — друг, но истина дороже. Истина же заключалась в том, что музыкальный аккомпанемент не только даёт стихотворной стихии всяческие возможности, но таит в себе одновременно скрытые опасности для печатного слова. Не зря же Анна Ахматова называла всех наших знаменитых стихотворцев шестидесятых не иначе как “эстрадники”.

Однако неожиданно для себя я открыл, что опубликовать свою статью не так-то просто. Редакции многих журналов и газет (“Литературка”, “Дружба народов”, моё некогда родное “Знамя”) отказывались под разными предлогами. Кто-то не хотел портить отношения с самим Окуджавой, кто-то боялся реакции читателей, поклонников Булата, кто-то понимал, что творчество Окуджавы имеет почитателей на Старой площади — “Там могут не понять!” Но чем чаще я получал отказ — тем яснее мне становилось, что я должен опубликовать свой незаурядный труд во что бы то ни стало. И наконец-то удача: когда мне отказали в публикации официальные “русско-патриотические” коchetовский “Октябрь” и софроновский “Огонёк”, я вдруг получил приглашение

в еврейско-либеральный журнал “Вопросы литературы”, где моя “Инерция аккомпанемента” наконец-то увидела свет в августовском номере 1967 года. Но редакция журнала, видимо, для того, чтобы привлечь к творчеству Окуджавы как можно больше внимания, опубликовала в нём и подробнейший ответ на мою статью близкого друга Окуджавы критика Геннадия Красухина, который, защищая любимого барда, попытался оспорить чуть ли не каждое моё суждение о стихах Булата. Эхо этих ныне забытых литературных страстей до сих пор живёт в моей памяти. И Окуджавы нет в живых, но эти споры были подлинным свидетельством свободы мысли и слова в советскую якобы полностью подцензурную и даже якобы гэбэшную эпоху. Не сомневаюсь, что я был брав не только в стилистических мелочах, но победили всё-таки Окуджавы с Красухиным и прочими “шестидесятниками”, потому что они разрушили жизнь и страну, которую такие, как я, не смогли спасти. Но “давайте после драки помашем кулаками”... как писал Слуцкий... Да я и сам понимал, что пишу не только о песенках Булата, но и о закономерностях, которыми живёт литература в целом, и держал в уме имена не только Вертинского, но и Высоцкого, и Галича, и даже Юлия Кима с Юрием Визбором...

Итак, “Инерция аккомпанемента”.

“Песня – на грани стихотворения, стихотворение на грани песни, поэма, которая становится драматическим представлением, повесть, написанная по законам киносюжета... Смешение всех и всяческих жанров, порой смелое, порой смешное, уже никого не удивляет. А взять магнитофонную песню – совершенно особый жанр, рождение которого прямым образом связано с распространением магнитофонов. Имена её создателей то всплывают на поверхность, то забываются. Создаётся впечатление, что для того чтобы оставаться живым, этот жанр должен постоянно обновляться, и чем быстрее, тем лучше. В XIX веке поэты не писали песен как таковых. Они писали стихи, а композиторы находили среди стихотворений такие, которые могли бы стать текстом песни или романа.”

Современная песня – явление XX века, детище нашего времени, одно из серьёзнейших доказательств существования массовой культуры. Она, чтобы удовлетворить спрос публики, потребовала для своего появления не просто стихов. – В результате создалась эстетика нового типа, по сравнению с поэзией книги упрощённая, – утилитарная, но тем не менее реально существующая. Конечно, мне можно возразить, что есть, мол, песни на стихи Исаковского или Фатьянова. Но ведь это же капли в море, исключение из общего правила, в то время как эфир переполнен словами и мелодиями, живущими по законам моды, рождающимися как бабочки-подёнки утром, чтобы вечером умереть и уступить своё место новым взлетевшим в воздух шлягерам, более точно отвечающим запросам нового дня...

Между тем все эти жанры – песня, песенный текст, стихотворенья – каким-то образом в сознании многих людей представляются одним целым, объединяются широким понятием “поэзия”. Я всегда недоумеваю, когда диктор объявляет по радио или телевиденью, что, мол, исполняется песня такого-то композитора на стихи такого-то поэта, потому что в большинстве случаев – этих стихов без музыки не существует. А коли так, то нужно говорить не о стихах, а о “тексте” и человека, пишущего тексты для песен, надо называть не поэтом, а текстовиком. Правда, всё может обстоять гораздо сложнее, когда мы имеем дело не просто с производителем текстов, а с человеком, по-настоящему наделённым поэтическим талантом, связавшим свою творческую судьбу с песней. Я вспоминаю время, когда лет пятнадцать тому назад в нашу поэзию вошёл Булат Окуджава как первый, может быть, в России создатель особого жанра. Творец этого жанра – не только поэт, не только композитор, не только исполнитель, – он “всё сразу”, и в Европе обозначается это “всё сразу” словом “шансонье”. Но я не буду писать о Булате Окуджаве как об исполнителе и композиторе. Я буду писать о нём только как о поэте. Его стихи – и тексты его песен в их печатном “книжном теле”, их судьба во времени – вот что меня интересует.

Успех Окуджавы-барда в начале 60-х годов был колоссален. Он не уступал успеху Евтушенко. Но песни песнями, а между тем одна за другой выходили его книги: “Острова”, “Весёлый барабанщик”, “По дороге к Тинатин”. И, наконец, в 1967 году появилась итоговая книга стихотворений “Март великодушный”. Словом, на протяжении десятилетия Окуджава не сдавался на

милость развязанной им самим эстрадной стихии. Издавая книги стихов, он тем самым доказывал, что остаётся не просто сочинителем песен, но и поэтом, что поэтическое слово в его первоначальном значении не потеряло для него смысл. Неоднократно на своих вечерах он говорил о том, что уже не пишет песен, а читал стихи, но, как правило, чтение заканчивалось тем, что в конце концов чуть ли не против воли в его руках появлялась гитара. Публика хотела видеть своего кумира таким, каким она однажды полюбила его. Книга “Март великодушный” – стала, пожалуй, самой серьёзной попыткой Окуджавы утвердить себя посредством “чистого” слова. Недаром в аннотации к книге говорилось, что в неё “вошли стихи, написанные поэтом за последние годы. Большинство из них публиковалось в периодике. Завершает книгу цикл стихов-песен, печатающихся впервые, но хорошо знакомых читателям: они часто звучат с киноэкрана, по радио, с концертной эстрады”. Так сам автор провёл грань между стихами-песнями и стихами “в чистом виде”.

*Человек стремится в простоту,  
Как небесный камень — в пустоту,  
Медленно сгорает  
И за предпоследнюю версту  
Нехотя взирает.  
Но во глубине его очей  
Будто бы — во глубине ночей  
Что-то созревает.*

*Времена изменяют его внешность.  
Время умиряет его нежность...*

Одно из первых стихотворений сразу озадачило меня изящной, но бессодержательной симметрией строчек: “Время изменяет его внешность. Время умиряет его нежность...” А почему “во глубине его очей будто бы – во глубине ночей?” Какое-то первое попавшееся сравнение. Есть что-то необязательное и в красивых словосочетаниях “небесный камень”, “предпоследняя верста”. Может быть, эта словесная вязь всего лишь случайная неудача? Относясь к творчеству Окуджавы с симпатией, сложившейся ещё во времена триумфального шествия его песен, я стал читать дальше. Но стихи одно за другим убеждали меня в том, что подобное многословие не случайно, что в обилии слов для поэта заключён какой-то смысл:

*О, чтобы было всё не так,  
Чтоб всё иначе было,  
Наверно, именно затем,  
Наверно, потому  
Играет будничные оркестр  
Привычно и вполсилы,  
И мы так трудно и легко  
Все тянемся к нему.*

В этом отрывке 31 слово. Из них 23 – вводные слова, союзы, предлоги, междометия, то есть служебные элементы речи, не имеющие в русском языке самостоятельного значения. Да и основные слова работают лишь в какую-то часть своих возможностей: “привычно и вполсилы” – звучат как синонимы, “трудно и легко” – распространённый тип стандартной поэтической фразы с намёком на некую противоречивую сложность жизни. В общем, остаётся одна строчка: “Играет будничные оркестр”. Три слова из тридцати одного.

Да не покажется кому-нибудь этот подсчёт механическим: на мой взгляд, это хотя и несколько грубоватое, но убедительное доказательство бессодержательности приведённой цитаты, и примеры, подтверждающие эту мысль, рассыпаны на страницах книги “Март великодушный”:

*Люблю я эту комнату  
Без драм и без расчёта...  
И так за годом год*



*Люблю я эту комнату,  
Что, значит, в этом что-то,  
Наверное, есть, но что-то —  
И в том, чему черёд.*

Какой же смысл в этом многословии? Может быть, поэт хочет “присутствием” слов заменить отсутствие содержания? Но разве можно пустыми словами бороться с пустотой? А может быть, он, привыкший к песенной условности, не в силах справиться с ней и прийти к точным мыслям и живым словам?

Иногда, для достоверности, что ли, в стихах Окуджавы вдруг появляется “живое” слово:

*Когда затихают Оркестры Земли  
И все музыканты ложатся в постели,  
По Сивцеву Вражку проходит шарманка —  
Смешной, отставной одноногий солдат.*

*Представьте себе: от ворот до ворот,  
В ночи наши жёсткие души тревожа,  
По Сивцеву Вражку проходит шарманка,  
Когда затихают Оркестры Земли.*

Представим себе зрелище: все оркестры (с большой буквы) затихли, все музыканты легли в постели, идёт солдат, бумажный или оловянный, тревожа “жёсткие” души. Но почему по Сивцеву Вражку (вот оно “живое слово”), а не по Млечному Пути? Для достоверности. Чтобы придать этому мелодраматическому представлению хотя бы малейший привкус если не жизни, то намёка на неё. Можно, правда, возразить, сказав, что это песня, а не стихотворение. Песня по интонации, по мелодии строчек, по их симметричности. В таком случае действительно относиться к этому произведению придётся с несколькими требованиями. И всё-таки... Дальше я хочу предъявить счёт этому песенному тексту словами самого Окуджавы, сказанными, правда, как упрёк опытному поэту-песеннику: **“К хорошей мелодии пристёгивается так называемый текст слов, ну вроде “Речка движется и не движется”, за которым не то что судьбы человеческой — элементарно смысла не отыскать”**.

Вполне возможно, что я впадаю в ту же крайность, судя о стихах Окуджавы, в которую впадает, рассуждая о популярной песне “Подмосковные вечера”, и он сам. Может быть, большего в обоих случаях от поэтов требовать нельзя и нужно ли искать “судьбы человеческой” там, где она, возможно, и не нужна.

Творчество поэта, тяготеющего к песне, как правило, отмечено печатью лирической бесхарактерности. Слишком на большую аудиторию он работает, чтобы позволить себе роскошь быть самим собой. Когда поэт пишет: **“Что ж ты, милая, смотришь искоса, низко голову наклоня, трудно высказать и не высказать” (“трудно и легко”)**, — то “милая” в этом тексте понятие абстрактное, потому что оно, должно подходить для Москвы и для Казани, для юноши и для пожилого человека и т. д. Чем меньше конкретных примет, тем лучше. “Милая” — существо “среднестатистическое”. Поэтому немислимо, чтобы, например, такие стихи, полные личного напряжения: “и какую-то женщину, сорока с лишним лет, называл скверной девочкой и своею милой”, — могли стать песней.

*Любимый город в синей дымке тает:  
Знакомый дом, зелёный сад и нежный взгляд, —*

вот образцовый, классический среднелирический шаблон, похожий на раскрашенный фон с лебедями и колоннами — нехитрый реквизит рыночного фотографа. В раскрашенной фанере вырезано отверстие для лица, заходи сзади, всовывай голову, и фото готово. Вокруг тебя “любимый город” и “зелёный сад”. Этот закон властен и над Долматовским, и над Ошаниным, и, как видим, над Окуджавой. Правда, надо оговориться, последний рискнул произвести революцию в системе лирических шаблонов, сделал их более

индивидуальными. И в том его заслуга. Он сузил понятие “любимого города”, пошёл на то, чтобы появился Сивцев Вражек. Но суть дела от этого не изменилась, характерные словечки “прощаться и прощать”, “трудно и легко”, “смеясь и плача”, “признание и сплетни”, “я вижу, как насмешливо, а может быть, печально”, и т. д. — это ещё не характер, а сентиментальность — ещё не чувство.

Видимо, от природы дарование Окуджавы таково, что даже когда он писал “просто стихи” — всё равно из его творческого замысла не исключалась возможность того, что стихотворенье может стать песней. Но когда такая возможность не осуществлялась, то всё, что в песне могло стать достоинствами, оборачивалось в стихотворенье недостатками. Система стандартов, давая жизнь песням, убивает стихи. Своего рода биологическая несовместимость. В стихах она приводит в конечном счёте к вычурной риторике:

*Я строил замок надежды. Строил-строил.  
Глину месил. Холодные камни носил.  
Помощи не просил.*

В таком духе можно продолжать до бесконечности, что поэт и делает. И никакие значительные намёки на некто важное (“всегда и повсюду только свежие раны в цене”, “не жалейте дроздов: нам, дроздам, как солдатам, всё равно погибать на снегу”) не получают ответа личной судьбы. Кстати, недавно ещё один поэт (Островой) написал песню о дроздах, которая начинается так:

*Вы слышали, как поют дрозды?!  
Нет, не те дрозды, не полевые...*

Незнание жизни сыграло с автором злую шутку: дрозд не полевая птица, а лесная. Впрочем, в песне никто этого не замечает — и её поют, она — гвоздь песенного сезона. Насколько людьми владеет глухота, когда речь идёт о песне, можно проиллюстрировать следующим примером. Все мы много раз слышали и сами пели давнюю довоенную песню: “подари мне, сокол, на прощанье саблю, вместе с острой саблей пику подари”, — и никому в голову не приходит, что казак едет на войну, а любимая девушка на прощанье разоружает его. Музыка и безличность песенной стихии заглушают порой не только слова, но и здравый смысл.

Но вернёмся к стихам Окуджавы. Эстрадно-песенное многословие часто мешает ему отказаться в собственных стихах от бессодержательных красот:

*Ведь у надежд всегда счастливый цвет,  
Надёжный и таинственный немного,  
Особенно когда глядишь с порога,  
Особенно когда надежды нет.*

“Друг Аркадий, не говори красиво”, — просил главный герой тургеневской повести “Отцы и дети” своего приятеля. Увы! Так хочется напомнить об этом Окуджаве, который пишет:

*Ночной кошмар,  
как офицер гусарский, тонок.  
Флейтист, как юный князь, изящен.  
И тополи  
попеременно  
Босые ноги ставят в снег,  
скользя,  
Шагают, как великие князья.*

А ещё говорят о некой “уличности”, “разговорности” стихов Окуджавы! Какая уж тут “уличность”. Уличность — дело хоть и грубое, но живое. Она — стихия Высоцкого. А здесь — какая-то претензия на “изящность” выражений.

Но как бы то ни было, я считаю не случайным, что в течение вот уже пятнадцати лет, несмотря на широкую популярность Окуджавы-шансонье, о характере его поэзии в критике не было ни одного серьёзного и толкового разговора. Видимо, материал не давал к тому оснований.

Давайте внимательно прочтём одно из наиболее “нагруженных смыслом” стихотворений сборника и посмотрим, что теряет и что приобретает поэт, отказавшись от помощи голоса и гитары.

Стихотворение “Встреча” (кстати, оно не похоже на песенный текст) написано на тему, традиционную для русской поэзии, — о бессмертье гения, о жалкой судьбе завистника убийцы:

*Насмешливый, тщедушный и неловкий,  
Единственный на этот шар земной,  
На Усачёвке, возле остановки,  
Вдруг Лермонтов возник передо мной.*

Итак, они встретились. На Усачёвке (выполняющей роль Сивцева Вражка?). Далее идёт смесь маскарада, амикошонства и мелодекламации. Лермонтов декламирует:

*Мартынов — что... —  
Он мне сказал с улыбкой. —  
Он невиновен. Я его простил.*

Диалог Лермонтова и Окуджавы продолжается на равных. И тот и другой — поэты, оба понимают друг друга; правда, Лермонтов — поскольку он гений — относится к Окуджаве с лёгким оттенком фамильярности, но достаточно дружеской, чтобы обижаться на него:

*Царь и холоп — две крайности, мой милый.*

или:

*Мой дорогой,  
Пока с тобой мы живы,  
Всё будет хорошо  
У нас с тобой...*

*И нам с тобой нельзя не рисковать.*

*И ты не верь, не верь в моё убийство.*

Приятно, конечно, вести такой разговор, страдать вместе с гением, общаться с ним, но зачем вкладывать ему в уста монологи — даже не Грушницкого, а Евтушенко:

*Что пистолет?.. Страшна рука дрожащая,  
Тот пистолет растерянно держащая,  
Особенно тогда она страшна,  
Когда сто раз пред тем была нежна...*

(Что значит это непонятное “рука... что сто раз пред тем была нежна”?)

Нелегко удержаться от соблазна стать в героическую, в благородную, в трагическую позу. Но таков закон поэтической правды, что позёрскому чувству никогда не хватает убедительности. От лермонтовского пророчества о своей смерти в стихотворении “Сон” веет реализмом и пророческим холодом. И не только потому, что поэт смертью подтвердил своё предсказание, а потому, что он подтверждал его всем творчеством, всем образом жизни.

Я говорю о том, что когда Окуджава хочет сказать нечто очень важное, он почти всегда становится в трагическую позу: “Вот и самые свежие раны неустанно, как вулканы, дымятся во мне...” (Как приятно ощущать себя борцом, изнемогающим от ран.) “И лучше пусть меня судят матросы от берегов вдали,

чем презирующие море обитатели твёрдой земли” (как приятно противопоставить себя жалким сухопутным обывателям.) “Прощаю побелевшими губами” (как приятно быть великодушным, при этом страдать и при этом успеть посмотреть в зеркало на свои побелевшие от страдания губы).

Что делать! Я ничего не придумал – это всё написано Окуджавой. Может быть, моя ошибка в другом: я слишком много требую от поэта?

Природа не терпит пустоты. Если в стихах личность не проявляется – её нужно чем-то заменить, иначе книга никому не будет интересна. И поэт идёт, смешивая законы жанров, по пути создания контакта с читателем. В этом деле, нужно отдать ему должное, он подлинный виртуоз. Возникает целая система обращений, то доверительных, подкупающих откровенностью, то фамильярных, то многозначительных. Поэт как бы признаётся читателю, что ему нужен слушатель, собеседник, заранее рассчитывая на ответную благодарность.

Появляется целая система вводных слов, глаголов повелительного наклонения, которые, как известно, в русском языке эмоциональны сами по себе. “Будьте добры”, “давайте же не будем обижать сосновых бабок и еловых внучек”, “иду представьте вы”, “если свежие раны, конечно, вы успели уже заслужить”, “не жалейте дроздов”, “купи пугач в отделе игр, мой друг”, “да не суетитесь вы, не в этом счастье”, – словом, “будьте добры”, откройте книгу на любой странице и убедитесь во всём сами.

Есть в языке слова, которые сопротивляются своей значительностью легкомысленному обращению с ними. Одно из таких слов – “умирать”. Все его не употребляют, не принято, ибо оно имеет прямое отношение к судьбе. Даже слишком прямое... Вспомним Есенина:

*Чтоб за все грехи мои тяжкие,  
За неверие в благодать  
Положили меня в русской рубашке  
Под иконами умирать.*

Совершенно естественно, что легковесное употребление слова “умирать” в стихах Окуджавы создаёт неуместный в разговоре об этой трагедии игривый тон, хотя поэт, “представьте себе”, и не желает этого:

*Умереть —  
Тоже надо уметь,  
На свидание к небесам  
Паруса выбирая тугие. (Как красиво! — Ст. К.)  
.....  
Смерть приходит тихо,  
Бестелесна,  
У себя на уме.*

(Может быть, всё-таки “себе на уме”?)

Но всё это конфликты, так сказать, с духом языка. Гораздо чаще в книге возникают конфликты с его буквой. В песне они менее заметны. Некогда я и сам напевал: “на углу у старой булочной... комсомолочка идёт”, – и это “идёт на углу” только при чтении вдруг остановило моё внимание. Я уверен, что если запеть многие из стихотворений, то фразы, вроде “чтобы мясу быть жирному на целую треть” или “где-то там свой покой сторожа и велик, хоть и прожит (?), мой последний любимый ханжа до меня дотянуться не может”, под звон гитары беспрепятственно вылетели бы из уст. Но в книге, предназначенной не для пения, а для чтения, заметно всё: и “простывший чай” (в смысле “остывший”), и “не представляю Пушкина... что в плащ укрыт” (видимо, укрыт плащом), и “капитан команду вскрикнет, и на утре раннем побегут барашки белые” (случай более сложный – можно просто вскрикнуть, но не “вскрикнуть команду”, и белые барашки побегут ранним утром, но не “на утре раннем”). Рядом опять читаем: “это пёстрое, шумное, страстное нужно с рассвета и затемно собирать и копить”, – ясно, что поэт хотел сказать “с рассвета и до темна”, но перепутал вечернее время (до темна) с утренним (затемно).

А чуть дальше меня остановил “запах блюд, не сготовленных вовсе”. А потом подряд, как из рога изобилия, посыпалось: “по Пушкинской площади плещут страсти”, “сбитый с ног наповал”, “стихло в улицах враньё”... Бывает так, что напряжение мысли и страсти ломает нормативную грамматику, и тогда мы читаем: “Не встретит ответа средь шума мирского из пламя и света рождённое слово”. Но у Окуджавы, как говорится, другой случай. Простая неряшливость, идущая от скороговорочности, от многословия, от песенной накатанности, от нечувствительности к языку, от приблизительного знания того, что ты хочешь сказать. Впрочем, как бы кого-то ни раздражала его поэзия (песня или стихи – всё равно), она существует – “и ни в зуб ногой”. На неё есть спрос. Она – явление заметное, талантливое и, что, пожалуй, важнее всего, живое, занимающее своё место в современной полудуховной жизни. У неё есть ещё свой поклонник, свой слушатель. Читателя, думаю, нет. Говорить о причинах её живучести – значит говорить об особенностях душевного склада этого слушателя. Дело – непростое, и цели такой я перед собой не ставлю. Моя цель была иной: попытаться понять некоторые, на мой взгляд, характерные черты творчества Окуджавы, в связи с тем, что человек не может освободиться от своей способности “работать на песню”.

Всё это не противоречит ранее сказанному: просто мы – я и этот слушатель – в понятие “жизненность” вкладываем разный смысл. Этому слушателю чужда давняя традиция русской поэзии, заключающаяся в сознании избранничества. Если бы даже он и задумался над знаменитыми строчками Блока:

*Так жили поэты. Читатель и друг!  
Ты думаешь, может быть, — хуже  
Твоих ежедневных бессильных потуг,  
Твоей обывательской лужи? —*

он бы не без основания пришёл к мысли, что всё это сказано не о нём. И по-своему был бы прав: зачем ему отдавать свои симпатии кумиру, который не платит ему тем же? Он хочет и требует от поэта, чтобы тот вёл с ним разговор на равных. Это, видимо, одно из самых новых и значительных изменений в искусстве, если иметь в виду не последние годы, а как минимум десятилетия. Этому читателю или слушателю нужен поэт, говорящий его словами, не отталкивающий, а приглашающий к разговору. Стихи такого поэта должны быть для него и понятны, и в то же время обладать некоторой каплей доверительности, чтобы он мог восхищаться ими. Этот слушатель очень ценит, что поэт знает, какой жизнью приходится ему жить. И когда он слышит: “Но я московский муравей”, – он всем существом благодарен поэту, – эта песенка о нём.

Может быть, я в чём-то и не прав. О каждом поэте, как говорится, нужно судить по тем законам, которые он признал над собой. Окуджава живёт в своей, созданной им кукольной стране с Кипплингом, “насвистывающим в дудку”, с одноногим солдатом из Сивцева Вражка, с “голубым человеком”, с Франсуа Вийоном, с “пиратом из районной пивной”. В этой стране своя природа под стать её обитателям – не “сосны”, а “сосновые бабки”, не ели, а “еловые внучки”. Этот мир музыкальной шкатулки, где “целый день играет музыка”, где “все лесные свирели, все дудочки, все баяны плачут”, где “две вертлявые скрипки идут на прогулку”. Редко и неумело пытается выйти поэт за границы этого картонного государства. Художник, оформлявший книгу, точно угадал характер её обитателей: изобразил на суперобложке силуэты кукольных человечков с изломанными и печальными жестами. А на другой стороне обложки – фотография немолодого уже человека с усталым лицом и умным взглядом; ему холодно, его шея обмотана шарфом. Он стоит на фоне города, утопающего в дыму и в морозном тумане. Если я не прав в самом главном, если поэзия – место, куда нужно прятаться от жизни, – расскажите мне, как связана судьба этого живого, небумажного человека, имеющего имя и лицо, и судьба этого утонувшего в холодном мареве мира с книгой под красивым названием “Март великодушный”.

1967 г. ”

Геннадий Красухин защищал Окуджаву страстно и бестолково. Понимая это, он уже после смерти Булата написал о нём целую книгу с названием “Портрет счастливого человека”, изданную в 2012 году, в которой посетовал: **“Недавно я перечитал нашу полемику, напечатанную в журнале осенью 1968 года. Оба оппонента достойны друг друга. Ответ мой слаб, хотя кое-что из него я мог бы повторить и сейчас, но бросается в глаза спровоцированное оппонентом ненужно преувеличенное внимание к отдельным деталям. <...> В пылу полемики я не заметил своих композиционных огрехов. А они были. Словом, сейчас под этой статьёй я не подписался бы...”**

Спасая честь Окуджавы, безнадежно замаранную самим Булатом в роковом октябре 1993 года, Красухин не по злему умыслу, а скорее по легкомыслию наговорил множество то ли сознательных, то ли случайных глупостей. Но надо сказать, что в лучшие времена и даже после публикации “Аккомпанемента” наши отношения с Булатом качались на весах судьбы туда-сюда. **“Только что, – писал Красухин в книге “Портрет счастливого человека”, – прочитал в восьмом выпуске “Голос надежды” в статье Владимира Фрумкина “Ещё раз о Булате”, как “глубоко огорчился Окуджава, когда в “Вопросах литературы” вышла злобная и несправедливая статья Станислава Куняева “Инерция аккомпанемента”. “Мы с Куняевым дружили, – передаёт Фрумкин слова Окуджавы, – он очень умный человек – и ругает меня, и хвалят-то люди послабее”.**

**“Не знаю, кто из нас раньше обсуждал с Булатом статью Куняева – я или Фрумкин? Но помню, что и мне он поначалу похвалил Куняева: дескать, как убедительно он его, Булата, ругает, сколько заметил в его стихах погрешностей, как, оказывается, он, Булат, плохо владеет русским языком”.**

Но, увы, Булат был весьма подвержен лёгкой смене своего настроения и своих убеждений и чересчур верил тому, что ему внушал круг его друзей, которые боялись “пропасть поодиночке”. **“К лету 1990 года, – как вспоминал литератор Владимир Фрумкин в статье “Между счастьем и бедой” (альманах “Кольцо А”, 2015 г.), – во время шашлычных посиделок в Вермонте двое бывших москвичей-эмигрантов завели разговор о кадровых переменах в журнале “Наш современник” и о том, как благотворно сказалось на его литературно-философском уровне мудрое руководство нового главного редактора Куняева. Булат опешил: “Да о чём вы говорите! Какая такая философия-литература! Они же все – разбойники!”** И это было сказано в то время, когда “Наш современник” стал последним прибежищем для историка Игоря Шафаревича, философа Александра Зиновьева, митрополита Санкт-Петербургского Иоанна, композитора Георгия Свиридова, историка и критика Вадима Кожинова, поэта Юрия Кузнецова, прозаиков Белова и Распутина и многих других авторов, на которых стояла и стоит до сих пор великая русская литература. Поддержав своим честным до 1993 года именем ельцинско-гайдаровскую камарилью, подписав позорное письмо “42-х”, одобрив расстрел какого ни есть, но избранного народом Парламента и Верховного Совета, Окуджаве ничего не оставалось, как объявить весь цвет русской поэзии, прозы и критики, весь цвет исторической науки “разбойниками”... Чтобы привлечь к себе интеллигенцию, антинародная власть сделала ещё в начале 90-х ставку на Булата, присвоив ему в 1991 году Государственную премию СССР. Не помню точно, но вполне возможно, что эту **Советскую** награду он получил из рук Ельцина. А ведь в подобных же обстоятельствах выдающийся прозаик и настоящий фронтовик сталинградец Юрий Бондарев, узнав, что ему к очередному юбилею ельцинские подручные оформляют какую-то награду – отказался от неё. В эти же времена Вадим Кожинов, после телевизионной дискуссии с подписантом письма “42-х” Андреем Нуйкиным, протянувшим Вадиму руку для рукопожатия, заложил свою руку за спину со словами – **“не могу... Ваша рука в крови!”** Вот как отвечали наши “разбойники” всем ренегатам, которые когда-то были советскими писателями. Пойдя на “сделку с дьяволом”, Булат Окуджава опускался всё ниже и ниже. В августе 1995 года, выступая на радиостанции “Свобода” в передаче “Поверх барьеров”, он

договорился до того, что **“в недалёком будущем Шамилю Басаеву поставят памятник”**. И это было сказано не просто о “разбойнике”, но о палаче Будённовска, где этот садист погубил более ста мирных людей, в основном женщин будённовской больницы. А будучи уже тяжело больным, незадолго до смерти последнее своё стихотворенье в жизни “бумажный солдат” посвятил гуманисту Анатолию Чубайсу.

После смерти Булата Шалвовича, случившейся во Франции, Ельцин издал указ об учреждении Государственной литературной премии имени Б. Окуджавы, о присвоении имени Окуджавы одной из улиц Москвы, об установлении в Литинституте имени М. Горького нескольких стипендий имени Окуджавы, о создании в Переделкино Государственного Дома-музея Окуджавы, об открытии на Арбате мемориальной доски на доме, где жил “дворянин Арбатского двора”... Были в этом указе ещё какие-то пункты, но весь перечень пунктов указа был настолько неуместен и нелеп, что недавно вдова Окуджавы, выступившая по телевизору, с недоумением призвала ведущему Марку Розовскому о том, что несколько из этих пунктов нынешняя послеельцинская власть так и не выполнила... Дошло, видимо, до новых чиновников от культуры, что лучше им не вмешиваться в такого рода дела, чтобы не выглядеть дураками.

\* \* \*

Булат Окуджава, закончивший в 50-х годах Тбилисский университет, был направлен на работу в среднюю школу посёлка Шамордино Калужской области, где находился знаменитый женский монастырь. В этот монастырь приезжал прощаться со своей сестрой Марией Лев Толстой, сбжавший из Ясной Поляны навстречу смерти. В Шамордино и началась литературная жизнь Булата Шалвовича, переехавшего вскоре из монастырской деревни в Калугу. В Калуге он поступил на работу в газету “Молодой ленинец”, стал активнейшим участником литературного объединения “Факел” и автором нашумевших в то время на всю страну “Тарусских страниц”, где были напечатаны творения самых известных московских диссидентов. Как мне помнится, за этот недостаток бы снят с работы секретарь Калужского обкома КПСС по идеологии. Все эти времена и события сейчас забыты, но поскольку судьба Булата с той поры была прочно связана с культурной жизнью моего родного города, я вспоминаю, что именно в Калуге и он и я издали свои первые стихотворные книги. Вольно или невольно, но с той поры наши литературные пути постоянно пересекались. И когда в сентябре 1997 года Булат умер в Париже, калужская областная газета “Весть” посвятила этому событию целую полосу. На смерть Булата откликнулись и читатели, боготворившие Окуджаву, и отвергавшие его. Наиболее уравновешенную правду о нём высказал в этом номере газеты один из вождей тогдашнего Российского Христианского Демократического Движения Глеб Анищенко. В статье “Бумажный солдат как совесть интеллигенции” он писал:

*“Окуджава — совесть эпохи”. Прекрасно! Но какой именно эпохи? Ведь бард прожил довольно долгую жизнь и оказался сопричастным несколькими периодам российской истории. Первый из них — Великая Отечественная война. Окуджава не мог быть её “совестью”, так как он всё-таки не военный, а послевоенный поэт. Я, безусловно, верю солдату и поэту Давиду Самойлову, что такой певец в войну был необходим: “Былым защитникам державы, нам не хватало Окуджавы”. Легко представить, что после боя очень хотелось послушать о том, “что я сказал медсестре Марии”, и о том, как “твои глаза” глядят на Смоленскую дорогу. Но Окуджавы как поэта тогда не было. А если бы и был, то “совесть эпохи” выражалась всё-таки не в том, что кто-то шёл, “играя автоматом”, а в том, что “идёт война народная, священная война”. В повести “Будь здоров, школяр!” Окуджава одним из первых (вслед за Виктором Некрасовым и Константином Воробьёвым) показал живые чувства живого человека на войне. Да, в 70-е годы, при засилье официального изображения войны, это было важным. И это было правдой. Но есть правда и есть истина. Правда испугавшегося “школяра” и истина Русского Солдата, спасшего своё Отечество и весь мир. Нам необходимо знать и то и другое.*

Но «совестью эпохи» испуганный «школяр» становился лишь тогда, когда начинал ощущать себя бесстрашным Русским Солдатом.

Следующая эпоха – «оттепель» конца 60-х – начала 70-х годов. Она, как известно, начинается в 1956 году, когда на XX съезде КПСС был разоблачён Сталин. В этом году начинается и поэт Булат Окуджава – в калужском издательстве газеты «Знамя» выходит его первый сборник «Лирика». Открывается эта «лирика» стихотворением «Ленин». Оно довольно длинное, поэтому цитирую только последние строфы:

*Всё, что создано  
нами прекрасного,  
создано с Лениным,  
всё, что пройдено было великого,  
пройдено с ним...  
Он проходит,  
простой и любимый,  
сквозь все поколения,  
начиная свой путь  
из далёкой симбирской весны.*

Я не стану оценивать ни поэтическую, ни идейную сторону этих стихов. Но к ним надо отнестись вполне серьёзно, так как опубликованы они не легкомысленным «школяром», а зрелым 32-летним человеком, за год до того (в 1955 году, а вовсе не в войну, как сейчас принято считать) вступившим в КПСС. Воспринимать этот факт можно по-разному. Но выбор всё-таки ограничен. Либо поэт был прав, и действительно всё «прекрасное создано с Лениным». В таком случае Окуджава впоследствии предал прошедшую эпоху, а её знамя понесли Анпилов и его единомышленники. Либо Окуджава ошибался. Тогда он был не «совестью эпохи», а выразителем её роковых ошибок и заблуждений. Есть и третье возможное решение: Окуджава ничего такого не думал, а писал про Ленина, «комиссаров в пыльных шлемах», «комсомольских богинь» из конъюнктурных соображений. Ну тогда о совести вообще говорить не приходится. Других интерпретаций я не вижу.

Примечательно, что главного политического события «оттепели» – разоблачения Сталина – Окуджава вообще не коснулся, приобретя устойчивую репутацию лирика, находящегося вне политики».

В том же номере «Вестей» и на той же полосе было помещено письмо калужанина Александра Демидова, который подписался одним словом «литератор»:

«В связи с разговорами о присвоении Булату Окуджаве звания почётного гражданина Калужской области хочу высказать своё мнение.

Если бы речь шла о присуждении Булату Шалвовичу какой-то литературной премии – я был бы «за». Если бы о награде – тоже «за». В конце концов я и за то, чтобы ему присвоить звание «Почётный гражданин России», если бы такое было. Но почётный гражданин Калужской области... Для этого хотя бы нужно было уважать эту область, людей, живущих в ней. А Булат в своих многочисленных интервью и статьях, опубликованных в московской прессе, пренебрежительно относился к Калуге и калужанам, в одной из публикаций нарочито искажил фамилии реальных действующих лиц (заведующего облоно Сочилина, например, обозвал Сучилиным).

Первую свою книгу стихов, изданную в Калуге, он называл «книжонкой, за которую мне стыдно». А тогда, в конце 50-х, стыдно ему не было. Я помню, как он гордился ею. А потом... Вот, мол, каков в провинции уровень... А между тем стихи в той книге были не такие уж и плохие, по крайней мере не хуже тех, что печатались позднее.

Редкие наезды Б. Окуджавы из Москвы в Калугу были окружены тайной. Кроме общения с сотрудниками «Молодого ленинца» у него не было никаких общений с калужанами, в том числе и с местными литераторами.

В этом плане совсем иной пример показывает Станислав Куняев. Он обязательно встретится с товарищами по перу в Союзе писателей Калуги, проведёт публичные встречи с читателями. А скольких калужан опубликовал он в своём журнале «Наш современник»!



Считаю, что при примерно равном уровне поэтического творчества этих двух людей Станислав Юрьевич значительно больше сделал и делает для Калуги и калужан. Вот кто заслуживает присвоения звания почётного гражданина области!”

Время потихоньку всё расставляет по своим местам. В центре Калуги на здании, где в прошлом веке издавалась газета “Молодой ленинец”, висит металлическая доска, гласящая, что здесь работал выдающийся поэт нашего времени Булат Шалвович Окуджава, которому присвоено звание “почётного гражданина” города Калуги. Мне (возможно по заслугам, а может быть, для “идеологического равновесия”) в те же годы было присвоено звание “Почётного гражданина Калужской области”. Одним словом, как пел Окуджава, “вот так и живётся на нашем веку – всё поровну, всё справедливо”... И зря он сам, как писал калужский литератор Демидов, назвал свою первую книжку, изданную в Калуге, “**книжкой, за которую мне стыдно**”... Да, она открывается циклом стихотворений о Ленине, но помимо строк, процитированных в газете “Весть”, в книге живёт неглубокая, но и не бесчестная Лениниана, сотворенная Булатом в 1956 году аккурат к XX съезду партии:

*Мы приходим к нему за советом,  
приходим за помощью,  
мы встречаемся с ним ежедневно  
и в будни, и в праздники.*

Написано искренне, а главное, что никто из знаменитых либералов – шестидесятников той эпохи не избежал соблазна создания Ленинианы.

Помнится, как в разгар перестройки Виталий Коротич щедро опубликовал групповые цветные фотографии этих ленинцев в своём журнале “Огонёк”, выходявшем тогда пятимиллионным тиражом. **“Нас мало, нас, может быть, четверо!”** – восторгался А. Вознесенский своей компашкой: он сам, Е. Евтушенко, Р. Рождественский и “Белка – (Б. Ахмадулина) божественный кореш” – в заснеженном Переделкино, под деревьями, с дежурными улыбками прижавшиеся друг к другу, все в дорогах дублёнках, у каждого в послужном списке поэма о Ленине: у Евтушенко “Казанский университет”, у Вознесенского “Лонжюмо”, у Рождественского “210 шагов” (если считать от Спасской башни до Мавзолея). Поэмы эти – дорогого стоили. Каждая из них не только идеологическая “охранная грамота”, но и свидетельство благонадёжности, можно сказать, дубликат партбилета, пропуск в кабинеты на Старой площади. Правда, у “божественного кореша” ничего о Ленине не было, но из своей родословной она кое-что наскребла на целую поэму о своём итальянском предке Стопани, чей прах похоронен в Кремлёвской стене, поскольку он был революционером и другом самого Ленина.

Однако вскоре место “божественного кореша” в знаменитой четвёрке на огоньковской странице занял – Булат Окуджава, у которого был настоящий полноценный стихотворный цикл о Ленине. Из его первой книги “Лирика”, вышедшей в Калуге в 1956 году: **“Мы приходим к нему за советом, приходим за помощью. Мы встречаемся с ним ежедневно и в будни, и в праздники... Калуга дышала морозцем октябрьским и жаром декретов, подписанных Лениным”**. Был там и стишок о Франции, в котором, как в зёрнышке, просматривался план будущей поэмы Вознесенского “Лонжюмо”:

*И в этом бою неистовом  
рождается и встаёт  
в поступи коммунистов  
будущее моё,  
и в кулаках матросских,  
в играх твоих детей,  
и в честных глазах подростка,  
продающего “Юманите”.*

Эти стихи не были написаны случайно или ради конъюнктуры, поскольку Булат происходил из семьи профессиональных революционеров. Его родной дядя, брат отца Мишико Окуджава, прибыл в апреле 1917 года из эмиграции

в революционную Россию вместе с Лениным в легендарном пломбированном вагоне. Так что гордиться можно было Булату такими верными ленинцами, как его отец, как брат отца вождь грузинских коммунистов Мишико, как его мать, профессиональная революционерка Ашхен. Так что не должен он был стыдиться своих ленинских стихов из калужской книги. Но что произошло с ним в девяностые годы? Как он мог забыть ленинскую мечту о том, что новая власть может научить даже **“кухарку управлять государством”**?.. Вот тогда у многих “ленинцев”, подписавших позорное письмо “42-х”, грубо говоря, крыша поехала, и даже выходец из стопроцентного революционного семейства Булат Шалвович написал недостойный его таланта антиленинский стихотворный пасквиль, напечатанный в газете “Литературные вести”, которую издавал “шестидесятник” В. Оскоцкий:

*Кухарку приставили как-то к рулю,  
она ухватилась, паскуда,  
и толпы забегали по кораблю,  
надеясь на скорое чудо.*

*Кухарка, конечно, не знала о том,  
что с нами в грядущем случится.  
Она и читать-то умела с трудом,  
ей некогда было учиться.*

*Кухарка схоронена возле Кремля,  
в отставке кухаркины дети.  
Кухаркины внуки спуют у руля:  
и мы не случайно в ответе.*

Написано с подлинной злостью, недоступной для “бумажного солдата”. Одна лишь смысловая неувязка в этом стихе: ни Борис Ельцин, ни Егор Гайдар, ни Анатолий Чубайс, ни сам Булат Окуджава, ни прочие выходцы из партийной элиты не были ни **“кухаркиными детьми”**, ни **“внуками, “снующими у руля”**. Но Булат ведь был незаурядным поэтом, а поэты — люди увлекающиеся, забывающие о том, что “слово — не воробей”. Одно стихотворенья о кухаркиных “детях и внуках” Окуджаве, видимо, показалось мало, и он в этом же номере “Литературных вестей” под рубрикой “из Антологии антифашистской поэзии” рядом со стихами “антифашистов” Фазиля Искандера, Андрея Вознесенского, Семёна Липкина, Владимира Корнилова, Бориса Чичибабина и Татьяны Кузовлёвой напечатал ещё одно стихотворное осуждение простонародья:

*чувство меры и чувство ответственности  
не присущи унылой посредственности,  
сладость жертвы и горечь вины  
ей несвойственны и не даны.  
Потому-то посредственность эта  
не выносит полдневного света —  
так и тянет её в темноту...  
и знамёна кровавого цвета  
прикрывают её наготу*

Под “знамёнами кровавого цвета” Булат жил, работал и писал стихи, с 1955-го по 1989-й или 1990 год, пока состоял в рядах КПСС, куда вступил добровольно и откуда добровольно вышел. Никто его не заставлял сочинять стихи о Ленине, об Октябрьской революции в Калуге, о подростках, продающих в Париже коммунистическую газету “Юманите”. Главным редактором “Литературных вестей” был Валентин Оскоцкий, который в 1994 году стал известным публичным оратором после того, как научился во время тогдашних митингов на Манежке громче всех кричать “фашизм не пройдёт!”... То, что в “Литературных вестях” стал печататься Окуджава, в какой-то степени спасло это ныне забытое вместе с Оскоцким издание. В том же номере, где Окуджава поглумился над кухаркой, российско-израильский бизнесмен Илья

Колеров вспоминал: **“Однажды в спектакле молодёжного театра я услышал песню Булата Окуджавы “Возьмёмся за руки, друзья”. На меня это безумно подействовало. Я взял у мамы пластинку и стал заучивать слова наизусть, потом я прочитал роман “Путешествие дилетантов”. Это было для меня потрясением”**...

Не меньшим потрясением для поэта-антифашиста Владимира Корнилова было то, что одновременно с газетой Оскоцкого в те годы издавалась газета Проханова “День”, о чём негодовал Корнилов в том же историческом выпуске “Литературных вестей”:

*Сберегаю кусок здоровья,  
не читаю газету “День”.  
Этот орган средневековья.  
У него мозги набекрень.  
Были тексты и поковарней,  
был “Майн Кампф”, был наш “Краткий курс”...*

Странно, что поэт, **“не читавший газету “День”,** знал, что у “Дня” **“мозги набекрень”** и что он **“орган средневековья”**... Но как бы то ни было — уже нет в живых ни Оскоцкого, ни Корнилова, а “День” — жив и я покупаю его в киоске каждую среду... А талантливый поэт Владимир Корнилов забыт, наверное, уже навсегда, так же, как и бездарный литератор Оскоцкий. Окуджавский цикл был насыщен картинками о том, как происходила Великая Октябрьская революция не где-нибудь, а именно в Калуге, и Окуджава пытался, как историк, изобразить калужские события 1917 года. Калужские “лабазники” в его ленинском цикле грустят и негодуют, потому что от страха перед революцией из города **“сбежал губернатор”**. Желая войти в образ калужанина минувшей эпохи, Окуджава сообщает, что **“Калуга вышвыривала афончиковых”**... Как уроженец Калуги поясню, что “Афончиковы” были до революции и во время нэпа владельцами хлебо-булочного магазина на улице Кирова (бывшей Мясницкой) и фраза “пойду в Афончиков” на моей памяти существовало до перестройки, а может быть, жива и до сих пор... Так что как историк Калуги Булат в этом цикле был на высоте. Однако, как поэт, он позволял себе в калужской книжке немало косноязычия, когда писал о Ленине: **“отсвет его (“Ленина”. — Ст. К.) волновался (? — Ст. К.) на звёздах, немеркнувших звёздах красногвардейских”**, и многочисленные примеры подобного косноязычия были свидетельством того, что русский язык всё-таки не был родным языком Булата Шалвовича.

\* \* \*

Из моего литературного дневника (лето 1994 г.):

**“Свежий номер еженедельника “Литературные вести” открывається горестной и сногшибательной сенсацией: над портретом Булата Окуджавы напечатан следующий абзац: “40 миллионов погибших — вот страшный вывод совместной российско-американской комиссии по оценке потерь в Великой Отечественной войне. Соотношение с потерями врага 10:1. Вот цена победы”.**

Поскольку официальная цифра немецких потерь, всех — и военных, и среди мирного населения, и умерших от ран и бомбёжек, — общепринятая в Европе, приблизительно равна 8 миллионам, то по логике “Литературных новостей” (десять к одному) мы должны потерять не сорок миллионов, господа журналисты, а восемьдесят. То есть половину населения тогдашнего Советского Союза... И не стыдно вам врать-то? Ну хотя бы бывшие фронтовики, члены редколлегии, тот же Окуджава или Нагибин, пристыдили своих присяжных борзописцев. Ну хотя бы Артём Анфиногенов, который на этой же полосе объявлен “честным летописцем фронтового братства”, сказал своим молодым мерзавцам: **“Ребята, побойтесь Бога. Мы и так понесли тяжелейшие потери — двадцать с лишним миллионов... Неужели вам этого мало? Неужели вы так ненавидите Россию и победоносный Советский Союз, что с каким-то садизмом требуете, чтобы погибших было не двадцать миллионов, а сорок или, ещё лучше, — восемьдесят?”**

Недавно праздновали юбилей Окуджавы – бесчисленные передачи, затмившие День Победы, радио с утра до вечера гоняло окуджавские песенки, газеты пестрели его портретами, а я глядел на всё это и думал: “Нет, всё-таки талантливый человек! Как умеет перевоплощаться! Когда нужен был патриотический шлягер, когда на патриотизм был спрос, – написал песню к фильму “Белорусский вокзал”: “А значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим”. Помню, как со слезой пел её покойный Евгений Леонов... А когда “антипатриотизм” стал более востребованным, тот же Окуджава быстро сообразил, что “чувство патриотизма есть даже у кошки”, и потому незачем гордиться им.

А кровавая бойня третьего-четвёртого октября? В сущности, она была гражданской войной. А ведь тот же Окуджава когда-то пел: “Я всё равно паду на той, на той единственной гражданской...” Вспоминал я эти строки в часы октябрьской бойни и думал: “Где Окуджава? Вроде звёздный час для Булата наступил, гражданская война, обещал пасть на ней и, конечно же, на стороне народа”... Ан нет! Недооценил я талант поэта, способность его к перевоплощению. Посмотрел он на всё происходящее по телевизору и заявил на всю страну:

**“Для меня это был финал детектива. Я наслаждался этим <...> никакой жалости у меня к ним не было”** (слова Окуджавы из интервью газете “Подмосковные известия”, 11.12.1993 года). Теми же словами выражала свою радость Новодворская:

**“Мы ловили каждый звук с наслаждением”** (это о взрывах танковых кумулятивных снарядов в Белом доме); Недаром она же в восторженной статье, названной строчкой из “Окуджавы” – **“На той единственной гражданской”**, опубликованной в журнале “Огонёк”, где главным редактором был “шестидесятник”-ленинец В. Коротич, так писала о побоище, которое устроили “шестидесятники” по духу Ельцин и Гайдар: **“Мне наплевать на общественные приличия. Рискаю прослыть сыромядцами, мы будем отмечать, пока живы, этот день – 5 октября, день, когда мы выиграли второй раунд нашей единственной гражданской. И “Белый дом” для нас навеки – боевой трофей. 9 мая – история дедов и отцов, чужая история.**

**После октября мы – полноправные участники нашей единственной гражданской** (опять она вспоминает Булата). Я желала тем, кто собрался в “Белом доме”, одного – смерти. Я жалела и жалею только о том, что кто-то из “Белого дома” ушёл живым. Чтобы справиться с ними, нам понадобятся пули. Нас бы не остановила и большая кровь...

Я вполне готова к тому, что придётся избавляться от каждого пятого. А про наши белые одежды мы всегда сможем сказать, что сдали их в стирку. Свежая кровь отстирывается хорошо.

**Сколько бы их ни было, они погибли от нашей руки. Оказалось также, что я могу убить и потом спокойно спать и есть.** <...> “Огонёк”, № 2-3, 1994 г., стр. 26).

Эти исторические вопли Новодворской явились естественным продолжением “расстрельного” письма 42-х писателей, написанного в стиле письма Ленина “Об изъятии церковных ценностей” и опубликованного в “Известиях” 5 октября 1993 года. Разве что градус патологической ярости у Валерии был покруче. Хотя и в известинском письме защитники Российского парламента, убиенные в тот день, были названы **“красно-коричневыми оборотнями”**, **“ведьмами”**, **“убийцами”** и **“хладнокровными палачами”**, как будто не их тела были октябрьской ночью погружены на баржу и увезены в неизвестном направлении, а трупы Ельцина, Лужкова, Гайдара и прочих “гуманистов”, “борцов за права человека”.

**“Они, – пишет Новодворская в “Огоньке”, – погибли от нашей руки, от руки интеллигентов <...> не следует винить в том, что произошло, мальчишек-танкистов и наших командос-омоновцев. Они исполнили приказ, но этот приказ был сформулирован не Грачёвым, а нами... Мы предпочли убить и даже нашли в этом моральное удовлетворение”.**

Вскоре после октябрьской бойни Окуджава приехал на гастроли в Минск, где перед кинотеатром, в котором он должен был выступать, часть его бывших поклонников вывесила плакат со словами:

*В Москве палач царил кроваво,  
И наслаждался Окуджава.*

А известный киноактёр Владимир Гостюхин прилюдно на сцене и на глазах у Булата раздавил каблуком пластинку с записью песен барда-шестьдесятника.

А Новодворская, как и её кумир, вела своё происхождение из семьи революционеров. Прадедом Новодворской был профессиональный революционер из белорусского местечка Барановичи, организовавший первую социал-демократическую типографию в Смоленске. Он был сослан в Сибирь, где в казённом остроге родился её дед, воевавший в Первой конной армии Будённого. Отец, по её собственному признанию, уехал в Америку, изменив свою настоящую фамилию.

В ненависти к христианству Новодворская всегда выступала как достойная ученица Демьяна Бедного и Емельяна Ярославского (он же Минея Губельман):

**“Я не питаю ни малейшего уважения и приязни к русской православной церкви”, “Такие, как я, вынудили Президента на это (на расстрел Парламента. — Ст. К.) решиться и сказали, как народ иудейский Пилату: “Кровь Его на нас и на детях наших”. Один парламент под названием Синедрион уже когда-то вынес вердикт, что лучше одному человеку погибнуть, чем погибнет весь народ”...**

Не отставал в подобных чувствах от своей поклонницы и сын профессиональных революционеров Булат Окуджава, душевно исполнявший песенку: **“мы земных земней и, в общем, к чёрту сказку о богах”**... А когда он пытался поговорить о “загробных тайнах бытия”, то у него получалось нечто кошмарное, похожее на размышления Валерии Новодворской об иудейском народе и о Понтии Пилате:

*И о чём толковать?  
Вечный спор не решил ни Христос, ни Иуда...  
Если там благодать.  
Что ж никто до сих пор  
не вернулся с известьем оттуда?*

Надругавшись над Священным писанием, Новодворская с той же патологической лёгкостью попыталась осрамить и хрестоматийные стихи Пушкина, и российскую историю, и Отечественную войну, и русских людей, живущих в Прибалтике.

В интервью эстонским корреспондентам, приведённом в статье **“Не отдадим наше право налево!”** газетой “Новый взгляд” (№ 46 от 28 августа 1993 года), она уязвила всех, кого могла: **“Почему это в Америке индейцы не заявляют о своём суверенитете? Видно, в своё время белые поселенцы над ними хорошо поработали. А мы, наверное, в XVII–XVIII вв. что-то со своими “ныне дикими тунгусами” не доделали. И если я отдам жизнь за свободу Балтии, Украины, Грузии, то когда какая-нибудь цивилизованная страна вздумает завоёвывать Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, где установились тоталитарно-феодалные режимы, я её благословлю на дорогу. Жаль, что Россия не может считаться цивилизованной страной. Трёх вышеупомянутым государствам на роду написано быть колониями, ибо они не воспользовались во благо дарованной им свободой. Хорошо бы Англия ими поживилась...**

**Апартеид — это правда, а какие-то всеобщие права человека — ложь. Русские в Эстонии и Латвии доказали своим нытьём, своей лингвистической бездарностью, своей тягой назад в СССР, своим пристрастием к красным флагам, что их нельзя с правами пускать в европейскую цивилизацию. Их положили у парашаи и правильно сделали”.**

В следующей статье “Россия № 6”, той же газеты “Новый взгляд” (№ 1 от 15 января 1994 года), Новодворская заявила: **“Вот оно, русское чудо и загадочная русская душа! Мы всегда воевали с какой-нибудь Океанией или Остразией, как там её. Со Стефаном Баторием. С Ливонией. С Польшей. Со шведами. С Турцией. С Европой. С Финляндией. С Германией. С Афганистаном. С Таджикистаном. Классика жанра — Великая Отечественная.**

**Вот формула нашего массового героизма! Страну наконец-то спустили с цепи, и она, не имея мужества перегрызть глотку собственному Сталину и его палачам, с энтузиазмом вцепилась в горло Гитлеру... Вы хотите, чтобы я считала их мужественными защитниками Отечества и идейными противниками фашизма?"**

Как это ни прискорбно сознавать, но Окуджаву с Новодворской объединило общее презрение ко всему советскому, а особенно к русско-советскому простонародью. Их социальное происхождение из атеистических семей профессиональных революционеров-космополитов не позволяло им относиться, как к равным, к "кухаркам", к православному сословию, к детям христианской и мусульманской России.

Захлёбываясь от ненависти к защитникам расстрелянного Верховного Совета, "новодворские" носили в себе заразу местечкового "расизма", и таким гуманистам было не понять суть пушкинского патриотизма, живущего в словах: **"Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой, и назовёт меня всяк сущий в ней язык – и гордый внук славян, и финн, и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык"**...

Был ли сам Окуджава "совестью эпохи" и бескорыстным "бумажным солдатиком", жаждущим "переделать мир", "чтоб был в нём счастлив каждый"? Трудно сказать. Бескорыстные, беспомощные, игрушечные и бумажные по сути "солдатики" живут во многих его стихах...

Это и жители Арбата, **"пешеходы твои люди не великие"**, это **"смешной, отставной одноногий солдат"**. Это призраки в мундирах XIX века из "Батального полотна": **"не видишь, кто главный, кто – слуга, кто барин, из дворца ль, из хаты... Все они солдаты, вечностью объаты, бедны ли, богаты"**. Это соратники автора по "подлой" войне: **"мы все – войны шальные дети: и генерал и рядовой"**, или арбатские друзья, которые **"на пороге едва помаячили и ушли за солдатом солдат"**, это лежащий в госпитале **"в наплывах рассветных сын недолгого века"**, исповедующийся милосердным сёстрам Вере, Надежде и Любви. И всё было бы душевно, трогательно, напевно, сентиментально, если бы "бумажный солдат" жил не в нашем страшном двадцатом веке, а в мечтах, сновиденьях, в воображении поэта. Но жизнь есть жизнь, и ей нет дела до бумажного мечтателя, жаждущего ослепить каждого, кто живёт рядом с ним в суровом и "яростном мире". И "бумажный солдат" постепенно и неотвратимо обретал другой облик. Он вспоминал свою родословную, своё происхождение из комиссарской семьи и не соглашался исчезнуть в огне, потому что подобно расстрелянному в 1937-м отцу возмечтал: **"какое новое сражение ни покачнуло б шар земной, я всё равно паду на той, на той единственной гражданской, и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной"**. Он возненавидел человека, рассказавшего в компании писателей, сколько крови пролил вождь комиссаров Киров во время **"единственной гражданской"** на Кавказе, и захлебнулся от негодования: **"этого человека надо расстрелять! – Почему? – спросили его. – Потому что, – ответил Булат, – с Кировым работала моя мать!"** А что было делать "бумажному солдату" рядом с Кировым, однажды признавшимся, что ленинская гвардия пришла к победе на гражданской войне "через реки крови"?

Геннадий Красухин стоял как бумажный солдатик насмерть, защищая честь Булата: **"Не обойдёшь стороной проклятия поэту, подписавшему вместе с другими писателями обращение к согражданам после провала коммуно-фашистского мятежа в октябре 1993 года. До сих пор костерят Окуджаву: солидаризовался с убийцами! призвал к террору! Раскрыл своё нутро!"**

Зря Красухин напрягал свои голосовые связки – конечно же Булат **"солидаризовался"**, конечно **"призвал"**, конечно **"раскрыл"**, поскольку роковое письмо 42-х было сочинено и подписано всеми сорока двумя ренегатами не "после провала коммуно-фашистского мятежа", как писал Красухин, а гораздо раньше – за сутки с лишним, и это письмо окончательно развязало Е. Б. Н. руки для кровопролития. После расстрела какой смысл сочинять письма такого рода? призывать к преступлению, когда оно уже совершилось?

То ли, сморозив такую глупость, то ли солгавши, Красухин даже забыл, что его кумир спустя два с лишним месяца после бойни 4 октября сам своими устами так озвучил в одном из интервью свою причастность к этому

преступлению: **“Для меня это был финал детектива <...> никакой жалости у меня к ним не было”**. Пытаясь обелить не только Окуджаву, но и лужковских омовцев и грачёвский спецназ, Красухин нанизывал одну глупость на другую: **“В отличие от автоматов и пистолетов макашовского войска, охранники (речь идёт о телецентре. — Ст. К.) были вооружены только электрошокерами”** (Г. Красухин. “Портрет счастливого человека”)

**“До сих пор бытует термин “расстрел Белого Дома”. Но такой термин — не более чем художественная метафора. Утром 4 октября танки действительно стреляли по зданию парламента, но по верхним этажам, где людей не было, причём стреляли болванками, и исключительно для того, чтобы последние засевшие в Белом доме мятежники сложили оружие. Что же до расстрела, то ни одного убитого или хотя бы раненого депутата не оказалось среди жертв нового путча. Ну и в чём обвиняют Булата его ненавистники? В обращении, подписанном Окуджавой вместе с другими писателями, нет призыва к насилию”** (Г. Красухин. “Портрет счастливого человека”) И такого рода примеров неправды или глупости в книге Красухина не перечисть. Да, действительно, все депутаты Верховного Совета были выведены из здания. Но сколько защитников парламента, сколько добровольцев из московского простонародья, пришедших к телецентру, погибли в этот вечер! Когда глава ФСБ М. Барсуков удостоверился, что спецподразделения “Альфа” и “Вымпел” не желают штурмовать Парламент, он повёл себя особенно подло: **“Тактика Барсукова была простая: пытаться подтянуть их как можно ближе к зданию, к боевым действиям. Почувствовав порох, гарь, окунувшись в водоворот выстрелов, автоматных очередей, они пойдут дальше вперёд”**.

Это — отрывок из книги главного палача тех дней Б. Ельцина, “Записки президента”, стр. 11-12. Красухин оправдывает своего кумира доводами о том, что танковые снаряды были не кумулятивные, но всего лишь цельно-металлические, то есть болванки, будто болванки людей не убивают. По Красухину, стреляли из танков по верхним этажам, где людей не было (словно бы Окуджава об этом знал), и поэтому у Булата Шалвовича совесть якобы была чиста. . . Но даже солдафон генерал Павел Грачёв, понимая, что совершается нечто страшное и преступное, потребовал от Ельцина, приказавшего ему расстрелять “мятежников”, засевших в Белом Доме, чтобы этот приказ был ему дан в письменном виде. Ах, Красухин, Красухин, лучше бы твоя книга о “счастливом человеке” не попадала мне в руки.

А то, что творилось в Останкино, я видел сам своими глазами. Я был там, когда в ответ на провокацию (выстрел гранатомёта со второго этажа телецентра) началась автоматная стрельба, и толпа народа на площади попадала за гранитные стенки, окружившие подземные переходы. Я сам залёг за одну из них в то время, когда фээсбешники под командой офицера ФСБ Лысюка застрелили французского журналиста Скопона, когда толпа, сгрудившаяся перед телецентром, стала разбегаться во все стороны. А на другой день ко мне в редакцию пришёл пожилой мужчина, небритый, с безумным взглядом:

**— Вы знаете, что вчера творилось в Останкино? На моих глазах две женщины, хорошо одетые, прогуливались в роще с собачками. Бэтээры, подошедшие от Белого Дома, начали стрельбу по деревьям, под которые убегали люди от телецентра. Одну женщину с собачкой ранило в плечо, а другая пуля разбила ей голову. Я видел, как собачка такса гала вокруг мёртвой хозяйки и скулила!** — А сколько было убито добровольных защитников Белого Дома, которые прятались в его коридорах и подвалах, в парадных домов, окружавших место трагедии. . . Много лет подряд их фотографии, их имена выставлялись на стены стадиона “Авангард”, и мы, русские писатели, ежегодно собирались у этих стен, отдавая посмертную благодарность погибшим патриотам.

Им, защитившим честь московского простонародья, им, чьи тела были погружены, как говорили местные люди, и увезены на баржах по Москверке на неизвестные доселе погосты. **“Для меня это был финал детектива, — подытожил Булат Шаллович свои переживания в тот исторический день. — Никакой жалости у меня к ним не было”**. И этими словами он подписал нравственный приговор самому себе. Что ни говори — решительный человек, способный в отличие от бумажного солдата на поступки, настоящий комиссарский сын, оплативший советской истории за смерть своего отца,

который эту самую историю создавал своими руками... Но когда Булат Шалвович умер во Франции от гриппа, то над ним склонились не “комиссары” в пыльных шлемах, не “Вера, Надежда и Любовь”, а две высокопоставленных шестидесятницы – Зоя Богуславская и Наина Ельцина. Может быть, что именно таким образом история подшутила над ним.

\* \* \*

#### **P. S.**

Таковы были наши отношения с Булатом Шалвовичем в течение нескольких десятилетий двадцатого века. Остаётся в заключение лишь вспомнить о том, как мы с ним написали каждый по стихотворенью, где вольно или невольно отразились его и мои противоположные чувства о трагедии, которая в те времена вершилась на Ближнем Востоке.

Дело в том, что меня после моих “идеологических скандалов” – дискуссии “Классика и мы”, письма в ЦК о “Метрополе”, глав из книги “Жрецы и жертвы холокоста” – если и посылали от Союза писателей за границу, то чаще всего на арабский Восток – в Сирию, Ирак, Иорданию. Мол, говори там, что хочешь... А я и рад был: в чреве великих древних цивилизаций в семидесятые-восьмидесятые годы кипела живая, кровоточащая, настоящая человеческая история. Не то что в пошлой и полуживой Европе, где встречаешься с какими-нибудь славистами, мелкими диссидентами, газетными папарацци. Ближневосточная жизнь, напротив, была трагической, мощной, простонародной. В Дамаске и Багдаде, в священной для мусульман Кербале и на берегах Иордана – великого ручейка человечества, который кое-где перепрыгнуть не стоило труда – я встречал людей, умеющих жертвовать собой во имя своего народа и с именем Бога на устах.

*Побродил по нашему столетью,  
заглянул в иные времена...  
Голуби на Золотой Мечетью  
в синем небе чертят письма.*

*То с горчинкой, то нежданно сладок  
ветер из полуденных песков.  
Я люблю восточный беспорядок,  
запахи жаровен и цветов.*

*Шум толпы... Торговля... Перебранка...  
Но среди базарной суеты  
волоокая аравитянка  
вывернула грудь из-под чадры.*

*Грудь её смугла и совершенна,  
и уткнувшись ртом в родную тьму,  
человечек, застонав блаженно,  
присосался с счастьем своему...*

Далее шли строфы, снятые из стихотворенья в моём двухтомнике 1988 года нашей цензурой, которая не смогла вынести рассказа о судьбе будущего мусульманского – курдского, афганского, палестинского – смертника:

*Может быть, когда-нибудь, без страха,  
он, упрямо сжав семитский рот,  
с именем отчизны и Аллаха  
как пророк под пулями умрёт.*

*Может быть, измученным собратьям  
он укажет к возрожденью путь...  
Спит детёныш, в цепкие объятия  
заклучив коричневую грудь.*



Стихотворенье называлось “Дамаск”, куда в одна тысяча девятьсот семьдесят восьмом году мы прилетели с кабардинцем Алимом Пшемаховичем Кешоковым. Отоспавшись после самолёта в гостинице, мы утром вышли в гостиничный вестибюль и встретили высокого араба с седой шевелюрой. Он бросился к нам с распростёртыми объятьями. Это был палестинский поэт Муин Бису, с которым мы не раз встречались на ближневосточных земных широтах. Я хорошо помнил его по Тунису, где проходил съезд писателей Палестины. Мы заседали под открытым небом в каком-то парке, над президиумом под порывами ветра, налетавшего со стороны Средиземного моря, трепетало, как парус, туго натянутое полотнище, на котором в окружении двух пальмовых ветвей была оттиснута, словно зелёный наконечник копья, территория Палестины, перекрещенная двумя чёрными винтовками. Со стола президиума аж до самого пола свешивалось белое покрывало с нашитыми из красных букв арабской вязи словами: “Кровью напишем для Палестины”. На трибуну взлетел Муин и стал выкрикивать с неё стихи, посвящённые командиру студенческого отряда, погибшему в схватке с израильтянами в ливанских горах. Рефрен стихотворенья, вызвавшего бурю рукоплесканий, мне тут же перевели:

*Я люблю сопротивление,  
потому что оно — пуля в груди,  
а не гвоздика в петлице.*

Поэт читал не только для живых, но и для мёртвых, потому что трибуна, с которой он выступал, была обрамлена портретами палестинских писателей и журналистов, погибших в схватках с израильтянами. Все они были чем-то похожи на Че Гевару; на молодых и суровых лицах лежал трагический отсвет мученической смерти и веры в победу.

... На другой день мы взяли с собой Муина и вместе с переводчиком из посольства поехали на развалины некогда цветущего сирийского города Кунейтры, взорванного израильтянами солдатами, когда они в 1974 году в ярости покидали завоёванные сирийские земли и уходили на Голанские высоты, которые, как два покаты верблюжьих горба, виднелись на горизонте.

Мы бродили по развалинам некогда цветущего города, по исковерканным взрывами бетонным плитам, перешагивали через изогнутые ржавые клубки железной арматуры, в суеверном молчанье созерцали кладбища с поваленными и раздробленными стелами, увенчанными крестами и полумесяцами. Разрушенный город, как и положено безлюдным руинам, зарастал дикой колючей травой, повиликой, жёстким кустарником с глянцевыми листьями, от развалин, усыпанных лепестками цветущих яблонь, исходил запах сладкого тлена, по чёрным базальтовым камням, из которых в Кунейтре были сложены стоявшие рядом друг с другом мечеть и христианская церковь, извиваясь своими изящными телами, носились юркие ящерицы. Время от времени, испуганные нами, с коротким шипеньем чёрные змейки срывались с солнцепёка и ускользали в каменные щели, ввинчивались в спасительные трещины. Сирийские юноши и девушки, приехавшие поглядеть на развалины домов, где они ещё недавно жили, присаживались отдохнуть в тени цветущих каштанов. Юноши были в чёрных брюках и белых рубашках, а девушки в синих и красных платьях. Все черноволосые, смуглые, изящные, словно выточенные статуэтки.

Алим Кешоков нагнулся, разгрёб носком ботинка грудку щебня и вытащил из-под него какие-то бумажные обрывки.

— Станислав, смотри, да это же страницы Библии.

Муин взял у него из рук обугленный листок плотной бумаги и прочитал несколько слов, которые пересказал переводчик:

— “И города разрушили, и на всякий лучший участок в поле бросили каждый по камню и закидали его; и все протоки вод запрудили и все деревья лучшие срубили, так что оставались только камни в Кир-Харешете”.

— Это об израильтянах, — сказал Муин. — Четвёртая книга Царств.

Ветерок, налетевший с ливанских гор, протянувшихся в сиреновой дымке белой снеговой линией, освежил наши лица, мы зашли в ограду христианской церкви, выбрали под платанами тенистый пятачок и присели передохнуть. Я заглянул в церковь сквозь ржавую решётку. Увидел разбитый иконостас, поваленные каменные подсвечники, выщербленные взрывами плиты. Муин волновался. Он многое хотел рассказать нам, потому что недавно вышел

с последними защитниками Бейрута из осаждённого и разбитого израильской солдатнёй города, с автоматом в руках. С его ладоней ещё не сошли пятна от оружейной стали. Рядом с ним делила все тяготы партизанской жизни его дочь — медсестра, перевязывающая раны палестинцам, умевшая, как и её брат, владеть автоматом и винтовкой. Муин вскоре познакомил меня с нею. Он просто задыхался от жажды рассказать нам о последних днях бейрутских боёв, и когда мы присели в тени и выпили по глотку коньяку из фляжки, предусмотрительно захваченной в путь Кешоковым, Муин посмотрел на нас своими громадными лошадиными глазами и начал читать стихи. Позже я перевёл их. Стихи были о том, как он и его бывший знакомый израильтянин Даниэль стали врагами.

*Даниэль,  
вспоминаю, как ты крался по палубе,  
как лицо твоё прожектора  
вырывали из тьмы.  
Ты мальчишкою крался в окрестностях Хайфы,  
убежав из Освенцима  
на палестинскую землю.  
Палестина одела тебя  
лепестками трепещущих лилий  
и листьями древних олив.  
Чем же ты отплатил Палестине?  
Пулей в сердце оливы.  
Ты возжёл не светильник из масла, а пламя пожара,  
ты не шляпу надел из соломы,  
а железную каску...  
Ты на древнем Синае,  
иль на Сирийских высотах,  
или на улице Газы  
будешь ждать свою смерть за мешками с песком  
или за корпусом танка...*

Кабардинец Кешоков, несмотря на свои шестьдесят лет, выглядел молодцом. У него была лёгкая кавалерийская походка, седая голова и хорошая память.

— Где война, там и поэты, — сказал он. — Палестинские воюют за свою землю. Израильские — за свою. А я вам расскажу, как мы, молодые советские поэты, встретили Великую Отечественную... Служил я в кавалерийском полку, который летом сорок второго года преследовал и расстреливал без суда дезертиров в Калмыкии. Сейчас мы все друзья — Расул Гамзатов, Кайсын Кулиев, Давид Кугультинов и я. Смеляков даже стихи о нас написал, как о четырёх колесах арбы. А тогда, летом сорок второго, Давид служил в 110-й калмыцкой дивизии, которая разбежалась при приближении немцев по Сальским степям. Наш полк отлавливал их. Хорошо, что не встретился мне в те дни Давид. Я бы его мог просто из автомата перечеркнуть...

Мы хлебнули ещё по глотку, и Алим задумался, глядя на снеговые очертания ливанских гор. Порывы ветра, летящие с их вершин, обволакивали нас тонкими запахами цветущих роз, лепестки которых, слегка привядшие, подсохли, полегчали и, когда веянье ветра усиливалось, шевелились и подползали душистыми ручейками к чёрным, начищенным ботинкам Кешокова. А я глядел на него и представлял себе, каким он был сорок лет тому назад, черноволосый юноша в черкеске с газырями, а может быть, в просто офицерской гимнастёрке, в мягких сапогах со шпорами, с автоматом через плечо, с шумной походкой охотника и кавалериста.

— А Семён Липкин, — восторженно воскликнул Кешоков, — стал перед войной народным поэтом Калмыкии, звание ему дали за то, что перевёл на русский язык народный эпос “Джангар”. Как и Давида, его мобилизовали в ту же разбежавшуюся дивизию, только в газету. А наступавшие немцы разбрасывали с самолёта листовки с призывами: “Калмыки! Сдавайтесь! Ваш народный поэт Липкин уже у нас в плену!” Они не разобрались, кто такой Липкин и почему он народный поэт... Блефовали. В плену Семён не был.

В той же Кунейтре пред тем, как возвратиться в Дамаск, я спросил Муина Бсису:

— Какая у тебя сокровенная мечта в жизни?

Он ответил не задумываясь:

— Чтобы меня похоронили в родной земле, в независимой и свободной Палестине!

Кешоков умер в середине девяностых годов и похоронен в Москве. “Народный поэт Калмыкии” Семён Липкин написал в своих воспоминаниях, видимо, о том, о чём мне рассказывал Кешоков полвека тому назад в знойной Сирии:

*“Я с некоторыми послаблениями, как литератор, принимал участие в Отечественной войне. Так случилось, что в 1942 году попал в окружение. Мы пробыли в окружении целый месяц. Для меня вследствие некоторых особенностей моей биографии попасть к немцам было бы особенно тяжело. . .”*

А Муин Бсису, который стал поэтом палестинского сопротивления, так и не дождался до создания независимой Палестины. И до своей мечты — быть похороненным в родной земле. Он умер в изгнании, в одной из лондонских гостиниц, где жил под чужим именем с тунисским паспортом. И лишь одна из английских газет в хронике событий кратко сообщила о том, что в таком-то отеле в 207-м номере было найдено тело какого-то “тунильца”. На стене его комнаты был приколот кнопками портрет Че Гевары.

После этой поездки в моей “ближневосточной тетради” появилось новое стихотворенье.

### ПАЛЕСТИНКА

*Не в родных партизанских лесах,  
а среди аравийских просторов  
я увидел в миндальных глазах  
гнев, который понятен и дорог.*

*Палестинка, глазницы твои —  
воспалённые два полукружья,  
у тебя ни угла, ни семьи  
и ладони темны от оружия.*

*Чтоб сжимать автоматную сталь  
в нежных пальцах — не женское дело!  
Но глядишь ты в пустынную даль  
чуть с прищуром, как в прорезь прицела.*

*Я без слов понимаю твой пыл,  
потому что в военные годы  
я ведь тоже изгнанником был  
и, как ты, знаю цену свободы.*

Да. Я вспомнил нашу с матерью эвакуацию в последнем эшелоне, уходящем в начале сентября 1941 года из Ленинграда. Через два-три дня кольцо гитлеровских войск сомкнулось вокруг города, где остался мой отец, погибший в феврале 1942-го. . . Но читатель вправе спросить, а при чём здесь Булат Окуджава? А всего лишь при том, что один из читателей, хорошо знающих мои стихотворные книги, однажды позвонил мне: “Станислав Юрьевич, а не знаете ли Вы о том, что у Окуджавы есть интересное стихотворенье, написанное, как ответ на Вашу “Палестинку”?” — “Это что, — спросил я, — песня или стихотворенье?” — “Нет! — ответил мне мой читатель. — Это, Станислав Юрьевич, своеобразная полемика с Вашей “Палестинкой”. Впрочем, послушайте!” — И он прочитал мне по телефону двенадцать строчек.

*Рахели*

*Сладкое бремя, глядишь, обернётся копеекою:  
кровью и порохом пахнет от близких границ.  
Смуглая сабра с оружием, с тоненькой шейкою  
юной хозяйкой глядит из-под чёрных ресниц.*

*Как ты стоишь... как приклада рукою касаешься!  
В тёмно-зелёную курточку облачена...  
Знать, неспроста предо мною возникли, хозяйюшка,  
те фронтовые, иные, мои времена.*

*Может быть, наша судьба, как расхожие денежки,  
что на ладонях чужих обречённо дрожат...  
Вот и кричу невпопад: до свидания, девочки!  
Выбора нет! Постарайтесь вернуться назад!..*

Булата уже не было в живых, а то бы я спросил, имеет ли его “Рахель” хоть какое-то отношение к моей “Палестинке”... Во всяком случае, эта случайная история не зря была истолкована моим читателем, как некая мировоззренческая дуэль двух некогда понимавших друг друга поэтов. Правда, один из них, когда-то назвавший себя “бумажным солдатом”, в стихотворении, посвящённом Рахели, выглядит если не “комиссаром в пыльном шлеме”, то настоящим профессионалом войны, понимающим, что такое “кровь и порох”, и что **“смуглая сабра с оружием”** – это духовная родная сестра его матери, о которой он с восторгом писал: **“но тихонько пальцы тонкие прикоснулись к кобуре”**.

АНДРЕЙ ФУРСОВ

## НА ПОРОГЕ НОВОГО МИРА: ХМУРОЕ УТРО, ОГОНЬ И СТАЛЬ

*(Мировые элиты, местная “илитка” и левый проект)*

Беседовал Алексей Коленский

– Давайте определимся с термином. Элита – это группа лиц, от поколения к поколению приумножающих богатство и власть, или социальный слой, сформированный культурно-образовательным, управленческим и властным институтами, определяющими вектор развития, отстаивающими интересы страны на мировой “игровой доске”?

– Понятие “элита” весьма многозначно, хотя и не столь, как “цивилизация” или “демократия”. В обиходном значении элита – это лучшие. Однако в обществоведении, будь то социология или политическая наука, под элитой понимается внутренне связанный слой людей, занимающий верхние “этажи” социума благодаря власти, собственности и образованию. Мы прекрасно знаем, что во власти часто оказываются далеко не лучшие, а вовсе наоборот.

Частью элиты является правящий слой, хотя не все представители правящего слоя могут фиксироваться как элита. Впрочем, элитой общества являются многие из тех, кто не относится к правящему классу, но влияют на общественные настроения своей профессиональной деятельностью (писатели, журналисты, деятели культуры и науки и т. п.). В то же время такое понятие, как “господствующий класс/слой”, шире понятия “элита”: например, далеко не всех торговцев или банкиров, разбогатевших на грабительских реформах 1860–1870-х годов, можно отнести к элите, и не потому, что они сморкались в пол, а потому, что не влияли на власть и не имели образования. Значение слова “элита” и научный термин “элита” далеко не всегда совпадают. Далее я буду пользоваться термином “элита” в научно-обществоведческом плане, делая, когда это необходимо, оговорки. Впрочем, в то время как политологи говорят об “элите РФ”, народ и многие публицисты называют эту публику “илиткой” – и в целом они правы.

– Сегодня нередко говорят о наднациональных элитах, игнорирующих общественные интересы...

– Наличие наднациональных, надгосударственных элит и их структур – имманентная черта капитализма как системы; более того, без наличия этих

---

*ФУРСОВ Андрей Ильич — Директор Института системно-стратегического анализа; директор Центра русских исследований Московского гуманитарного университета.*

структур его нормальное функционирование трудно представить. Суть в том, что капитализм в экономическом плане – единое целое без границ, а в политическом – сумма государств, разделённых границами. Налицо противоречие в капсистеме между капиталом и государством, экономикой и политикой, целостностью и суммарностью. У крупной буржуазии, особенно финансовой, всегда есть интересы за пределами их государства, реализация этих интересов требует нарушения политических границ, то есть снятия указанного противоречия. Систематически это возможно лишь при наличии структуры (организации), которая носит надгосударственный (наднациональный) и закрытый характер, а потому способна влиять на государство (государства) в закрытом режиме.

Когда на рубеже XVII–XVIII веков наличие такой структуры стало императивом, у европейской, прежде всего, английской и голландской буржуазии и у созданных ею новых, буржуазных монархий таких своих структур не было, и они схватились за то, что имелось на тот момент наднационального. Во-первых, это были масонские структуры; во-вторых, разбросанные по всей Европе и тесно связанные друг с другом еврейские общины, еврейский торговый капитал (позднее, уже в XX веке к еврейской диаспоре добавилась армянская, но она, как и ещё позже ливанская, не достигла еврейского уровня влияния); в-третьих, связанные родственными надгосударственными (династическими) узлами монархические и аристократические семьи.

Интересы и цели капиталистического накопления, капсистемы в целом привели к тому, что в начале XIX века, с окончанием наполеоновских войн все эти наднациональные структуры Запада тесно переплелись друг с другом, и оформилась невиданная до тех пор уже не просто международная (международными были союзы государств), а мировая сеть. Её главными узлами (или, если угодно, головами дракона) на тот момент были государство-гегемон капсистемы Великобритания, управляемая клубами и островными ложами; масонские организации – островные и континентальные; финансовый капитал (прежде всего Ротшильды). Ну и, конечно, династическая система Европы, королевские и герцогские семьи (на первом плане – Великобритания, а также Нидерланды, Швеция, Норвегия, Лихтенштейн). Эта сеть ни в коем случае не была мировым правительством. Во-первых, такое по целому ряду причин (прежде всего, из-за конкуренции и различия интересов) было невозможно; во-вторых, мировая сеть намного эффективнее мирового института, каковым является правительство или объединение правительств.

К середине XIX века масонские структуры (“эпоха революций” 1789–1848 годов) так или иначе пришли к власти в крупнейших государствах Европы, произошло огосударствление регулярного масонства (которому теперь противостояли “дикие ложи”), но на этом восходящая линия истории масонства, по сути, закончилась – оно стало выполнять функцию рекрутирования элиты, социального лифта, канала связи и – в ряде ситуаций – ширмы.

В последней трети XIX века экономическая рецессия 1873–1896 годов, ослабление Великобритании как гегемона капсистемы, подъём США и Германии, обострение борьбы за новый передел мира (“эпоха империализма”) потребовали создания новых, постмасонских наднациональных структур мирового согласования и управления. Они и были созданы в Великобритании – общество Сесила Родса, которое после его смерти плавно трансформировалось в общество Милнера – “Круглый стол” (Round Table), или “Мы” (We).

Вообще нужно сказать, что эволюция закрытых наднациональных структур как оргорулия верхушки мирового капкласса практически полностью совпадает с эволюцией капсистемы, точнее, её североатлантического ядра: каждый поворот, каждый новый период в развитии капсистемы, в наступлении нового этапа формирования североатлантического господствующего класса сопровождался появлением новых (или перерождением, качественной “реновацией” старых) закрытых структур. Если говорить о послевоенном времени, то это Бильдербергский клуб и намного более серьёзные структуры типа *Siècle* (“Век”) и *Cercle* (“Круг”). Впоследствии были созданы структуры с “двойным дном” – “Римский клуб” (1968) и “Трёхсторонняя комиссия” (1973). Задачами всех этих структур было:

во-первых, теснее сплотить две ветви западной элиты – англо-американскую и западноевропейскую (главным образом, североитальянские и южно-немецкие гвельфские и испанские аристократические семьи, традиционно ориентирующиеся на Ватикан);

во-вторых, урегулировать отношения между финансовым и промышленным капиталом, а также между государственно-монополистическим капиталом и транснациональными корпорациями;

в-третьих, ослабить СССР путём втягивания его правящего слоя (номенклатуры) в глобальные процессы по внешне нейтральным направлениям (экология, демография, глобальное прогнозирование и управление).

Решение третьей задачи позволяло одним группам мировой буржуазии в своих тактических интересах использовать СССР против других групп или государств (как в довоенный период это делали США, используя сталинский СССР по одной линии – в их борьбе против Великобритании и Германии, по другой – в борьбе промышленного капитала против финансового). Подспудно в ходе этого “сотрудничества” делалось всё, чтобы стратегически максимально ослабить СССР – вплоть до его демонтажа, активно поощряя формирование в нём заинтересованных в этом лиц, групп, структур.

Хочу подчеркнуть особую роль в мировой сети монархо-аристократических (“династических”) семей. Они никуда не делись при капитализме. То, что они далеко не всегда на виду, – это нормально, это факт. Как, например, и то, что, по оценкам специалистов, до 50% немецкой промышленности владеют (прямо или опосредованно) представители аристократии. О масштабах землевладения монарших и аристократических семей я уже не говорю. В Англии с XII века, со времён Ричарда Львиное Сердце, власть и собственность принадлежат примерно одному и тому же 1% населения, внутри которого многие перероднились. Это значит, что торжество вертикальной мобильности над горизонтальной в эпоху индустриального капитализма – не более, чем миф.

– **Складывается впечатление, что сегодня многоглавый дракон, его мировая сеть переживает глобальный ценностный кризис...**

– Дело не в ценностном кризисе как таковом – он всего лишь элемент целого и следствие причины. Он – проявление терминальной фазы системного кризиса капитализма. Научно-техническое и промышленное развитие капсистемы в 1950–1960-е годы стало реально угрожать позициям “хозяев истории” – так мировую верхушку и её закрытые структуры называл Дизраэли, один из самых известных и влиятельных британских премьеров XIX века, ставленник Ротшильдов, воспевавший их в романе “Коннингсби”.

На рубеже 1960–1970-х годов мировой правящий класс стал существенно притормаживать и научно-технический прогресс, и промышленный рост, обосновывая это экологической угрозой. Отсюда – квазиидеология экологизма (пост)западных элит, в основе которой – ненависть к человечеству как совокупности лишних едоков (линия от Мальтуса дотянулась до Гейтса).

В те же 1960-е годы по своим эгоистично-квазиклассовым причинам от рывка в посткапиталистическое будущее отказались хозяева системного антикапитализма – советское высшее руководство. К тому же последнее, во-первых, взяло курс на интеграцию в мировую капсистему – вместо того, чтобы создавать **реальную** надгосударственную систему мирового социализма; во-вторых, стало активно участвовать в создании нерегулируемого мирового финансового рынка, стихию которого в 1980-е годы буржуины наведут на соцлагерь.

Иными словами, на рубеже 1960–1970-х годов был дан старт деградиционной модели развития, сменившей двухсотлетнюю модель восходящего, прогрессивного развития капсистемы. Новая модель, помимо прочего, предполагала разрушение, демонтаж традиционных форм и институтов эпохи Модерна – государства, гражданского общества, политики и особенно образования.

Иными словами, с 1960-х годов в обоих сегментах мировой системы – капиталистическом и социалистическом – одновременно началась контрреволюция в научно-технической сфере. Если в СССР в случае продолжения научно-технического прогресса возникла угроза ослабления контроля над обществом со стороны партноменклатуры, то на Западе с аналогичной угрозой сталкивались финансово-промышленные олигархии и корпорации. Отсюда – торможение НТП. Причём произошло это в тот момент, когда СССР, благодаря наработкам В. М. Глушкова (система ОГАС), И. С. Филимоненко (холодный термоядерный синтез) и В. Н. Челомея (военные разработки), мог уйти в отрыв и **навсегда** оставить США в историческом офсайде со всеми вытекающими системно-мировыми и геополитическими последствиями. Тем более

что к концу 1960-х США проиграли СССР экономическую гонку и перестали быть самовоспроизводящимся хозяйственным “организмом”, а к концу 1970-х практически многие основные отрасли американской промышленности утратили конкурентоспособность даже на внутреннем рынке. Вот здесь-то и можно было “ронять” США. Однако вместо этого советская верхушка купилась на проекты Римского клуба и предложенный американцами детант (“разрядка напряжённости”) и не только не подтолкнула падающего, но своими финансовыми играми с Ротшильдами и нефте-зерновыми – с Рокфеллерами помогла ему устоять, укрепиться, после чего с начала 1980-х США развернули решающее наступление на СССР: второй раз предоставлять шанс воспользоваться их слабостью они не собирались – “империю зла” надо было “уронить”.

1970–1980-е годы выявили, что позднекапиталистическое общество сложнее существующей системы управления/власти – как официальной государственной, так и закрытой надгосударственной. Согласно закону Эшби, управляющая (под)система должна быть сложнее управляемой ею системы, только в этом случае система может нормально развиваться, а управляющие сохранят свои позиции – власть, статус, собственность. В течение двухсот лет, со времени активного начала промышленной революции западные верхи в плане организационном, научно-техническом и культурно-образовательном были сложнее низов и “мидлов” – это обеспечивалось научно-техническим, промышленно-экономическим прогрессом, который в то же время постоянно повышал социальный и образовательный уровень сложности общества. В какой-то момент этот уровень стал угрожать позициям верхов, и они сознательно пошли на его снижение. Ощущая опасность для себя в дальнейшем прогрессе, они сделали ставку на деградацию основной массы населения. Чтобы относительно тупой мог управлять, управляемые должны быть ещё тупее – схема “тупой и ещё тупее”.

Эта схема сегодня реализуется в большей части мира, именно этим обусловлено разрушение образования, выхолащивание из него творческого элемента, подмена творчества дрессурой (система тестов). Именно это происходит и в РФ. О том, что население должно быть необразованным, иначе им нельзя управлять, нельзя манипулировать, открыто заявил несколько лет назад на Петербургском экономическом форуме Г. Греф. И действительно, если ты сам тупой, то в качестве управляемых тебе нужны ещё тупее. Греф не понял, что своим тезисом он фактически признал тупость – свою и слоя, к которому принадлежит.

Цифровизация призвана решить, как минимум, три задачи:

1) окончательно сформировать систему тотального контроля над населением;

2) сформировать слои новых бедных (“рабы Цифры”) и новых богатых (“господа Цифры”);

3) окончательно разрушить систему образования. “Алхимики” Цифры торопятся, поскольку кризис может сорвать все их планы, особенно в России. Но, похоже, времени им не хватит – не успеют.

За несколько лет до Грефа другой “герой” наших дней А. Фурсенко заявил, что пороком советской школы было стремление воспитать творца, тогда как задача постсоветской (читай: антисоветской) школы – воспитать квалифицированного потребителя, способного пользоваться тем, что создают другие. Фурсенко сам не понял, что сказал. По сути, он зафиксировал тот факт, что в РФ сознательно не воспитывают созидателей, что это в принципе несозидательная структура; во-вторых, что РФовский потребитель, пользуясь тем, что создаёт заграничный созидатель, зависит от него.

А если забугорный созидатель не захочет удовлетворять потребности российского потребителя и начнёт шантажировать его? Что делать? Сосать лапу – сам-то только потреблять умеет. И куда деваться этому тридцатому царству потребления? По сути, Фурсенко выдал главную тайну правящего слоя РФ: ориентация не на созидание, а на потребление, на зависимость от забугорных созидателей. Впрочем, ничего другого у компрадорско-олигархического строя и быть не может. И неслучайно в народе появился термин “илитка”: зависимые потребители, выменивающие “золото” и нефть на “стеклянные бутсы” и яхты, на элиту не тянут.

Что ещё хуже для “илитки”, подход Фурсенко, по сути, создаёт *могильщик режим*. Если главное – не творчество, не идеальные побуждения (сюда



входит реальный патриотизм — любовь к Родине, а не к власти), а потребление, то ты, дружок, должен это потребление как главное в жизни обеспечить. Обеспечивается это социальными лифтами. А если такие лифты не работают, если ты не можешь обеспечить уровень потребления, который демонстрируется с экрана, то адепт потребления развернётся в сторону того, кто это потребление обеспечит или пообещает обеспечить, показав красивую обёртку, как мы это видели несколько лет назад на Украине (“хочу кружевные трусики и в Европу!”), а сегодня — в Белоруссии: кольцо сжимается. И отдельное “спасибо” за это воспитателям “квалифицированных потребителей”.

Ясно, что упор на потребление — это дополнительный удар по образованию, как и цифровизация последнего. Потреблятское образование в такой же степени есть продукт “аристократии помойки”, как и средство её создания. Как пел Михаил Иванович Ножкин, “опять наверх попёрла лабуда”.

**— Какую роль в современных мировых процессах играют российские элитарии? Корректно ли говорить об их наличии, или речь идёт о людях, выполняющих команды зарубежных кукловодов?**

— В самом конце 1980-х годов часть советской номенклатуры, КГБ и курируемые ими теневики с помощью определённых кругов Запада разрушили СССР. 1991 год подвёл лишь формальную черту, реальная окончательная сдача системы и страны произошла 2-3 декабря 1989 года на Мальте. А вскоре наступили “времена загогулины”: русская история издала неприличный звук, и из неё вывалилась ельцинщина. Ельцинщина — это процесс встраивания РФ как самого крупного обломка СССР в мировую капсистему на условиях хозяев последней и под руководством этих хозяев. Достаточно вспомнить, кто и как варганил под американскую диктовку ельцинскую конституцию, вспомнить ЦРУшных советников “младореформаторов” или почитать рассекреченные американцами в 2018 году секретные переговоры и телефонные разговоры Клинтона и Ельцина — белый хозяин, master, общается с колониальным князьком-попрошайкой, который, набивая себе цену, время от времени хорохорится и пыжится.

В 1990-е годы постсоветская верхушка провела деиндустриализацию страны, превратила её в сырьевой придаток Запада, организовала погром социальной сферы; де-факто идеологией стал антисоветизм. Компрадоры “тушкой и чучелом” интегрировались в “западный мир” — там деньги, недвижимость, яхты, жёны/любовницы, дети. Короче говоря — всё для жизни; РФ же для них — не более чем поле для охоты (в экономическом смысле), как это признал сам Ходорковский, вовсе не страдающий избытком совестливости.

Затем, уже в “нулевые” годы в постсоветской верхушке оформились две группы, которые можно условно назвать “приказчиками” и “контролёрами”. Непроходимой стены между ними нет: и те, и другие — сторонники неолиберальных экономических реформ, демонтажа социального государства и “встраивания в Запад”. Различия — в отношении к скорости процессов и к условиям встраивания. “Приказчики” готовы сходу и без сожаления (“денег нет, но вы держитесь”) снести социальное государство, и только страх сдерживает их. “Контролёры” предпочитают “варить лягушку медленно” (почему — чуть ниже). “Приказчики” готовы сдать Западу ресурсы и то, что осталось от суверенитета, хоть сейчас и почти на любых условиях — роль Плохиса их не пугает. Они не понимают, что в случае прихода транснационалов их, бездарей, вышвырнут, а их место займут совсем другие: менее вороватые, более дисциплинированные и эффективные хищники, с молодых ногтей прошедшие школу подчинения “железной пяте”. “Контролёры” хотели бы войти в “цивилизованный мир” (Запад для них — цивилизация, они не понимают, что никакого Запада уже нет, есть пост-Запад, а его “цивилизация” — это Поле чудес в Стране дураков: “несите ваши денежки”) в качестве младших партнёров, причём не только в РФ, но и желательно на всём постсоветском пространстве на некоторых своих условиях (“медведь свою тайгу не отдаст”). Однако охотники на крупную дичь у медведя ничего спрашивать не собираются, он их безумно раздражает, и они уже начали травлю — готовятся загнать.

У “приказчиков” и “контролёров” есть важное сходство: и у тех, и у других нет ни проекта, ни образа будущего. Создаётся впечатление, что не только в их планах, но в их видении вообще нет будущего. Можно сколько угодно штамповать прожекты “2030”, “2040”, “2050” — ad infinitum, но если систематически

рушить то, что создаёт это будущее — образование и науку, — и готовит его агентов, то о чём можно говорить?

Если позиция “приказчиков” внутренне непротиворечива, то в таковой “контролёров” — серьёзное противоречие. В противостоянии с “хозяевами Истории” и их обслугой “контролёры” должны хоть как-то опираться на поддержку населения, демонстрировать хотя бы показной патриотизм и снижать накал антисоветизма. Но как обеспечить такую поддержку при проведении непопулярных экономических, социальных и политических реформ? Как это сделать, руша здравоохранение, образование и науку, блокируя социальные лифты? Значит, надо притормаживать, устраивать “игры патриотов”, отсюда — медленная “варка лягушки”.

Однако это лишь оттягивает финал и жестокую необходимость отвечать на вопросы: с кем вы, мастера власти? Кто с тобой работает? Чья Россия?

Отвечать! В глаза смотреть!

И последнее. Никуда не девается проблема соотношения сложности социума и власти, оставшаяся в наследство от позднего СССР и за 30 лет ещё более усугубившаяся и обострившаяся. Проблема стихийного стремления социума к более сложной по сравнению с ним власти, запрос на неё — это вопрос безопасности и развития. И если окажется, что эту сложность продемонстрирует внешняя по отношению к стране сила, манящая к тому же “раем потребления”, то разворот в её сторону части общества, особенно молодой, весьма вероятен, особенно если учесть ту свободу действий, которой пользуются “пятая колонна” и лица с не только нашим гражданством. Результат мы уже видели на Украине.

За 30 постсоветских лет выросло молодое поколение, которое не помнит 1990-е, не представляет, что пришло с разрушением СССР. Часть этого поколения, хотя далеко не все, как и часть молодёжи 1980-х, прозревшая только в кошмарные девяностые, повёрнуты на Запад (комфорт, сменяемость власти, жизнь по приколу, главное — бабло). Контролируемые олигархами СМИ (а точнее — СМРАД: средства массовой рекламы, агитации и дезинформации) работают на эту повёрнутость. Нынешние белорусские события — это урок “старшему брату”, — а, возможно, воспоминания о его будущем. Это потом придёт осознание обмана и собственной глупости — потом, когда изменить и исправить что-либо будет уже невозможно.

— **Судя по событиям на Украине и в Беларуси, “контролёры” досрочно сдают позиции “приказчикам”...**

— Ну, на Украине “контролёров” с самого начала не было — там исходно были не “приказчики” даже, а полиция, ждавшие возвращения начищенного сапога, чтобы его лизать — под сало и горилку. Беларусь — совсем другое дело. “Контролёр” Лукашенко оказался в сложном положении, наделал ошибок. Так и хочется спросить: “Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи”, которых ты пытался ублажать последние годы? Хочу надеяться, что Беларусь устоит и не свалится в воссоздаваемую в качестве плацдарма и ударной силы против России новую, “люблинскую” Речь Посполиту, которая постарается взять реванш у России и за XVII, и за XVIII, и за XIX, и за XX века — за четыреста лет поражений, переиграв результат “спора славян между собою”. Не надо иллюзий: в перспективе эта новая Речь Посполита станет одним из антироссийских фронтов, который сомкнётся с планируемым, прежде всего, британцами турецко-кавказским фронтом. Обратите внимание: недавно назначенный новый глава британской МИ-6 Р. Мур работал в Турции и Азербайджане, тесно общался с Эрдоганом. Если вспомнить, что нынешний директор ЦРУ Дж. Хаскел тоже работала в Турции, а в Баку руководила станцией (то есть опорным пунктом) ЦРУ; оба говорят по-турецки, а Мур к тому же в приятельских отношениях с Эрдоганом, — то вырисовывается интересная линия. Вспомним, когда англосаксы планировали удар по СССР через Польшу, папой Иоанном Павлом II стал поляк Войтыла — антисоветчик и русофоб, а такой же антисоветчик и русофоб Зб. Бжезинский стал советником по национальной безопасности президента Дж. Картера. И неважно, что Буш-старший называл его деревенщиной, важно, что он был поляк.

Когда англо-американцы спланировали окончательное решение сербского вопроса (“косовский вариант”), на должности директора ЦРУ появился сын выходца из Южной Албании Дж. Тенет, а одновременно в Европе активизировалась албанская мафия.

Подобные этнические или профессионально-ориентированные назначения указывают главные направления ударов. Назначения Хаскел и Мура свидетельствуют о том, что англосаксы активизируют свою деятельность в Турции и через Турцию. Я согласен с теми, кто считает, что МИ-6 в связке с Турцией постарается поджечь дугу от Крыма через Азербайджан и Кавказ к Средней Азии. Новая Речь Посполита – бесспорный кандидат в союзники рвущейся к неоосманизму эрдогановской Турции.

– **От чего зависит развитие событий в этом, да и в других направлениях?**

– Многое зависит от исхода американских выборов. Если победит Трамп – враг демократов в США и мировых ультраглобалистов, “контролёры” получат пространство для вдоха, хотя лёгкой жизни у них не будет. А вот если победит Байден с Камалой Харрис в качестве вице-президента и, вполне вероятно, будущего президента (кстати, она тесно связана с малоизвестным у нас “чёрным масономством”, которое, в отличие от окостеневшего европейского, весьма активно), то здесь “контролёрам” конец по-любому: либо капитуляция с неясным финалом, либо превращение из “контролёров” в реальные лидеры своего народа; в связи с этим вспоминаю фильм с названиями серий “Эрнст Тельман – сын своего класса” и “Эрнст Тельман – вождь своего класса” и строки Высоцкого “И попробуй на вкус настоящей борьбы”. Дело, однако, в том, что разборки в кабинетах такой вкус не вырабатывают.

– **Возможен ли реванш “контролёров” в рамках какого-нибудь клуба развивающихся стран вроде БРИКС?**

– Начать с того, что БРИКС – это вовсе не альтернатива “англосаксонскому капитализму” и его глобализации. Во-первых, все “бриксы” стремятся занять в глобальном мире место получше того, что они занимают сейчас, а не изменить этот мир. Во-вторых, они конкурируют друг с другом за это место. В-третьих, связи стран БРИКС с США, ЕС и Японией намного более плотны и тесны, чем между собой. Четвёртое – и главное: БРИКС – это один из запасных глобальных проектов пост-Запада, дополнительная подпорка буржуинам ядра, позволяющая выиграть время и обеспечить себе выгодные позиции в посткапиталистическом мире – в том числе за счёт “бриксов”. Так что BRICS (brick – кирпич) – это кирпичи незападных элит в стену, поддерживающую пост-Запад, капитализм и глобализацию, а не “булыжник” угнетённых Юга против Севера. Не случайно конференции БРИКС нередко проходят в Вашингтоне, а с МВФ страны БРИКС постоянно консультируются. К тому же в посткапиталистическом мире уже не будет ни “контролёров”, ни “приказчиков” – если этот мир состоится, там будут совсем другие игроки и роли.

– **А что же будет?**

– Игра по новым правилам. Но до посткапиталистического мира надо ещё дожить. Победа Байдена – условной “Бастинды” (злая волшебница из Фиолетовой страны Мигунов), скорее всего, довольно быстро приведёт к мировому кризису и большой крови. Победа Трампа может притормозить скольжение капитализма в пропасть на несколько десятилетий. В любом случае капитализм вступил в режим с обострением, что означает: войны, техногенные катастрофы, эпидемии, неконтролируемый наплыв мигрантов, рост криминала, появление белых персонажей, готовых полностью уничтожить западный мир (высокотехнологичная версия барона Унгерна фон Штернберга, ответом на которую может стать технофашизм пост-Запада).

С исчерпанием потенциала сложности на глобальном и государственном уровнях мир неизбежно откатится в неоварварство, в неоархаику, в новые “тёмные века” – не путать со Средними веками. Вопрос лишь в скорости и глубине отката.

– **“Тёмные века” – это...?**

– “Темновековье” – это, прежде всего, период с середины VI века н. э. по середину IX века н. э., то есть от того момента, когда рухнула техноинфраструктура Древнего Рима, и до распада последней аватары Римской империи – державы Карла Великого. Но это не единственные “тёмные века”. “Темновековьем” были триста лет между XII и IX веками до н. э., а также – не удивляйтесь – три сотни лет между началом эпидемии чумы (“чёрной смерти”) в Европе и окончанием европейского кошмара Тридцатилетней войны, условно – период между 1348 и 1648 годами. Мы привыкли смотреть на этот период как на эпоху Ренессанса, зарю Модерна, генезиса капитализма. Всё

это, однако, клише и, как многие клише, – фальшивка. У времени Ренессанса была жуткая обратная сторона (об этом времени см. книгу А. Ли “Ужасный Ренессанс” и фильм П. Верховена “Плоть и кровь”); у Реформации – специфические оккультные корни (читай работы малоизвестного у нас Й. П. Кулиану и практически не известного А. Паскаля); генезис капитализма мэтр французской исторической школы “Анналов” Ф. Бродель назвал “социальным адом”.

“Тёмные века”, рождающиеся каждый раз, когда гибнет старая система и на её руинах и костях начинает медленно формироваться новая, – это действительно время социального ада. К нему нужно быть готовыми. Пока что мы ещё в предбаннике ада, и есть время подготовиться, чтобы не попасть в котёл или на сковороду к чертям, а засунуть туда врага. Но для подготовки нужно время. В США Трамп и пытается выторговать у Истории лишние десятилетия. Нам тоже нужен такой торг.

Хозяева капсистемы, понимая “неизбежность странного мира” посткапиталистического “темновековья”, будут пытаться создавать новые формы контроля над населением, чтобы, превратившись из хозяев капсистемы в хозяев нового, более сурового и жестокого мира, сохранить власть и привилегии. Судя по всему, они двинутся по пути создания закрытых как в пространственном, так и в социальном плане систем. Проблема, однако, в том, что в закрытых системах возрастает энтропия, то есть, проще говоря, они деградируют.

В связи с этим главной проблемой для таких систем становится вливание свежей крови – физической и интеллектуальной, “алхимия крови”. Причём физическая не менее важна, чем интеллектуальная: “физику” в армиях и спорте пост-Запада всё больше обеспечивают не белые. А ведь грядущий мир и в климатическом плане предъявит жёсткие требования: пока нас пытаются дурить “глобальным потеплением”, постепенно, как утверждают серьёзные специалисты, надвигается новый ледниковый период вкупе с 25-м солнечным циклом (похож на 23-й, когда в Европе XVI – начала XIX веков наступил малый ледниковый период); “длинное лето”, начавшееся 10–12 тысяч лет назад и обусловившее неолитическую революцию и реальное рождение нынешней земной цивилизации, заканчивается; мы и так живём уже несколько столетий “в долг”. Так что элита “темновековья” должна быть и физически адекватной – требование всех “темновековых” эпох. Кстати, в решении “крово-алхимической задачи” весьма преуспели именно закрытые общества, которые постоянно вели “незримую войну за тех, в ком течёт хоть малая толика крови, способной породить достойных Посвящения. Об этой войне мало кто знает, и меньше всего те, кто стал объектом охоты” (О. Маркеев – рекомендую всем романы этого автора).

Необходимость активизации такой “охоты” для дальнейшего существования “хозяев Истории” диктуется явной деградацией значительной части элиты пост-Запада, проседанием её интеллектуально-волевой планки. Персонажей типа Клинтона, Буша-младшего, Меркель, Саркози, Макрона, Б. Джонсона и др. просто невозможно представить наверху административно-управленческой пирамиды Запада 1950–1980-х годов. Налицо явная деградация.

Впрочем, постзападное общество и в целом демонстрирует именно её. Плюс слабую волю к жизни. Наглядный пример – поведение немецких мужчин во время рождественских гуляний в Кёльне в ночь на 1 января 2016 года. Когда немки стали жертвами нападений на сексуальной почве и грабежей со стороны мигрантов с Ближнего Востока, немецкие мужчины, вместо того чтобы лично расправиться с обидчиками, начали звонить в полицию, а через какое-то время вышли на демонстрацию в юбках, чтобы продемонстрировать солидарность с женщинами, так сказать: “Мы все – женщины” (типа “Мы все – Шарли Эбдо”). Вместо того чтобы несколькими днями раньше показать наглым чужакам: “Мы – мужики”. Неспособность самцов защитить самок и детёнышей – один из показателей видового (в данном случае – социально-видового) вырождения. И уж точно здесь нужна либо “алхимия крови”, либо политический режим с мощной социальной педагогией.

Хмурое утро нового мира – не повод опускать руки. Испытания следует встречать “в лоб”, уже сегодня начиная структурировать будущее. Как? В частности, формируя социальные платформы в качестве каркаса выживания и сохранения достижений цивилизации и защиты от чужаков в условиях “темновековья”. На государство и чиновников в условиях кризиса и тем более катастрофы рассчитывать не стоит – они будут спасать только себя. В “тёмные

века”, наступившие после крушения античной цивилизации, такими социальными платформами были монастыри, и они свою историческую функцию выполнили. В любом случае средства решения проблем “транзита” могут быть только коллективными. Прав был Бродель: в одиночку из социального ада вырваться невозможно.

— **А возможен нелокальный коллективный способ рывка через (или сквозь) “темновековье”?**

— Могут назваться два примера. Один литературный, один реальный. В цикле романов А. Азимова “Академия” (Foundation) разворачивается следующий сюжет. К императору процветающей галактической империи далёкого будущего приходит математик Селден и объясняет, что через 10–15 лет империя рухнет и наступят 30 тысяч лет мрака и хаоса. На вопрос императора, можно ли избежать краха, Селден отвечает отрицательно, но при этом говорит, что 30 тысяч лет хаоса можно ужать до одной тысячи, если последовать разработанному им плану. Согласно этому плану, создаются две “Академии” — по сути, научно-разведывательные корпорации, одна — открытая, другая — тайная. Их задача — используя психоментальное, психоисторическое воздействие, направлять ход развития общества и подвести его к созданию новой процветающей формы, что в конечном счёте и происходит, хотя и не без столкновения двух “академий”.

Книгу Азимова в США изучают в военных академиях. В СССР в 1970-е годы её начали печатать в журнале “Техника — молодёжи”, но внезапно оборвали публикацию: кто-то сверхбдительный решил, что это пособие по организации госпереворота.

**Реальным** коллективным выходом из кризиса на государственном уровне была реализация “красного проекта” в СССР в 1930-е годы, когда страна за 10 лет проскочила тот путь, который Запад прошёл за 100 лет. Этот рывок из социального ада (мировая война, гражданская война, нэп) носил на себе отпечаток этого ада и был достигнут ценой больших жертв и лишений. Однако именно он обеспечил победу в войне, то есть физическое и метафизическое сохранение русских в Истории.

— **В прошлом интервью “Культуре” Вы обозначили иной способ выживания — перестать быть дичью и стать охотником. Для этого нам необходима сырьевая база, оригинальная пищевая ниша, сумма навыков и инстинктов, эффективная стайная (социальная) структура... Каковы параметры, цели и перспективы русского охотничьего подвида, хозяйства, ареала?**

— К перечисленному вами необходимо добавить высокотехнологичную экономику, мощные армию и флот, сильные спецслужбы (а не коммерческие структуры силового профиля), мощный научно-технический комплекс, высококоразвитое обществоведение, способное стать не только средством познания, но и разящим оружием в психоисторической войне.

Компрадорско-олигархический строй ничего этого обеспечить в принципе не способен: “Рождённый ползать — летать не может!” Рывок сквозь “темновековье” — это полёт над исторической пропастью. Здесь нужны ум и воля, а у компрадорско-олигархических режимов с этим весьма неважно — и цифровизация не поможет.

На ближайшие 15–30 лет такой рывок/полёт может обеспечить только левый проект. Причём реализация этого проекта — это лишь первый шаг. Как говорил толкиновский Гэндальф (Толкин вложил в его уста цитату из шекспировской пьесы “Макбет”): If we fail, we fall; if we succeed, we will face another task (“Если мы проиграем, мы погибнем; если победим — столкнёмся с новой задачей”). Я отвожу левому проекту инструментальную роль. В данном случае это не проект будущего общества, а средство преодоления кризиса, выживания в социальном аду.

Ясно, что это не может быть повторением советского опыта — в истории ничего нельзя ни повторить, ни реставрировать. Но можно адаптировать организационные технологии к новым условиям: старые ключи отпирают новые замки (и наоборот). Советский социализм как системный антикапитализм был порождён капитализмом как его отрицание, негатив, как левый (якобинский) проект Модерна, реализованный на русской почве. Именно поэтому его можно и нужно попытаться использовать для защиты и продления того, что осталось от цивилизации Модерна в условиях надвигающегося неоварварства.

Но для этого нужна настоящая элита, обладающая волей, умом и прогностическими качествами, более сложная, чем управляемое ею общество, и в то же время социокультурно отождествляющая себя с этим обществом, его народом и его ценностями. Только такая элита способна преодолеть барьеры бедности (ресурсами) и сложности. Создаётся впечатление, что сегодня, как и на закате самодержавия, ничего этого нет. Та же вялость (если не безволие), доходящая до отсутствия чувства самосохранения, то же отсутствие перспективного видения, то же преклонение перед врагом — Западом.

Сегодня в РФ мы наблюдаем не только колоссальный социально-экономический разрыв между верхами и низами, но и идейный. В то время как основная масса населения стихийно придерживается лево-консервативных установок, положительно относится к советскому прошлому и к Сталину, верхи остаются прозападно-либеральными; антисоветизм по-прежнему остаётся маркером принадлежности к верхнему слою, проигнорированному широко отмечавшееся во всём мире 200-летие со дня рождения К. Маркса, 150-летие со дня рождения Ленина, 100-летие Октябрьской революции — силён классовый страх! И хотя ныне антисоветизм не столь буйный, как в 1990-е, он сохраняется, проявляясь и в выступлениях руководителей, и в чернушных киноподелках. При этом система в идейно-пропагандистских целях активно пользуется советскими достижениями: победа в войне, освоение Севера, спутник, Гагарин. А ведь всё это — **советские социалистические** достижения. Коллективный Плохиш, пытающийся натянуть будёновку Кибальчиша и в то же время драпирующий Мавзолей — зрелище смешное и жалкое. “Илитка” воспринимает всё левое как опасность, тогда как реальная угроза, причём смертельная, подкрадывается совсем с другой стороны. Но “илитка” не понимает.

— **Жизнь научит!**

— Хотелось бы надеяться, но, боюсь, учиться некому и нечем. Да и времени на учёбу почти не остаётся. До точки невозврата — в лучшем случае несколько лет, а то и меньше. События в Белоруссии показывают, что гнойник зреет долго, но прорывается неожиданно и моментально. А работает на это как раз прозападная часть властвующей элиты, которая головой главного начальника хочет купить благосклонность буржуинов. А всё почему? Потому что, во-первых, не стоит пытаться сидеть на нескольких стульях; во-вторых, надо смотреть, что реально происходит в обществе, — без серьёзных внутренних предпосылок никакая местная прозападная и тем более западная сволочь не заведёт народ на бунт.

Сегодня три фактора могут (теоретически) сдвинуть режим влево. Во-первых, массовые протесты населения, начавшиеся в Хабаровске, Башкирии и других местах. Во-вторых, белорусский пример, который демонстрирует:

а) что может случиться с властью, если она не реагирует вовремя и адекватно;

б) как пост-Запад может это использовать;

в) нарастающее давление пост-Запада на РФ и её руководство.

Сталин перестал быть одним из интернационал-социалистов и вступил с ними в конфликт уже в качестве “импер-социалиста” не от хорошей жизни. Левизна нынешней власти тоже может возникнуть только не от хорошей жизни — когда “жареный петух клюнет” или закукарекает. Кстати, по славянскому календарю следующий, 2021 год — год Кричащего петуха (нынешний — Мизгиря: так на юге России называют тарантула, который хитро плетёт свою сеть и может очень больно ужалить). Как знать, может, этот петух прокричит так, что мировая нечисть, подобно той, что Гоголь описал в “Вие”, бросится после второго петушиного крика, “кто как попало в окна и двери, но не тут-то было: так и остались они там, завязнув в дверях и окнах”. Впрочем, до американских выборов какие-либо подвижки вряд ли возможны, и это лишнее свидетельство специфики нашего суверенитета и позиций правящего слоя РФ в мире.

— **Простите, но СССР разрушился от того, что наше общество стало сложнее, чем доктринёрские шаблоны системы.**

— Это лишь один, так сказать, административно-кибернетический аспект проблемы, то есть технологический, он не имеет социально-экономического, классового качества. Но именно последнее определяет технологическое, а не наоборот. Разрушение СССР было:

во-первых, процессом и результатом легализации частью номенклатуры, КГБ и курируемыми ими теневиками теневых капиталов;

во-вторых, оттеснения КПСС от власти частью партноменклатуры же и КГБ;

в-третьих, сознательным уходом части партноменклатуры в тень на подготовленные позиции вместе с активами (материальными и нематериальными – информация, организация) в ситуации структурного кризиса, превращаемого в системный.

Неадекватность подсистемы управления сложности социальной системы очевидна, но она есть следствие социальной природы этой системы, действия её законов и сознательного отказа партноменклатуры в середине 1960-х годов – в её квазиклассовых интересах – от высокотехнологического рывка в будущее, приводящего в соответствие сложность управляющей подсистемы с управляемой. Было принято решение, консервирующее и усиливающее это несоответствие на пути интеграции в капсистему по линиям торговли нефтью, золотом и драгметаллами, участия в финансиализации капитализма. Этот ход вовне становился заменой внутреннего усложнения, реального развития, включением в более сложную систему, но эта система, будучи враждебной, сожрала СССР. Высшая и верхнесредняя партноменклатура наивно полагала, что если она представляет вторую сверхдержаву мира, способную ядерным оружием уничтожить первую, то западная элита посадит их за один стол с собой на равных. Какой наив! Не зря Эрнст Неизвестный называл эту публику теми, кто выбежал из деревни, но до города так и не добежал, и теми, кто отождествился несвойственной им пищей. Правильно Сталин предупреждал соратников, что после его смерти капиталисты обманут их, как котят. Впрочем, обмануть можно только того, кто *сам обманываться рад*. Надо давно уяснить: западная (пост-западная) элита скорее пустит в свой круг – и то не совсем на равных и не в первом поколении – арабов, индийцев, китайцев или японцев, но не русских. Русским это не светит. Отсюда императив: нужен свой цивилизационный проект – высокотехнологичный, мощный, динамичный, но свой.

– **И этот проект – левый.**

– Левый проект есть лишь инструментальное средство реализации цивилизационного проекта как цели.

– **Однако параметры нового левого проекта пока не ясны.**

– Это так. Но не ждите от меня конкретного ответа. Как говорил Герцен, мы не доктора, мы боль. Исследователь социальных процессов фиксирует боль (симптом) и ставит диагноз. Лечить, то есть решать, как идти стране, решать задачу выживания и победы должны те, в чьих руках власть. Однако для этого у них должны быть мозги, воля и чувство общности с управляемым ими населением. История показывает, что сохраняются и, тем более, побеждают, как правило, те государства, где власть предержажные верхи разделяют ценности основной массы населения. Неслучайно, например, династии Меровингов и Каролингов во Франкском королевстве вышли из менее развитой в экономическом плане, чем другие, области – Австразии. Экономическая неразвитость означала меньшее социальное расслоение, а следовательно – бóльшую социальную сплочённость племенного союза, что становилось решающим фактором в борьбе за корону с претендентами из других областей. Лишь социально-национальное единство элиты, то есть власти, и народа обеспечивает победу: дом, разделившийся в самом себе, не устоит.

Сегодня речь идёт не о реставрации: СССР 2.0 едва ли возможен – нельзя войти в одну и ту же реку дважды. Речь идёт о векторе развития страны, в основе которого – социальная справедливость и собственный цивилизационный код, собственная идентичность (кстати, русская идентичность вовсе не сводится к Православию и не ограничивается им – она и старше, и сложнее, но это отдельная тема). Повторюсь: левый проект сегодня – не панацея, не *светлое будущее*, а инструмент, средство отодвинуть кризис и собраться с силами. Напомню, что в кризисной ситуации начала XX века о революционном варианте как средстве выхода из кризиса писал не кто иной, как блестящий русский правоконсервативный мыслитель М. О. Меньшиков. В знаменитой статье о XIX веке Михаил Осипович писал, что либо в России произойдёт смена энергий (по цензурным соображениям, он не мог писать о революции), либо её ждёт судьба колониальной Индии. А в самом начале июля 1917 года

И. В. Сталин в обращении к рабочим Петрограда заявил, что либо в России будет советская республика (революция, левый проект), либо страна станет колонией Великобритании и США. Правый Меншиков и левый Сталин совпали. Получилось по Сталину, который однажды (правда, по другому поводу) заметил: пойдёшь налево – придёшь направо, пойдёшь направо – придёшь налево: диалектика. Оба оказались правы. 1917-й отодвинул 1991-й на 74 года. У февралистов, “временных”, которым История сказала: “Слазы!” – сорвалось то, что на рубеже 1980–1990-х провернули два самых гнусных предателя в русской истории – Горбачёв и Ельцин, а точнее, те силы, которые стояли за ними – у нас и за рубежом.

Горбачёв оказался “лучшим немцем XX века”.

“Пьяного кучера” Ельцина, заявившего в Конгрессе США: “Бог, благослови Америку!” – и заверившего присутствующих, что коммунизм в России никогда не возродится, можно считать “лучшим американцем XX века”.

Сегодня РФ стоит перед аналогичным выбором: либо посредством “смены энергий” она вернёт себе качество исторической России, либо превратится уже даже не в колонию, а в совокупность резерваций.

**– У левых проектов есть встроенная опция – в них не формируется и не воспроизводится элита. Из-за догматической зауженности леваков она воспроизводится подпольно и разрушает систему.**

– Это не так. Во-первых, именно сформировавшаяся в 1930-е годы сталинская элита уже к 1937 году превратила СССР во вторую державу мира (хотя ещё не сверхдержаву, но и Штаты, и Великобритания тоже сверхдержавами тогда не были), затем возглавила победу советского народа в Великой Отечественной войне, послевоенное становление и обеспечила превращение во вторую сверхдержаву мира. Мы до сих пор живём на сталинском фундаменте. Без него англосаксы размазали бы нас так же, как сербов или иракцев. Во-вторых, разрушение советской элиты произошло не из-за её догматической зашоренности, а скорее наоборот – из-за её отказа от идеалов коммунизма, в основе чего лежало превращение партноменклатуры в слой-для-себя, в квазикласс.

Речь идёт о том самом перерождении “советской бюрократии”, которое предсказывал Л. Троцкий. Сталин тоже прекрасно отдавал себе отчёт в этой опасности, сформулировав тезис об обострении классовой борьбы по мере приближения к конечной цели социализма. И ведь как в воду глядел: после прихода в страну в 1974–1975 годах незапланированных 170–180 млрд нефтяных долларов теневой экономика (часть средств были вложены именно в неё под кураторством КГБ) выросла как на дрожжах и стала наряду с “комсомольским бизнесом” (всё под тем же кураторством) “первичным бульоном” классовой трансформации строя.

**– Что вы имеете в виду под “комсомольским бизнесом”?**

– Это явление заслуживает отдельного разговора, но здесь за неимением места – несколько слов. Какое-то время назад в интернете появился великолепный материал С. Г. Покровского “Остановка научно-технической революции”. Там много интересного, выделю два сюжета: изменения в 1983–1984 годах в подходе комсомольских организаций к формированию руководства и специфика деятельности Центров научно-технического творчества молодёжи (ЦНТТМ). В 1983–1984 годах, пишет Покровский, было замечено, что в комсомольских организациях МФТИ (в других вузах ситуация развивалась аналогично) как-то неладно изменился кадровый отбор: на руководящие позиции вытягивались дельцы. Проверялись они по весьма специфическому принципу – готовности работать на грани криминала (поэтому буквально каждый сезон на предприятиях, где работали студенческие стройотряды, возникали уголовные дела о приписках и хищениях). Буквально через несколько лет этот тип комсомольских руководителей стали руководящими кадрами Центров НТТМ по всей стране.

**– Каков был механизм работы этих центров?**

– Сейчас о них почти забыли, а в канун перестройки и в её начале они играли большую роль, подготавливая почву для оформления слоя постсоветских банкиров – разумеется, процесс шёл под контролем партноменклатуры и КГБ. Центры НТТМ (у Покровского это описано подробно) получали от государства эксклюзивные права на обналичивание безналичных платежей, на конвертацию этих денег в валюту и на международную торговлю, причём



в обход внешнеторгового ведомства. При этом на заявленную в качестве основной научно-техническую деятельность тратился минимум, а основные суммы шли на экспортно-импортные операции. Вывозилась бытовая техника, ввозились компьютеры IBM, одежда. Компьютер обходился госпредприятию в 55 тысяч рублей; эти деньги конвертировались в 90 тысяч долларов, 2 тысячи долларов стоил компьютер за рубежом. Мало того, что госпредприятия вынуждены были покупать компьютеры по бешеным ценам, насыщение страны американскими компьютерами лишало перспектив советскую электронную отрасль, которая буквально дышала в спину американцам и, естественно, была нежелательным конкурентом. Здесь ЦНТТМ сработали на Штаты.

Научно-техническая тематика была всего лишь “акцией прикрытия”, “базовой операцией” было вложение наработанных капиталов в создание финансовых групп: “научно-технические комсомольцы” влезали в НИИ, а потом вышвыривали их вместе с людьми, оборудованием и наукой, оставляя себе финансы.

В канун и сразу после распада СССР руководство центров набирали кредитные деньги якобы на покупку оборудования, затем оборудование выбрасывали, а на деньги открывали банки. Это был один из путей возникновения постсоветского бизнеса. С. Г. Покровский называет роль центров НТТМ предательской. Но разве дело в них? Дело в тех, кто придумал всю эту операцию и руководил ею – в кураторах. А они сидели на Лубянке. Это известный факт, дополню его одной историей. В 1987 или 1988 году одной моей знакомой срочно понадобилось два компьютера. Узнав об этом, друг её семьи, генерал-майор КГБ дал ей адрес, куда поехать и купить по низкой цене искомое, и написал записку к хозяину “точки”. На вопрос, а если тот не захочет продать по такой цене, генерал, улыбнувшись, ответил, что “человек работает под нами и на нас, пусть только попробует”. Мою знакомую встретил скромный молодой человек в очках. “Миша”, – представился он и обеспечил всё, что нужно. Потом этот Миша возглавит крупнейшую компанию, попадёт в тюрьму, будет выпущен, пообещав не заниматься политической деятельностью и, конечно, слово своё не сдержит.

К 1984 году объём теневых капиталов почти сравнялся с бюджетом страны, и один умный человек из банковской сферы спрогнозировал, что в ближайшее время владельцы капиталов и их кураторы постараются легализовать свои средства и потребуют власти. Чем была перестройка? Под дурацкую улыбку Горбачёва и *бла-бла-бла* про демократию и гласность были легализованы капиталы, “всплыли” структуры глубинной власти, сформировавшиеся на чекистской основе в 1970-е годы, ушла в тень та часть партноменклатуры, которая была “в теме”.

В 1980-е, а скорее, раньше Запад подобрал ключи если не к управлению сознанием определённой части верхушки СССР, то к воздействию на него в определённом направлении. Что же касается властного аспекта, то в 1980-е годы поддержка со стороны Запада стала исключительно важным фактором внутренней клановой и фракционной борьбы в среде советских верхов (как в 1970-е – в борьбе различных групп диссидентов). Разрушение властно-экономического строя в 1987-1988 годах, помноженное на низкие психофизиологические (интеллектуально-волевые) качества большого числа лиц горбачёвского руководства, привело к перехвату Западом управления демонтажом СССР не позднее 1988 года. Не случайно Мадлен Олбрайт главной заслугой Буша-старшего называет “управление разрушением Советской империи”. Она, правда, “забыла” британский, израильский и некоторые иные факторы, но это другой вопрос. Здесь можно сказать, что социальное перерождение партноменклатуры имело (не могло не включать) психоисторический аспект.

Это перерождение, по крайней мере, на верхне-средних этажах власти, шло уже в 1960-е годы. 1989–1993 годы стали лишь финалом длительного процесса. Этот финал “кукловоды” выиграли почти всухую, убедив своих марионеток, так называемых демократов (среди них было немало не только стукачей и дельцов от диссиды, но и действительно честных, но наивных людей), что это они одержали победу над партократами и гэбистами, что именно они – победители тоталитаризма. На самом деле получилось почти так, как в рассказе Фредерика Пола “Туннель под миром” (те, кто читал, поймут, что я имею в виду). В 1992-1993 годах скрывавшиеся за ширмой ельцинского режима

и “младореформаторов” кукловоды по обе стороны границы уничтожили то, что имело, хотя и небольшие, но всё же шансы стать рынком, демократией и правовым государством. Это были последние гвозди в гроб не только левого проекта в России, но и цивилизации Модерна в её советском варианте. Неоварварство вошло в нашу жизнь внешне в виде несвятой троицы “Ельцин–Гайдар–Чубайс”. Ведь по сути, вся эта публика – варвары.

Возвращаясь к вопросу о роли и значении левого проекта в русской истории, отмечу, что в XX веке он решил три главные, судьбоносные для России, русских и других коренных народов нашей страны задачи:

- модернизация России, то есть то, на чём споткнулось самодержавие, при котором даже промышленный переворот так и не завершился (о чём красноречиво свидетельствует статистика);

- победа в Великой Отечественной войне, обеспечившая физическое и метафизическое сохранение русских в истории;

- превращение исторической России в виде СССР в сверхдержаву, в решающий фактор мировой истории, в авангард прогресса, чем дореволюционная Россия никогда не была.

Таким образом, помимо прочего, левый проект в России, как и осуществившие его ленинская партия нового типа (мощнейшее организационное оружие, изобретённое русскими, как и опричнина – “гиперолоид инженера Грозного”) и сталинская система – проверенное средство преодоления кризисов. Необходимо лишь адаптировать его к новым условиям. Реализация именно левого проекта большевиками, а затем сталинское “строительство социализма в одной, отдельно взятой стране” не позволило Советской России, в отличие от России позднесамодержавной, выглядеть, как еда. “Если ты выглядишь, как еда, – говорят американские морпехи, – тебя сожрут”.

Многие олигархи РФ, например, всё больше выглядят, как “еда”. В октябре 2012 года в Токио на встрече МВФ и Мирового банка Кристин Лагард, на которой пробы негде ставить (интересующихся отсылаю к зигзагам её карьеры), заявила, что одна из главных задач – подведение юридической и моральной базы под изъятие (читай: экспроприацию) “молодых денег” у корумпированных бизнесменов и связанных с ними чиновников. Среди таковых имелись в виду и российские. Кстати, по “бизнесменам” РФ юридическую базу сполна обеспечили Б. Березовский и Р. Абрамович, когда судились в Лондоне и рассказали много-много. Хотя многого мы до сих пор не знаем. Например, какая часть бывшей советской собственности продана западному капиталу – непосредственно и через подставных лиц. Мы до сих пор не знаем, какую часть бизнеса О. Дерипаски отжали американцы, зато мы точно знаем, что они получили в собственность крупнейший алюминиевый комбинат. По видимому, такое “светлое будущее” ждёт всех компрадоров-олигархов.

- **Для этого их и создавали в 1990-е годы.**

- Именно так, для черновой работы по разграблению страны, а сейчас глядят по головке и выставляют вон. Большие рыбы пожирают малых.

- **На смену обанкротившейся финансовой элите грядут создатели новых технологий?**

- История показывает, что изобретатели-инноваторы редко становятся новым правящим классом: они работают на деньги либо правительства, либо представителей господствующего класса, а потому зависимы от работодателя. Некоторая часть новаторов может влиться в господствующий класс, но во все не в верхний его сегмент. Далеко не всякое изобретение становится нововведением – для этого нужны соответствующие финансовые, социальные и культурно-психологические условия.

Относительно недавно появился термин “нетократия”, то есть слой, контролирующей социальные и информационные сети. Нас пытаются убедить, что это и есть те, кто сменит буржуазию в качестве господствующего слоя. Однако сетевики до сих пор встроены в позднекапиталистическое общество; они – обслуга капиталистов, их ВПК, их спецслужб.

- **Резюмируем... По-настоящему элитарным может стать у нас лишь левый проект, способный сплотить нацию, обеспечить её суверенитет, объединить отторгнутые территории и население, возродить индустрию и экономику, а самое главное – возродить культ бескорыстного творческого поиска. Но этот нью-социализм окончится крахом в том случае, если внутри него не будут возвращены новые, подлинно**

## **элитарные структуры, способные проводить системную экспансию России в мировом масштабе?**

— Речь идёт не об экспансии, а о том, что проект, способный действительно поднять Россию с колен (а не быть игрой “шаг вперёд, два шага назад”, встал с колен — опять упал, и так до изнеможения), должен быть наднациональным. Не в том смысле, чтобы принести русских в жертву, как это делал русофобский режим интернационал-социалистов в 1920-е годы, наложив отпечаток на всю советскую историю и отрыгнувшись в 1990-е, а в том, что он должен решать не только наши проблемы, но общепланетарные — ни одна страна, ни один народ в условиях современного кризиса не решит проблемы в одиночку.

Кризис, в который погружается мир, не только чреват катастрофой, но и предоставляет определённые возможности для рывка тем, кто готов их использовать. Именно кризис 1929–1933 годов использовало советское руководство для превращения СССР во вторую державу мира и обеспечения к 1937 году военно-промышленной автаркии по отношению к капиталистической системе, мощно отметив 20-летие Октября. С какими результатами подходит РФ к тридцатилетию августа 1991-го? То-то. У советских вождей исторической России было несколько мощных козырей, которых нынешняя власть не только не имеет, но, похоже, иметь не хочет. Этими козырями были:

— наличие обращённого в будущее высоконравственного общественного проекта, базирующегося на социальной справедливости (основа — коммунистическая идеология);

— ощущение своего единства с народом (при всей жестокости режима);

— создание мощных научной и образовательной систем;

— чёткое понимание мирового расклада сил;

— особая психология победителей, помноженная на длительный опыт действия в опасной, непредсказуемой среде и принятия нестандартных решений (это вам не госсобственность разворовывать и не деньги “пилить”!).

Кто-то обязательно “булькнет”: а какой ценой? Вот только этого — не надо. Контрвопрос: какую цену РФ заплатила за 1990-е? Разрушение экономики, сравнимое по результатам с гитлеровским нашествием; сокращение населения, по сути — депопуляция, причём в условиях, не сравнимых по тяжести с СССР после погрома гражданской войны и гнили нэпа.

Подчеркну ещё раз: большевики победили в России и решили русские проблемы, перед которыми оказалось бессильно позднее самодержавие, благодаря универсалистскому проекту. СССР предложил альтернативный **мировой** проект. Отказ от этого проекта, обусловленный превращением номенклатуры в квазикласс и интеграцией её в капиталистическую, стоил СССР и системному антикапитализму жизни.

Кто-то скажет: на Западе активно продвигается проект технофашизма, а то, что мы видим в Китае, весьма смахивает на национал-социализм с ханьским лицом, и оба проекта сулят успех. У меня большие сомнения насчёт того, что эти проекты сулят успех. Что касается Китая, то чем больше его экономические успехи, тем острее социальные проблемы, которые грозят расколоть и верхушку, и страну. О том, что Китай — не страна инноваторов, а его успехи обусловлены встраиванием в нижние этажи мирового разделения труда, я уже не говорю.

Вопрос с технофашизмом сложнее. По этому пути стремительно двигался Третий рейх. Технофашизм — это “бархатный” Мордор. У него есть уязвимое место: чем высокотехнологичнее социум, тем больше возможностей у небольшой группы “умников” парализовать систему управления им (small is powerful) и, кинув клич “сарынь на кичку”, бросить “внешний пролетариат” (А. Тойнби) на захват и разграбление высокотехнологичного мира анклавов. Понятно, что “умники” постараются занять место прежних хозяев, и очень возможно, что им это удастся. А дальше — по Ибн Хальдуну, который давал следующую схему арабской истории: из пустыни приходят бедуины, вырезают зажавшуюся верхушку цветущего города и основывают новую династию. Это первое поколение. Второе расширяет территорию (экспансия) и консолидирует власть. Третье поколение — мирное, оно поощряет развитие искусства, наук, культуры в целом, но при этом размякает. Четвёртое поколение погружается в разврат, пьянство, увеселения; деградируя, оно слабеет, и тогда из пустыни приходит очередная волна бедных и суровых бедуинов, режет зажавшихся, и цикл начинается снова.

Технофашизм – это замкнутый круг, левый проект – спираль. Однако РФ в её нынешнем виде предложить миру его не может. Она вообще едва ли что-то стоящее может предложить, в лучшем случае – упереться в защите традиционных европейских ценностей как от пост-Запада, так и от Востока (по поводу последнего тоже не нужно иллюзий). Это немало, однако защита, оборонительная стратегия далеко не всегда ведёт к победам; впрочем, иногда победителем оказывается тот, кто падает последним на поверженного врага и, придавив его, лишает последнего дыхания. И всё же предпочтительнее наступательная стратегия. У компрадорско-олигархического режима таковой быть не может – только имитация её. Будучи **зависимым** сырьевым элементом капсистемы, что может он предложить? Коррупцированную власть, запредельное социальное неравенство, отставшую деиндустриализированную экономику, отворачивающуюся от собственного народа и его ценностей бездарную “илитку” – “аристократию помойки”, которая и может существовать только за счёт помойки, сырьевого сталкерства на заброшенных территориях с последующей перепродажей артефактов в “цивилизованный мир”? Маловероятно не только для рывка в будущее, но даже для обеспечения безопасного существования детей и внуков – наворочанное безопасности не гарантирует. Судьбы Остапа Бендера на румынской границе и Бориса Березовского в Лондоне свидетельствуют об этом со стеклянной ясностью. Да и противостоять – реально противостоять – “хозяевам Истории” ни один компрадорско-олигархический режим не может. Как заметил в блестящем романе “Новый вор” Ю. Козлов, капфеду (капиталистическому феодализму – так он называет компрадорско-олигархический строй) не тягаться даже с проседающим пост-Западом: “У тридцатилетнего воровского капитализма нет шансов против бромированного шестисотлетнего западного, как у щурёнка против крокодила”.

– **И что же можно противопоставить “крокодилу”?**

– Логически оружием в борьбе на мировой арене для верхов РФ, да и для верхов других стран, не находящихся “под знаком” Матрицы пост-Запада, кажется государство – сильное социальное государство, Система с цельной и продуманной внутренней и внешней политикой. Но именно здесь постсоветские верхи сталкиваются с серьёзнейшей и едва ли разрешимой для них в их нынешнем состоянии проблемой. Суть в том, что РФ, как и многие геополитические сущности нынешнего мира, не является, по крайней мере полностью, ни системой, ни государством, ни – тем более – социальным государством. Система – это совокупность элементов, связанных определённым образом в пространстве и времени и включённых в более крупную систему. При этом, несмотря на влияние этой более крупной системы, решающую роль в развитии системы меньшей играют ей внутренние связи, внутренние факторы. Если же дело обстоит наоборот или даже если внутренние и внешние факторы уравновешены, то мы имеем дело не с системой, а с образованием, с неким устройством, строем. Трудно сказать, кто в нынешней Большой системе “Мир” – система. США? Пожалуй, да – с большим числом оговорок. Китай? С ещё большим числом оговорок. Евросоюз? Нет. И едва ли РФ с её полукOLONиальной (в лучшем случае) экономикой и прикормленной пост-Западом “илиткой”. Не система – образование...

Вряд ли кто-то возьмётся всерьёз доказывать то, что РФ – **социальное** государство. Это при таком-то разрыве между богатыми и бедными? Это после продавленной пенсионной реформы? Здесь всё ясно. Более интересен вопрос: является ли РФ (как и большинство геополитических сущностей нынешнего мира) государством в строгом научном смысле этого термина и если нет, то что это?

– **Неожиданная постановка вопроса.**

– Что мы видим во всамделишной реальности нашей страны? Мы видим сеть корпораций кланового типа, то есть построенных по клановому принципу, – госкорпораций, силовых структур, обычных корпораций, организованностей национальных меньшинств (этнокорпораций), криминальных кланов. Те, что именуют государством, выступают здесь не только и даже не столько в качестве отдельной целостности, сколько модератора, формы организации этих различных негосударственных (постгосударственных) структур, норма жизни которых – комбинация легальной и внезаконной деятельности внутри страны и за её пределами. Отчасти таким модератором и формо-ширмой (ширмо-формой) был позднесоветский Центроверх в лице ЦК КПСС (тоже,

кстати, негосударственная форма, но, безусловно, система, а не образование); во многом таким было так называемое “феодалное государство”. Насилие вовсе не было его главной функцией — оно и так было встроено во внеэкономические производственные отношения. Главной функцией было обеспечение корпоративно-иерархической формы внутренней организации господствующего слоя.

Я ни в коем случае не рассматриваю нынешнюю власть РФ как феодальную, как возрождение феодализма. Феодализм — доиндустриальное общество. РФ, хотя и деиндустриализирующееся образование, всё же из стадильно иной “лиги”. Кроме того, феодализм был системой правовой (“на праве земля строится” — один из принципов феодализма) и индивидуализированной (“вассал моего вассала — не мой вассал”). У нас же — иерархия не индивидов, как в западноевропейском феодализме (впрочем, много и не было), а коллективностей в виде кланокорпораций (о праве я умолчу). Это в большей степени напоминает “Договорную цепь” ирокезов в XVII века — иерархию кланов и племён, различавшихся уровнем допуска к естественным ресурсам, подконтрольному объёму последних. Ещё одно сходство заключается в том, что над “Договорной цепью” восседали англосаксы (тогда — ещё англичане, американцев не было), а вожди племён и главы кланов продавали им землю — за бусы, одеяла, “огненную воду”. Сегодня земля, недра остаются в цене, вот только меняют их на яхты, зарубежную недвижимость и т. п. Разумеется, почти все исторические аналогии носят внешний характер, но порой эта “внешность” столь узнаваема... Ну, и нужно помнить, чем ирокезы закончили.

То, что мы именуем государством в современном мире, включая РФ, — это в значительной степени оболочка, покрывало сети кланокорпораций, решающих свои сугубо экономические задачи — “государство” в эту сферу вмешивается мало, эта сфера существует как бы отдельно (порождая наивные требования привести в соответствие “экономику” и “внешнюю политику”) и управляется совсем иным блоком, чем остальное, а точнее, остаточное государство, — блок этот ориентирован не внутрь страны, а за её пределы, он обслуживает внешние интересы. Экономическая роль “государства” здесь сводится к обеспечению такого минимума существования (выживания), который гарантирует отсутствие протестов — вот и вся “государственная экономика” и одновременно вся “социальность государства”.

Далее. Нынешняя страновая сеть корпораций различного типа — элемент мировой сети, причём различные её “узлы” связаны (в качестве зависимого элемента) с более крупными “узлами” на мировом уровне. При этом меньшие (“страновые”) узлы-кланокорпорации выступают в качестве средства передаточного звена, инструмента эксплуатации крупными узлами сети в целом и её “туземцев”. В зависимости от того, под каким углом мы смотрим на многомерную сеть, а также на какую её часть, мы будем видеть разную картину, качественная суть которой, однако, не меняется с изменением уровня (мир-страна-кланокорпорация): внизу то же, что вверху — по Гермесу Тристегисту. Примерно так, как на картине М. Эшера “Относительность”.

#### — И как это влияет на внешнюю политику?

— У внешней оболочки кланокорпорационной сети под названием “государство” едва ли может быть сколько-нибудь цельная непротиворечивая долгосрочная внешняя политика: интересы узлов сети противоречат друг другу, а сами они не формируют единое целое; к тому же, они включены в качестве зависимого элемента в крупные иерархии. Какая в такой ситуации внешняя политика? Чаще всего — рефлексивные спорадические действия, краткосрочная реакция по продвижению бизнес-интересов той или иной кланокорпорации: имитация внешней политики соразмерна имитации социального государства. Поэтому, когда говорят о провалах внешней политики, например, РФ, о том, что постоянно допускаются одни и те же ошибки — потеря Центральной Азии, Армении, Украины, открытая ситуация с Беларусью, — это неверная постановка вопроса. Это не провал. Это провал, если смотреть с государственной точки зрения; а с кланокорпорационной, где главное — прибыль, гешефт, геополитические издержки (“провал”) — это то, чем можно пренебречь. Внешние политические провалы государства-скорлупы — это бизнес-победы продающих его внутренности кланокорпораций. Аналогичным образом обстоит дело с коррупцией в силовых структурах. Не так давно генерал А. Михайлов говорил о неких фактах, позорящих спецслужбы. Это так, если подходить

к ним как к государственным структурам. А если смотреть на них как на коммерческие структуры (кланокорпорации) силового профиля, то это не позор, а бизнес.

Впрочем, в случае РФ есть нюанс: нет-нет, да и пробьётся нечто, похожее на цельно-государственное действие во внешней политике. Но происходит это вопреки природе сети и специфике её “геополитического облачения”, а именно благодаря нескольким факторам. Во-первых, это наличие ядерного оружия — наследия Сталина и Берии. Во-вторых, это многовековая традиция имперской государственности, военно-государственные традиции русских. В-третьих, это наследие социализма как мировой системы с СССР в качестве ядра. Наконец, в-четвёртых, как это ни парадоксально, это преимущество цивилизации, сохраняющейся, несмотря на продолжающиеся усилия оптимизаторов, над варварством — как внутрироссийским, криминально-капиталистическим по происхождению, так и тем, что сформировалась на постсоветском пространстве по периметру границ РФ.

Наличие всех этих материальных и организационно-исторических активов в руках руководства страны не может не служить государственным контрбалансом негосударственности кланокорпораций (и их сети), особенно в условиях давления на них пост-Запада, началом последней Большой Охоты эпохи капитализма, падением спроса на сырьё (последнее способно заставить даже антимодернизаторские элиты начать отплясывать “модерновую джигу”) и сокращением “кормовой базы” “илитки” (с прямой и явной угрозой усиления конфликтов внутри неё, с одной стороны, и сопротивления населения растущему пропорционально кризису давлению на него сверху). Сочетание активов и условий позволяет, пусть и слабо, но надеяться, что точка невозврата в разгосударствлении власти у нас не пройдена. Нужно помнить, что в исторической России централизованная власть (“государственность”) — это функциональная среда жизни русских, а потому есть фактор не политики, “надстройки”, а цивилизации, “базиса”. Поэтому попытки разрушения русской государственности её внешними и внутренними врагами — это не только и даже не столько политическая борьба, сколько подкол под русский вариант европейской цивилизации, под русский социокультурный тип, курс на выживание русских из истории. У русских сложные отношения с собственным “центроверхом”, который постоянно давит на них и в то же время определяет и определяет их экзистенциально-историческое поле физически и метафизически. Русские могут быть недовольны своим государством, критиковать его в лице его представителей, однако, как только “центроверх” слабеет или оказывается под угрозой разрушения извне, русские бросались его укреплять или, разрушая прогнивший (как это произошло в 1917–1929 годах), воссоздавали на его месте новый, ещё более сильный и жёсткий, адекватный внутренним и внешним обстоятельствам, которые по ходу истории становились всё жёстче.

Специфика нынешних обстоятельств такова, что одного лишь сильного государственного, институционально-иерархического уровня игры мало, необходимо комбинировать его с сетевым, выстраивая цепочки анклавов по типу цепочек “камней” в игре го, сокращая противнику “зону дыхания”. Как учил Ленин, только комбинация легальных и нелегальных форм борьбы ведёт к успеху — в том числе на мировой арене; перефразируем: комбинация институциональных и сетевых форм и методов. Нужен асимметричный, неожиданный ход, обнуляющий шестисотлетнее превосходство противника и позволяющий переиграть “алхимиков Цифры” и “хозяев сетей” на их же поле.

— **И каковы выводы из всего сказанного выше?**

В сухом остатке. Нынешний мир стремительно меняется на наших глазах. Заканчивается, а точнее, закончилась постсоветская эпоха — в РФ, в СНГ, в мире. Да-да, и в мире, поскольку разграбление бывшей социалистической зоны буржуинами и их местными поделщиками в значительной степени определяло динамику мирового развития вплоть до кризиса 2008 года; затем наступил десяток лет инерционного развития. Теперь — всё.

На просторах бывшего СССР вынырнувший из лихих девяностых социум в течение двух первых десятилетий XXI века характеризовался, помимо прочего, следующими чертами:

— относительной стабильностью, которая стала основой негласного социального договора между властью и населением;

- массовой поведенческо-психологической ориентацией на потребление;
- высокомерно-снисходительным отношением (мягко говоря) власти к населению (от игнорирования позиции людей по пенсионной реформе до домашних арестов под видом самоизоляции весной 2020 года), которое, однако, долгое время не вызывало протеста.

Все эти характеристики тают на глазах. Пенсионная реформа, продавленная по команде МВФ (значит, суверенитет, говорите?) вопреки воле самых широких слоёв населения, резко ослабила основы социального договора; коронавирусная история сильно ускорила и так уже существовавшее движение мира (включая РФ) в направлении постпотребительского общества. Ясно, что во всём мире уровень потребления будет постепенно снижаться. Наступает эпоха глобальной бедности, и пострадают от этого, прежде всего, те страны, которые не накопили достаточно “социального жира”; РФ с её полукOLONИАЛЬНО-деградационной моделью существования, – безусловно, из этого разряда.

Нарастающие массовые протесты на постсоветском пространстве – от Хабаровска до Беларуси, – обусловленные экономическими, социально-демографическими, культурно-психологическими и иными факторами, требуют серьёзной модификации алгоритма поведения властных элит – перехода от монолога к диалогу, причём быстрого перехода. Лукашенко заигрался и “замешкался” (ему бы обратиться к народу намного раньше; кстати, несколько лет назад замечательный автор А. Афанасьев опубликовал два романа – “Белорусский набат” и “Белорусский узел”, в которых рассказывается о свержении в 2020 году режима Лукашенко силами прежде всего ЦРУ, польской разведки и украинских нацистов) – и, как говорил герой одного советского фильма, “загремел под панфары” (это – уже независимо от того, сохранит он формально власть или нет).

Новая эпоха потребует новой элиты – не факт, что она будет лучше; факт, однако, в том, что постсоветика своё отработала. Сможет ли она нырнуть в котёл исторических возможностей и вынырнуть “добрым молодцем”, или произойдёт “бух в котёл, и там сварился” – вопрос открытый. Любой ответ на него принесёт всем нам много-много непокоя.

Нынешний мир не только меняется, но одновременно резко и упрощается, и усложняется в силу своей турбулентности и непредсказуемости. Это не теннис, а сквош, это не шахматы, а го. Реальной среднесрочной инструментальной альтернативой нынешнему хаосмосу может быть, как я уже сказал, только новый левый проект. Говоря “левый проект”, я ни в коем случае не включаю в него и не имею в виду троцкизм – под него сегодня подпишется значительная часть глобалистов и, самое главное, антисоветчиков. Для меня левый проект – это “красный проект”, реализованный в СССР в 1930-е – первой половине 1950-х годов: победительный, народный – суровый и жёсткий – социализм, который хрущёвско-брежневская номенклатура превратила в размягчённо-гнилой номенклатурный, а горбачёвщина выдавила социализм и оставила гниль. Повторить советский проект невозможно, но можно использовать его технологию и методологию в новых условиях – как говорил Жан Жорес, взять из прошлого огонь, а не пепел. Разумеется, сказать легче, чем сделать, и тем не менее: в начале было Слово. Надо работать, и надо поторапливаться. Моцартовский “Реквием” ещё не слышен, но под звуки Пятой симфонии Бетховена (“Так судьба стучится в дверь”) уже слышны шаги Командора. Вопрос, кем он окажется: властелином Хаоса или Порядка? Ответ во многом зависит от нас, от того, насколько народ и власть будут едины и готовы в едином порыве рвануть вперёд, “гремя огнём, сверкая блеском стали”.

**ВЛАДИМИР ЮДИН**  
*профессор, академик ПАНИ*

## ИДТИ СВОИМ ПУТЁМ

Недавно я вернулся из Новосибирска, где Новосибирское отделение Петровской Академии наук и искусств в содружестве с крупными учёными России провело научно-практическую конференцию по реформе высшей и средней общеобразовательной школы в России.

Актуальность этого вопроса сегодня обусловлена не только наличием многочисленных фактов коррупционных дел, связанных с явно неудачным проведением ЕГЭ (единого государственного экзамена), полным разочарованием общественности в данном эксперименте и упрямым нежеланием Министерства образования во главе с господином Фурсенко, бывшим министром образования и науки, вернуться к прежней, безусловно, наиболее конструктивной системе получения знаний, неизбежностью масштабных изменений в высшей школе, но и необходимостью повышения роли экспертного управления как наивысшей формы авторитетной структуры для оценки и контроля образования в стране.

“Независимый эксперт сегодня в нашей стране становится по своей роли гражданином, берущим на себя инициативу и ответственность говорить правду, в которой чаще всего не нуждается ни чиновник, ни бизнесмен, ни политик, ни общественный деятель. Само отношение населения к реформам системы образования стало поводом для спекуляций. Так, например, абсолютное большинство работников высшей школы, независимых экспертов дают сегодня отрицательную оценку ЕГЭ. Между тем, чиновники и конъюнктурно заинтересованные в ЕГЭ слои организаторов высшего и общего среднего образования в России продолжают “зарабатывать” на этом “эксперименте”, который фактически введён в практику...” — подчеркнул в своём выступлении на конференции С. И. Григорьев, академик ПАНИ (Москва).

Экспертам из семи федеральных округов (25 регионов) было предложено оценить характер отношения населения страны к реформам высшей и средней школы последних двух-трёх лет. Более трёх четвертей опрошенных экспертов констатируют либо отрицательное, либо противоречивое отношение к данным реформам, что подтверждается и распределением ответов экспертов на вопрос о том, что обычно вызывает сейчас у населения России активное неприятие реформы как вузовского, так и общего среднего образования:

- коммерциализация высшей и средней школы (58%);
- вхождение России в Болонский процесс без достаточной подготовки (43%);
- формализация оценки качества образования в процессе проведения эксперимента с ЕГЭ (34%);
- ограниченность мер по развитию в вузах и школах России программ воспитания (29%).



Как говорил великий русский педагог К. Д. Ушинский, без воспитания нет и быть не может образования. Там, где государство ответственно берёт на себя управление главными рычагами образования и молодёжной политики, как правило, есть положительные сдвиги, и, напротив, устранение государства, отдача этих проблем на откуп коммерциализации обычно влечёт к их серьёзному усугублению... Это признавали практически все участники конференции в Новосибирске.

Обращает на себя внимание характер экспертных оценок информированности населения о вхождении России в Болонский процесс.

Большинство участников опроса констатируют информационную неподготовленность и отрицательное отношение населения современной России к её вхождению в Болонский процесс, несмотря на более чем трёхлетний период обсуждения этой проблемы.

Позитивная оценка отношения населения России к введению двухуровневой подготовки кадров с высшим образованием отмечается только у 18% опрошенных. При этом 52% констатируют отрицательное отношение россиян к двухуровневой подготовке кадров с высшим образованием по западной модели. Хотя политически вопрос предreshён ещё в 2003 году, когда Россией была подписана Болонская декларация.

59% участников экспертного опроса констатировали неприятие людьми предстоящего изменения статуса вузов России, их превращение в автономные научно-образовательные учреждения. Почти половина экспертов (46%) отмечают негативное отношение россиян к проведению эксперимента по ЕГЭ. При этом 32% опрошенных отметили противоречивую оценку населением данного эксперимента.

Весьма неоднозначно фиксируется на экспертном уровне картина с оценкой отношения россиян к созданию нескольких укрупнённых супер-вузов, развёртыванию в Ростове и Красноярске так называемых “национальных университетов”. Здесь эксперты фиксируют отрицательный настрой у 60% населения страны. При этом позитивная оценка фиксируется только у 15-19% жителей современной России. Ещё 22-23% экспертов отмечают противоречивое отношение населения к созданию “национальных университетов”.

Такое отношение к новациям в развитии высшего образования в современной России, очевидно, в значительной мере обусловлено обострением проблемы доступности и качества высшего образования, как, впрочем, и ростом критического отношения к либеральному курсу страны в целом из-за его общего остро проблематичного, отрицательного результата в 1990-е годы.

“Кризис российской государственности и институтов гражданского общества вызвал закономерную деградацию образовательной системы страны, — заметил А. Д. Лопуха, профессор, член-корреспондент ПАНИ. — По международной оценке индекса интеллектуализации молодёжи Россия со 2-3 места в 1950-е годы опустилась на 50–52 место в 1990-е. Одной из главных причин глубокой социальной деградации общества является уход государства из сферы воспитания, являющегося основным институтом социализации населения. Деидеологизация 90-х годов создала прецедент, когда в России исчезли государственно закреплённые цели воспитания и оно, таким образом, утратило ориентиры и смысл”.

В своё время А. С. Пушкин, В. О. Ключевский, В. А. Жуковский, А. А. Мусин-Пушкин, Д. И. Менделеев, Ф. М. Достоевский, П. И. Новгородцев, П. Н. Игнатьев считали, что основой воспитания должно было стать воспитание патриотизма. Этим идеям не суждено было широко и обстоятельно закрепиться, что стало одной из причин грандиозных общественных катастроф, которые пережила Россия в минувшем веке и от которых она не оправилась ещё и сегодня.

В своём обращении к руководству страны участники конференции единодушно заявили: система образования должна основываться на национальных традициях и ценностях. Сегодня существует достаточно консолидированное мнение Церкви, интеллигенции и здоровой части общества о том, что национальные ценности представляют собой “программное обеспечение” жизни нации. Замена национальных ценностей чужими, сформированными народом с иной историей, жизненным опытом и национальными задачами, неизбежно ведёт к вырождению этноса. Можно лишиться многого, даже национальной

территории, и выжить. Но достаточно утратить национальные ценности, и исчезновение народа становится всего лишь делом времени.

К сожалению, ряд высокопоставленных чиновников и некоторые ректоры взялись ретиво перестраивать стройную систему образования в России в ущербную Болонскую. Уж не потому ли, что зарплата иных руководителей зачастую превышает оклад президента США (200 тысяч долларов в год)?.. Неужели они и впрямь приносят России больше пользы, чем президент США своему государству? Знают ли те, кто осуждает “коррупцию” в вузах, что сегодня молодой преподаватель за 1,5 ставки получает 3,5 тысячи рублей? Профессора российских вузов получают меньше, чем грузчики, а “простые” преподаватели – в 1,5–2 раза меньше уборщиц в магазинах? Об “умопомрачительных” стипендиях аспирантов и студентов я уже не говорю. Моя жена – учительница гимназии – выше головы завалена неведомо кому нужной внеклассной канцелярщиной: планами, отчётами, проектами, педсоветами, собраниями, заседаниями, олимпиадами – за весьма скромную зарплату.

Настоятельно осуществляемое сегодня “реформирование” системы образования в рамках Болонского процесса превращает образование в России в периферийную часть западного, причём худшей его части, поскольку такие страны, как Англия, от вхождения в процесс отказались.

Российская школа всех уровней нуждается в реализации на деле принципа государственно-общественного управления образованием. Общественность сегодня, однако, не в силах противостоять произволу высокопоставленных чиновников от образования. Органы управления образованием должны отказаться от немыслимого диктата, тотальной унификации процедур образовательного процесса, подобно пресловутому ЕГЭ или нарастающему валу никому не нужной отчётности.

Профессиональное образование в государственных вузах должно быть строго ориентировано на внутренние потребности страны, а не насыщение рынка труда других стран.

Современные попытки давать гранты “лучшим” вузам приведут только к дальнейшей деградации “худших”. Между тем, вовсе не факт, что вуз “среднего” уровня не может подготовить хорошего специалиста, а выпускники “лучшего” будут самоотверженно трудиться во благо России. Автор этих строк в своё время окончил обычную сельскую школу и скромный провинциальный вуз на Кубани, но, не считите за бахвальство, довольно успешно “выбился в люди”.

Учителя советской школы в 30–е годы подготовили победителей в Отечественной войне 1941–1945 годов. Смогут ли современные учителя сегодня подготовить патриотов, способных поднять страну, если они будут востребованы и достойно оценены?

ПЁТР ЧАЛЫЙ

## ИТАЛЬЯНСКАЯ ПЕЧАЛЬ

*И вот непривычная, но уже нескончаемая вереница подневольного люда того и другого пола омрачает этот прекраснейший город скифскими чертами лица и беспорядочным разбродом, словно мутный поток — чистойшую реку; не будь они своим покупателям милее, чем мне, не радуй они их глаз больше, чем мой, не теснилось бы бесславное племя по здешним узким переулкам, не печалило бы неприятными встречами приезжих, привыкших к лучшим картинам, но в глубине своей Скифии вместе с худою и бледною Нуждой среди каменистого поля, где её (Нужду) поместил Назон, зубами и ногтями рвало бы скудные растения. Впрочем, об этом довольно.*

Петрарка

Из письма Квидо Сетте, архиепископу Генуи. Венеция (1367)

*Так писал он за несколько лет  
До священной грозы Куликова.  
Как бы он поступил — не секрет,  
Будь дана ему власть, а не слово.*

*Так писал он заветным стилем,  
Так глядел он на нашего брата,  
Поросли б эти встречи былъём,  
Что его омрачали когда-то.*

*Как-никак, шесть веков пронеслось  
Над небесным и каменным сводом.  
Но в душе гуманиста возрос  
Смутный страх перед скифским разбродом.*

*Как магнит, потянул горизонт,  
Где чужие горят палестины.  
Он попал на Воронежский фронт  
И бежал за дворы и овины.*

*В сорок третьем на лютном ветру  
Итальянцы шатались, как тени,  
Обдирая ногтями кору  
Из-под снега со скудных растений.*

*Он бродил по тылам, словно дух,  
И жевал прошлогодние листья.  
Он выпрашивал снег у старух,  
Он узнал эти скифские лица.*

*И никто от порога не гнал,  
Хлеб и кров разделяя с поэтом.  
Слишком поздно других он узнал.  
Но узнал. И довольно об этом.*

Юрий Кузнецов

## 1

“...есть ли смысл в поисках прошлого?”

## 2

В годы горбачёвской “перекройки” Отечества к нам на верхний Дон, в Россошь и её окрестности, зачастили гости из Италии. Путешествовали они, как шутили между собой местные жители, “по местам боевой славы”. Сюда их, старых и молодых, и людей средних лет, тянуло магнитом памяти. Им, наверное, казалось, что полевые ветры всё ещё разносят голоса друзей-товарищей, отцов и просто родичей, спящих вечным сном в этих степях чернозёмных с зимы сорок третьего года, поныне памятной многим в их далёкой стране.

В “Икарусе” с итальянцами была ленинградская девушка-переводчица, мало что знавшая о здешних событиях Великой Отечественной войны. Попросили в проводники-экскурсоводы меня, журналиста воронежской областной газеты “Коммуна”.

С главной дороги свернули на просёлочный асфальт, присыпанный слегка жёлтыми осенними листьями и свежей золотистой соломой. Как и просила переводчица, говорил я медленно и кратко. Рассказывал о том, что правый крутой берег Дона, с белых меловых гор которого на десяток километров просматривается заречная сторона, представлял собой сплошь хорошо укреплённую неприступную крепость. Да ещё река разделяла линию фронта. Её и держали на расстоянии в двести семьдесят километров итальянцы с приданными к ним частями немцев и хорватов. На карте участок очерчивается примерно от воронежского городка Павловска вниз по течению Дона к Вёшенской – всемирно известной казачьей станице.

Слушатели мои оживились. Можно было понять, что они пытались сказать по-русски: “О! Аксинья! Григорий! Шолохов!”

– Читали книгу “Тихий Дон”?

– Да! Да! – Говорили большинство, поддакивая головой и жестикулируя руками.

– Скоро увидим Дон. – Все сразу прильнули к окнам автобуса. Но ожидание очарованья настоящей русской степью пришло чуть позже, когда пешком поднялись на вершину Мироновой горы. Её меловой обрыв принимал на грудь утёса величавый водный поток, тихо и плавно поворачивал его круто с севера на восток, под прямым углом. Это же спокойствие царило окрест во все далёкие видимые стороны света под прозрачным синим небом в лугах и полях, в селениях. И живущим в них людям просто не мог не передаться в характер, в житейский уклад вечный и мудрый покой природы.

Не только гранёный штык обелиска, не только плиты с именами сотен тысяч павших воинов – уроженцев великого Советского Союза – напоминали о былых сражениях. Спустя полвека на омываемых ливнями склонах горы хоть горстями собирай ржавые снарядные осколки. Затравенели, но ещё не затянулись землёй траншеи, окопы, блиндажи – “опорные пункты” оккупантов.

“Наглядные пособия”, наверное, добавляли впечатлений моему рассказу, который я вёл тоже предметно. В той стороне, указывал рукой, – Сталинград. Там окружили немцев, румын. На эти донские высоты, где сейчас стоим, наши войска пошли в прорыв, чтобы расширить “коридор” окружения. Чтобы не дать врагу вырваться из “котла”.

Гостей, понятно, больше интересовал здешний “Сталинград на Дону”.

Указывал пальцем, называл видимые с холма и скрытые за горизонтом

сёла, где в обороне стояли итальянские дивизии “Тридинтина”, “Виченца”, “Кунезе”, “Юлия”, “Равенна”, “Коссерия”...

Лица слушателей вдруг стали скорбными. С печалью, но и неотрывным интересом они следили за движением моей руки, будто она открывала картины прошлого.

По численности войск, орудий и миномётов, пулемётов, даже самолётов противник превосходил нас. К тому же, напомним, занимал очень укреплённые позиции. Но в том-то и сила военного искусства — побеждать меньшим числом! Наше командование сознательно незаметно оголило второстепенные участки фронта. Оставило там немногочисленные части, которые боевыми “уколами” лишь отвлекали внимание, создавали видимость наступления. Основные же силы собрали-сосредоточили в трёх местах прорыва. Скрытно, в глубоких снегах, по бездорожью перебросили сюда части третьей танковой армии. Стоило это невероятных трудов. В три “кулака” и ударили: на севере — за Острогжском со Сторожевого, на юге — от Кантемировки близ станции Пасеково, а посередине — от донского села Щучье. Взяли противника не в привычный уже “котёл”, а с ходу рассекали его на части помельче. Не дали врагу опаматоваться и соединить силы. Окружение завершили в две недели, встретившись за Алексеевкой, Валуйками.

В ходе Острогжско-Россошанской боевой операции полностью разгромили противника, захватили в плен с 13 по 27 января больше восьмидесяти тысяч человек, а шести дивизиям нанесли серьёзное поражение.

Большая “дыра” во вражеской линии фронта, недавно казавшейся непреодолимой, открывала Красной армии путь на Украину. Положение на Дону не минуло бесследно для Италии. Страна была выбита из войны как союзница фашистской Германии.

Хоть слушали меня вроде внимательно, гостей, оказалось, больше интересовали конкретные подробности, а не общая история давних боёв. “Далеко ли кладбище у хутора Зелёный Яр”? “Нам отец из Белогорья прислал последнее письмо, в какой стороне селение?” “Неужели то Новая Мельница? Где же был мой блиндаж?”

Разом прервал расспросы зычный командный голос старшего в группе. Тихо разговоры продолжались в автобусе, пока с асфальта не свернули прямо на берег Дона. Кто-то кинулся на луг, стараясь не загнать в ладонь занозу, спешил нарвать букет по-своему симпатично красивых синих колючек. Плачущая женщина просила растолковать, где ей нужно искать могилу отца, если он отступал в другом направлении — от Богучара на Ворошиловград-Луганск. Но опять же нас всех созвала “до кучи” прозвучавшая по-военному команда.

На прибрежном песчаном откосе стоял маленький человечек. Облачённый в мантию или иную церковную одежду, он враз из гражданского превратился в священника. Раскрыл молитвенник. А рядом бережно держали венки пытавшиеся выглядеть стройнее старики в зелёных альпийских шляпах с пером, наверное, из крыла горного орла. Венки закачала донская волна. И поплыл он по течению, распустив муаровые ленты, на большую воду, капелька которой, возможно, преодолеет тысячекилометровые дали и омоет средиземноморское побережье итальянского “сапожка”. Поплыл венок под песню трубача, мелодия которой напоминала нашу русскую “Из-за острова на стрежень, на простор речной волны...”

На обратном пути я рассказывал спутникам, что сам хоть родом из послевоенного поколения, но знаю о войне не только по воспоминаниям старших. В детстве спал под солдатским итальянским одеялом — это вызвало улыбки, смех. А когда брякнул, что на итальянских оранжевых гранатах, приманчиво похожих на заморские фрукты, подорвалось насмерть, чаще покалечилось немало моих сельских сверстников, то сразу почувствовал какое-то отчуждение. Меня уже не слышали. А раз так, то я погода незаметно оставил микрофон. Перебрался в конец салона, где на заднем сиденье охотно потеснился молодой мужчина. Он “розумел” что-то по-русски, как и я знал “по верхам” немецкий, так что столкнувались и быстро нашли общий язык. Особенно он обрадовался тому, что показал ему в заречной стороне хуторок Илюшевку. Сложил ладони перед собой и благоговейно поклонился трижды, всматриваясь в золотистые вишнёвые сады, осенним костром полыхнувшие на обрыве. Мой попутчик исполнил наказ отца, который запомнил степной хуторок, где

его отогрела и подкормила крестьянская семья, благодаря ей он выстоял, уцелел в метельной кровавой сече.

Собеседник оказался сведущим в сельских делах. Когда прямо с обочины дороги изумрудом зеленели бескрайние озимые хлеба, когда чёрная пашня раскрывалась во всю ширь к самому небу, он не мог сдержаться. Воздевал кверху руки и восхищался: как же, мол, вы, славяне, богаты. Я его вразумлял. Пшеница наша растёт не под тёплым лазурным небосводом. Заморозки, засухи нередко сводят на нет тяжкие крестьянские труды. Каменные дворцы для коровы строим от нужды, в загоне-шалаше по-итальянски здесь она просто околет зимой. Природа диктует нам затраты на продукты питания.

— Зона рискованного земледелия, — старательно выговаривал эти слова вслед за мной итальянец. И неверяще глядел в русские поля, вспоминая песню пятидесятых годов, которую он слышал давно с граммофонной пластинки — чей-то подарок из России, с московского Всемирного фестиваля молодёжи. Напевал мелодию, но я в ней тоже ничего не мог расслышать. А когда утерянное вдруг выплыло в памяти, мой иностранец обнял меня за плечи и, повернув к окну, торжествуя выкрикнул:

— Родины просторы!..

### 3

Не знаю, до сих пор ли в ушах и в голове ему, старому писателю, живущему на севере Италии у подножия Альп в маленьком городке, отдаётся скрип русского снега под солдатскими ботинками? Все ещё слышит ли он, Марио Ригони Стерн, как “звонит овитая ветром сухая трава на берегах Дона”?

Я прочёл его книгу “Сержант в снегах”, в которой он рассказал о себе и боевых друзьях, о трагическом для итальянцев походе на восток. Его повесть — как живое свидетельство непосредственного участника Острогожско-Россошанской операции, ставшей для союзников — немцев, итальянцев и венгров-мадьяр — своим Сталинградом.

Унтер-офицер Марио был бойцом на передовой. Он не озлобился, не очерствел душой. Через замёрзший, скованный льдом Дон альпиец (звание, схожее с нашим гвардейским) “смотрел на этих русских солдат дружелюбно, как смотрит сосед на крестьянина, который разбрасывает в поле навоз”.

Но у “соседей” в руках не вилы, а оружие. “Я вышел и вместе с часовыми смотрел на трупы русских солдат, оставшиеся на реке, и вот в лучах утреннего солнца увидел, что двое не убиты, а прячутся неподалёку от нас на берегу за холмиком. Немного погодя они zaseвелились. Один вдруг вскочил и бросился бежать к своему берегу. Я прицелился и выстрелил. Бегущий солдат рухнул на снег. Его товарищ, который тоже было вскочил, снова спрятался за холмиком. Я наблюдал в бинокль за русским, лежащим у берега. Почему же он не дождался ночи, чтобы вернуться к своим? Часовой тоже вёл наблюдение. Вдруг он крикнул:

— Он живой!

Мнимый убитый вскочил и как бешеный помчался к другому берегу.

— Перехитрил он меня! — воскликнул я и весело засмеялся.

Но часовой схватил ручной пулемёт и, выпрямившись, дал очередь. Русский солдат снова упал, но не так, как прежде. Он, извиваясь, прополз несколько метров, а потом застыл, протянув руки к уже близкому берегу...

Русские опять пошли в атаку, с ещё большей решимостью. Мы вновь открыли огонь. Но атакующие... не дрогнули и не повернули назад. Многие упали на снег возле холма, остальные с криком: “Ур-ра! Ур-ра!” — упрямо шли вперёд. А вот добежать до проволочных заграждений удалось немногим. Я стрелял из своего верного карабина. Некоторые притворялись убитыми: лежали недвижно на льду реки, а когда мы переставали за ними следить, вскакивали и вновь устремлялись к нашим позициям. Один из солдат прибежал к этой уловке раза три или четыре, пока возле нашей траншеи его в самом деле не сразила пуля. Он упал головой в снег...

Наверное, это очень страшно — форсировать реку, бежать по снегу под градом пуль и ручных гранат. Только русские способны на такое мужество, но наши позиции были слишком хорошо укреплены. Они прекратили атаки, и вновь настала тишина. Истоптанный снег на реке ещё больше покраснел от крови, ещё больше осталось на нём солдат, лежавших неподвижно...”

С нашей, русской стороны это был “отвлекающий” бой. Ударный прорыв готовился в другом месте, о чём, конечно, здесь не догадывались ни советские воины, ни противник.

Шла война.

Итальянцы долго удивлялись, когда захватили в плен русских женщин, которые шли в атаку. Обоем лет под сорок. Поразило: обе в брюках. “Лучше бы сидели дома да обед готовили, а то воевать”. Будущему писателю, его товарищам всё объяснила бы одна простая мысль, которая почему-то так и не пришла им в голову. А если бы они стояли с оружием не на берегах Дона? Сражались, скажем, у себя дома, в Италии, на родимой реке. Пошёл бы Марио в атаку белым днём? Не позволил бы любимой девушке или сестре брать в руки оружие?..

Марио Ригони Стерн – отличный стрелок, прошёл как инструктор хорошую закалку в военной горнолыжной школе. Это ему и помогло выйти в числе немногих из окружения, остаться в живых.

Он сотворил честную книгу – плач о товарищах, которые “спят среди этих бесконечных просторов”. Но умолчал, не ответил самому себе на главный вопрос. Зачем они приходили за тысячи километров на Дон с оружием? Чтобы ощутить “необъятность России”?

#### 4

Ответы на эти и иные вопросы по написанному итальянским писателем “лирическому документу” о сражениях итальянцев на Дону и тому, что было в суровой действительности, хотелось услышать от самого ветерана, унтер-офицера альпийского полка. Марио Ригони Стерн в 1988 году был в Россоши. Но встреча с ним не состоялась. Как я могу предполагать, мои тогдашние товарищи поостереглись – вдруг “неудобными” расспросами испорчу впечатление гостя о нашей стране.

Возможно, схожие чувства подвигли и переводчиков книги “Избранное” в московском издательстве “Прогресс” (1982) представить благородным рыцарем итальянского “сержанта в снегах”. Чтобы читателю понятнее было, о чём речь, приглашаю сравнить отрывок из повести в дословном переводе на русский язык и в литературном переложении, увидевшем свет.

Январь 1943 года. Альпийским стрелкам из штаба корпуса поступил приказ – оставить позиции, свой “опорный пункт” на Дону. Отступить на запад, чтобы не оказаться в окружении, “котле”, как это только что случилось с лучшей 6-й немецкой армией вермахта чуть южнее – в Сталинграде.

Читаем близкий к оригиналу дословный перевод, его ещё называют подстрочником:

*... Я был один. Слышал из траншеи шаги альпийцев, которые удалялись. Окопы были пустыми. В блиндаже-берлоге на соломе, которая когда-то покрывала крышу избы, лежали грязные носки, пустые пачки от сигарет, ложки, мятые письма, а на опорных столбах были прибиты открытки с цветами, с изображениями любимых, горными пейзажами и детьми. А все окопы были пустыми, пустыми, абсолютно пустыми, как и я. Я был один и смотрел в темноту ночи. Не думал ни о чём. Сжимал пулемёт всё сильнее. Нажал на курок и расстрелял весь магазин; потом расстрелял ещё один, и пока я стрелял, из моих глаз катились слёзы. Я спрыгнул в траншею, зашёл в блиндаж Пинтосси, чтобы взять рюкзак. **Нашёл в нём ручные гранаты и бросил их в холодную печку. У других гранат сорвал два предохранителя и осторожно положил их на пол траншеи.** Я направился в сторону долины. Начинался снег. Я плакал и не понимал, что плачу, и в чёрной ночи я слышал только мои шаги в темноте дороги. В моём блиндаже, прибитая к опорному столбу, оставалась рождественская открытка, которую мне прислала девушка к Рождеству.*

Опубликованный перевод на русский в книжных изданиях текст:

*... Я остался один в траншее. До меня доносились шаги исчезавших во тьме альпийских стрелков. Все берлоги опустели. На соломе, которая покрывала прежде чью-то избу, валялись грязные носки, пустые пачки из-под сигарет,*

ложки, пожелтевшие письма, на опорных балках висели открытки с цветами, горными деревушками, влюблёнными и ангелочками. Да, берлоги были пустые, совсем пустые, и такую же пустоту ощущал я в душе. Я всё вглядывался в ночную темень. Ни о чём не думал, лишь крепко сжимал ручной пулемёт. Нажал на спусковой крючок и выпустил весь заряд. Стрелял и плакал. Потом прыгнул вниз и забежал в берлогу Пинтосси взять свой ранец, и медленно пошёл по направлению к долине. Начал падать снег. Я плакал, сам того не замечая, и в чёрной ночи слышал лишь свои шаги по тёмному ходу сообщения. В моей берлоге на опорной балке осталась висеть цветная открытка с яслиями Христовыми, которую мне на Рождество прислала невеста.

В дословном переводе выделены шрифтом и подчёркнуты опущенные из подлинника подробности.

Сержант или унтер поступил совсем не по-офицерски. Ручные гранаты бросил в остывшую печку. У других гранат сорвал два предохранителя и бережно, чтобы самому не подорваться, положил их на пол траншеи.

Для чего сделал это защитник “тысячелетней западноевропейской цивилизации от московского варварства”? Обнаружив покинутые окопы, укрытия на донских крутогорах, сюда поднимутся красноармейцы. Неосмотрительно заденут валяющиеся под ногами гранаты и до предстоящего наступления завершат свой земной путь.

В жизни чаще случалось иначе. Передовые советские части обычно спешили преследовать отступающего противника. А первыми во вражеские траншеи и блиндажи радостно прорывались любознательные сельские ребята. Они-то и становились жертвами вроде как бы уже ушедшей от порога отчего дома войны. Вот свидетельство тогдашнего мальчугана из донской Дерезовки, будущего русского писателя Василия Белокрылова: “Увидел вымытую из земли тальми водами маленькую красненькую итальянскую гранату. Решил бросить. Разорвалась недалеко. Осколок зацепил правый глаз, его я лишился навсегда”. Именно так, с гостинцами-игрушками военной поры в руках погибли, искалечились тысячи детей. Так что Марио Ригони Стерн талантливо увидел и описал типичный поступок свой или товарища из фашистского стана. А что поступки эти были обычным делом, подтверждают участники “крестового похода” на Советскую Россию в своих воспоминаниях.

Вот как написал о начале отступления, по сути, однополчанин писателя Албино Эхер Клере, альпийский стрелок батальона “Валь Киезе” 6-го полка дивизии “Тридентина”:

“17 января 1943 года около четырёх часов вечера, в то время как я пёк хлеб, пришёл лейтенант из командования дивизии, который сказал нам только несколько важных слов: “Получен приказ об отступлении”.

**Я знал, что делать: закрыл духовку, чтобы хлеб подгорел, разбросал мешки муки на пол, на снег, бросил в канаву оставшийся хлеб, опрыскивая его бензином.**

Около пяти часов мы отправились в сторону Подгорного. Темнело. Это была адская ночь, метель невообразимая, и лёд везде... Мы шли всю ночь быстрым шагом и прибыли к командованию дивизии в Подгорном в семь утра; нашли место в одной из изб и пытались уснуть, изнемогающие от усталости. В десять утра 18 января прозвучал сигнал сбора. Генерал Ревербери с крыши избы произнёс речь солдатам: “Альпийцы, мы окружены и закрыты в котле. Мы должны открыть себе дорогу боем, а за котлом найдём поезд, который отвезет нас обратно в Италию, к нашим матерям и нашим жёнам”.

Со всех сторон поднялся крик, **потому что мы думали, что нам придёт-ся ждать весны для продвижения к Волге и Уралу; нам даже отдалённо не думалось вернуться домой так скоро.** Речь генерала возбудила всех, особенно меня, и с этого момента я думал только о возвращении домой.

Отступление началось во второй половине дня. Маршевая колонна была такой длинной, что, казалось, ей не было конца; она резко выделялась тёмной змейой на фоне заснеженной степи”.

Оккупанты оставались оккупантами.

Мы же собственной рукой стёрли показавшиеся случайными привычные жестокие черты и – увидели прекрасного и страдающего рыцаря.



Это извечная черта славянской души – видеть мир прекрасным, особенно если его олицетворяют гости из “цивилизованных” стран, к которым причислена и Италия.

В 1965 году в Милане вышел антивоенный сборник “Послание”, адресованный итальянским детям, молодёжи и воспитателям. На его страницах есть рассказ-откровение “Спасиба” Марио Ригони Стерна.

“Чувствую страшный голод. Солнце близится к закату. Где-то совсем рядом со мной у забора просвистела пуля. Должно быть, русские держат нас постоянно под прицелом, не спускают глаз. Бегу пригнувшись. Останавливаюсь у избы. Стучу в дверь, переступаю порог... и там советские солдаты.

Да, да, советские солдаты. Может, военнопленные? Нет. Они вооружены. Красная звезда на шапках. У меня в руках автомат. Смотрю на них и просто окаменел. Сидят за столом и спокойно едят. Едят деревянными ложками из общего котелка. Медленно повернули головы в мою сторону, и их деревянные ложки как бы застыли у рта. В это мгновение у меня вырывается фраза: “Мне хочца есть”. Вижу и женщин. Они жестом приглашают меня.

Одна из них берёт тарелку, наливает в неё молока, кладёт большим половником пшённую кашу из общего казанка и протягивает мне. Делаю шаг вперёд. Сажусь и начинаю жадно есть. Время как бы не существует. Солдаты с удивлением смотрят на меня. Женщины и дети тоже. На какое-то время в хате воцарилась тишина. Слышится лишь лёгкий стук от ударов моей ложки о тарелку. Быстро заглатываю пищу. “Спасиба”, – говорю, закончив эту необычную трапезу. Женщина берёт из моих рук пустую тарелку. “Пожалуйста”, – отвечает она просто. Солдаты смотрят, как я направляюсь к выходу. Никто из них даже не шевельнулся.

В сенах стоят улы. Женщина, которая дала мне поесть, последовала за мной. Я набрался даже смелости попросить соты для моих голодных товарищей. Жестами объяснил свою просьбу. Она дала мне баночку мёду, и я спокойно ушёл.

Был такой факт. Кажется невероятным. Вспоминая сейчас и думая о нём, я совсем не считаю его необычным, странным. Подобное, конечно, очень редко, но случается между людьми в чрезвычайных обстоятельствах. После моего неожиданного вторжения, возникшего у всех удивления, все мои поступки затем были просты и естественны. Они вызвали у присутствующих чувства глубокого сострадания и жалости. Я со своей стороны не испытывал никакого страха, никакого желания нападать или защищаться. Всё было до предела просто и естественно. И у русских были такие же чувства, как и у меня. Это чувствовалось по всему. В той избе неожиданно создалась между всеми нами какая-то общая человеческая гармония. Нет, это не было перемирие. Просто порой на войне возникает такое стечение обстоятельств, которое приводит людей к тому, что они вдруг, даже невольно, становятся не врагами, а добрыми товарищами.

Кто знает, где теперь эти солдаты, эти добрые, милые русские женщины и их дети? Очень хочу надеяться, что война пощадила их, беда прошла стороной в их нелёгкой судьбе. До тех пор, пока мы живы, будем всегда вспоминать русских людей только добрым словом. Все мы, кто был там, в России. Вспоминать, рассказывать о том, как вели себя в тех краях. Особенно надо напоминать и рассказывать о тех событиях детям, молодёжи. Если однажды случилось то, о чём я рассказывал, то подобное может повториться. Может повториться – я хочу сказать – со многими другими людьми, стать привычкой, нормой поведения и жизни”.

Услышали ли соотечественники своего писателя?

В наш воронежский городок среди полей и окрестные селения, кстати, с лёгкой руки и Марио Ригони, написавшего уже в 1970-е о своём путешествии “Возвращение на Дон”, на рубеже 1990-х годов хлынули караваны пилигримов: живые участники восточного похода и родственники, близкие тех, чей прах покоился в донских степях. С понятной по-человечески благодарностью местными жителями и властями было принято желание альпийцев подарить городу детский садик. Тогда в речах звучало – “в знак покаяния и примирения, в знак дружбы народов”.

Искренне, сердечно принимали строителей. Помогали им, чем могли. Изначально наши мастера убрали останки прежнего старинного дома, рыли

котлован, выложили подвальную часть здания. Гостей окружили заботой. Старались, чтобы им работалось и жилось, как дома.

В дни открытия детского садика, а особенно спустя десять и двадцать лет, в медовом привкусе дружбы появлялось больше и больше горечи и досады. На торжественные юбилеи альпийцы прибывали в парадной форме с флажками и знамёнам, вымпелами частей, воевавших на Дону. Ораторы на митингах позабыли слова о примирении и покаянии. В полный голос они говорили о победоносном героизме “смелых альпийцев Восьмой итальянской армии”. Под бой барабанного военного оркестра браво маршировали, как теперь прояснилось, в сакральные, священные даты, а именно, в “круглые” годы 50-, 60-, 70-, 75-летия не горького поражения, а “победоносной битвы под Николаевкой”, “победы” у исчезнувшего села в нынешней Белгородской области, где горсточке итальянцев удалось выйти из окружения, избежать плена и гибели.

Маршировали потомки “сержанта в снегах”, как оказалось, тоже у сакрального для итальянцев места.

Во-первых, детский садик в дар построили именно там, где вдруг неожиданно в тёмной ночи сгорела старинная помещичья усадьба знаменитых воронежских Чертковых, в которой в оккупацию хозяином был штаб альпийского корпуса.

Во-вторых, в историко-краеведческом музее, расположенном в цокольной подвальной части детсада есть теперь зал боевой славы альпийцев с портретом-приветом от “дуче фашизма” Бенито Муссолини, с вымпелами воевавших в России частей, с табличками – пояснительными текстами на итальянском языке.

В-третьих, гости, по сути, из прошлого, напомнили латинское присловье: бойтесь данайцев, дары приносящих. В годовщину 60-летия для нас “Сталинграда на Дону”, а для альпийских ястребов в воинских шляпах-капеллах, из которых торчит птичье перо “надменно, вызывающе и гордо”, – “победоносного сражения под Николаевкой”, избранные и посвящённые преподнесли Россоси памятный знак. . . И – скрытно схороненный в кирпичном пьедестале пластиковый пакет с фрагментами останков – костей погибшего в давнем бою альпийца. Так в центре городка появилась тайная символическая могила фашиста-оккупанта.

Архитектурно продуманно возвели её в сквере напротив парадного детсадовского крыльца. Над ней никелем сверкает нержавеющей стали силуэт ястребиной шляпы итальянского воина.

Официально – это памятный знак в честь строительства детского садика “Улыбка”. Опять-таки для избранных и посвящённых – это мемориал “Почести павшим”.

Спустя десять лет, осенью 2013 года у альпийских “ястребов” вскружилась голова. О тайном знамении стало известно из уст его творцов в тексте на страницах изданной ими же в Италии книги к 70-летию юбилею: “OPERAZIONE SORRISO”, “ВЕРНУТЬСЯ В РОССОШЬ”, “1993–2013: ОСУЩЕСТВЛЁННАЯ МЕЧТА”. В ней на географических картах, военных лет и современных, указано, где на степном вражеском могильном погосте взяты останки альпийца героической дивизии “Юлия”. Адрес точен – окраина ныне исчезнувшего хуторка Зелёный Яр. На фотографиях достоверно запечатлены обнаруженные фрагменты костей и момент их вложения в нишу мемориала.

Неравнодушные горожане возмутились, при поддержке журналистов обнародовали эту подлую историю. Зато доморожденные как местные, так и столичные чиновники заедино с верхушкой итальянской ассоциации альпийцев пытаются её скрывать. Броня у реваншистов ох, как крепка! И всё же – кости из тайной могилы убрали руками Следственного Комитета России. В музее иные люди, нет уже зала “боевой славы воинства Муссолини”. А вот сверкающая никелем шляпа альпийского стрелка пока ещё красуется на пьедестале.

... Жаль, никогда не узнаем, как бы принял случившееся итальянский писатель, упокоившийся навечно не молодым унтер-офицером, как его сверстники на донском берегу, а мудрым 86-летним старцем на кладбище в родных альпийских горах.

Умом нас, люди, не понять!

Позавидуешь: патриотизм для итальянцев не оплётанное понятие. Очередную годовщину трагических событий на Дону всегда стараются отметить пешим или лыжным походом по пути не “отступления”, а “выхода альпийцев из окружения”. О бесславном поражении можно, оказывается, говорить как о Великой Победе под белгородским селом в месте прорыва. Отсюда через степи к Дону они мечтают посадить-вырастить сплошную берёзовую аллею. Мечтают о новых помпезных мемориалах на русской земле в знак “уважения, благодарности, нетленной памяти наших павших, наших героев, смелой итальянской Восьмой армии”.

Да, на том месте, где в Россоши квартировал штаб альпийского корпуса, стоит детский сад “Улыбка”, внешне, кстати, очень похожий на форменную шляпу альпийца. Народная стройка Италии! Президент и председатель правительства чуть ли не первыми вложили в неё личные деньги. А соорудили дом не только рядовые – офицеры, генералы из военного блока НАТО! Брали в руки лопату, мастерок, а то и метлу, невзирая на звание.

“Улыбка” втайне оказалась не просто альпийским подарком городку и его жителям, но и данью памяти павшим соотечественникам. А ещё – “улыбкой” от “дуче фашистов”, итальянского фюрера Муссолини, от реваншистов, переосматривающих и переоценивающих итоги Второй мировой войны опять ради собственной выгоды. Пишу об этом с чувством справедливой обиды. Ведь прекрасная Италия в который раз нас “пидманула, пидвела”. А мы? Мы вот уж сколько лет смотрим, как не только зарубежные, но и доморожденные русскоязычные дёгтемазы чернят историю Отечества и его героев – весь народ. Не без успеха превращают нас в доверчивое и послушное население, в быдло. Об этом ведь мечтали Муссолини с Гитлером.

Встречались с итальянцами. Говорили о дружбе народов. Пели песни. Мило улыбались друг другу. Чего желать?..

Вдруг – читаю в одной из газет: уже до вступления Литвы в НАТО одну из бывших советских военных баз начали обживать... альпийские горные стрелки из Италии.

До чего же приманчивы *родины просторы*... Моей родины!

НИКОЛАЙ БУРЛЯЕВ

## “СУДЬБА СВЕЛА МЕНЯ...”

### ВЕЛИКИЙ УЧИТЕЛЬ

*Николай Дмитриевич Мордвинов*

В начале 1961 года судьба свела меня с Николаем Дмитриевичем Мордвиновым. Я – московский школьник, приглашённый на роль в театр им. Моссовета. Он – народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, центральная фигура в театре Ю. А. Завадского, любимый мною Котовский, Богдан Хмельницкий, Арбенин... Каждый из этих фильмов я видел по несколько раз. И вот – он становится моим партнёром по спектаклю “Ленинградский проспект”.

На репетициях мы сблизились очень быстро, подружились настолько, что спустя всего несколько репетиционных месяцев, в день торжественной премьеры Николай Дмитриевич преподнёс мне подарок, созданный своими руками. Мои современники помнят, в каких железных коробочках продавались конфеты “монпансье”. Мордвинов срезал стенки до половины, сделал внутри перегородочки, заполнил их гримом, вложил маленькие кисточки и, позвав перед началом спектакля в свою гримборную, находившуюся напротив моей, вручил мне свой подарок. Я прожил с этой реликвией всю свою недолгую театральную жизнь с 1961 по 1968 год.

При первой встрече Мордвинов не потряс меня своим фундаментальным величием. Лысоватый, неторопливый, спокойный, не старающийся выделяться повадками премьеры среди остальных артистов, выглядевший на их фоне, пожалуй, даже наиболее скромно. Так началось моё постижение Мордвинова – живого человека. В спектакле мы играли роли любящих друг друга деда и внука, и эти отношения закрепились и в нашей жизни. Я ощущал, что Николай Дмитриевич относится ко мне не только с теплотой, но и большим уважением как к своему партнёру. Я чувствовал это и не верил себе: кто – я, и кто – он! Я – пятнадцатилетний мальчишка, он – великий артист, увенчанный высшими наградами страны, любимый и почитаемый народом.

Мордвинов в “Маскараде” потряс меня. Я действительно ничего подобного не видел в жизни. На сцене блистал великий классик, романтик театра. Аристократизм пластического рисунка, непередаваемый мелодичный, напевный, иногда раскатистый до надрыва голос. Возможно, в такой манере играли в прошлом, XIX веке. Не странно ли выглядит такая актёрская манера во второй половине XX века? О нет, у Мордвинова не странно. И сегодня, спустя тридцать пять лет, я слышу, словно наяву, его неповторимые интонации: “По-о-слу-у-шай, Ни-и-на, я-я-я ро-о-ждё-ён с ду-у-шо-ой ки-пу-че-ю, как ла-а-ва...” И последние слова монолога, произносимые голосом, восходящим до напевного вопля: “Две на-а-ши жи-и-зни ра-а-а-зо-о-рву-у-у!...” Мороз пробежал по коже, волосы становились дыбом. Я поражался, как это

возможно, играя в подобной классической манере, в каждом спектакле плакать настоящими слезами и быть настолько естественным и заразительным, что и зрители плакали вместе с Мордвиновым.

На всю жизнь я остался благодарен моему Учителю Николаю Дмитриевичу Мордвинову за уроки, преподанные мне.

Именно он открыл мне Лермонтова, которого любил самозабвенно. Много рассказывал мне о пламенной, нежной, бесстрашной душе поэта, развенчивая сплетни о его якобы дурном характере. Он брал меня на свои чтецкие концерты, где я мог наслаждаться его “Мцыри” или “Песней про купца Калашникова...”. Эти уроки Мордвинова о Лермонтове помогли мне спустя двадцать лет, когда я решил на постановку фильма.

Мордвинов научил меня отношению к театру как к храму искусства. Этот урок усваивался сам собою в наблюдениях за отношением к искусству самого Мордвинова. Когда Николай Дмитриевич приходил в театр, театр подтягивался и преображался. Мордвинов не торопясь, величественно шёл, словно плыл по коридорам. Всегда спокойный, доброжелательный, тихий, но за этим покоем и тишиной тайно кипела внутри неудержимая лава, которую он готовился, не расплескав по коридорам, через некоторое время обрушить на зрительный зал. В день спектакля с участием Мордвинова все сотрудники театра становились лучше, возвышеннее, внимательнее к окружающим. Осветители и рабочие сцены воздерживались от громкой речи, актёры – от анекдотов (однажды Мордвинов поведал мне слова, сказанные великим русским актёром Михаилом Щепкиным: “Театр – это храм. Священнодействуй или убирайся вон!”).

С течением времени, сыграв “Ленинградский проспект” десятки раз, я, глядя на работу своих старших (а в общем-то ещё молодых партнёров Ии Саввиной и Вадима Бероева), стал подражать им в манере присутствовать на сцене. Дело в том, что актёры частенько, отворачиваясь от зала, неслышно говорят друг другу различные смешные слова, не узаконенные текстом автора. И я, глядя на своих партнёров, начал участвовать в этом весёлом “подпольном диалоге”. Очень скоро, после очередного спектакля, когда мы все, радостные, шли после поклонов со сцены по своим гримёрным, Мордвинов тихо сказал мне:

“Коля, зайди ко мне”. Когда я вошёл, Мордвинов доброжелательно и спокойно произнёс: “Коля, не уподобляйся артистам, болтающим на сцене”. Не скрою, что мне стало очень стыдно. Одного этого урока мне было достаточно, чтобы запомнить его на всю жизнь.

Были в нашей театральной жизни и смешные моменты, ибо чувство юмора, а подчас и озорство были присущи и Николаю Дмитриевичу.

На одном из выездных спектаклей в каком-то провинциальном клубе все актёры, и мужчины, и женщины, были вынуждены переодеваться в одной большой комнате. И Мордвинов, величественно повернувшись к коллегам, громкогласно изрёк:

“Спокойно – снимаю!” И начал расстёгивать пояс на брюках. Помню, спектакль в тот вечер прошёл особенно радостно и легко.

По режиссёрскому и изобразительному решению декорация “Ленинградского проспекта” – квартира семьи Забродиных – была веером раскрыта на сцене, дабы зрители видели всё, что там происходит, в единой панораме. Однажды, находясь в левой, крайней комнате (смотря в ней телевизор и ожидая реплики для своего выхода в большую комнату), я прислушивался к происходящей в соседней комнате драматической сцене. Ия Саввина, исполнявшая роль Маши, как всегда, задала свой трепетный вопрос любимому ей Борису – Вадиму Бероеву: “Ну скажи, Боря, что это неправда?!” Вадим, как всегда темпераментно, прокричал: “Ой, да правда, ну-у!!...” – и бросился на кровать... И в этот момент я услышал (так как видеть из-за стен декорации не мог) незапланированный грохот и мгновенную реакцию зала, вызывающую в подозрительно ехидном, корректно сдавленном хохотке. Было понятно, что на сцене создалась чрезвычайная ситуация. Дождавшись реплики, предваряющей мой выход, я ворвался в комнату с криком: “Наши, наши выиграли, три – два!...” И увидел следующую картину. Вадим и Ия стоят, отвернувшись от зала, и едва сдерживают смех. В углу кровать с провалённым между подпорами на пол матрасом. Кровать, на которой буквально через пять минут должна по ходу действия скончаться бабушка. Вадим и Ия с радостью покидают квартиру, оставляя нас троих (Мордвинова, Сошальскую и меня)

в сложном положении. Мордвинов спокойно поворачивается ко мне и незаметно для зала произносит: “Ну что, Василёк, давай чинить, ведь бабушке сейчас помирать...” Вдвоём мы подняли с пола матрас, положили его на еле удерживающие его подпорки. Помогли перепуганной В. А. Сошальской тихо присесть, а потом и в ужасе прилечь на “смертное ложе”... Дальше всё прошло, как по нотам: и Мордвинов своей игрой заставил зрителей не только забыть недавний конфуз, но содрогнуться, а многих и прослезиться.

Однажды я, увлечённый разговором с завтруппой и не слышавший закулисной трансляции спектакля, опоздал на свой выход на сцену. Вдруг по репродуктору я уловил встревоженный голос помрежа: “Коля! Коля Бурляев! Скорее на сцену! Коля, Коля Бурляев, где ты?!” Стрелой я свинтился с пятого этажа и, вылетев на сцену, предстал перед изумлёнными глазами Ии, Вадима, Сошальской... и совершенно спокойного Мордвинова. Никто из партнёров не стал бранить меня за это нечаянное опоздание на выход на целых три минуты. Я был наказан за это вскоре опозданием на сцену артиста Баранцева, правда, всего лишь на одну минуту. Но что такое на сцене одна минута существования в ситуации “чёрной дыры”, не прописанной автором, я смог ощутить лично. Итак, на сцене – Мордвинов, Сошальская на своём шатающемся “смертном одре”, Ия Саввина и я. Звонок в дверь. Саввина идёт открывать – за дверью никого... Покричав: “Кто там? Кто там?” – она бжеала с поля боя и скрылась за дверью, оставив нас с Мордвиновым наедине с залом.

Страх от погружения в неизвестность я особого не испытал: ведь рядом был мощный, как скала, Мордвинов. “Ну, рассказывай, Василёк, что у тебя в школе...” – попросил он. И потекла бесконечно долгая минута нашей вынужденной импровизации. Признаться, это было даже интересно – творить совместно, на равных с самим Мордвиновым.

В 1963 году на гастролях театра в Ленинграде актёры жили в роскошной гостинице “Европейская”. Причем мы с Николаем Дмитриевичем располагались на одном этаже и часто могли видаться на завтраке в буфете. Помню, я до костей продрог, прокатившись в промозглую майскую ленинградскую погоду в одной курточке на мотороллере до Гатчины и обратно. Увидев меня, посиневшего, в буфете и узнав, в чём дело, он купил мне, бедному артисту, 50 граммов коньяку и приказал выпить.

По причине безденежья я на этих гастролях “ввёлся” в массовку “Короля Лира”. Ведь за каждый спектакль мне платили по три рубля.

Мне предстояло выйти в свите короля Лира в сцене после охоты. Я решил пофантазировать над обликом моего героя и сделал себе возрастной грим: парик с длинными волосами, усы, бороду, горбатый нос, морщины, седину. Выйдя на сцену со свитой и подпевая в хоре: “Из замка выходит охотник лихой, охотник лихой...”, – я попытался протиснуться поближе к Лиру – Мордвинову и попасть в поле его зрения: узнает или нет. Мне это удалось: Николай Дмитриевич заметил меня и, к моему разочарованию, сразу узнал. “Что это ты с собой сотворил?” – тихо спросил он меня. Всю последующую сцену я сидел у его ног, и мне было весело и уютно подле моего великого и доброго партнёра. Неожиданно Николай Дмитриевич шепнул мне: “Коленька, что-то сердце давит... Пойди ко мне в гримёрную... в пиджаке в нагрудном кармане валидол... принеси...” Я сорвался с места и помчался исполнять просьбу моего дорогого друга. Когда я с капсулой валидола хотел выйти на сцену, я с ужасом заметил, что моя массовка – свита Лира – покинула сцену... Что делать?... Недолго думая и никого не спрашивая, я шагнул из кулис на сцену (считая своим долгом спасти жизнь Николая Дмитриевича) и решительно направился прямо к Мордвинову – Лиру, выяснявшему отношения с одной из своих дочерей. Я не вглядывался в реакцию опешивших актёров, я был занят более важным делом: “Я принес!” – прошептал я Мордвинову и незаметно для зала вручил ему капсулу. Николай Дмитриевич взял её, спокойно сказал мне: “Спасибо, Коленька...”, извлёк таблетку валидола, положил в рот и вернул мне капсулу.

Помню проникновенные и мудрые тосты-речи Мордвинова на театральных вечерах. Тосты эти становились центральным событием застолья, все ждали их и, дождавшись, благоговейно затахали.

Мордвинов поразительно чутко, один из первых отметил начавшееся уже в те годы глумление некоторых модных театральных режиссёров над русской классикой. Как-то он поделился со мною своими впечатлениями от увиденного

накануне нашумевшего по Москве спектакля. Помню его гнев, печаль и слова об издевательствах над великим русским драматургом, создателем пьесы. Признаюсь, что тогда я не понимал гнева Мордвинова, посчитал это излишней возрастной нетерпимостью к театральным новаторам.

С годами процесс глумления над национальной классикой и русской культурой стал очевиден многим, а в конце XX века стало подлежать критике и презрению само стремление немногих театральных коллективов Москвы работать в традициях русской сцены. И сегодня я полностью понимаю гнев великого русского артиста Н. Д. Мордвинова, одним из первых заметившего начало пагубного для русской сцены процесса.

В заключение не могу не вспомнить ещё один, важный для меня урок Николая Дмитриевича Мордвинова, спасшего мою дальнейшую актёрскую судьбу. В пять лет отроду я был испуган подростком-соседом и с тех пор начал заикаться. Но в театре играл совершенно спокойно, не заикаясь вообще.

Было сыграно уже более 100 спектаклей “Ленинградского проспекта”, который шёл уже четвёртый год. Я освоился в своей роли настолько, что чувствовал себя на сцене, как рыба в воде. Всё стало мне родным и привычным. И вот на одном из спектаклей я решил заикнуться. Заикнулся, потом ещё и ещё и, наконец, уже не мог унять заикания. Страх парализовал меня: ведь я выдал зрителям свою тайну – то, что я заикаюсь... Партнёры смотрели на меня с удивлением и жалостью, но ничем помочь не могли. Едва не теряя сознание от страха и стыда, я кое-как доиграл спектакль. Вот и конец... Занавес закрылся. Я побрёл со сцены следом за Николаем Дмитриевичем. Слово магнит, влекла меня за собой его неторопливо плывущая по театру фигура, словно я понимал, что только он один сейчас меня поймёт и спасёт. Я зашёл следом за ним в его гримёрную, молча опустился в кресло. Николай Дмитриевич начал разгримировываться, добро поглядывая на меня в зеркало и не начиная разговор первым.

– Я не могу завтра играть спектакль, – произнёс я наконец, – я уйду из театра.

– Скажи, ты хочешь быть артистом? – спросил Мордвинов.

– Не знаю... Какой я артист... заика...

– Нет, Коля, ты артист. И ты будешь артистом. Знаешь, в цирке у актёров есть такой закон: если артист падает с каната или трапеции, он должен немедленно влезть на трапецию и повторить свой номер. Иначе поселится страх. Ты будешь завтра играть.

Ночь я провёл без сна, бесконечно повторяя в уме текст роли. Еле дождался утра, пошёл в театр, играл и поборол свой страх. Спасибо моему дорогому Учителю...

Мы много играли этот спектакль вместе, записали его на радио, играли отдельные сцены в концертах и на телевидении, играли в Ленинграде, в Киеве...

Как живая, стоит передо мной картина, врезавшаяся в память, я вижу её, словно это было вчера: мы с Николаем Дмитриевичем ожидаем за декорацией наших выходов на сцену. Первым выйдет он, спустя некоторое время – я. Мы молча сидим на стульях друг против друга, внутренне готовимся к встрече с дышащим, покашливающим, притаившимся залом. Мордвинов сидит, положив ноги на соседний стул. Его глаза прикрыты. Я люблюсь своим великим партнёром. Вот он – такой родной, дорогой моему сердцу...

– Неужели же это счастье когда-нибудь закончится? – задаю себе вопрос, влюблённо разглядывая Мордвинова. – Неужели он когда-нибудь умрёт... и всё закончится?

С тех пор прошло уже 35 лет. Мордвинова давно уже нет среди нас. Обеспаматевшие критики и средства массовой информации не желают вспоминать о том, что в истории русского театра был великий Мордвинов. Что именно ему Россия обязана тем, что сохранила свою душу. Мордвинов, Черкасов, Ливанов, Козловский и другие светочи русской сцены пели песню русской, православной, великой и чистой души в годы атеистического безвременья. Они явились духовным мостком, перекинутым от прежней России в Россию будущую. И эта грядущая Россия помянет всех, кто честно служил ей. Помянет и великого русского артиста и человека Николая Дмитриевича Мордвинова.

## БЫТЬ ПЕРВЫМ НА РУСИ – ТЯЖЁЛЫЙ КРЕСТ

Сергей Бондарчук

Бондарчук... Произносишь эту фамилию – и сознание мгновенно рисует образ кинематографического исполина: всегда красивого и элегантного, окружённого недосыгаемым ореолом избранника, баловня судьбы, казалось, рождённого для жизни на творческом и общественном Олимпе. Безусловный вожак, лидер, авторитет. Открывающий любые двери, народный артист, лауреат различных премий, депутат Верховного Совета, Герой Соцтруда, профессор, “оскароносец”, свободно колесящий по миру, снимающий всё, что пожелает, и даже за границей. Разве “стая” могла ему это простить?..

1961 год

### Первый взгляд на “живого Сергея Бондарчука”.

Параллельно со съёмками “Иванова детства” снимаюсь у Г. Рошаля в “Суде сумасшедших”. Летаю из приднепровских болот в роскошную Ригу. В один прекрасный день на нашем корабле переполох: драят палубу, начищают до блеска всё, что способно заблестеть. Почему-то шёпотом произносят: “К Скобцовой должен прилететь Бондарчук”. И – вот он, прилетел!

Счастливая молодая пара. Все и вся вертится вокруг планеты под названием “Бондарчук”.

Уж не помню, представили ли меня ему. Да если и представили, заметил ли он меня, четырнадцатилетнего, никому не известного мальчика? А я влюбился в него с первого взгляда и на всю жизнь. Как за несколько месяцев до того, придя на пробы к Андрею Тарковскому, я влюбился в Андрея, и тоже с первого взгляда, и так же на всю жизнь.

Ныне, когда их обоих призвал Господь, подавая в храме поминальные записки, я пишу рядом имена Сергея и Андрея и твёрдо знаю, что там, где нет скорби, вздыханий и сплетен, они вместе взирают на нас, грешных, с надеждой и любовью; они вместе укрепляют наши души.

Здесь, на земле, им не позволили быть вместе...

Вскоре Бондарчук начал снимать “Войну и мир”, и завистливая кинематографическая и околкиношная клоака закопошилась, зашипела, начала оттачивать жало и накапливать яд, чтобы вскоре укусить побольнее: “Бондарчук-то на Толстого замахнулся!.. Куда ему!.. Это будет провал!.. Какой он Пьер Безухов?.. Какой Тихонов – князь Болконский?..”

1963 год

Увидел Бондарчука во второй раз. “Мосфильм”, длинный коридор старой тон-студии. Иду из правого крыла и вижу, как из левого на меня надвигается большая кавалькада. Неумолимо, как на дуэли, сближаемся и сходимся в холле. Вижу в центре кавалькады две фигуры – Бондарчук и министр культуры СССР Фурцева.

Вот они, в трёх метрах, хочу скрыться, провалиться сквозь землю...

Бондарчук смотрит на меня, улыбается, манит рукой, просит подойти. Раз просят, не убегаю же, подхожу, пожимаю протянутую Бондарчуком руку.

– Вот, – говорит он Фурцевой, показывая на меня, – это тот самый Коля Бурляев, герой “Иванова детства”.

Фурцева протягивает мне руку, пожимаю, не слышу, что она говорит мне. Процессия проходит мимо.

А я, счастливый, ошеломлённый случившимся, бреду дальше по коридору: “Надо же, я известен самому Бондарчуку?!..”

Закулисные кривотолки сопровождали весь период подготовки, создания и проката “Войны и мира”.

Уши людей открыты сплетням и слухам. К моменту выхода в свет этого фильма мои друзья, старшие коллеги, слову которых я абсолютно доверял, столько наговорили мне отрицательного о картине Бондарчука, что я поверил...

Лишь спустя почти три десятилетия, когда “Войну и мир” показали по телевидению, я был потрясён величиим кинематографического подвига Сергея Фёдоровича Бондарчука. Конгениальная, классическая киноверсия толстовского



романа! Великая режиссура мастера, которому подвластны не только эпический охват баталистики (который, я уверен, никогда не превзойдёт ни один режиссёр в мире), но и филигранное, тончайшее по психологизму крупноплановое творчество.

Феноменальное соединение макро и микро: космический полёт духа и погружение в глубины тончайших движений души; слияние и гармоничное взаимодействие светлого разума и доброго сердца художника, исполненного любви к человеку и всему сущему на земле; жадное впитывание и переплавление в себе сокровищ русской и мировой культуры и созидательное творчество во славу Господа и человека; любовь и служение своему Отечеству – вот слагаемые гения Бондарчука.

Едва дождавшись окончания фильма, я позвонил Сергею Фёдоровичу и высказал то, чем было переполнено моё сердце, признавшись, что увидел “Войну и мир” впервые лишь сегодня, невольно поверив в шестидесятых годах слухам, распространяемым “друзьями”.

1972 год

Судьбе было угодно, чтобы я породнился с Сергеем Фёдоровичем, соединив свою жизнь с его старшей дочерью Натальей.

Наши отношения приобрели новый, “родственный” оттенок.

Мы виделись на “Мосфильме”, во ВГИКе, иногда приезжали домой или на дачу к Сергею Фёдоровичу в Барвиху. И каждая встреча была счастливым событием. Он называл меня по-украински Мыколой, шутил, рассказывал анекдоты, но иногда делился сокровенными мыслями о творчестве, о людях, о политике.

В 1998 году, проплывая на теплоходе кинофорума “Золотой Витязь” по Днепру и пройдя Запорожье, родину моих предков, запорожских казаков, мы через несколько часов подошли к Херсону и посетили родину С. Ф. Бондарчука, Белозёрку. И только здесь меня осенило: Боже! Да ведь мы же земляки! Всего-то несколько десятков километров друг от друга жили наши вольные прадеды. Мы из одной земли, от одних корней.

1975 год

Выпускники ВГИКа Наталья Бондарчук, Игорь Хуциев и я завершили на “Мосфильме” постановку наших дипломных новелл по роману Салтыкова-Щедрин “Пошехонская старина”, соединив их в единый фильм, и предложили Сергею Фёдоровичу поработать с нами в качестве актёра, прочитать в фильме текст от автора. Он, занятый постановкой своего нового фильма, сразу же согласился и назначил день и час, когда придёт к нам на озвучивание. Попросил, не откладывая, принести ему тексты.

В назначенное время мы “конвоем”, через весь “Мосфильм” сопроводили его в тон-студию. Войдя в тёмное тон-ателье, Сергей Фёдорович разложил на пюпитре перед микрофоном тексты. Великий профессионал, актёр Бондарчук был абсолютно готов к работе – он их выучил наизусть.

Мы, начинающие режиссёры, замерли у окна в соседней микшерской комнате, не смея давать указаний мастеру. Так, в полной тишине, в которой звучал лишь гипнотический голос великого артиста, прошло несколько минут.

Сергей Фёдорович вживался в образ Салтыкова-Щедрин, искал верную интонацию, тембр, не удовлетворённый достигнутым, командовал: “Ещё раз!”, “Ещё дубль!” Наконец, обратился к нам:

– Режиссёры! Чего молчите? Какие будут замечания?

А режиссёрам всё нравилось – какие там замечания! И всё-таки кто-то из нас “для приличия” отважился внести лёгкую коррекцию.

Сергей Фёдорович с готовностью исполнил просьбу.

Особенно мне запомнилось, с какой изнурительной самоотдачей озвучивал он последние слова автора “Пошехонской старины”:

– Я люблю Россию до боли сердечной и желал видеть Отечество моё счастливым.

Наверное, около двух десятков раз Сергей Фёдорович просил ещё и ещё дубль, пока, наконец, не вздохнул облегчённо:

– Стоп! Ну, кажется, попал!..

## Бондарчук и Тарковский

Равно любимые и дорогие для меня люди. Отношения этих двух гениев ещё требуют своего изучения и расчистки от наслоений сплетен и домыслов. Как я радовался, когда С. Ф. Бондарчук предложил вечно опальному Андрею работать в его Объединении и под его защитой на “Мосфильме”! Это был период, когда два гения сердечно потянулись друг к другу и даже строили планы совместной работы над фильмом о Достоевском. Да не тут-то было! Их развели. Нашептали Андрею о “коварстве Бондарчука”, который-де непременно воспользуется доверчивостью Тарковского... И заключительным аккордом стал инцидент в Каннах. С. Ф. Бондарчук был приглашён в Канны как член жюри. А. А. Тарковский участвовал в конкурсе с фильмом “Зеркало”. Жюри не присудило “Зеркалу” главную премию. И пресса повесила провал фильма на совесть Бондарчука.

Многие читали сплетни об этом. А что же было на самом деле? Когда Сергей Фёдорович вернулся из Канн, при первом же нашем общении я задал ему вопрос: “Ну, как новый фильм Андрея?”

Его отзыв о картине был достаточно спокойным. Фильм ему не понравился, и он чисто профессионально объяснил, почему его этот фильм не захватил. Естественно, я задал вопрос: “Вы голосовали против?”

— Да нет, — ответил Сергей Фёдорович, — я воздержался.

...Спустя несколько лет, когда не стало Андрея Тарковского, я посетил его могилу во Франции, на кладбище Сен-Женевьев де Буа.

Встретившись в Париже с Отаром Иоселиани, я выслушал его рассказ о “каннском инциденте”. Он тогда спросил одного из членов жюри:

— Правда ли, что Бондарчук голосовал против “Зеркала”?

— Нет, — ответила она. — Бондарчук вообще ничего о фильме не говорил. И если бы он что-то сказал против фильма, это лило бы воду на мельницу Тарковского.

— Я пересказал Андрею этот разговор, — продолжал Отар, — он обернулся к своей жене и сказал: “Вот видите, Лариса Пална, у Отара совершенно другая информация...”

— Нет! — вскричала жена. — Я знаю! Бондарчук послан КГБ, чтобы не дать вам премию!..

1984 год

Как-то, приехав к Сергею Фёдоровичу на дачу, я рассказал о четырёхлетних хождениях по мукам со своим сценарием “Лермонтов”. О том, что писал сценарий для студии “Грузия-фильм”, но там его отвергли по причине моего утверждения добрых отношений между Россией и Грузией.

Потом два года “Лермонтов” стоял в плане Гостелерадио, а меня всё не запускали. Хотела запустить Одесская киностудия — не позволил Лапин: “С какой стати Лермонтов в Одессе?..”

— Годы идут, ещё немного, и я не смогу играть Лермонтова чисто физически. Я просто не знаю, что мне делать.

— А ты ставь у меня в Объединении, — предложил Сергей Фёдорович то, о чём я и мечтать не смел.

Пригласив меня в своё Объединение, Сергей Фёдорович никак практически в дальнейшем не участвовал в создании моего фильма: не приходил на худсоветы, не смотрел отснятого материала, ни во что не вмешивался, предоставив мне полную свободу... Он был поглощён созданием “Бориса Годунова”.

Но сам факт, что мой проект поддержан Бондарчуком, что его крыло незримо было распространено надо мною, помог мне пройти все подводные рифы и завершить картину.

Лишь однажды, чувствуя, что худсовет без его поддержки может зарезать мне несколько сцен, я попросил Сергея Фёдоровича прийти на помощь. И он пришёл. И когда кто-то из советчиков предложил вырезать из фильма сцену с гадалкой Кирхгоф, мол, негоже в советском кино о гадалках, он спокойно сказал, что, на его взгляд, это — одна из лучших сцен в фильме. Полушута обронил фразу о том, что может рассказать, кто из членов Политбюро ездит к Джуне, а кто — к Ванге... И проблема с “обрезанием” отпала. Потом Бондарчук

пришёл на просмотр готового фильма. Дал несколько профессиональных советов и поздравил с завершением труда.

Как-то я сказал Сергею Фёдоровичу о невероятной, бескорыстной поддержке фильма “Лермонтов” окружающими людьми, предоставляющими все услуги бесплатно, по зову русского сердца: распахнутые двери дворцов и музеев и даже самого Кремлёвского дворца, бесплатно предоставленные в моё распоряжение войска Северо-Кавказского округа, вертолёты, конница...

— А как, ты думаешь, я снимал “Войну и мир”? Точно так же. Без поддержки народа фильм не мог бы состояться...

Когда Сергей Фёдорович снимал в Ленинграде “Красные колокола”, мы снимали там же телефильм “Медный всадник”. Однажды мы подъехали на Дворцовую площадь, прошли сквозь оцепление туда, где подле Александрийского столпа, как потерянный, бродил режиссёр. Кругом всё клокочет, десяти тысячная массовка бежит по прилегающим к площади улицам к Зимнему дворцу. Снимают параллельно семь камер. Одна из них закреплена на вертолёте, с рёвом кружащемся над площадью. Ветродуи гонят по площади пиротехнические дымы, невообразимый хаос, шум, стрельба, взрывы...

— И как ты всем этим управляешь? — спросила Сергея Фёдоровича его дочь.

— Не знаю, — повёл он плечами. — Да оно как-то само...

1992 год

Прошёл Первый международный кинофестиваль “Золотой Витязь” в Москве. И первую премию “За выдающийся вклад в кинематограф” получил Сергей Фёдорович Бондарчук.

Пройдёт ещё три года, и не станет великого Бондарчука, и награда Все-славянского кинофорума “Золотой Витязь” “За выдающийся вклад в кинематограф” будет навечно носить его имя, и его гордый профиль будет отчеканен на золотой медали.

Пройдёт ещё немного времени, и будет открыта Киноакадемия имени С. Ф. Бондарчука, в которой будут воспитываться кадры для русского национального кинематографа.

А теперь несколько документальных зарисовок из моего дневника.

6 июня 1986 года

Вечером заехал на дачу к С. Ф. Он сидел в бане, работал, писал новый сценарий — “Вишнёвый сад”.

Вместо предполагаемых 10 минут я пробыл у него три часа. Говорил главным образом Сергей Фёдорович. Он был эмоционально взведён. Рассказал, как на V съезде кинематографистов пообщался с Тамарой Фёдоровной Макаровой (после разгрома моего “Лермонтова”).

— Вы видели “Лермонтова”? — спросил он её.

— Да, Серёжа, фильм несовершенный. Коле надо было учиться...

— А вы знаете, — сказал Сергей Фёдорович, — что это первый фильм в мировом и советском кино, показывающий зло, мешающее людям жить...

— А какое это зло?

— Надо читать книжки, — улыбнувшись, сказал своей учительнице Сергей Фёдорович.

12 июля 1987 года

Вечером поехали на дачу к Сергею Фёдоровичу. И, конечно же, значительную часть вечера мы говорили о “союзной” шпане...

Потом мы заговорили о русских пророках: Пушкине, Лермонтове, Есенине, о планомерном истреблении силами зла тех, кто может быть *любезен народу*, пробуждая в нём своей лирой *добрые чувства*, соединяя народ в едином, светлом, патристическом порыве.

— И Шукшина тоже убили, — вдруг задумчиво произнёс Бондарчук. — И я даже знаю, кто это сделал.

Лето 1994 года

Пришёл домой к Сергею Фёдоровичу, не ведая, что это наша последняя в жизни встреча, не мог допустить мысли, что и Бондарчук не вечен.

Попили чаю, поговорили о разном и простились... Как оказалось, навсегда. Через три месяца великого Сергея Фёдоровича Бондарчука не стало. “Что ж, веселитесь! Он мучений последних вынести не смог...”

Гроб с телом Сергея Фёдоровича мы несли плечо к плечу с человеком, с которым нас связывает 40-летняя дружба, – с Никитой Михалковым. Я смотрел на него и думал (не помню, сказал ли ему об этом на поминках):

– Теперь только держись. Ты принимаешь эстафету. Быть первым на Руси – тяжёлый крест.

### **“Я ГРУДЬЮ ШЁЛ ВПЕРЁД. Я ЖЕРТВОВАЛ СОБОЙ...”**

Юрий Селезнёв

*Личность духовная осознаёт свою причастность вечной жизни мира и потому даже перед лицом смерти своего личного “я” принимает жизнь, приветствует и благословляет.*

Ю. И. Селезнёв

Вновь перелистываю книгу “Достоевский” – основной памятник подвижнической жизни Юрия Ивановича Селезнёва, вчитываюсь в цитаты, выбранные автором из творений Ф. М. Достоевского в качестве эпиграфов к главам книги:

“Клянусь тебе, что я не потеряю надежду и сохраню дух мой и сердце в чистоте”.

“Не потеряйте жизни, берегите душу, верьте в правду, но ищите её пристально всю жизнь, не то ужасно легко сбиться”.

“В несчастьи яснее истина”.

“Всякий, кто захотел истины, уже страшно силён”.

“От народа спасение Руси... берегите же народ и оберегайте сердце его”.

“Лучшие люди должны объединяться”.

Думаю, это смело можно назвать заповедями жизни Ю. И. Селезнёва. Выбор цитат автором всегда не случаен; избирается то, что созвучно его душе. Безусловно, программны для Юрия Ивановича и слова Н. В. Гоголя, приведённые им в статье “Созидающая память”:

“Другие дела наступают для поэзии... как во время младенчества служила она тому, чтобы вызвать на битву народы... так придётся ей теперь вызывать на другую, высшую битву человека – на битву уже не за временную нашу свободу, права и привилегии наши, но за душу...”

Именно за душу человека, за её чистоту и возвышение боролся Ю. И. Селезнёв. “Поэт-воин, боец, трагически идущий навстречу катастрофам в самое пекло хаоса, ибо только собственным участием в борьбе можно определить, хотя бы и ценой собственной гибели, исход этой борьбы” – эти слова Юрия Ивановича о Тютчеве целиком относятся и к самому их автору.

Да, только собственным участием в борьбе можно определить её исход. Это жизненное кредо Ю. И. Селезнёва, эта магистральная мысль его бытия прозвучала в художественном фильме “Лермонтов”, когда Юрия Ивановича уже не было среди нас. Они прозвучали из уст Михаила Юрьевича Лермонтова, героя последней, не воплотившейся книги Ю. И. Селезнёва. Не только рукописи, но и мысли человеческие не горят, не исчезают, но как эстафета передаются окружающим, укрепляя их сердца. Не написана книга Юрия Ивановича о Лермонтове, но многие положения предполагаемой книги, мысли, гипотезы, утверждения вошли в наш фильм о великом русском поэте. Я благодарю судьбу за то, что она подарила мне три встречи и десяток телефонных диалогов с Юрием Ивановичем до того, как оборвалась его жизнь, до того, как началась жизнь фильма “Лермонтов”.

7 апреля 1984 года на сцене московского Дома журналистов я рассказывал о четырёхлетней работе над лермонтовской темой, о желании снять фильм о великом поэте. После вечера ко мне подошёл человек и сказал, что есть такой Ю. И. Селезнёв, замечательный литературный критик и писатель, автор книги о Достоевском, создающий сейчас для “ЖЗЛ” книгу о Лермонтове, и что нам просто необходимо с ним повстречаться. Человек этот был близким другом Юрия Ивановича. Он при мне позвонил Ю. И. Селезнёву и так же темпераментно, как только что говорил мне о Юрии Ивановиче, стал говорить ему обо мне и заключил тем, что мы непременно должны увидеться. Так состоялось наше заочное знакомство. В этот же вечер наш настойчивый “сводник” вручил мне книгу Юрия Ивановича “Достоевский”.

Книга меня ошеломила, открыла новое мощное явление в нашей литературе, талантливого писателя и мыслителя, гражданина. Духовная устремлённость к идеалу, позитивность исканий, речь без иносказаний, нравственная чистота, бесстрашное упоение боем — всё было прекрасно в этой удивительной книге, а значит, и в её авторе. Появилось необходимое желание увидеть этого человека: душа потянулась к душе. Следом я “проглотил” книгу Ю. И. Селезнева “Мысль чувствующая и живая” и открыл для себя нового литературного критика.

Через несколько дней, в пасхальную ночь мы с другом Юрия Ивановича подъехали к его дому. Хозяин с нетерпением ожидал нас, стоял у окна, махал нам рукой. Мы ещё выходили из лифта, а Юрий Иванович, не дожидаясь нашего звонка, широко распахнул дверь, встречая нас на пороге. Презрение к чопорному столичному этикету, нежелание соблюдать регламент, но жизнь по правде, по устремлению души, любовь к ближнему — вот что заключалось в этом порыве. Внутренняя мощь и душевная деликатность — на пороге нас встречал улыбающийся Юрий Иванович Селезнёв. До этого мгновения я не раз мысленно спрашивал себя: каков он, Селезнёв?.. Как часто ожидаемое не совпадает с действительным! Но тут — совпало: книги и их автор. И немудрено: ведь слово и дело было едино для Юрия Ивановича Селезнева. Итак, вот он: красивый, голубоглазый, приветливый, сильный, статный витязь из народной былины. Долгое, крепкое рукопожатие... “Именно таким я вас и представлял...” — не удержался я от признания.

Сближение произошло мгновенно. Я полностью впустил Юрия Ивановича в своё сердце, хочется думать, что это было взаимно. Было видно, как доволен наш “сводник”. Он тактично отошёл на второй план, не прерывал наш диалог, переводил взгляд с одного на другого. Мы говорили о многом, но доминировали две темы: Достоевский и Лермонтов. Юрий Иванович внимательно выслушал мой рассказ о работе над сценарием фильма о Лермонтове, о четырёхлетних хождениях по кругам киноинстанций, о битвах за право постановки фильма о великом поэте.

В эту пасхальную ночь зашёл разговор о Христе и христианстве, о жертве человека во имя всеобщей гармонии, о подвиге. Помню, Юрий Иванович высказал тогда интересную мысль:

— Как теперь облучают раковую опухоль, так Христос явился светлым спасительным лучом в самое пекло корысти, к исчадию ада...

Кто-то задал вопрос: “Почему фарисеи не вняли спасительным речам Христа?” Юрий Иванович рванулся из-за стола в другую комнату и через мгновение вернулся с книгой в руках; быстро нашёл интересующее его место в “Евангелии от Иоанна” и прочёл:

— “Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слова Моего. Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он лжец и отец лжи... Вы потому не слушаете, что вы не от Бога”.

Позднее эта мысль Юрия Ивановича о “светлом луче, направленном в самое исчадие корысти”, прозвучала в фильме “Лермонтов”...

Уединившись с хозяином в его кабинете, я задал ему вопрос: “В какой стадии ваша работа над Лермонтовым?”

— Мне осталось прочитать совсем немного, около сорока авторов, и я начну писать. Видимо, это будет через пару месяцев. Я должен знать всё, вплоть до того, какие на мундире Лермонтова были пуговицы во время встречи с Белинским... Вы читали эту книгу?

Юрий Иванович протянул мне редкую книгу Нарцова, изданную в 1914 году, исследующую род Мартыновых, убийцы Лермонтова. Он обратил моё внимание на герб рода Мартыновых, на котором красовались масонские символы: три шестиконечных звезды и карающий меч в руке, протянутой из облака.

— Любопытно, — сказал Юрий Иванович, — этот герб был обнародован единственный раз в четырнадцатом году и до сего дня ни разу не печатался в наших лермонтоведческих книгах...

В тот вечер я оставил Юрию Ивановичу на прочтение мой сценарий о Лермонтове.

Вскоре состоялась наша вторая, пожалуй, самая важная встреча с Юрием Ивановичем. Он говорил о своём впечатлении от сценария, высказывал свои мысли о Лермонтове вообще, открывал новое для меня, неназойливо направлял. Теперь многие отмечают, что Юрий Иванович торопился жить, не позволял себе болтать о несущественном, но только о самом главном. Так было и в этот раз. Но вместе с этой эмоциональной устремлённостью к цели я навсегда запомню ту форму, в которой Юрий Иванович говорил со мной, сидящим перед ним автором: ни тени менторства, великодушный такт, доброжелательство, товарищество. Он говорил, я конспектировал заинтересовавшие меня мысли. Теперь глубоко сожалею, что записывал не всё. Не исключено, что Юрий Иванович в тот день щедро делился со мной материалами, собранными для своей книги. Он говорил о том, как важно снять о Лермонтове достойный фильм. Дома я расшифровал свой конспект.

Привожу запись без литературной обработки, в том виде, в каком она легла в тетрадь.

1. Не делайте Лермонтова злым...

2. Должна отчётливее выявиться основная идея фильма: осознанное самопожертвование российского гения в борьбе с силами зла.

3. Лермонтов мыслит всей Россией, Вселенной. В каждой фразе Лермонтова звучит весь мир: “Я вдруг нашёл себя, в себе одном // нашёл спасенье целому народу...” Говоря о себе, Лермонтов говорит о целом мире.

4. “Личность начинается не с самоутверждения, но — с самоотдачи”. Слово и поступок — едины, неразделимы. На деле докажи то, что дерзнул утверждать. Миссия, подтверждённая судьбой. Пушкин не стал бы Пушкиным, не прими мученической смерти за свои убеждения. С его гибелью сотворённое им вспыхнуло, осветилось новым светом. Таков закон: подтверди жизнь. Его не за жену убили — за знание первопричин зла и способность противостояния злу. Какое значение имеет моя жизнь на Земле, если она не послужила народу, человечеству, созиданию гармонии по образу и подобию высшей гармонии, отзвук которой люди слышат в своих душах. Факел истины не погаснет. Пушкин нёс его за всех нас на Руси, и мы не дали его обронить. Собыют с ног меня — поднимется в России другой человек.

5. Фильм должен нестись к своему идейному исходу, финалу: от рождения Лермонтова к... Вечности!

6. Лермонтов не должен бояться смерти, он презирает её. Приближающаяся гибель не страшна ему “и нам, зрителям”, он выше смерти: “кто близ небес, тот не сражён земным”.

Он смеётся в глаза смерти (очевидцы отмечали, что он с улыбкой стоял под дулом пистолета). Подвиг жизни Лермонтова: самопожертвование во имя Добра, Свободы, “Правды в сердце человека”, души, всеобщей гармонии.

7. На мою реплику: “К вам нужно приставлять охрану!” — Юрий Иванович печально улыбнулся и сказал:

— Нужно действовать... Ведь кто-то же должен. Разве мы не у себя дома живём? Не в России?... Неужто станем бояться? Надо спокойно делать дело своей совести. Говорить народу правду. Люди услышат и подумают: “Значит, можно её говорить и жить так, как он. Ведь он-то смог... А чем я хуже?! Скажу и я!”

8. Нельзя впадать в назидательность. Когда Лермонтов “цитирует себя”, он должен это делать с иронией: мол, “когда-то я писал...”.

9. Монго-Столыпин, родственник Лермонтова, лентяй, светский лев, “Печорин, возлежащий на коврах...” Он бессознательно — или сознательно? — дважды приводил Лермонтова под пулю: на дуэли с де Брантом и Мартыновым. Согласно правилам чести, “честно” привёл М. Ю. к роковому барьеру.

После убийства Лермонтова всю жизнь хранил тайну о его смерти. Он был милостиво выпущен в отставку и столь же милостиво отпущен за границу.

“Друзья” довели Лермонтова до дуэли. “Друзья” стреляли в упор. Всё здесь тайна. И убийство Л. нужно оставить загадкой.

10. Известен факт, что горцы на Кавказе не тронули Лермонтова; они показывали на него в бою своим товарищам, чтобы не стреляли в поэта.

11. Ключ к образу Мартынова в кличке Мартышка – подражатель, кривляка, передразнивающий Лермонтова, писавший графоманские стихи и прозу на темы, которых касался в своём творчестве Лермонтов. Лермонтов – Мартынов. Моцарт и Сальери, Бог и дьявол, истина и ложь, “Я” вселенское, ответственность за грехи всего мира, вселенская совесть и “я” мелкое, бесовское. Мартынов убивает истину и в себе, и в другом человеке.

12. Юрий Иванович аргументированно доказал, что стихи “Прощай, немытая Россия...” написаны не Лермонтовым. Но несмотря на отсутствие автографа, их упорно стараются приписывать Лермонтову. Знал бы Юрий Иванович, что через три года после его ухода из жизни московские кинокритики, роem налетевшие на едва родившийся фильм и вонзившие в него 27 ядовитых жал задолго до выхода на экран, станут упрекать фильм в отсутствии “немытой России” и издеваться над словами героев о любви к Отечеству, называя их “пасхальными” и “выспренними”.

13. Юрий Иванович высказал интересную гипотезу по поводу компании, вертевшейся вокруг Лермонтова последние два года его жизни, именуемой лермонтоведением “кружком шестнадцати”. Он говорил, что как раз разрабатывает эту тему, исследует нити, тянущиеся в иезуитский орден. . .

Все “кружковцы” – юные отпрыски семейств, приближенных к императору. Что общего могло быть у Лермонтова с этой “золотой молодёжью”?

В 1840 году во время высылки Лермонтова на Кавказ члены “кружка шестнадцати” покинули Петербург одновременно с поэтом. В 1841 году на время отпуска М. Ю. “шестнадцать” съехались вслед за поэтом в Петербург и окружали его в столице. Когда Лермонтова вновь выслали на Кавказ, и он оказался в Пятигорске, многие “кружковцы” снова оказались подле Лермонтова. Несколькo человек из их числа присутствовали при убийстве Лермонтова. Потом подтасовывали показания и все как один всю жизнь сохраняли тайну о подлинных событиях у подножия Машука. Что же это за “кружок”?

Может быть, это своеобразная организация по ликвидации М. Ю. Лермонтова? . .

14. “Не вернусь я с Кавказа. . .” Лермонтов повторил это раз десять, разным людям. Он знал, что не вернётся. . .

15. “Если не можешь купить – убей!” – клич тёмных сил, клеветников из шайки Нессельроде. Нессельроде и К<sup>0</sup> – подле Пушкина, потом они же – подле Лермонтова.

Третья и последняя встреча была кратковременной. Солнечным майским днём я заехал к Юрию Ивановичу выслушать его мнение о моей повести и стихах. Хозяин был, как обычно, красив и бодр; казалось, наши контакты теперь будут постоянны и долговременны, ничто не предвещало скорого прощания навсегда. Юрий Иванович говорил, что нужно освобождаться от концентрации на личных поэтических переживаниях, стремиться к осознанию себя как частицы всего народа. Снова говорил о том, что нужно жизнью своей подтвердить истинность написанного тобой. От этой встречи осталась дарственная надпись Юрия Ивановича на его книге “Мысль чувствующая и живая”. Позволю себе привести эти дорогие для меня слова: “Николаю Бурляеву – с почтением к таланту и глубокой симпатией к человеку – на соратничество. Сердечно Юрий Селезнёв. 22. V. 84”.

Съёмки картины начались через несколько месяцев после смерти Юрия Ивановича, но я ощущал его постоянное, незримое присутствие. Многие мысли Ю. С. Селезнёва воплотились в фильме “Лермонтов”. Сегодня я с радостью обнаруживаю, что до сих пор было известно мне одному – фильм “Лермонтов” посвящается памяти Юрия Ивановича Селезнёва. И ещё: его памяти были посвящены и стихи. Прошу не судить строго их поэтическое достоинство, они написаны от сердца. Вполне осознанно отправной точкой явилось лермонтовское “На смерть поэта...”. Несмотря на то, что Юрий Иванович

встретил свой смертный час в четырёх стенах чужого жилья, в моём сознании он пал на поле боя, ибо каждый миг его духовного бытия был очередным Божиим просветлённой души. Его бесстрашие рождено знанием простой истины: добрые, духовные дела человека не подлежат тлению. Они бессмертны.

*Погиб России светлый воин  
На поле брани с клеветой.  
Навечно славы удостоен,  
Свой подвиг совершив земной.*

*Ты был певцом души народной  
Издревле мудрой, удалой,  
Непобедимой и свободной...  
Ты пал за честь страны родной.*

*Язвил чело венец терновый;  
Избранник гордо шёл вперёд,  
Собой пожертвовать готовый  
За Свет, за Правду, за Народ.*

*Был чист славянскою душою,  
Красив и светел скифский лик;  
Пленяя ближних красотой,  
В словах и деле был велик.*

*Пред злой ордою Русь спасая,  
Под стрелы выходил звонарь:  
Он сердце нёс, не размышляя,  
На светлый Родины алтарь.*

*Ты весь был — Правда и Свобода;  
Мог неподкупный голос твой  
Стать эхом русского народа...  
Но враг расправился с тобой.*

*Ты был предтечей перелома.  
Ты шёл бесстрашно на врагов.  
“Ужель хозяин в светлом доме  
Бояться станет пауков?”*

*Помянут будешь ты любовью,  
Жизнь положивший за любовь.  
Ты защищал свою кровью  
Поэтов праведную кровью...*

### **Писатель русской Атлантиды**

**В. И. Белов**

Первая личная встреча с Василием Ивановичем состоялась в 1986 году, когда я закончил съёмки “Лермонтова”, а В. И. Белов опубликовал в “Нашем современнике” роман “Всё впереди”. Либеральная пресса распинала параллельно и роман, и фильм. Причина — неприятие нашей журналистской “пятой колонной” как самого русского духа, породившего и роман, и фильм, так и намёков на влияние на Русское бытие чуждых сил.

Во время нашей очной встречи на премьере “Лермонтова” в Вологодском кинотеатре Василий Иванович высказал мне слова духовной поддержки. Вскоре мы вновь увиделись в Москве. Соединившись в доме нашего общего знакомого оператора А. Заболоцкого, мы вчетвером с В. И. Беловым



и В. П. Астафьевым двинулись в Великий Новгород на празднование Дней Славянской письменности и культуры. Спускаясь по лестнице, я оглянулся на выходящих вниз классиков и заметил:

- Сила едет в Новгород...
- Несметная... – на лету подхватил Виктор Петрович Астафьев
- Врагу не устоять... – улыбался Василий Иванович, придерживаясь за перила.

У всех было замечательное боевое настроение и осознание своей общности, а потому и реальной силы. В купе мы ехали вчетвером, а в соседних купе и вагонах “поезда русских классиков” – Распутин, Бондарев, Бондарчук, лучшие писатели, артисты, певцы, хоры и ансамбли России. Лёжа на верхней полке, слушая воркование Белова и Астафьева, попивающих чаёк, я думал: “В этом поезде собран весь цвет Русской культуры... А ну, враг додумается пустить нас всех разом под откос...” Здесь же, под стук колёс, я узнал о том, что киностудия “Беларусь-фильм” купила право постановки “Всё впереди”, а режиссёра пока нет. Не долго думая, я решил поставить этот фильм. Василий Иванович и худрук объединения Виктор Туров одобрили мою кандидатуру.

Работа над сценарием продиктовала весьма значительное переосмысление прозаической основы, некоторые отступления и дополнения. В результате сценарий получился по мотивам первоосновы Василия Белова. Зная, как некоторые авторы болезненно относятся к прикосновению чужих рук к их детищу, я с трепетом ожидал гневной реакции Василия Ивановича. Но к великому удивлению, получил его одобрение. Это был первый великодушный поступок писателя Василия Белова по отношению ко мне. Второй не менее поразительный поступок совершился в конце работы над фильмом. Признаюсь, что в моей режиссёрской практике не было более сложной постановки. Сложной не по обилию героев, декораций, массовок. В сравнении с предыдущей работой, киноэпопеей “Лермонтов”, во “Всё впереди” всего было на порядок меньше: количество участников съёмочного процесса не 5000, а всего-то 70; исторических декораций строить не нужно; актёров на два порядка меньше, массовки практически нет вообще... Сложность состояла в “человеческом факторе”. Казалось бы, всё должно спориться, ведь в группе собрались патриоты-единомышленники, любящие автора и его роман, понимающие всю меру ответственности за результат, желающие создать достойное произведение. Невольно вспомнишь мысль Пушкина, говорившего: “Спаси нас Бог от друзей, а с врагами я справлюсь сам”. В группе создалась напряжённая обстановка. Царила атмосфера взаимного непонимания, иногда доходящего до обиды. Кое-кто из единомышленников стремился отстранить меня от постановки фильма. Конфликт мог разрешить только автор – Василий Иванович Белов. Его пригласили в Минск, накачав негативной информацией в адрес режиссёра, “заваливающего” проект. После просмотра все поднялись в кабинет руководителя объединения В. Т. Турова. Начали по кругу высказываться о том, что роман и сценарий были хорошими, а материал... Круг должен был замкнуться на авторе. Все ждали его приговора. Двадцать пар глаз были устремлены на В. И. Белова. В кабинете воцарилось молчание. Эта пауза казалась вечной...

- А фильм-то получается... – тихо произнёс Василий Иванович.

Оставшись наедине со мной в монтажной, автор сделал около тридцати замечаний, и все они были точны и служили улучшению материала. Лишь с двумя замечаниями я не согласился, используя ресурс своей режиссёрской воли. Василий Иванович просил вырезать из кульминационной сцены мелькающих полуобнажённых девиц.

- Ну, зачем Вам это?... – тактично спрашивал Василий Иванович.

Я обосновал необходимость погружения главного героя на самое “дно”, куда он попадает, как в преисподнюю, и куда я собрал всю нечисть Москвы и Минска: артисток непристойного театра, ансамбль тяжёлого рока, с рогами и хвостами корчащихся в музыкальных судорогах; горящие реальным огнём дьявольские символы...

– Ну, как знаете... – тактично вздыхал Василий Иванович, – но я бы убрал, уж больно мерзко...

Фильм “Всё впереди” был утаён в начинающем разваливаться советском кинопрокате. Учтя опыт обильных негативных публикаций по поводу фильма

“Лермонтов” и романа “Всё впереди”, привлечших излишнее внимание читателей, на этот раз критики поступили диаметрально противоположным образом. Решили не заметить появление фильма “Всё впереди” вообще, будто и нет его. Не могли простить русофобы дерзости жителя вологодской глубинки В. Белова, посмеявшегося написать о духовных недугах главного мегаполиса страны, искушаемого страстями, разьедаемого безверием, одолеваемого силами тьмы. Их бесило и то, что Василий Белов вывел в романе вполне обаятельный, но не вполне положительный образ еврея Миши Бриша. Шептали: “О евреях надо или хорошо, или никак...” Почему такая несправедливость? Ведь в любом народе есть положительные и отрицательные типы. Помню, как смеялся Василий Иванович, когда исполнитель роли Миши Бриша, замечательный русский актёр Аристарх Ливанов рассказал забавный случай, произошедший с ним во время съёмок нашего фильма.

— Иду я по Мосфильму, — рассказывал артист, — а навстречу мой друг, Валя Гафт. Поздоровались, поговорили, Валя спрашивает: “Арик, это правда, что ты играешь роль еврея?” А ему отвечаю: “Ну, ты же играешь русских дворян!..”

Оба артиста, обладающие чувством юмора, рассмеялись.

Сегодня, вспоминая дорогого для меня человека — Василия Ивановича Белова, я вижу его в двух образах: первый — эдакий старичок-лесовичок, вологодский домовый, с детской картавостью и лукавинкой во взоре; второй — выдающийся Русский литератор, писатель с огромной светлой душой, патриот своей Отчизны, вбирающий в себя всю свою любимую Родину. Русская литература богата великими писателями. О многих из них можно говорить — кто у кого и что заимствовал, кто из кого произрастал. Только Василию Белову в мире нет аналогов. Василий Белов — это Василий Белов. Ни на кого не похожий, неповторимый.

Все мы помним, как либеральная, эстетствующая литературная критика презрительно называла Белова, Шукшина, Астафьева, Распутина “деревенщиками”. И где эти “критики” теперь? Превратились в прах, развеялись по русским ветрам. А по драгоценной прозе наших великих “деревенщиков” грядущие поколения будут познавать тайну русского характера, русской души, которая была и канула на дно. Со всеми неповторимыми шукшинскими характерами, со всем былым беловским “Ладом”, распутинской Матёрой, которая, словно загадочная Атлантида, погрузилась в глубины мировой истории.

## **Гений на все времена**

*Алексей Петренко*

Имя Алексея Петренко для меня впервые прозвучало при рождении фильма Алексея Германа “Двадцать дней без войны”. Помню, как Герман предложил мне задержаться на “Ленфильме” после рабочего дня и посмотреть его новый фильм. Картина потрясла меня до глубины души, а исповедь лётчика, которого сыграл новый для меня актёр по имени Алексей Петренко, поразила своей правдивостью и исполнительской виртуозностью. Признаюсь, что актёры редко поражают меня истинным талантом.

Помню этот бесконечно длящийся, снятый одним планом монолог лётчика. Смотрю, анализируя по ходу с профессиональной точки зрения: как наигрывает артист — лихо и аппетитно выучил огромный текст, хотя видно, что иногда забывает слова и идёт от себя, явно импровизируя, но как мощно и бесстрашно прорубается он вперёд, безудержно устремлённый к выполнению стоящей перед ним задачи! Все актёры в этом фильме Германа хороши: и Никулин, и Гурченко, и Ахеджакова, но первым номером — Петренко!

Потом я с сердечной радостью встречался с каждым очередным экранным шедевром Алексея Петренко: и неистовый Распутин в “Агонии”, и добродушный Генерал в “Сибирском цирюльнике”, и брызжащий через край эмоциями персонаж Петренко в фильме “12”, и десятки других ролей. Каждой новой ролью Алексей Петренко подтверждал свою актёрскую исключительность, неповторимость, мощь русского, поистине шалашинского таланта. Жизнь не свела нас в общей киноработе, мы не стали экранными партнёрами, но стали друзьями, соратниками в общем служении Международному кинофоруму “Золотой Витязь”.

Случилось это в 1992 году, когда по промыслу Божьему родился “Золотой Витязь”. Начало девяностых — полный распад кинематографа, избиение на улицах людей, не желающих принимать новый российский капиталистический порядок, развал великой страны, расстрел Парламента, грязь, пошлость, патологии, потоки нечистот, льющихся с кино- и телеэкранов... Внезапно для окружающих вспыхнул во тьме огонёк — Международный кинофорум славянских и православных народов “Золотой Витязь” с шокирующим “пятую колонну” девизом: “За нравственные идеалы, за возвышение души человека”. Именно тогда, когда “киноэлита” пренебрежительно морщилась и дистанцировалась от народившегося “Золотого Витязя”, мне позвонил человек, с которым я никогда прежде не встречался, и заговорил, как давний друг:

— Микола..! (Так называл меня прежде только один человек — С. Ф. Бондарчук). Это — Алексей Петренко... Какой же ты молодец... какой фестиваль сотворил! Я хочу быть с тобой рядом. Можешь во всём рассчитывать на меня... Если понадобится — зови!

Это были не пустые слова. Алексей Петренко на протяжении четверти века был верным воином “Золотого Витязя”, по первому зову встававшим в строй армии, идущей в “бой за душу человека”. Алексей Петренко сердцем разделял слова любимого им Гоголя: “Сейчас идёт бой, самый главный бой — бой за душу человека”. Украинец Алексей Петренко, нежно любивший свою малую Родину, её дух, слово и песни, всегда стоял в первых рядах борцов за русскую душу, за единую, неделимую Святую Русь.

Навсегда останется в памяти первое посещение Алексеем Васильевичем Петренко МКФ “Золотой Витязь”, состоявшегося в Тирасполе, в “непризнанной” Приднестровской Молдавской Республике. Всего год минул с кровавых событий в этом брошенном Россией регионе. А. В. Петренко не побоялся отправиться туда с армией “Золотого Витязя”. Это был человеческий поступок патриота своей страны.

Всё было непросто в этом походе: отчуждённость от “Золотого Витязя” тогдашнего, предательского руководства нашей страны, переезд через три границы, опасная обстановка в регионе, ожидаемые теракты, неприятие командующим 40-й армией, генералом Лебедем руководства ПМР, пригласившего в Приднестровье МКФ “Золотой Витязь”, а значит, игнорирование генералом Лебедем и самого нашего фестиваля, о котором газета 40-й армии писала, как о *пире во время чумы*.

Три народных артиста — Алексей Петренко, Владимир Гостюхин и Георгий Жжёнов — накануне открытия кинофорума, понимая тревожное положение “Золотого Витязя” в Приднестровье, решили навестить своего знакомого, генерала Лебеда в его резиденции. Возвратились от А. И. Лебеда со смешанными чувствами: генерал их встретил, как родных, но мнение о предстоящем в Тирасполе кинофестивале вряд ли поменял. Всё это Алексей Васильевич честно рассказал мне и посоветовал мне самому поехать к Лебеду. Мы с духовником “Золотого Витязя” отцом Иннокентием, который тоже был знаком с генералом Лебедем, решили осуществить второй “десант” в штаб 40-й армии. Генерал принял нас радушно-настороженно. Угощая чаем с конфетами, генерал резко высказался о президенте ПМР И. Смирнове и его сподвижниках, мол, “все они пьяницы, всех надо гнать поганой метлой”. Я возразил генералу:

— Общаясь с президентом и его помощниками, я ни разу не видел их во хмелю...

— Тогда нам не о чем с вами говорить, — резко произнёс Лебедь, ставя точку.

— Александр Иванович, — ласково заговорил отец Иннокентий, — Вы такой прямой человек, вот и Коленька — тоже прямой человек... Ну, зачем вам ссориться?

— Александр Иванович, — продолжил я, не надеясь быть услышанным, — сегодня вечером открытие фестиваля. Из Франции прилетает Никита Михалков, здесь столько ваших друзей — Петренко, Жжёнов, Гостюхин... Все мы просим Вас быть на открытии. Это очень важно, это нужно России...

— Хорошо, я буду, — внезапно согласился генерал.

Вечером, после часовой задержки для проверки возможного заминирования зала началась церемония открытия. В одном ряду, с разделением друг от

друга в несколько метров, сидели президент ПМР И. Смирнов и генерал А. Лебедь. На сцену вышел Алексей Петренко с приглашённым им лично украинским кобзарём Василием Жданкиным. Алексей Васильевич запел на сербском языке песню, любимую всеми сербами, “Тамо далеко...”. Петренко пел, как всегда, гениально, завораживая зал своим могучим голосом и пронзительным талантом. На втором куплете в зале раздался странный шум. “Что это, – подумал я, – неужели теракт?” Выглянул из-за кулисы в зал и увидел, как громяхают сиденья кресел: весь зал поднялся, сопереживая легендарной песне сербского народа, исполняемой великим артистом Алексеем Петренко. Это он заставил всех подняться в едином сердечном патриотическом славянском порыве: русские, украинцы, белорусы, сербы, болгары... В одном ряду стояли “заклятые враги” – генерал Лебедь и президент Смирнов, – у обоих в глазах стояли слёзы. В этот миг их сердца бились в унисон, и это чудо сотворил великий мудрец Алексей Петренко.

Невозможно описать все наши встречи с Алексеем Васильевичем на “Золотом Витязе”, который он посещал регулярно, неизменно одаривая залы своим могучим талантом. И всегда он был скромнен до застенчивости и сосредоточен на выполнении своей миссии: чтении монолога о товариществе из “Тараса Бульбы”, пении песен, произнесении своих кратких, мудрых, истинно философских речей. Во всём Алексей Петренко был неподражаем, велик, щедр, добросердечен, гениален. Величие естественно и непринуждённо сочеталось в Алексее Петренко с юмором и юношеским озорством, вдруг вспыхивающим в его красивых очах.

В 2000 году на IX МКФ “Золотой Витязь”, открывавшемся в величественном зале Кремлёвского дворца съездов, я с радостью вручил своему другу высшую награду “Золотого Витязя”, Золотую медаль имени С. Ф. Бондарчука “За выдающийся вклад в киноискусство”.

Последний период жизни мы, друзья Алексея Васильевича Петренко, радовались обрётённому им семейному покою, печалились о вторжении в его личную жизнь внешней корысти, атаковавшей его семью, негодовали, видя бестактность телевидения, склонного бесцеремонно копаться в чужом белье, омрачавшего и укорачивающего жизнь гения. Бог им судья.

С переходом в Вечность звезда Алексея Петренко не погасла для нас, остающихся жить. Эта звезда всегда будет согревать и окрылять людей высоким и непостижимым гением великого сына Святой Руси, всю жизнь служившего Красоте и Гармонии.

### **Мой Владимир Высоцкий**

В моей памяти существуют два образа Владимира Высоцкого. Один – знаменитый бард, владевший всенародным эфиром почти два десятка лет, поэт-гражданин, *грудью шедший вперёд*, человек, всё более становящийся легендой. Второй, а по времени знакомства первый, образ – более скромный, человеческий, тёплый, сотканный из плоти и крови, образ Владимира Высоцкого из 1960 года.

Тогда, в тёплое солнечное лето шли пробы на фильм “Иваново детство”. А. Тарковский пригласил попробовать на роль капитана Холина молодого артиста театра им. А. С. Пушкина, мало кому тогда известного Владимира Высоцкого.

Мы познакомились на “Мосфильме” в группе Тарковского. Сблизились в репетициях и на съёмочной площадке. Время стёрло детали, подробности, оставило лишь основное: образ серьёзного, профессионального, самозабвенно относящегося к делу артиста. Партнёрский контакт установился мгновенно: мосты между нами навёл, на правах старшего, Владимир. Оба мы были в равно-шатком положении, в которое ставит актёров унижительная процедура кинопроб: мы оба не знали, утвердит ли нас Тарковский или нет. К концу кинопроб мы с Владимиром стали друзьями. Вместе разгримировывались, поливая друг друга тёплой водой; вместе переодевались в костюмерной в свои одежды, вместе вышли за ворота студии.

День был солнечный, всего 4-5 часов пополудни. В нас обоих ещё не остыл эмоциональный, творческий накал.

- Поедем в сад “Эрмитаж”? – предложил мой партнёр.
- Поедем.

По тексту кинопроб мы обращались друг к другу на “ты”, и это само собой перетекло за пределы кадра. Из-за своей отроческой застенчивости я трудно сходилась с окружающими, но с Владимиром сошёлся с налёта, словно всегда знал этого доброжелательного, внимательного, простого человека.

Я не могу вспомнить, о чём мы говорили, гуляя по саду. Помню лишь, что мой новый друг заинтересованно расспрашивал меня о моей жизни, помню его внимательное, уважительное отношение ко мне.

Мы присели за столик в открытом кафе. Володя купил мороженого, открыл бутылку шампанского, и мы отпраздновали наше знакомство. Я чувствовал себя совсем взрослым, хотя мне было всего 14 лет. Я обрёл старшего друга. Володя часто брал меня с собой в театр им. А. С. Пушкина на спектакли, в которых он был занят. Сидя в зале, а иногда даже за кулисами, я с волнением ожидал кратких, эпизодических появлений на сцене моего друга, и мне казалось, что он, мой, играет лучше всех. В театр Володя водил меня через служебной вход, на правах “старшего брата”. Он знакомил меня с таинственной сумеречной жизнью кулис. Пока мой друг готовился к спектаклю, одевался и гримировался, я сидел в его гримуборной, еле дыша, и выпитывал процесс приготовления, слушал разговоры Володи и его партнёров.

Осенью нашим встречам положил конец мой отъезд из Москвы в киноэкспедицию с группой фильма “Иваново детство”. Вместо Володи на роль капитана Холина А. Тарковский утвердил актёра Валентина Зубкова.

Так закончился первый период знакомства с В. Высоцким – период, сформировавший и определивший наши отношения на два десятилетия.

И сегодня, вспоминая Высоцкого, я вижу, прежде всего, его образ 1960-х годов – образ молодого, обаятельного парня с хрипловатым голосом, так странно сочетавшимся с тёплыми, ласковыми глазами, с его сердечностью и простотой. Он был человек внимательный, заботливый, интеллигентный, даже немного стеснительный в дружбе. Я не могу вспомнить проявлений агрессивности к окружающим, напротив, помню лишь предельную доброжелательность Владимира к людям.

Вскоре имя Высоцкого стало частенько произноситься в различных компаниях. В осенние киноэкспедиционные вечера, в каневской гостинице над Днепром, Андрей Тарковский и Андрей Кончаловский пели под гитару песни начинавших заявлять о себе В. Высоцкого, Геннадия Шпаликова. Имя Высоцкого вместе с записями его песен широко разносилось по стране. Долгое время я не мог поверить, что автор этих лихих песен – мой друг Володя. Я не мог увязать воедино образ нежного человека с необузданным, неистовым темпераментом, взрывающим его песни.

Прошло несколько лет, на протяжении которых мы ни разу не встречались. Владимир Высоцкий становился кумиром публики, стал ведущим артистом в Театре на Таганке, его песни звучали всюду, где имелись магнитофоны, он женился на Марине Влади.

Наконец, наши кинематографические тропы пересеклись на съёмках фильма “Служили два товарища”. Владимир играл в картине одну из главных ролей – поручика Брусенцова. Меня пригласили на крохотный эпизодик прапорщика Лукашевича, которого по ходу действия убивает герой Высоцкого. В съёмочной суете общение наше вышло беглым и поверхностным. Мы вместе облачались в костюмерной в белогвардейские мундиры; гримировались в соседних креслах, переговариваясь о чём-то незначительном. Окружённые посторонними людьми, мы не могли начать сближение. И в сцене мы были разведены по разным концам комнаты, не сходились ближе, чем на расстояние пистолетного выстрела. Во втором кадре я уже лежал на полу, изображая труп, а Высоцкий произносил надо мною какие-то фразы. Моё краткое участие в этой картине завершилось. Съёмочный водоворот повлёк Высоцкого к следующему кадру. Второпях простившись, мы договорились, что я приду к Володе в театр на его “Гамлета”.

Вскоре мы созвонились, договорились встретиться за полчаса до начала спектакля. И снова, поражая меня своей простотой, пунктуальностью и внимательностью, Владимир, уже знаменитый на всю страну как бард и киноактёр, точно в условленное время вышел ко мне из дверей служебного входа и на глазах взирающей на него толпы протянул мне билеты в первый ряд.

Помню, что от спектакля я остался не в восторге, покинул зал с ощущением поверхностного прочтения театром Шекспира, казалось, что всё игралось актёрами “мимо текста”: пробегалось, пробалтывалось. По окончании спектакля я не стал впопыхах говорить Владимиру о своём впечатлении, поблагодарил его, и мы договорились созвониться, встретиться и поговорить подробнее.

Наша следующая, неожиданная встреча произошла не так скоро. Это случилось в гостях у художника Бориса Мессерера и Беллы Ахмадулиной. Переступив порог, я увидел сидящих за столом Володю и его жену Марину Влади. Это был единственный раз, когда мне довелось видеть их вместе. Знакомя нас с Мариной, Владимир нашёл в мой адрес какие-то сердечные слова, обнаруживающие сохранность в его душе прежнего тёплого отношения ко мне. Дорогой для меня миг, подтверждавший неизменность нежной сути моего старого друга.

В мастерской было много гостей. На протяжении всего вечера нам так и не удалось поговорить. Я издали с интересом наблюдал за Володей, пытаюсь уяснить, каков же он в нынешних “предлагаемых обстоятельствах”, и находил его прежним: естественным, простым; да разве что более тихим, скромным, возвышенным. Владимир не думал брать в руки гитару, и никто не смел ему этого предложить. Во весь вечер он, кажется, так и не отошёл от своей жены: сидел подле неё, говорил с ней, отвечал на вопросы обращавшихся к нему.

И снова мы расстались на несколько лет. Наши судьбы текли по разным руслам: мы жили в одном городе, в одном кинотеатральном мире и не могли соприкоснуться. Слава Высоцкого крепла год от года, но крепла и опала на непокорного поэта. Не раз я слышал, что Володю не утвердили то на одну, то на другую роль. Груз внешних обстоятельств давил всё сильнее, но Владимир не отступал от своего лица, продолжал грудью идти вперёд, бесстрашно возделывать свою целину.

Жизнь столкнула нас ещё раз. В “Маленьких трагедиях” мы снимались в двух разных новеллах: Володя играл Дона Гуана, я – Альбера в “Скупом рыцаре”. Как и много лет назад, мы вместе вышли за ворота студии. День был непогожий, время приближалось к полуночи. Володя предложил подвезти меня до дома. Мы сели в его красивую французскую машину с дипломатическим номером и помчались по ночной Москве. Какое-то время ехали молча. Боялись нарушить тишину незначительностью вопросов. Молча изучали, разведывали друг друга; нащупывали под наносной шелухой “имиджа” сокровенное человеческое существо. Комфортабельная машина, дублёнка, громкое имя, известное не только у нас в стране... Оболочка... “А что там, внутри?... Каким ты стал за эти годы?...” Мы оба, кажется, искали ответа на эти вопросы. Именно это пытливое молчание приносило нам ответ. Не было поверхностных фраз, болтовни, элитарной пошлости, выпячивания своего “я” – всего того, чем грешит современный “творческий мир”. Володя был прежним: доброжелательным, деликатным, нежным человеком. Цинизм товарно-денежного бытия никак не коснулся его души.

Беседа завязалась сама собой. Мы начали говорить о чём-то самом важном для нас. В память врезались слова Владимира:

– Сейчас приеду домой и буду писать. Это – как закон: в каком бы состоянии я ни был, как бы ни устал – я должен написать три песни.

Мы тепло простились. Договорились о скорой встрече, когда, наконец, мы сможем обо всём поговорить.

Больше увидеться нам было не суждено.

## **Лучший кинооператор мира**

*Вадим Иванович Юсов*

Один из самых дорогих и любимых людей, подаренных мне судьбой. С ним связаны лучшие годы моей жизни – детство, юность и завершающая стадия нашей общей земной судьбы.

1961 год, “Мосфильм”, съёмки первого фильма великого Андрея Тарковского “Иваново детство”. Никто из создателей – ни сам режиссёр, ни оператор,

ни, тем более, я — никто из нас не подозревал, что мы создадим шедевр. Тарковский позже напишет, что он понял, что такое режиссура, лишь закончив фильм “Иваново детство”.

За камерой — молчаливый оператор Вадим Иванович. Группа молодая, режиссёру — 29, оператор — один из самых “старых” — ему уже за 30. В работе со мной — юным героем фильма — оператор сосредоточенно сдержан: “Пройди по кругу, на равном расстоянии от камеры... остановись здесь... посмотри сюда... не мигай...” Мне казалось, что этот оператор живёт своей, отдельной от всех нас жизнью, что от него на площадке зависит очень многое. Иногда я думал, что именно он — самый главный, ведь даже режиссёр снизу вверх поглядывает на оператора, возвышающегося над всеми нами на своём кране. Андрей Тарковский ждёт, когда этот массивный “демиург” скажет: “Можно начинать”, — и только тогда режиссёру можно будет командовать: “Внимание!.. Приготовились!.. Мотор! Начали!”

Оператор “Вадим Иванович” какое-то время никак не выказывал своего расположения ко мне, относился так же, как ко всем актёрам, передвигающимся в окуляре его кинокамеры, — строго, по-рабочему. Больше общался с моими партнёрами — бывшим фронтовиком Валентином Ивановичем Зубковым и Евгением Жариковым.

Вечерами после съёмки мы частенько собирались в “люксе” Тарковского за чаем и шампанским. Вместе со своим другом и соавтором, моим первым режиссёром Андроном Кончаловским, прилетавшим ненадолго из Москвы, Андрей Тарковский распевал блатные песни Высоцкого, а Вадим Иванович, наконец, расслабившись, остроумно шутил и улыбался, а когда шампанское заканчивалось, говорил мне:

— Принеси ещё...

И я стремглав летел вниз, в буфет, и приносил своим дорогим старшим коллегам шампанское. Как хорошо, беззаботно и гармонично всё было тогда: бархатный сезон, купание в Днепре, переходившее в увлекательные съёмки, молодые Вадим Иванович, Андрей, ласковая Ирина Тарковская... Казалось — так будет всегда, вся жизнь — впереди...

Наш первый человеческий контакт с Вадимом Ивановичем случился во время съёмки эпизода “в болоте”. Юсов и Тарковский выбрали под Каневом фантастический, похожий на японскую гравюру затопленный лес. Добрались мы до него в конце октября, когда осень клонилась к зиме, и погода для купания была весьма прохладной. Юсов, всегда продумывавший всё до мелочей, велел сделать под водою настил из досок для проходов актёров, чтобы мы не вязли в болоте. Кроме того, он приказал сшить для нас комбинезоны по пояс из полиэтилена, которые, по его замыслу, должны были предохранять наши ноги от соприкосновения с водой. В теории всё замечательно, но на практике, как только я ступил в болото, вода мгновенно затопила шитый нитками “скафандр”. Целый день приходилось ползать в холодной воде, хлюпающей в кустарном “водолазном костюме”. Часто я соскальзывал с узкой доски и по пояс проваливался в болото. Вадима Ивановича, одетого в тёплые одежды, ассистенты катали на тележке по поверхности болота, а я, посиневший от холода, следовал за камерой оператора “в тыл врага”.

— Что, — спросил Вадим Иванович, видя мои страдания, — холодно?

— Да, — признался я.

— А ты пописай туда — будет теплее, — видя моё недоумение, он добавил: — Да нет, я серьёзно... Мы так в армии согревались...

Я, испытывавший к оператору абсолютное доверие, честно выполнил его рекомендацию. Увлечённый работой, оператор на какое-то время забыл обо мне. Через несколько минут, видя, что я такой же синенький, спросил:

— Ну, ты как? Сделал?

— Да, — ответил я.

— Ну и как?

— Да всё так же холодно...

Вадим Иванович был кладезем житейских и операторских рацпредложений. На его счету сотни изобретений. Для ощущения полёта он ставил меня на площадку своего операторского крана, сам с камерой в руках — ногами вверх, головой вниз — ложился на металлическую стрелу и так снимал парящего во сне

Ивана. Для обратной точки, передающей ощущения полёта, он, сделав математические расчёты, велел протянуть с горы до дороги металлический трос, подвесил к нему камеру с мешком, наполненным песком. По его команде мешок продырявливали, чтобы песок равномерно высыпался в дыры, что сохраняло необходимую скорость движения, и камера плавно скользила к идущей по дороге матери Ивана — Ирине Тарковской.

Работа над “Ивановым детством” постепенно сблизила меня с Юсовым. Потом последовали премьеры нашего фильма в кинотеатрах, где мы рядышком сидели на сцене. Затем триумфальное шествие “Иванова детства” по международным кинофестивалям: Венеция, Сан-Франциско, Акапулько... Меня никуда не выпускали. Лавры собирали Андрей Тарковский и Вадим Юсов. Но мы часто встречались на выставках древнерусской живописи, которые организовывал наш общий друг Савва Ямщиков, и Вадим Иванович рассказывал мне о своей увлекательной поездке с фильмом в Южную Америку. Мне шёл восемнадцатый год, и в застольях у Андрея, Саввы и в Доме кино мы уже сидели, как старые друзья-соратники. Впрочем, встречи наши с Вадимом Ивановичем и Андреем были не столь часты, как мне бы того хотелось, ведь я их любил и тянулся к ним всем сердцем, дорожа мгновениями нашей очередной внезапной встречи. Но чаще переживал, думая, что мои старшие друзья меня забыли. В 1965 году мне позвонил ассистент Андрея Тарковского и сообщил, что Тарковский специально для меня написал роль в новом сценарии под названием “Андрей Рублёв”. Это означало, что мы снова будем работать вместе с моими дорогими Андреем и Вадимом Ивановичем. Роль Фомы, “написанная для меня”, не тронула нисколько, скорее разочаровала, а вот образ литейщика колоколов Бориски захватил меня настолько, что я попросил Андрея попробовать меня на эту роль. В ответ услышал однозначный отказ, мол, эта роль написана на другого исполнителя, а ты ещё мал. Я попросил Вадима Ивановича поговорить с Андреем, убедить его сделать мне кинопробу. Вадим Иванович обещал посодействовать, но вскоре сообщил, что Андрей категорически против. Удачной оказалась лишь третья атака на Тарковского, совершённая Саввой Ямщиковым, который поспорил с Андреем на ящик шампанского, что он в итоге утвердит на роль Бориски меня.

Потекли долгожданные дни и месяцы сотрудничества с бесценными для моей судьбы людьми — Юсовым и Тарковским. Вадим Иванович, как и прежде, величественно восседал на кране, катался на тележке, делая мне свои операторские указания: “Пройди, встань, посмотри!” — уже как верному и понимающему его с полуслова соратнику. Оператор часто озорно подмигивал мне, кивая в сторону режиссёра, которого мы оба любили, мол, “пусть он себе командует, мы-то знаем, что к чему...” Упоительная, вдохновенная, подчас на пределе сил работа над фильмом, воскрешающим далёкий от нас пятнадцатый век Руси... И снова у меня возникло ощущение, что главный на площадке — наш оператор Вадим Иванович Юсов, и снова мой дорогой Андрей Тарковский снизу посматривает на оператора, ожидая его команды к бою.

Сегодня мне абсолютно понятно, что без Вадима Юсова не было бы такого изобразительного решения, какое этот великий оператор-художник воплотил на экране. Он своим талантом, любовью и уважением воли своего друга, гениального режиссёра, помог создать новый киноязык ТАРКОВСКОГО. Положа руку на сердце, скажем, что этот новый киноязык Тарковского создали два гения: режиссёр Тарковский и оператор Юсов.

Во время работы над “Рублёвым” произошли драматические события в судьбе нашего любимого Андрея, повлекшие за собой трагический, достаточно быстрый исход из жизни этого великого Русского художника. На наших глазах распалась семья Тарковского. Начала распадаться и “артель Андреева”. Персона, внедрившаяся в судьбу гения, начала свою разрушительную деятельность, настраивая нашего Андрея против тех, кто его действительно любил и кто был ему истинно дорог.

После фильма мы изредка пересекались с Вадимом Ивановичем на премьерах “Рублёва”, на выставках у Саввы Ямщикова и в застольях у него дома, но это было не так часто, как мне бы того хотелось. Мы с Саввой и Вадимом понимали, что при всей своей режиссёрской мощи любезный нашему сердцу



Андрей был внушаемым человеком. Ему начали диктовать, с кем надо и с кем не надо дружить...

После “Рублёва” Андрей захотел поставить фильм о своих матери и отце. Соавтор Андрея Саша Мишарин ознакомил меня со сценарием, который вызвал во мне сложные чувства: зачем снимать исповедальный фильм о матери и своей семье, выворачивать наизнанку бельё? Такие же чувства сценарий вызвал и у Вадима Юсова, которому Андрей естественно предложил дальнейшее сотрудничество. Вадим Иванович отказался снимать этот фильм по этическим соображениям, что Андрей не мог ему простить почти до конца своих дней, посчитав поступок своего верного соратника предательством.

С Вадимом Ивановичем мы тоже встречались не столь часто. Он теперь был нарасхват, работал, не переставая, с Сергеем Бондарчуком, Гией Данелия, Львом Кулиджановым...

Памятна для меня встреча с Вадимом Ивановичем в Тбилиси. Он снимал в Тбилиси фильм Данелии “Не горюй”, я прибыл туда в погоне за солнцем с киногруппой “Мама вышла замуж”. Встретились, как старые друзья, в обильных грузинских застольях даже перешли на “ты”. Чем, впрочем, потом я не часто пользовался, сохраняя глубочайшее уважение к своему другу и учителю. Гуляли в свободное время после съёмочного дня – систематически, каждый день, радуясь, что мы, наконец, дорвались друг до друга. Даже жена Вадима Ивановича Инна начала беспокоиться о нашем здоровье, жаловалась мне, что Вадим в Грузии отрывается по полной программе.

В конце восьмидесятых мы столкнулись с Вадимом Ивановичем около “Мосфильма”. Зашли в кафе, подняли бокалы за нашу дружбу, за нашего любимого Андрея, которого, как оказалось, мы оба не видели в течение последних пяти лет. И это при том, что Андрей и Вадим Иванович живут в одном доме, в соседних подъездах. Разгорячённые дружеским застольем, мы решили немедленно навестить Андрея.

Дверь открыла разлучница – Лариса Пална. Окинула непрошенных гостей негостеприимным взглядом, но прогнать Юсова и Бурляева не решилась, позвала Андрея. Андрей, в отличие от неё, не удивился нашему появлению, словно и не бывало прожитых порознь лет. Мы долго просидели в столовой под большим абажуром и расстались далеко за полночь. Говорили, стараясь соединить разорванные связи, преодолеть неизвестно как образовавшуюся между нами пропасть. Почему так случилось? Ведь нас объединяло то, что навсегда прилепило нас друг к другу: дорогая для каждого из нас совместная работа, наша искренняя любовь друг к другу... Никогда мы не видели Тарковского таким, как в тот вечер. Казалось, жизнь довела его до последней степени терпения. Он ругал буквально всё и вся вокруг. Досталось и нам с Вадимом: ему – за то, что он пишет сценарии, мне – за то, что я стал режиссёром, пишу стихи и читаю их на своих творческих вечерах. Тарковский говорил, что только в его картинах мы могли по-настоящему творить: Юсов – как оператор, я – как актёр. Может быть, в его словах была правда, но я не мог согласиться: было обидно не столько за себя, сколько за Вадима Ивановича, который искренне любил и ценил Андрея. Кажется, впервые я решился возразить Андрею: “Зачем ты обрубаешь своим ближним крылья?..” Андрей задумался и ничего мне не ответил. Это был вечер откровений, последний вечер в нашей жизни. Мы простились, крепко обнявшись, сердечно и нежно. Я не знал, что прощаюсь с человеком моей судьбы, дорогим Андреем, навсегда.

Незадолго до смерти Андрея Вадим Иванович встретился с ним в Италии. Вернувшись, он рассказал мне, что Тарковский доведён до предела, что без России ему жить невыносимо, что он “мечтает о своём домике под Рязанью”... Но неотменимо, словно тень, присутствующая рядом с ним его “сопутница” вновь ворвалась в общение друзей, напоминая о том, что это невозможно, что им надо поправить финансовые дела, что им нужно ехать в Лондон... Вскоре нашего Андрюши, как нежно называл его Вадим Иванович, не стало.

Наши встречи с Вадимом Ивановичем стали более частыми. В 2000 году на сцене Кремлёвского дворца съездов, где проходило открытие очередного Международного кинофорума “Золотой Витязь”, я вручил своему другу

и учителю, великому оператору современности, высшую награду нашего фестиваля — Золотую медаль имени Сергея Бондарчука “За выдающийся вклад в кинематограф”. Я неизменно приглашал его на все наши ежегодные кинофестивали; когда он мог оторваться от своих ВГИКовских забот, он приезжал ко мне. В начале 2000-х годов Вадим Иванович согласился преподавать операторское мастерство моим студентам во Всесоюзном институте переподготовки и повышения квалификации кинематографистов. Мой друг неизменно посещал все мои юбилейные даты — 55-, 60-, 65-летие — и произносил похвалительные слова, исполненные уважения и любви.

И, наконец, наша последняя совместная работа над кинопроектом “Сергий Радонежский”, снимать который я, естественно, предложил моему великому другу. Мы оба отдавали себе отчёт в том, что это — последняя подаренная Господом возможность нашего жизненного сотворчества. Впервые за полвека после “Андрея Рублёва” я дожид до возможности соприкоснуться с моим другом душою уже не как актёр с оператором, но как режиссёр с оператором. Не знаю, как Вадим Иванович, но я каждый день благодарил Бога за ещё один подаренный мне день духовного единения с дорогим моему сердцу человеком. Вадим Иванович называл меня по имени-отчеству, и не только на людях, но и в общении один на один. Это удивляло и стесняло меня: кто я перед ним? Колька, который всегда с благоговением относился к паре кинематографических небожителей — Юсову и Тарковскому, — мальчишка, открытый и прославленный ими.

Он внимательно выслушивал мои режиссёрские соображения, анализировал и высказывал свои предложения по их реализации, принимая всё, что я говорил, как истину, которая не обсуждается, но подлежит изобразительно-мυ воплощению. Работал Вадим Иванович с удовольствием и азартом. Улыбаясь своей “юсовской” хитровой улыбкой, он говорил: “У нас с тобой клубничный период. . .” “Перед нами стоит задача не меньшая, чем перед Бондарчуком в “Войне и мире” . . .” Он предлагал инженерные решения, помогающие нам создать эффект “духовной камеры”, наблюдающей за Сергием Радонежским, словно Всевидящее Око. Предполагал построить такую келью Сергия, у которой бы по мере движения камеры плавно и бесшумно отъезжали стены, предоставляя камере возможность совершать невидимое движение. Мы выезжали на выбор природы в Подмоскωвье и, не найдя первозданного Радонежского леса, решили по весне вылететь в Сибирь. Заказали вологодским мастерам, плотникам-реставраторам, изготовление кельи Сергия. Привлекли лучших художников по декорациям, костюму и гриму. Начали фотопробы главных персонажей фильма. Вадим Иванович не прекращал учиться всю жизнь, был в курсе всех передовых кинотехнологий, часто показывал мне каталоги с образцами новейшей киноаппаратуры, фрагменты фильмов и телепередач, подталкивающих нас к выбору изобразительного решения нашей картины. Однажды он предложил зайти в мосфильмовский павильон к Никите Михалкову, где тот снимал “Солнечный удар”, посмотреть технику, на которой они снимают. Когда мы вошли в павильон, к Юсову устремились операторы Михалкова, оказавшиеся учениками Вадима Ивановича. Они воодушевлённо начали рассказывать учителю о своих операторских решениях. Никита Михалков обнял старого друга, объявив группе: “К нам пришёл великий Юсов!”

На протяжении года мы были в ежедневном контакте с Вадимом Ивановичем. Работали над сценарием, раскадровками, проводили встречи с профессионалами, приглашая их к совместному творчеству, встречались с компьютерными графиками, оговаривали эпизоды будущего фильма. Наедине часто говорили об Андрее Тарковском и Сергее Бондарчуке, о временной, брeнной, прекрасной жизни, которую мы оба любили, о переходе в жизнь Вечную, о том, что не следует опасаться переступить за черту материальной жизни. . . Я поделился с Вадимом Ивановичем своим духовным опытом прикосновения к жизни нве тела. Он слушал с большим интересом, не выражая сомнений.

Но вот финансирование проекта прекратилось, работа над фильмом была остановлена, группа распущена. Это был серьёзный, болезненный удар по нам обоим. Мы помогли друг другу преодолеть этот шок. Я пригласил Вадима Ивановича с женой к себе на дачу, куда я перевёз изготовленную для фильма часовню Сергия Радонежского. Позвал знакомого протоиерея для освящения часовни. Навсегда останется в моей душе печальный образ Вадима Юсова,

сидящего предо мною в часовне, на грубой лавке Сергия Радонежского. Батюшка совершал обряд освящения часовни, а я то и дело поглядывал на своего друга. Печаль в его глазах была глубокой, нескрываемо безысходной... Таким своего друга я никогда в жизни не видел. Мы провели вместе день, исполненный любви и покоя. Он искренне восхищался моей скромной рубленой избой, мы говорили друг другу идущие от сердца слова. Через несколько дней мне позвонила жена Вадима Иваныча и сказала, что он скончался.

## Мой соратник

Вячеслав Овчинников

Наша дружба с Вячеславом Овчинниковым длилась шестьдесят лет. В 1959 году я в первый раз увидел молодого композитора фильма “Мальчик и голубь” – курсовой работы студента ВГИКа Андрона Кончаловского. В этом фильме я, тринадцатилетний шестиклассник, снимался в главной роли. Именно тогда я узнал, что есть такой композитор – Вячеслав Овчинников. Тёплые, дружеские отношения, несмотря на восьмилетнюю разницу в возрасте, завязались у нас с самого начала и с годами лишь крепли. Наш первый фильм имел успех, получил приз Бронзового льва Святого Марка на кинофестивале в Венеции... В начале шестидесятых я часто видел молодого, но уже тогда острого в своих суждениях Славу в доме Михалковых, в котором он – друг Андрона, принятый в его семье, как родной, – частенько гостевал. В 1961 году мы вместе трудились под крылом Андрея Тарковского, создавая “Иваново детство”. Для каждого из нас это было начало творческого пути, первые шаги в неведомое, никто из нас не знал свою профпригодность, даже сам Тарковский. Меня ошеломило, когда я прочитал высказывание Андрея уже много лет спустя: “Я понял, что такое режиссура, только закончив фильм “Иваново детство”. То есть все мы шли “в тёмную”, не представляли, что нас ждёт, сомневались в себе. Так же, безусловно, и Вячеслав – молодой тогда, новый композитор для “Мосфильма”, для оркестра кинематографии, который записывал его музыку.

Я поражался дерзости молодого композитора, который решил сам встать за дирижёрский пульт, записывая свою музыку с оркестром кинематографии к первой же своей полнометражной картине. “Иваново детство” имело громкий международный успех, получив главную награду Венецианского кинофестиваля – Золотого льва Святого Марка и ещё десяток высших наград престижных мировых киносмотров. Вместе с прославлением имени Андрея Тарковского возрос и авторитет Вячеслава Овчинникова. Его композиторский талант привлёк внимание выдающегося кинорежиссёра Сергея Бондарчука, привлёкшего Вячеслава к созданию музыки к “Войне и миру”.

Отношения Славы с С. Ф. Бондарчуком были удивительные, не только творческие, но и братские. Спустя много лет я зашёл в мосфильмовский зал перезаписи, где Сергей Фёдорович, Слава и звукорежиссёр рождали “Они сражались за Родину”. Они втроём, сидя во мраке огромного, холодного зала, вместе доводили свой новый шедевр до идеального звучания. Удивительная гармония режиссёра и композитора, удивительные отношения между ними... Если я относился к С. Ф. Бондарчуку с особым пиететом, понимая уровень его гения, то Слава общался с ним абсолютно на равных. Несмотря на разницу в возрасте и в статусе, они обращались друг к другу на “ты”. Видно было, что Сергей Фёдорович не только доверяет, но очень любит Славу. Возвращаясь к самому факту приглашения совсем молодого человека, не известного еще композитора на “Войну и мир”, – это был шаг рискованный: гения услышал гения.

Такой взлёт композитора, его непокорный характер, прямота суждений, дружба с С. Ф. Бондарчуком не могли не повлиять на негативное отношение к композитору со стороны власть имущих и коллег по цеху.

Судьба вновь соединила нас с Вячеславом в работе над фильмом Андрея Тарковского “Иваново детство”. Теперь мы уже общались, как “старые боевые товарищи”. Ведь это была уже третья наша совместная картина. Удивляло, что он изначально относился ко мне, как ко взрослому, на равных, несмотря на то, что перед ним был ребёнок, потом отрок, юноша. Нельзя сказать,

чтобы мы часто виделись тогда: таинство композиторской работы протекает в уединении, вдалеке от глаз киногруппы. Но мы встречались, когда Слава появлялся на “Мосфильме” в кабинете Тарковского, в буфетах, на просмотрах отснятого материала, на записи оркестра, в доме Михалковых...

Наши отношения ещё больше окрепли в 1967 году, когда мы со Славой вновь соединились при создании советско-польского фильма “Легенда”. Это была картина о Великой Отечественной войне. Сценарий написал фронтовик, киносценарист Валентин Ежов, прославившийся фильмом “Баллада о солдате”. Снимал картину известный польский кинорежиссёр Хенчинский. Эта картина, не имевшая громкой мировой славы, была очень дорога Вячеславу Овчинникову. Он частенько говорил мне: “Ну, а где же наша “Легенда”, почему фильм не показывают?...” А фильм-то, действительно, хороший, и музыка Овчинникова там замечательная...

В новые российские времена мы редко встречались со Славой, шли по жизни своими путями, иногда перезванивались по телефону, делились своими созвучными оценками происходившего в девяностые годы.

Но наша душевная связь никогда не пресекалась и не омрачалась взаимными обидами. Последние десятилетия Слава жил уединённой отшельнической жизнью. Однако судьба вновь соединила нас на новом витке нашего бытия. Наши встречи возобновились в тяжёлое для России время – 1992–1993 годы. Мы часто встречались в Белом доме, в том самом Парламенте, который был вскоре расстрелян. Перед расстрелом Верховного Совета мы не раз заседали вместе в комиссии по культуре, членами которой были мы со Славой и выдающийся художник Александр Шилев. Мы трое прямо выражали нашу гражданскую позицию, высказывали свои суждения, потому что видели уничтожение великой страны, наступление “нового мирового порядка”, который мы принять не могли. В нашем трио было полное единомыслие и соратничество... Наши отношения со Славой перешли на новый уровень осознанной борьбы за Святую Русь, за Русскую культуру. Возможно, и за это Овчинникова любили далеко не все, многим он был не угоден. Да и как его могли любить все, если он открыто говорил нелицеприятные вещи в адрес “непререкаемых авторитетов”, бывших “притчей на устах у всех” называл бездарями? Он был абсолютно прямым. Говорил зачастую просто шокирующие вещи и разрушал общепринятые оценки тех или иных личностей, которых в обществе считали талантами, а Овчинников низводил их, так сказать, “под плитус”.

Очень рад, что именно Вячеслав Овчинников получил высшую награду Международного Славянского музыкального форума “Золотой Витязь” – Золотую медаль имени Г. В. Свиридова “За выдающийся вклад в музыкальную культуру”. На церемонии получения награды в Грановитой палате Кремля он не смог лично присутствовать. Я привёз награду к нему домой, и он, равнодушный к “хвале и клевете”, к “творческой” суете коллег, принял эту награду с сердечной благодарностью. Мы говорили со Славой от сердца к сердцу, без обиняков и иносказаний. Душа тянулась к душе. Мы говорили на одном Русском языке, как родные люди, соратники, говорили о том, что делается в нашей культуре, на телевидении, на чудовищных ток-шоу... Слава негодовал: “Что они делают, что творят? Что они показывают? Они же губят народ!”

Последним нашим общим боем была борьба за сохранение Государственного академического русского концертного оркестра “Боян” под руководством народного артиста Советского Союза Анатолия Полетаева. А. И. Полетаев Вячеслав знал давно и высоко ценил его как человека и как музыканта. Они оба уроженцы Воронежской земли. Да и мои предки тоже из-под Воронежа, из Борисоглебска. Так что у нас единый крутой, казачий, Русский корень... И вот в конце 2017 года Минкультуры устроило маэстро Полетаеву, народному артисту СССР, унижительный экзамен в зале Чайковского при закрытых дверях, посадив на сцену останки (уже почти на треть сокращённого) оркестра с полувековой историей. “Экзаменаторы”, не вникая в суть совершаемого государственного преступления, не поговорив с А. И. Полетаевым, вынесли приговор оркестру и его создателю-дирижеру как не соответствующему уровню федерального оркестра. Узнав об этом, Овчинников пришёл в ярость: “Это геноцид русской культуры!” Несмотря на письмо протеста, подписанное Вячеславом Овчинниковым, народным артистом СССР Александром Ведерниковым и многими выдающимися деятелями нашего искусства, дирижёр был уволен, а оркестр уничтожен.

Однажды я обратился к Вячеславу: “Дай мне твои партитуры! Хочу, чтобы музыка твоя звучала на кинофоруме “Золотой Витязь””. Его ответ шокировал: “Нет у меня нот!” Оказалось, что почти все его партитуры практически погибли. То ли затерялись на “Мосфильме”, то ли пропали, то ли их утилизировали... Весьма показательно для “Иванов, не помнящих родства”, не понимающих значения творчества выдающегося Русского композитора, продолжателя великих традиций Русской музыки.

Мы договаривались с Вячеславом вместе заняться восстановлением утраченного. И вот – его не стало. Придётся делать это без него, под его небесным руководством, для передачи грядущим поколениям неповторимой музыки выдающегося русского композитора Вячеслава Александровича Овчинникова.

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

## ВАДИМ КОЖИНОВ

### Глава 14

#### Русская Идея (продолжение)

В 1963 году, после выхода “Происхождения романа” Кожинов подал заявление в Союз писателей. Рекомендателей было четверо: Виктор Шкловский, Борис Слуцкий, а также главный редактор “Вопросов литературы” Виталий Озеров, и заместитель главного редактора журнала “Знамя” Борис Сучков.

В нынешней ситуации абсолютной разорванности литературного поля и ориентации каждого литературного сообщества исключительно на “своих” едва ли можно по достоинству оценить эту ситуацию начала 1960-х... Троиц из четырёх рекомендателей (частичное исключение – Слуцкий) никак невозможно отнести к кожиновским “единомышленникам”, даже если учесть репутацию “либерала”, которая сложилась к этому времени у Вадима Валериановича. При том, что у кого из них – литературный, а у кого – административный – вес был достаточно серьёзный... И каждый думал, в первую очередь, о достоинствах трудов “выдвиженца” и лишь в последнюю – если вообще думал – о его “позиции”.

Шкловский, отметив, что “В. Кожинов – литературовед и писатель талантливый, с широким пониманием литературы и с непрерывной мыслью, пытающийся дать общую картину истории романа”, не преминул высказать свои замечания: “Вопрос современного романа и кризис современного романа на Западе в книге В. Кожинова... к сожалению, не поставлен в ясной форме, но в то же время показывает, что роман всё время развивался в своём самоотрицании; каждая новая форма романа являлась способом выразить новое жизнеотношение, свойственное авторам новой исторической эпохи... В работах большого обобщения необходима точность в анализе отдельных фактов, и мне кажется, что в вопросе происхождения истории термина романа надо идти от точных библиографий, от предисловия к книгам, а не от университетских курсов конца прошлого века...” Сей упрёк, однако, не повлиял на окончательный вывод: “В. Кожинов – талантливый, знающий, широкомыслящий литературовед. Вопрос о его вхождении в Союз, я думаю, предрешён качеством и количеством его работ, но он входит в советское литературоведение не как ученик, а входит со спорами, с некоторой притязательностью и с ошибками, созданными неконкретностью некоторых областей своих литературных знаний”.

---

Продолжение. Начало в №№1-7, 9 за 2019 год, 1-5, 7-9 за 2020 год.

Борис Слуцкий в своей рекомендации особо отметил одну характерную черту “Происхождения романа”: “На большом материале (итальянская, испанская, французская и, особенно, русская литература 16–18 веков) Кожинов доказывает, что роман складывался как “художественное освоение новой человеческой деятельности, а не как отражение форм предшествующего искусства”. Нечего и говорить, как верна и плодотворна эта мысль. Ещё важнее то, что Кожиновым она доказана. Литературно-политическая полемика последних лет, избравшая роман одну из главных площадок, не обойдётся без книги Кожинова, представившей советским литературоведам весьма важные аргументы. . .

Кожинов — человек с общественной жилкой. Мне не раз и не два пришлось наблюдать, как горячо и бескорыстно помогает он талантливым писателям. Если книга М. Бахтина вышла вторым изданием, если выходит его же книга о Рабле — немалая заслуга в этом принадлежит Кожинову. Кожинов — образованный человек, знающий немецкий и английский языки, всерьёз интересующийся филологией, историей, социологией. . .”

Более сухо и формально, но не менее положительно отозвались о трудах соискателя Озеров и Сучков.

. . . Через полвека с лишним эту историю будут интерпретировать как иллюстрацию некоей “тактики” Кожинова. . . Сбор рекомендаций кем бы то ни было и куда бы то ни было (Союз писателей здесь никак не исключение) — всегда в той или иной степени плод определённой “тактики”. И с “тактической” точки зрения Кожинову естественнее всего было бы обратиться к своим “наставникам” в ИМЛИ, в частности, к тому же Леониду Тимофееву. Но он поступил иначе.

Своими работами он “убедил”, казалось бы, “не убеждаемых”.

25 декабря 1964 года на бюро творческого объединения прозаиков в поддержку соискателя выступили Александр Бек, Исаак Борисов и Юрий Трифонов. 20 февраля 1965 года свой отзыв написал член приёмной комиссии Александр Крон.

. . . Нет, не могу не прервать плавное изложение событий. Читаю книгу с “завлекающим” заголовком “Ценители и ниспровергатели писателей”, изданную в 2017 году, которая открывается “биографическим портретом” Вадима Кожинова. Автор сего сочинения, неутомимый собиратель архивных документов, весьма интересно препарировал попавший ему в руки материал. Дескать, на приёмной комиссии “чуть не случилась осечка. Свой негативный отзыв на работы Кожинова прислал Александр Крон. . .” И далее цитируется, действительно, непрезентабельный отзыв Крона о книжках “Виды искусства” и “Основы теории литературы”.

И на этом наш “архивист” обрывает цитату. А ведь далее Крон продолжил разговор о “Происхождении романа”, разговор, о котором, естественно, не узнает читатель “Ценителей и ниспровергателей. . .”.

“Помимо брошюр, у Кожинова имеются журнальные статьи, статей представлено немного и судить по ним об активности Кожинова в области литературной критики затруднительно. Полемическая статья “Язык искусства”, написанная в защиту рассказа Вас. Шукшина “Стёпкина любовь”, рецензия на рассказы Г. Семёнова и небольшая проблемная статья в журнале “Иностранная литература” не дают полного представления о возможностях Кожинова как критика. И воздержался бы от окончательных выводов, если б не существовало капитальной работы исследовательского характера о “Происхождении романа”, вышедшей в 1963 году. Эта работа характеризует Кожинова как серьёзного литературоведа, обладающего не только необходимой для такого рода исследования литературной эрудицией, но и умением анализировать. Многое в работе Кожинова, смело привлекающего в своих целях литературные факты, далеко отстоящие от романного жанра, может показаться неожиданным и спорным, но это, на мой взгляд, не недостаток. В наше время, когда подвергается сомнению ведущая роль романа в современной прозе, работа Кожинова, подчёркивающая огромные возможности и универсальность этой исторически сложившейся и непрерывно развивающейся формы, приобретает актуальное значение.

Мне кажется, что книга “Происхождение романа” даёт основание для того, чтобы принять литературоведа В. В. Кожинова в члены Союза писателей РСФСР”.

Так что ни Сергей Макашин, ни Феликс Кузнецов, будучи членами приёмной комиссии, 28 октября 1965 года не “переламаывали ситуацию”, как утверждает лихой и безответственный автор “Ценителей...” Она не нуждалась ни в каком “переламаывании”. Кожинов “проходил”, что называется, “на ура”, что констатировали выступавшие.

С. Макашин: “В. Кожинов — это критик устоявшегося нового типа, который создан за последние десять лет. Он очень образованный критик с большим интересом к теории, умеющий сочетать искусство анализа и синтез. Он умеет давать анализ художественной ткани с широкими обобщениями той эстетической основы, которое определяет пресловутое скрытое направление искусства. Его книги у нас широко известны, они переведены и на Западе (“Происхождение романа” было издано в 1965 году в Праге и вызвало большую и оживлённую полемику в Чехословакии и Польше. — С. К.). Одним словом, это очень серьёзная кандидатура. Он обладает искусством яркого, динамического изложения. Это настоящая научная критическая проза, иной раз усложнённая, но это безусловно искусство слова. Мне кажется, что это кандидатура бесспорная”.

Ф. Кузнецов: “...Если говорить обобщённо об этом критике, то первое, что хотелось подчеркнуть, — это уровень образованности этого человека, причём образованности в глубоком смысле слова. Это человек очень больших знаний, без чего серьёзный разговор о литературе вести невозможно. Второй момент положительный — это серьёзная теоретичность его работ. Это человек с достаточно точным и основательным марксистским теоретическим мышлением. И третий момент. Это человек, обладающий даром слова, пишет всегда интересно, живо, и даже такая работа, как “Происхождение романа”, вроде бы сугубо специфическая... но и она читается с очень большим интересом и даёт очень много для понимания жанра романа и его происхождения...”

Слуцкий, кроме того, что дал рекомендацию, выступил и на приёмной комиссии: “...Я прочёл книгу Кожинова “Происхождение романа”. Хочу сказать, что это книга исследователя, знающего русский, старославянский, все главные европейские языки и исходящего, по крайней мере, из пяти литератур. Эта книга уникальна ещё и потому, что в нынешних спорах о бытии или небытии романа она представляет наиболее веские аргументы в защиту позиции советских исследователей. И если кто знает книгу Бахтина по поэтике Достоевского, то именно Кожинов нашёл в Саранске всеми забытого Бахтина, потратил несколько лет, чтобы добиться издания этой книги. Сейчас я наблюдаю его отношение к известному деревенскому поэту Тряпкину и другим. Он ищет хорошие стихи там, где их никто не ищет. Он начинает работу с поэтом не по заданию журнала или издательства, а когда он безвестен, нищ и заслуживает поддержки”.

Приёмная комиссия под руководством лауреата Сталинской премии Анатолия Рыбакова проголосовала, и количество голосов распределилось соответственно: 17 — за, 1 — против. Вадим Кожинов стал членом Союза писателей.

Его богатую и разнообразную эрудицию отметили все. Даже Елена Кнупович, всеми силами пытавшаяся задержать издание бахтинской книги о Достоевском и весьма лукаво рецензировавшая “Происхождение романа”, на заседании секретариата вынуждена была отметить: “Этот человек отличается потрясающим образованием, причём отнюдь не академическим”.

\* \* \*

Здесь, пожалуй, самое время обратиться к упомянутой Александром Кронном статье “Язык искусства”, напечатанной 25 сентября 1964 года в “Литературной России” в рамках дискуссии о современном рассказе. Поводом для выступления стали рассуждения критика Генриха Митина о рассказе Василия Шукшина “Стёпкина любовь”, вошедшем в недавно изданную книгу прозаика “Сельские жители”. Эту статью Кожинов потом перепечатывал в каждом изданном томе своей литературной критики — вплоть до последней книги, увидеть которую он уже не успел.

По существу, он первый назвал Шукшина подлинным художником, написав, что его рассказ “принадлежит к настоящему искусству”. И провёл непреходимую черту между своим критическим подходом и митинским (слишком



типичным для многих критиков, писавших о Шукшине)... Появился прекрасный повод ещё раз – на современном литературном “материале” – “обкатать” свои теоретические открытия в области художественной речи: “Речь художественного произведения есть, прежде всего, особенное искусство, и это определяет всю систему её свойств... Художественная речь – это, строго говоря, уже не речь в собственном смысле слова, но специфическое явление – “язык искусства” или, точнее, форма искусства”.

От этих своих положений, явленных на страницах “Теории литературы”, он и отталкивался, рассматривая мир совсем ещё молодого Шукшина как мир, сотворённый словом подлинного художника: “На мой взгляд, критик вообще не анализирует рассказ как художественное произведение. Он разбирает его как некий очерк, как своего рода информацию о жизненном происшествии... В рассказе Шукшина, по-моему, есть тот художественный смысл, который даёт основание назвать “Стёпкину любовь” рассказом в подлинном смысле. Но этот смысл не высказан открыто и прямо. Язык как таковой – это, по сути дела, лишь внешняя оболочка рассказа. В “художественном” рассказе всегда есть ещё другой “язык” – язык искусства. И то, что сказано на этом “языке”, не совпадает, а нередко даже и противоречит тому, что говорит внешнее, лежащее на поверхности сочетание фактов и фраз...” И далее следует такое плотное, творческое “вчитывание” в текст шукшинского рассказа, на которое тогда, пожалуй, только Вадим Валерианович и был способен.

“В самом деле: Степан идёт, казалось бы, наиболее “непригодным” путём. Чтобы завоевать любовь, он обращается к древнему обычаю, который даже не связан с любовью в собственном смысле. И всё же в художественном мире рассказа это сватовство предстаёт как своего рода идеальное выражение любви, тоски, отчаянной решимости и, главное, индивидуального характера Степана. Возрождение этого обряда настолько невероятно для девушки, что она вначале даже не понимает, в чём дело... Но именно эта неуместность, даже нелепость совершающегося даёт ей понять, насколько важно и сильно содержание, надевшее такую “несоответственную” форму. Да, именно в этой форме прозрачно и даже в каком-то особо резком ракурсе выступает любовь Степана во всей её силе. Сквозь эту форму девушка как бы прозревает и то, как он не посмел просто войти в её дом, и его бессонную ночь на берегу реки, и его чёрную тоску... Она понимает, или, точнее, чувствует: его любовь такова, что не боится даже быть смешной в этой обветшалой одежде. И если внимательно вчитаться в рассказ, ясно, что любовь Степана возвращает ветхой форме обряда какую-то правду и своеобразное величие...”

По сути, Кожин дал в этой статье своеобразное направление: в каком ключе рассматривать шукшинских героев, так называемых “чудиков”, способных одухотворять окружающее пространство, вносить в бытие неожиданный смысл своими, казалось бы, нелепыми поступками... Больше он специально о Шукшине не писал – и на то были свои причины. Одна из них, очевидно, следующая: слишком много через какое-то время образовалось вокруг Шукшина критиков, истолкователей, интерпретаторов, каждый из которых вкладывал в написанное и снятое Шукшиным своё, и каждый в той или иной степени норовил дать понять окружающим, что именно его точка зрения единственно верная. А другая...

Через много лет, давая одно из своих последних интервью, Кожин скажет о Шукшине: “...Есть у него десятка два рассказов, которые, по-моему, навсегда останутся в литературе. В них есть какая-то удивительная свобода, творческая сила и настолько самобытный взгляд на вещи, что порой невозможно сказать, кто у него хороший, а кто плохой. Так и должно быть в русском искусстве. Жизнь, она сложна...” При этом оговорил как будто специально: “Я думаю, что он напрасно писал роман. Это был не его жанр. К тому же как человек он был очень занятой, одновременно огромную работу делал в кинематографии. Поэтому его “Степан Разин” несколько небрежно написан...” О самих шукшинских фильмах не сказал ни слова.

Я знаю, что он высоко ценил фильм “Живёт такой парень”. К остальным работам Шукшина в кинематографе (даже к “Калине красной”, которую он считал излишне сентиментальной) его отношение было весьма прохладным. О “Калине красной”, кстати, он завёл однажды разговор в совершенно ином контексте... В разговоре о Владимире Высоцком.

Уже в 1990-е годы, когда “культ Высоцкого” достиг заоблачных вершин, Кожинова попросили специально высказаться о рано ушедшем певце и артисте. Вадим Валерианович, кстати, никогда не скрывал своего искреннего восхищения такими ранними песнями Высоцкого, как “Штрафные батальоны”, “На нейтральной полосе” и некоторыми другими. И никогда не пытался петь их сам – считал, и, на мой взгляд, совершенно справедливо, что, кроме самого автора, их не может петь (вкладывая в исполнение всё своё существо) больше ни один человек (другое дело, как подчёркивал Кожин, публикаторы его произведений оказывают чрезвычайно скверную услугу памяти певца, ибо не то что к поэзии – к стихотворчеству его тексты не могут относиться. Они не воспринимаются как литературное произведение). Впрочем, послушаем самого Вадима Валериановича:

– Он не пел, он совершал своего рода действие, в которое пение входило как абсолютно необходимая, может быть, даже главенствующая часть. (Характерно, что он не стремился *петь* в собственном смысле этого слова, а издавал какой-то хрип). Действо, в котором мобилизовалось всё, до последнего мускула. И сама его постановка, сама его мимика, жестикация – всё в это действие входило... Важно отметить, что Высоцкий существует как человек, внятный с магнитофона. И опять-таки внимают не только пению: здесь разного рода интонирование, момент мелодекламации, потом ломка мелодии, которая выбрасывала его искусство за пределы пения в собственном смысле слова. И что еще важнее – я давно это для себя понял, – что песни его распространялись по всей стране на плохих бытовых магнитофонах, очень несовершенных, и он, наверняка, бессознательно к такой технике приравнивался... Умрёт ли его творчество для русской литературы?.. Я о литературе вообще не хочу говорить, не для литературы, а скорее для искусства в целом, – конечно, не умрёт. Такой яркий талант умереть не может, конечно, он останется и будет существовать, о нём будут помнить, и в историю культуры неизбежно должна войти какая-то, пусть небольшая, главка о Высоцком. Всё это так. Но в то же время я думаю, что для новых поколений он совершенно не будет иметь того значения, которое он имел для нас. Может быть, потому, что самое главное, что Высоцкий сделал, – создал свой собственный образ. Но, в каком-то идеальном выражении, он не поднимался над этим образом. Герой Высоцкого и сам Высоцкий, с моей точки зрения, идентичны. Для Высоцкого то, что он делал, не представляло как бы некий объект, он был субъектом. И не мог посмотреть на своего собственного героя со стороны.

Вот здесь он и вернулся к разговору о Шукшине, вспомнив, как к нему пришли два молодых провинциала и завели разговор о Шукшине и Высоцком, заявив, что для них – это фигуры одного ряда (подобная мысль уже давно бродила по кругам так называемой “третьей эмиграции” перед тем, как спланировать на отечественную почву). И Кожин незамедлительно расставил все точки над “и”:

– В то время как раз прошла по экранам “Калина красная” Василия Шукшина, произведшая, конечно, большое впечатление, хотя, на мой взгляд, далеко не лучшее его произведение, просто очень пронзительное. Так вот, в ответ я тут же заметил им, и они, кстати, со мной согласились, по раздумью, что неверно ставить в один ряд этих людей. Почему? Потому что для Шукшина героем является именно тип Высоцкого. Шукшин воссоздал этот тип. Сам-то Шукшин стоит... как бы в другом измерении. В “Калине красной” есть такой кадр: герой, которого, кстати, играет сам Шукшин, вдруг всё понимает про свою бесплодно и нелепо прожитую жизнь, катается по земле, а где-то вдаль маячит церковь. Герой и не смотрит на эту церковь, она для него не существует. Она существует для Шукшина. Шукшин стоит как бы над своим героем, или, скажем так, вне его, смотрит на него, он шире и глубже своего героя.

Высоцкий не будет жить живой жизнью дальше именно потому, что он не установил дистанции между собой и своим героем. И он не столько воссоздал своё время, сколько выразил его, выразил самого себя, людей своего поколения, своего времени. Но это было неизбежно, просто по характеру, по самому типу созданного им искусства.

... Есть прекрасная русская пословица, которую очень любил Михаил Пришвин (писатель, к сожалению, недооценённый, ещё не прочитанный и даже

ещё не изданный): “помирать собрался – рожь сей”. И если у Шукшина можно этот завет найти – “помирать собрался – рожь сей”, – то, увы, у Высоцкого – нет, он сливался со своим гибнущим героем. И его трагическая судьба, и гибель... вычерчена так трагически, так сильно, что не могут не вызвать уважения и даже, если хотите, по его же формулировке, *гибельного восторга*. Кстати, *гибельный восторг*, в конце концов, действительно формула, которая имеет достаточно глубокие корни в мировой культуре.

Но на этом нельзя долго жить, жить в буквальном смысле. Это можно только прокричать... Не *гибельный восторг* является высшей возможной концепцией человека, который даже знает о гибели. Всё равно... Когда-то Норберт Винер высказал такую мысль: да, конечно, в результате энтропии человечество погибнет, но я уверен, что оно сумеет так себя выразить во Вселенной до этого, что след его всё равно не сотрётся.

Так вот, чтобы след не стёрся, человека должен вести не *гибельный восторг*, а творческая воля, действительно в духе того, что *помирать собрался – рожь сей*...

\* \* \*

Собственно говоря, со статей, посвящённых поэзии Анатолия Передреева и рассказу Василия Шукшина, и начался Кожинов как литературный критик. Печатные отзывы его о книгах Бахтина были в большей мере рассуждениями теоретика, который, разумеется, никуда не делся в разговоре о живой современной литературе, но придал этому разговору необходимое фундаментальное оснащение.

Характерно в этом отношении его выступление на дискуссии о поэтических итогах года в ноябре 1965-го. Это уже было время завершения целой литературной эпохи – предыдущего десятилетия. Эпохи, о которой впечатляюще писал ещё один непосредственный участник ожесточённых литературных битв – критик Анатолий Ланщиков, только начинавший в середине 1960-х свою серьёзную деятельность.

“Я не возьму на себя смелость говорить обо всей Москве, но литературная Москва в начале шестидесятых годов мало сказать, что бурлила, она просто клокотала. Старые литературные авторитеты разбивались вдребезги или, в лучшем случае, отодвигались куда-то на задний план. Прежние оценки, взгляды, понятия отвергались с ходу, и порой одно отвержение и осмеяние этих оценок, взглядов и понятий уже расценивалось как новое мировоззрение, естественно, прогрессивное и передовое. Молодые поэты, прозаики, критики писали смело, дерзко, хотя и не очень самостоятельно. Оригинальности было маловато, а вот оригинальничанья – хоть отбавляй. Двери издательств, журналов, газет широко распахивались перед молодыми, впрочем, радушие хозяев порой не всегда отзывалось большой искренностью. Но что поделаешь, если пришли новые времена? Иные, весьма маститые “инженеры человеческих душ”, подрастерявшись, стали заискивать перед молодыми, а временами и подыгрывать им. Другие замолчали, ушли в “глухую оборону”. Конечно, были и третьи, и четвёртые, и пятые... Но молодые до поры до времени мало обращали внимания на эти тонкости, они рвались вперёд, атакуя позиции литературных “отцов”. Особое преимущество было у молодых поэтов – перед ними раскрывались ещё двери аудиторий, куда врвались все те, кому заочное знакомство с поэтами казалось недостаточным. Знаменитые вечера в Политехническом...”

Вспоминая пленум, посвящённый “молодым”, который состоялся осенью 1962 года, Ланщиков отмечал, что в его атмосфере чувствовался совершенно иной смысл, чем официально “заявленный”: “Длился он, по-моему, дня три, а ощущение осталось такое, будто это мероприятие заполнило, по крайней мере, целый месяц жизни. Центральный дом литераторов гудел с утра и до позднего вечера. Недостатка не было ни в выступающих, ни в слушателях. Потом я ни разу не видел, чтобы писательские собрания вызывали такой интерес у самих писателей... И на этом пленуме как-то почувствовалось, что модная в то время проблема “отцов и детей” навязана жизни литературой и что водораздел проходит где-то совсем в другой плоскости”.

“В другой плоскости” проходил и пленум 1965 года, призванный, казалось бы, подвести некие итоги прошлого десятилетия и, соответственно, подчеркнуть заслуженное “овладение” молодыми “литературной территорией”... Собравшиеся готовы были признать негласную “победу” тех, кто “зажигал” многосотенные аудитории Лужников и Политехнического, тех, кто уже прошёл через многочисленные критические “сшибки” на страницах периодических изданий, тех, кто “удостоился” негодующего рыканья в свой адрес недавно снятого со всех постов главы партии и правительства и его окружения, так же быстро “слинявшего”... И тут во всём теоретическом вооружении выступил Кожинов.

Сославшись на сравнительно недавно опубликованную “Новым миром” статью Ирины Роднянской “О беллетристике и строгом искусстве”, вооружившись цитатами из канонизированного Белинского, он применил это разделение к современной литературе, определив пишущееся Евгением Евтушенко и Андреем Вознесенским как стихотворную беллетристику. И если бы сопровождал свои слова уничтожающими эпитетами... Ничего подобного! Он внушал окружающим, что подобная литература необходима, ибо “Белинский считал, что во время быстрого развития литературы беллетристика подчас бывает важнее и нужнее “строгого” искусства”. Другое дело, что к ней надо подходить с совершенно иными критериями, чем к поэзии.

“Стихотворец схватывает насущнейшие сегодняшние настроения и выражает их осязаемо для всех. Он говорит то, что в данный момент у каждого просится на уста. И пусть его слово живёт недолго – оно за свою короткую жизнь может сделать очень много, может облететь целый мир.

У поэта другая цель. Он идёт, а не бежит. Он вслушивается в неясные подземные гулы, он говорит людям то, что без него не только бы не было выражено в слове, но и осталось бы неосознанным.

Но повторяем, и тот, и другой *необходимы*... Критика просто не имеет эстетического права смешивать тех и других... Неправоммерно, скажем, бранить “беллетристические” стихи за так называемую иллюстративность, за прямолинейность отклика на текущие события, за обнажённую “эффектность” фраз, за известную поверхностность и т. п. Нельзя подходить к “лёгкой поэзии” с требованиями, предъявляемыми к поэзии серьёзной. Представим себе, что получилось бы, если бы эстрадную музыку судили по тем же принципам, как и музыку классического склада...”

Евтушенко всю жизнь наслаждался печатной бранью в свой адрес, и мне приходилось слышать от заслуживающих доверия людей, что частенько он сам эту брань и “организовывал” (предрекая появление на белый свет оравы современных “пиарщиков”). Но Кожинова он, как я понимаю, возненавидел на всю оставшуюся жизнь именно после этого пленума, где о нём сказали, насколько он необходим как стихотворный беллетрист. Более того, где Кожинов мягко упрекнул Станислава Рассадина и Михаила Лобанова за их разгромные статьи о Вознесенском и Евтушенко, в которых критики попытались проанализировать продукцию двух стихотворцев как явление поэзии...

К этому времени Кожинов знал о Евтушенко гораздо больше, нежели ранее, в ту пору, когда находился с ним в более или менее добрых отношениях. Поэт фронтового поколения Евгений Винокуров под рюмочку рассказал как-то Вадиму Валериановичу, что Евтушенко в феврале 1953 года написал и сдал в “Литературную газету” стихи, клеймящие “убийц в белых халатах”... Обстановка была крайне тревожная и неустойчивая, редакторы до поры до времени отложили принесённые вирши в сторону. А потом, после смерти Сталина, освобождения и реабилитации врачей об этих стихотворных изделиях никто (и, естественно, сам Евтушенко) уже не вспоминал.

– Пожил бы Сталин ещё немного – глядишь, стихи о врачах напечатали бы, и тогда никакого Евтушенко не было бы! – ядовито закончил свой рассказ Винокуров.

Собственно говоря, подобные факты лишь дополняли общую картину “пристраивания” модного стихотворца к любой меняющейся общественной и политической ситуации. Окружающие подчас диву давались, как мгновенно схватывал текущую конъюнктуру этот высокий, немного нескладный, всегда пижонисто одетый молодой человек, слывающий везде и повсюду “бесстрашным либералом” и “антисталинистом”, “горланом” и “трибуном”, чуть ли не реинкарнацией Маяковского... Печатная редакция кожиновского выступления

при всей сохранности основного смысла не передаёт отдельных, вычеркнутых редакцией “Вопросов литературы” фрагментов. В частности, следующего: Кожинов назвал стихотворца “официальным певцом хрущёвского режима”, напомнив, что раньше он был таким же официальным певцом сталинского, во всяком случае, в своей первой книжке. Тут же последовала реплика из зала какого-то евтушенковского болельщика:

— А кто же тогда Николай Грибачёв?

Это был типичный приём “перевода стрелок”. Тут же потребовалось “подсунуть” фигуру с репутацией “погромщика” и “сталиниста”.

Кожинов даже глазом не моргнул:

— Разумеется, оппозиционный режиму автор.

Бросивший реплику не мог взять в толк — насколько она в данном случае оказалась к месту: рядом (даром, что против друг друга) оказались два стихотворных беллетриста с диаметрально противоположными позициями, но идеально подходящие под разбор с одними и теми же литературными критериями.

... Через много лет Михаил Лобанов вспоминал, как Кожинов вначале похвалил его статью “Нахвтанность пророчеств не сулит” о только что опубликованной евтушенковской “Братской ГЭС”. И его удивили дальнейшие кожиновские слова. А потом он понял: “Хваля, он в то же время недоумевал, как я мог говорить о какой-то “неорганичности” в отношении поэмы Евтушенко, когда она, так сказать, с ног до головы эстрадна! И вообще смешно рассуждать о какой-то “органичности”, “неорганичности”, когда мы имеем дело с элементарной синтетикой, в том числе человеческой”.

“История литературы, я уверен, — заглядывал ещё дальше Кожинов, — “снимет” также с Евтушенко и его соратников надуманное обвинение в том, что в их стихах были некие грубые “ошибки”. Они, на мой взгляд, выразили именно то, что нужно было выразить во второй половине пятидесятых — первой половине шестидесятых годов”.

Другими словами, все хрущёвские вопли, все стариковские претензии, вообще — всё, что было накручено и навёрчено за эти годы вокруг популярных стихотворцев, по сути, не имеет отношения к подлинной литературной критике, призванной вникнуть в суть разбираемого, а не искать ошибки — “политические”, “нравственные” или какие-то там ещё... Поневоле вспомнились евтушенковские строчки: “И голосом ломавшимся моим // ломавшееся время закричало...” Тут-то и напрашивался разговор на тему — почему это время потребовало именно таких выразителей... Но этого разговора в те годы так и не состоялось.

Но... Вот-тут и последовало “но”, главное для Кожинова. Он процитировал ставшего навсегда любимым будущего своего героя — Михаила Пришвина, за которым давным-давно закрепилась репутация “певца русской природы” и в котором Кожинов открыл одного из глубочайших русских писателей XX века, вчитавшись в избранные произведения ещё прижизненного двухтомника писателя 1951-1952 годов и посмертно изданные выдержки из сокровенных пришвинских дневников в книгах “Незабудки” и “Дорога к другу”:

“Беллетристика — это поэзия лёгкого поведения. Настоящее искусство диктуется внутренним глубоким поведением, и это поведение состоит в устремлённости человека к бессмертию”.

Подлинная поэзия, говорил Кожинов, “рождается, когда слово становится как бы поведением цельной человеческой личности, узнавшей и “охраняющей” свою цельность. Поэта уже невозможно “вытеснить” (в отличие от периодически “вытесняемых” стихотворцев. — С. К.); ценность его творчества никак не зависит от смены общего настроения... Даже “небольшой” поэт остаётся поэтом, потому что в его слове есть устремлённость к бессмертию — пусть и не достигшая полной победы”. И как образец подлинной поэзии, он привёл строки из разных стихотворений Владимира Соколова (чем ещё более настроил против себя Евтушенко, который считал Соколова не только своим учителем в поэзии, но и “единомышленником”), а также упомянул “медливших и выбиравших” Анатолия Передреева и Глеба Горбовского... И только в самом конце остановился на собственно “итогах поэтического года”, указав на “три значительных и волнующих поэтических дебюта”: публикации Николая Рубцова в “Октябре”, Александра Плитченко в “Литературной России” и Олега Чухонцева в “Молодой гвардии”. Кажется, Кожинов был первым, кто обратил

серьёзное внимание на чухонцевские стихи, в частности, на стихотворение “В паводок”, которое в самом деле восхищало и своей внутренней энергией, и творчески преображённой “почвенностью”:

*Свежим утром, покуда светает  
в деревянном и низком краю,  
медный колокол медленно мает  
безъязыкую службу свою.*

*Облупилась яичная кладка,  
сгнил настил до последней доски.  
Посреди мирового порядка  
нет тоскливее здешней тоски.*

*Здесь, у тёмной стены, у погоста  
оглянусь на грачиный разбой,  
на деревья, поднявшие гнёзда  
в голых сучьях над мутной водой;*

*на разлив, где, по-волчьему мучась,  
сходит рыба с озимых полей,  
и на эту ничтожную участь,  
наречённую жизнью моей;*

*оглянусь на пустырь мирозданья,  
подымусь над своей же тщетою,  
и — внезапно — займётся дыханье,  
и — язык обожжёт немотой.*

Пройдёт полгода, и Кожинов выступит в “Московском комсомольце” со статьёй “Накануне первой книги”, опять же посвящённой Чухонцеву, чьи стихи (наравне с соколовскими, рубцовскими, передреевскими) затронули его самые сокровенные душевные струны... Первая книга у поэта выйдет ещё через шесть лет — и этой задержке (необъяснимой для читателей) будет не одна причина.

Газета “Московский комсомолец” середины 1960-х годов ничем не напоминала нынешнюю. В ней не было ничего броского, скандального, лезущего в глаза, настырно требующего обратить на себя внимание — и в то же время это было по-настоящему культурное издание... 24 марта Кожинов опубликовал в ней “Диалог поэта и критика”, посвящённый только-только вышедшей книге Станислава Куняева “Метель заходит в город”, которая стала рубежной для поэта, содержащей, в частности, такие стихотворения, как “Слева Псков, справа — станция Дно...”, “Владимирское шоссе”, “Шепчу, объясняюсь, прощаюсь...”, “В полутёмной церкви, где у входа...”, “Шарманка — забытое чудо...”, потом, через десятилетия переходившие из хрестоматии в хрестоматию поэтического творчества 1960–1980-х годов... Если судить по интонационному рисунку диалога, то Кожинов воспроизвёл в нём свой разговор о новой книге Куняева с Анатолием Передреевым, представляющим на газетных страницах образ Поэта... И оба собеседника выделили в книге одно стихотворение, которое, как им казалось, воплотило новое бытийственное содержание, которого не было в прежних куняевских стихах:

*В могилу поставили гроб,  
осыпалась жёлтая глина,  
и мне показалось, что скорбь  
останется неуголима.  
Но комья земли тяжело  
обрушились, словно камня,  
и дождь перестал.*

*И пришло  
нежданно для всех облегченье.  
Я голову поднял —*

*в ветвях,  
над свежим прибежищем праха,  
кормила дитё второпях*

*какая-то малая птаха.  
Я всё-таки тоже рождён  
увидеть, как солнце блеснуло,  
услышать, как тёплым дождём  
за ворот рубахи плеснуло!  
Я так же, как всякий другой,  
отмечен неярким величьем...  
И слёзы смешались с травой,  
с листвою и с лепетом птичьим.*

Думается всё же, что собеседники напрасно прошли мимо ещё одного стихотворения, подспудный смысл которого тогда, может быть и не улавливался ни читателями, ни критиками, но со временем обрёл своё полновесное звучание, и само стихотворение стало восприниматься как своего рода пророчество:

*...И глядя на сырой щебёнь,  
на развороченные гнёзда,  
на разможжённую сирень,  
я думал: никогда не поздно  
понять простую правду слов,  
что если в золотом укладе  
раздался мощный хруст основ,  
то это будущего ради.  
Иначе, иначе зачем  
все эти роковые сдвиги,  
крушенья взглядов и систем,  
о чём рассказывали книги?  
Но если повторится день  
среди грядущего столетья  
и на землю стряхнёт сирень  
пятиконечные соцветья,  
и все поймут, куда зашло  
смятенье в человечьем рое,  
что срок настал: добро и зло  
объединились в перегное, —  
то наша боль и наши сны  
забудутся, как наши лица,  
и в мире выше нет цены,  
чем время сможет откупиться.*

... Ещё ранее, в июне 1966 года на страницах “Московского комсомольца” появилась кожиновская статья “Современность искусства и ответственность человека”, посвящённая прозе Андрея Битова, у которого к этому времени в Ленинграде вышли две книжки — “Большой шар” и “Такое долгое детство”. После выхода “Большого шара”, как вспоминал сам Битов, “редактора лишили прогрессивки и премии, автора — какой-либо возможности печататься”.

КожинOV читал “Большой шар” — и видел, что перед ним не начинающий прозаик, а состоявшийся художник... Читал критику на эту книгу — и в глазах рябило от словечек “мелкотемье”, “бездуховность героев”, “изображение бессмысленной и случайной жизни”... Он ощутил настоятельную потребность встать на защиту совсем ещё молодого писателя. И организовал уже привычную для него авантюру.

Главным рычагом, приводящим её в действие, должен был стать его тесть Владимир Владимирович Ермилов.

Надо сказать (думаю, не лишний раз), что под влиянием своего зятя в конце жизни этого бывшего неистового РАППовца, с которым не успел в своё время “доругаться” Маяковский, который всю жизнь пользовался заслуженной репутацией беспардонного литературного громилы, у которого на табличке, прибитой к забору переделкинской дачи по улице Лермонтова, “Осторожно! Злая собака” какой-то остряк приписал слово “беспринципная”

(и обитатели Переделкина со злорадной усмешкой читали “злая и беспринципная собака”, относя эту характеристику, естественно, к самому хозяину дачи), – в общем, у этого “ревнителя пролетарской чистоты” происходили в сознании какие-то серьёзные изменения. Он защищал (используя весь аппарат изошёренной “марксистской” демагогии) молодых учёных и их трёхтомную “Теорию литературы”. Он без колебаний подписывал все подкладываемые ему на стол Кожинным письма, призванные ускорить издания Бахтина. Он дошёл до того, что в открытой печати на страницах “Литературной газеты” в беседе под названием “Связь времён”, опубликованной 17 апреля 1964 года, публично покаяться за свои статьи, крушившие ранее прозу Андрея Платонова: “Я не сумел войти в своеобразие художественного мира Платонова, услышать его особенный поэтический язык, его грусть и радость за людей. Я подошёл к рассказу (“Семья Иванова”. – С. К.) с мерками, далёкими от реальной сложности жизни и искусства”.

Едва ли можно сомневаться в том, что Кожин заставил Ермилова перечитать заново Платонова, который – наравне с Пришвиным – стал одним из любимейших прозаиков Вадима Валериановича. Кожин читал не только опубликованные вещи, но и машинописи “Чевенгура” и “Котлована”, ходившие по рукам... Другое дело, что высшими творениями писателя он считал те вещи (“Фро”, “Джан”, “Третий сын”, “Река Потудань”, “В прекрасном и яростном мире”), в которых, на его взгляд, перо писателя преодолевает дисгармонию мира и истории и обретает равновесие, без которого нет классической гармонии слова и души.

...Кожин сам написал апологетическую рецензию на “Большой шар”, а потом взял у Ермилова его подпись под этим своим творением... Читатели “Литературной газеты” не верили своим глазам: законченный “мастодонт” и “ортодокс” расхваливал первую книжку “неблагополучного” и эстетически явно не близкого ему автора! Вздрогнули и издатели: с Битовым в ленинградском отделении “Советского писателя” был мгновенно подписан договор на следующую книжную позицию.

Что значило для Кожина явление Битова, можно понять, если вспомнить некоторые обстоятельства эпохи, когда явление это состоялось. Прежде всего, стоит вспомнить, кто из молодых прозаиков был на слуху, кому посвящались многостраничные критические дискуссии. Имена их хорошо известны: Анатолий Кузнецов, Анатолий Гладилин, Василий Аксёнов – выпестованные главным редактором “Юности” Валентином Катаевым “звёздные мальчики”, представляли так называемого “четвёртого поколения” (этот термин ввёл в литературу маститый, писавший обо всём подряд Александр Макаров, потом его подхватил Феликс Кузнецов).

“Хронику времён Виктора Подгурского” Гладилина называли “первой ласточкой” так называемой новой “молодёжной” прозы. Потом последовали аксёновские “Коллеги” и “Звёздный билет” – и шум критических восторгов, перемешанных с ругательствами, буквально зашкаливал. Участвовали в этом круговороте многие и многие – от Феликса Кузнецова и Василия Рослякова до Юрия Бондарева.

В 1961 году у читателей литературных журналов и газет могло создаться впечатление, что кроме “Звёздного билета” никакой прозы у нас больше не появлялось. Аксёнов вспоминал, что “роман был закуплен на корню, то есть ещё в рукописи, киностудией “Мосфильм”...” Через 3 года, как спустя десятилетия вспоминал Дмитрий Урнов, “сверх журнальных публикаций и книжных изданий, помимо критических восторгов, поверх апологетики... прошёл фестиваль фильмов, снятых по романам Аксёнова... Отправившись по дружбе на фестиваль, я вдохнул атмосферы радения: апофеоз, аллилуйя, триумф, победа полнейшая...” Эта “аллилуйя” звучала в унисон с лужниковскими и “политехническими” триумфами евушенок и вознесенских.

...Кожин рассматривал творчество Битова даже не как противовес так называемой “исповедальной” – прославляемой и прокливаемой – прозе. Он рассматривал его как явление совершенно иного порядка, предпослав, в своём духе, необходимую теоретическую преамбулу:

“Не подлежит сомнению, что, чем значительнее произведение искусства, тем оно сложнее. Речь идёт вовсе не о той внешне нарочитой сложности, которая характерна для различных модернистских течений и которую нужно рассматривать, как некий ребус. Речь идёт о той внутренней и органической



сложности, которая обусловлена сложностью самой жизни, осваиваемой искусством.

Посредственный художник просто “отображает” явления жизни, создавая более или менее интересное её подобие.

Художник модернистского типа создаёт условный мир, соответствующий фрейдистской, экзистенциалистской, вульгарно-материалистической либо какой-нибудь ещё догме, и изображает жизнь, в лучшем случае, крайне односторонне.

Настоящий же художник стремится в своём произведении дать, по слову Есенина, “самую жизнь”. Что это значит? В реальной жизни каждый человек не просто совершает те или иные поступки, в реальной жизни каждый из нас неразрывно связан сегодня с бытием своего народа и, далее, человечества. В самом, казалось бы, незначительном проявлении нашей чисто “личной” жизни отражается, присутствует это громадное целое – общее состояние современного мира. И художественное произведение будет как бы “самой жизнью” лишь в том случае, если в него войдёт это целое...”

И далее Кожинов большую часть статьи посвящает подробному и обстоятельному разбору рассказа Битова “Пенелопа”, опубликованному в альманахе “Молодой Ленинград”. Точнее, разбору образа главного героя этого рассказа – Лобышева, облик и поступки которого слишком схожи с обликом и поступками прогремевших по всем журналам “звёздных мальчиков”. Тщательный и вездливый анализ привёл критика к серьёзным и нетривиальным по тому времени обобщениям:

“Рассказ Андрея Битова совершенно лишён какой-либо дидактики, непосредственно “воспитательного” прицела. Но, как и всякое настоящее искусство, он всё же прямо и властно обращается к созиданию, к совести каждого, особенно молодого, юного человека, недвусмысленно говоря ему: не упusti тот момент, где ты можешь потерять чувство ответственности и, следовательно, свою подлинную свободу. Иначе когда-нибудь ты будешь мучительно искать “где-то очень далеко тот хвостик, с которого надо было бы пережить заново, чтобы иметь сейчас свободу”.

... В последние годы у нас появилось множество произведений, молодые герои которых гнались за призрачной “абсолютной свободой”, а авторы поощряли их на этом бесплодном и жестоко обманывающем пути (“герои” критических “аллилуй” и “триумфов” не могли не понять, что именно о них идёт речь. – С. К.). Рассказ Андрея Битова, основанный на сходном материале, резко и открыто противопоставит этим произведениям. И в этом, в частности, проявляется зрелость и подлинная серьёзность писателя”.

Здесь особого внимания заслуживают слова Кожинова о повсеместной проповеди “свободы” в тогдашней прозе (положение дел, прямо скажем, насколько не изменилось с тех пор).

“Прозаики так называемого “четвёртого поколения”... поставили в центр внимания... тему духовной свободы героя – свободы от предрассудков и “ответшалых мнений”, “мещанских” взаимоотношений, карьеристских поступков и т. п. Эта духовная свобода предстала в их произведениях как необходимое и в то же время достаточное условие подлинно человеческого бытия и действия. В поверхностных произведениях этого ряда всё сводилось даже к чисто внешней “свободе”, которую молодой герой обычно обретал элементарнейшим способом: куда-то уезжал, улетал, уходил пешком, попросту разрывая сеть сложившихся отношений и зависимостей. У более серьёзных писателей речь шла о внутренней свободе, которую, конечно, нельзя обрести перемещением в пространстве. Но во всяком случае, именно она выступала, как то идеальное состояние, где всё образуется – останется только жить, быть в прямом значении этого слова, занимаясь любым полезным делом.

Между тем, перед героями Андрея Битова, в сущности, вообще не стоит эта проблема, ибо они сравнительно со своими предшественниками внутренне и, так сказать, изначально свободны... Очень характерно, в частности, что даже наиболее раннее произведение писателя – “Одна страна” – с самого начала оказывается изображением того странствия, которое в столь многих произведениях предстало как искомое “освобождение”. Здесь же нет ничего подобного... Герой возвращается домой – и вот что звучит в его сознании: “Разлука приводит к переоценке ценностей. Всё дороже становится то, что оставил. Вернее, не переоценка, возвращение ценности. Только бы вернуться...”

Битов был чрезвычайно дорог Кожинув этому своим мотивом, так органично перекликавшимся с мотивами лучших стихотворений Анатолия Пердеева, Николая Рубцова, Станислава Куняева середины 1960-х... Что говорить, Кожин и сам в молодости отдал щедрую дань путешествиям, “охоте к перемене мест”. Он объездил все западные республики СССР (отдавая преимущество столь полюбившейся ему Прибалтике), летом 1960-го проехался по всей Восточной Европе – повидал Чехословакию, Венгрию, Румынию, Болгарию, Югославию, Австрию... И каждый раз с особой остротой ощущал эту ценность “возвращения в дом под родное крыло”, как позже напишет Глеб Горбовский... Вадим Валерианович с годами стал классическим домоседом, изредка (и не очень охотно) покидавшим своё обиталище, набитое сотнями томов, где он мог, не переступая порога, беседовать с живыми и давно ушедшими мудрецами.

Это что касается свободы “внешней”. Что же до “внутренней”... Ох, и любил же у нас всегда (и любят по сей день) красочно рассуждать об “отсутствии свободы” у русского человека! Кожин ещё в молодости избавился от этой “болезни” раз и навсегда, побеседовав с одним знакомым филологом, приехавшим из Японии. Тот поразился свободе, царящей в Советском Союзе. “Какая свобода? Вы о чём?!” – с недоумением спросил его “либеральный” Кожин. И японец объяснил ему, что на его родине (и в Европе тоже) существует тьма негласных ограничений, нарушитель которых будет попросту вышвырнут без разговоров (на вполне “законных” основаниях) не только с работы, но из общества в принципе, ограничений, о которых в СССР и не слыхивали. И тут же рассказал историю: на каком-то совещании один из присутствующих рассказывает анекдот. Часть окружающих доброжелательно смеётся, а часть сидит весьма натянута, с не улыбающимися лицами. На вопрос – неужели им не смешно? – последовал замечательный ответ: “А мы из другого министерства”.

“... В нашу прозу пришёл писатель, – продолжал Кожин, – по-своему даже отрицающий своих непосредственных предшественников – по крайней мере, ближайших. И явно ошибаются те критики, которые ставят Андрея Битова в один ряд с прозаиками “четвёртого поколения”... Дело, конечно, не просто в том факте, что Битов на несколько лет моложе этих уже сравнительно давно вошедших в литературу писателей. Дело в том, что перед нами художник совершенно иного пафоса и стиля... Андрей Битов исходит из того, что цель человека заключается не в поисках какого-то иного мира, а в истинном овладении тем миром, в котором мы живём повседневно. Для этого необходимо, правда, обрести высокую ответственность перед жизнью”.

Позднее в статье “Что такое мастерство писателя?” Кожин лишний раз (с его точки зрения – совершенно не лишний!) подчеркнул принципиальное отличие прозы Битова от так называемой “молодёжной” прозы, натужно пытающейся “калькировать” на отечественной почве приёмы Хемингуэя, Сэлинджера, Франсуаза Саган, в результате чего так называемый “портрет поколения” в их повестях и романах выглядит непоправимо искажённым... “У Андрея Битова почти нет “заимствований” из предшествующей прозы. Но он действительно учится у великих творцов русской прозы – учится мастерству не столько говорить о человеке, создавая его замкнутый “характерный” образ, сколько говорить с человеком, схватывая тем самым весь свободно раскрывающийся диапазон его духовной жизни. А именно в этом более всего выразилось своеобразие (и в том числе своеобразное мастерство) нашей прозы”.

Битов, в творчестве которого повесть о молодёжи “стала просто повестью, искусством” (в отличие от авторов многочисленных “звёздных билетов”), стал близким товарищем Вадима Валериановича на протяжении нескольких последующих лет. Приезжая в Ленинград, в первую очередь направлялся в гости к Андрею Георгиевичу (был ещё один ленинградец, встречи с которым Кожин старался не миновать, – Глеб Горбовский). Битов был женат на Инге Петкевич (она писала детские повести и рассказы), с которой у Кожина со временем образовались чрезвычайно близкие отношения (ни святым, конечно, ни особо верным мужем он не был на протяжении всей своей жизни). Инга Григорьевна в одном из своих последних интервью вспомнила многих литературных знакомых и друзей – Сапгира, Алешковского, Лимонова, Довлатова, даже Рубцова. Но о Кожине не произнесла ни единого слова...

Сергей Бочаров вспоминал гощение Битова у Кожина на ермиловской переделкинской даче. “Мы жили во флигеле. Бывал там и Битов. Помню такой

случай. Мы стоим на веранде с Сергеем Чудаковым (интересная, яркая личность того времени; он был не совсем из круга Вадима, дружил с Олегом Михайловым и Палиевским). К нам подходит Вадим и говорит: “Слушайте, ребята, пошли Андрюху нести”. Мы пошли и видим картину: на лужайке лежит пьяный Битов, который только что прилетел из Армении... Мы перенесли его во флигель, положили на кровать...”

Чего-чего, а алкоголя на этой даче всегда хватало. Кожинов обожал дружеский “разгуляй”, переполненный эмоциями, мыслями, взаимным общением, эйфорией — и сам создавал вокруг себя эту неповторимую атмосферу, о которой спустя много лет с ностальгией вспоминали участники тех застолий... В 1968 году Битов написал рассказ “Виньетка”, который должен был войти в его книгу “Уроки Армении”. Эта “Виньетка”, кажется, от первой до последней строки пропитана винными парами. Создаётся впечатление от её стиля, как от радостной синусоиды, выписанной ногами не вполне трезвого, но переполненного наслаждением человека. Думается, именно по этой причине все редакторы неизменно выбрасывали сей рассказ из битовской книги.

“Как же я напился в первый свой день на родине! Помню, что встретил на Арбате Рогожина, а дальше ничего не помню...”

Это самое начало. И Кожинов появляется “во первых строках” под фамилией героя Достоевского, соблазнившего пребывающего в “воздушном транссе” от возвращения на Родину писателя, как Рогожин соблазнял Мышкина “ехать к Настасье Филипповне” — в Переделкино.

Дальше не пересказываю — привожу дословный битовский текст. Этого не перескажешь.

“... Проснулся, думаю, в Армении. Но смотрю: сарай какой-то странный, сам я одет и обут, а вместо чистой и тщательной постели, приготовленной руками жены друга или её сестры, лежу это я на раскладушке, обёрнутый в тюремное одеяло. Глянул в окно: лужок, берёзы... Дома! Слава Богу!.. И напиться-то можно только на родине! — такова была моя первая, вполне патриотическая мысль.

Разулся я, побродил по мокрой траве, такой свежей, — какое счастье! Голова чуть меньше болеть стала. Кто бы мог подумать, что и пятки с головой связаны?... Разыскал друзей, сразу двух, — они в другом сарае спали, — но Рогожина среди них не было. Бочаров и Чудаков были их фамилии... “Как вы сюда попали? — А ты как сюда попал?” — ответили они мне. Где мы? Ладно, чего спорить, похмелиться бы...”

Тут и Рогожин — как из-под земли. Всё объяснил, хороший человек. Что мы не где-нибудь, а у него на даче. Это мы в сараях, а он в доме спал, с женой и дочкой. Тут же поскребли мы по сусекам: копейка да копейка — рупь. Рогожин, тот пустой, стеклотары ещё насобирали... Нагрузили это мы Чудакова как самого молодого и на велосипед посадили. Выехал это он по кривой из ворот на большую дорогу и уехал, казалось, навсегда.

Увидел я жену Рогожина — вышла она с дочкой на руках на крыльцо. Обрадовался я ей, заулыбался и руками замахал.

— Глаза бы мои тебя не видели! — сказала она, но дала мне полную кастрюлю щей. А щи, вчерашние, ещё трезвые, — утром единственная возможная еда.

Тут и Чудаков, к счастью, припетлял на своём велосипеде. Правда, фару разбил, но сам цел и бутылки целые.

Фара же ни к чему — и так светло.

И вот сидим мы вчетвером, утро такое хорошее, пьём “Розовое крепкое” и щами из кастрюли поварёшской захлёбываем. Понемножку и разговор пошёл. У меня на душе — Армения, как ссадина. Смотрю на друзей и от любви плачу:

— Как же это — где русские? А мы кто такие? А вот мы где!

И действительно, сидят передо мной Бочаров, Чудаков и Рогожин — уж такие русские, дальше некуда. Волос — русый, нечёсанный, глаза — все голубые, как на подбор, немножко красные с перепоею, как у кроликов, и носы все — курносые, щетина же — рыжая. Такие красивые, не тёмные — светлые, и лица, как у детей, в точь такие. И вдруг слово забытое поражает меня — отрок! Это же всё отроки сидят, кому за тридцать, кому за сорок, а лица-то — отроков. Нетронутые совсем. Никакой мужской побезалости на лицах их нет. Даже щетина кажется первым пушком.

— Отроки мы! — кричу. — Нет и не было на Руси мужчин. Одни пришлые. Псы-рыцари, да варяги, да французишки! Старцы ещё были, а теперь нет, теперь старики... Раньше, значит, отроки и старцы, а теперь отроки и старики. Вот оно в чём дело-то!

Смотрят тогда они друг другу в лица, как в зеркала...

— А ведь верно! — говорят.

Тут Рогожин и гитару взял.

*Затерялась Русь в мордве и чуде,  
Нипочём ей страх.  
И идут по той дороге люди,  
Люди в кандалах.*

И вот уже нет меня — счастье одно. Это я — “в кандалах”, это я “кого-нибудь зарезу”, а “сердцем — чист”. Роняю слёзы в щи.

Или:

*В горнице моей светло,  
Это от ночной звезды.  
Матушка возьмёт ведро,  
Молча принесёт воды...*

Какое же поразительное уродилось на этой сырой земле слово! Русский человек — он весь в слове. Весь в слово вышел. В слове великое утешение и великая беда — слушаешь песню, гениальное слово — и растёшь, и ширишься, и это уже твой гений, и словно из тебя исходит великое слово, и ты велик, действительно — велик! Оборвалась песня — шлёп на землю. Тупой, глухой, варезка. Выпить, что ли? Разве есть ещё хоть один такой язык! Этот язык и есть наша родина, что за глупые вопросы!

*Но безмолвствует, пышно чиста,  
Молодая владычица сада:  
Только песне нужна красота,  
Красоте же и песен не надо.*

До чего же хорошо поёт сегодня Рогожин!

— Дудки! — кричу. — Есть мы, нет нас — какое кому дело! Мы всегда возникнем! — кричу я. — Просто у них нет больше истории. А у нас всё ещё история!..”

По правде говоря, не все кожиновские друзья готовы были принимать Битова так, как принимал его Вадим Валерианович. Сам же Кожинов вспоминал о нешуточной стычке, которая произошла у него на квартире между Битовым и Анатолием Передревым:

“... Как-то — это было в конце 1960-х годов — у меня летним вечером за сиделись, — конечно, не без батареи таких общедоступных в то время “ёмкостей” — Анатолий Передрев и Андрей Битов. Уже близился рассвет, когда атмосфера (что было характерно для подобных посиделок) накалилась, и Битов — человек очень, даже, пожалуй, чрезмерно умный и потому особенно умеющий “ужалить” — бросил:

— Ты, Анатолий, всё понимаешь, ну, прямо-таки всё-всё, а вот сказать не можешь: смотри, у тебя от этого даже жила на шее напрягается...

Передрев не остался в долгу:

— А в твоей прозе, Андрей, ни одной настоящей живой фразы нет — ну, такой вот хотя бы: “Я ехал на перекладных из Тифлиса...” Ни одной!

Через пару минут мне пришлось уже разнимать спорщиков руками, на которых в результате появились кровотокающие ссадины...

Лишь на рассвете спорщиков “развёл по углам” специально привезённый для того из гостиницы “Украина” авторитетный посредник. Это был казавшийся тогда гораздо более старшим и безоговорочно уважаемый обоими — в качестве как бы литературного отца — Виктор Астафьев...”

Чрезвычайно характерная черта тогдашних писательских посиделок: творческая полемика достигает такого напряжения, что лишняя фраза уже

словно спичка, поднесённая к пороховой бочке, когда драка увенчивает многочасовой литературный диалог, возникая отнюдь не на личной почве!

Настал, однако, тот час, когда исподволь между Кожинным и Битовым стало ощутимо нарастать неизбежное взаимоохлаждение.

Уже в “раннем” Битове Кожиннов обнаружил те черты, которые со временем стали всё усиливаться, “совершенствоваться” и “нивелировать” те достоинства его почерка, что были отмечены в статьях “Современность искусства и ответственность человека” и “Что такое мастерство писателя?” Кожиннов отметил, заговорив о повести “Жизнь в ветреную погоду”: “Это не столько повесть в собственном смысле слова, сколько повесть о том, как писалась данная повесть... А когда литература становится воплощением только авторского, то есть, в конечном счёте, словесного бытия, она превращается, в сущности, в инобытие инобытия, в ту пресловутую тень кучера, которая тенью кнута погоняет тень лошади, везущей тень кареты...”

Кожиннов не принял ни романа “Пушкинский дом”, ни последующие битовские сочинения. Последней книгой прозаика, которую он высоко оценил, были как раз “Уроки Армении”. Вся дальнейшая битовская “эволюция” воспринималась Кожинновым, как уход от подлинно плодотворного творческого пути, о чём он и написал в предисловии к сборнику своих избранных статей о современной литературе:

“... Впоследствии Андрей Битов явно уклонился от начатого им пути, всё более замыкаясь на узко личностных проблемах бытия и сознания человека.

Мне вспоминается разговор с одним писателем, очень близким по своему мироощущению к “позднему” Андрею Битову. Я сожалел, что его повествования ограничены воссозданием самодовлеющего мира личности. Мой собеседник сказал в ответ на это, что-де только жизнь личности представляет собой достоверную реальность, а любые феномены “всеобщего” характера — это плоды воображения, мифы, даже химеры.

— Но как же тогда относиться к творчеству Достоевского или Толстого? — возразил я. — Ведь у них сколько угодно “всеобщего” содержания.

— Они были настолько гениальны, — ответил писатель, — что могли позволить себе лгать. А я не гениален и потому не могу лгать.

Этот разговор, по-моему, выражает самую суть дела. Он выявляет основы того индивидуалистического кризиса сознания, который не так уж редко подстерегает писателя”.

И тем не менее, Кожиннов продолжал поддерживать личные отношения с Битовым ещё более десяти лет, в частности, пригласил его участвовать в знаменитой дискуссии “Классика и мы” (о ней в своём месте пойдёт подробная речь), где Битов выступил достаточно содержательно и интересно. Но охлаждение всё усиливалось, Битова всё более и более тянуло в сторону так называемой “либеральной общественности”, сам он всё более и более обретал ту “снулую важность” (замеченную Михаилом Лобановым), которая отбивала всякое желание общаться с ним весело и разгульно, как раньше. Маска “литературного мэтра” с “оппозиционным душком” намертво приросла к его лицу.

Окончательно Кожиннов объяснился с бывшим другом в печати в совершенно иную эпоху — в 1990 году. К этому эпизоду мы ещё подойдём.

\* \* \*

Сплошь и рядом до недавнего времени можно было услышать, что Кожиннов игнорировал литературу, которую “читали все”, что не желал в ней разбираться и что в этом проявлялась его крайняя субъективность, на которую критик якобы “не имеет права”... Подобные “упрёки” или недоумённые вопросы он слышал в свой адрес ещё в 1960-е, причём не только от недоброжелателей. В конце 1965 года он познакомился с начинающим краснодарским исследователем литературы Владиславом Поповым и вступил с ним в обильную переписку. Одно из кожинновских писем, написанных 23 октября 1966 года, крайне характерно для умонастроения Вадима Валериановича:

“Дорогой Слава!

... Два слова о сути твоего письма. Мне трудно вести с тобой диалог по поводу главного — это о том, что переживают массы. Я уверен, что та большая

часть людей, которая не читает ни Вознесенского, ни Аксёнова, ни что-либо другое, переживают всё глубже, интереснее, существеннее, хотя подчас и не очень осознанно, чем те, кто читает. Подавляющая часть “читателей” — это люди, для которых чтение есть сублимация, способ создания иллюзии собственного переживания и размышления. К тому же в беллетристике всё так разжёвано, что мыслить не нужно. Исходя из этого, я считаю, например, что журнал “Юность” — одно из самых вредных и печальных явлений сегодняшней “культурной жизни”. И это не только моё мнение, конечно. В частности (именно только в частности — т. е. лишь одно из зол), “Юность” подсовывает своему миллионному читателю крайне дешёвый, пустой, пошлый (именно так) “идеал”. Для тех, кто читает “Юность”, представление о “прекрасной” жизни неизбежно складывается как представление о столичной или полустоличной “модерновой” обстановке с “интеллектуальными” (псевдо, конечно) спорами, всякими там кафе и прочее, либо как представление о “штурмовой” работе на неких “героических” стройках (отгрохав первую, едем на вторую). В этом “идеале” нет ничего подлинно народного, национального и личного. Он побуждает стремиться прочь из тех мест, где живёт 90% народа, где действительно нужно строить жизнь, созидать её органическое развитие. Он воспитывает психологию вечных женихов, а не мужей — психологию, которая давно (лет полтора) подрывает корни русской жизни. Но, как видишь, это очень сложный и объёмный вопрос. Как-нибудь обсудим.

Важно сказать о другом. О беллетристике не стоит думать, заботиться и прочее. Ибо она без всяких забот сама растёт и меняется на глазах. Она необходима. Но как-то “учиться” на ней — это значит без толку тратить время. У тебя, вероятно, мало времени. Как же ты можешь тратить его на беллетристику? Лучше читай Пришвина (особенно “Дневники”, “Глазами друга”, “Времена года” и прочее), Андрея Платонова.

Пиши. Желаю всего доброго.

Вадим”.

*(Продолжение следует)*

ВАЛЕНТИН КРУТОВЫХ

## В ОГНЕДЫШАЩИХ СТИХИЯХ

К 400-летию писателя протопопа Аввакума

*Если мы раскольники и еретики,  
то и все святии отцы наши  
таковии же.*

Аввакум, письмо царю  
Алексею Михайловичу

Одним из следствий богослужебной реформы, проведённой во второй половине XVII века патриархом Никоном и царём Алексеем Михайловичем, был раскол в Русской Православной Церкви, перешедший в раскол русского народа. Государственные и церковные власти привели русские богослужебные тексты в соответствие с таковыми Греческой Церкви, находящейся под влиянием католицизма. Древние формы совершения таинств, священнодействий, молитв были изменены или отменены по личному указанию Никона, а затем были подвергнуты анафеме соборным судом Церкви. По мнению кандидата философских наук Р. Ю. Аторина, церковная реформа в глазах протопопа Аввакума и его сподвижников имела вид идеологической диверсии папского престола в отношении Русской Церкви. Целью реформы для царя Алексея Михайловича было стать византийским императором, а у Никона – Вселенским Патриархом.

Большой Московский собор 1666–1667 годов признал раскольников, продолжавших креститься двумя пальцами, а не тремя, и писать Иисус, а не Иисус, как это было принято в то время в Западной Православной Церкви, еретиками. Кроме того, Большой Московский собор (в 7 главе Деяний собора 1667 года) обосновал необходимость предавать гражданским казням еретиков (то есть старообрядцев), что привело к тому, что церковный Московский собор 1681 года от имени православных христиан просил царя применять против них военную силу. Местные архиереи и воеводы стали совместно арестовывать старообрядцев и предавать их гражданскому суду. Итогом стали массовые пытки, убийства, гонения на старообрядцев, погромы их монастырей и домов. Не признавшие решения Большого Московского собора протопоп Аввакум, поп Лазарь, дьякон Фёдор и инок Епифаний были живьём сожжены на костре. Жестокие репрессии продолжались 240 лет, но старообрядцы сохранили свою веру и донесли её до наших дней. Большой Московский собор 1666–1667 годов стал отправной точкой, после которой Россия надолго попала под влияние Запада, а Аввакум стал первой жертвой, открыто противостоявшей этому процессу, и первым правозащитником в России.

## Просчитались

Читавшие “Житие протопopa Аввакума, им самим написанное”, не задумываясь, скажут, что Аввакум после 14-летнего заточения в земляной тюрьме писал царю Фёдорову Алексеевичу прошение о помиловании из Пустозёрского острога, что стоял на берегу Северного Ледовитого океана, тем самым бросая тень на предводителя старообрядцев.

Да, писал, но какое?! Без единого слова раскаяния. Начиналось оно так: “Благого и преблагого и всеблагого Бога нашего благодатному устройению, блаженному и преблаженному и всеблаженному государю нашему свету, светилу русскому, царю и в. кн. Фёдорову Алексеевичу...” Не знаю, как тебе, читатель, но мне, воспринявшему муки Аввакума, как свои собственные, слова эти показались с трудом сдерживаемой издёвкой над великим князем.

Затем писатель излагает свою просьбу: “Помилуй мя, Алексеевич!” Далее идёт выпад против никонианцев, который перечёркивает все ласковые слова и возможность помилования. “А что, царь-государь, как бы ты дал мне волю, я бы их, как Илья-пророк, всех перепластал во один день. Не осквернил бы рук своих, но и освятил, чаю”.

Это был очередной дерзкий вызов протопopa государственной и церковной власти. Желаящие спасти свою шкуру так не пишут. Они лебезят перед сильными мира сего, подстилаются под их желания. Взять бы прошения писателя VIII–IX века Хань Юя к властям Китая. Желая умаслить императорского чиновника, от которого зависела его судьба, он прошения оканчивал словами: “В страхе и трепете дважды кланяюсь”.

Ответ на челобитную Аввакума не заставил себя долго ждать: в Пустозёрск поскакал гонец с указом: “За великия на царский дом хулы” сжечь живьём бунтаря вместе с другими узниками. Попу Лазарю, дьякону Феодору, иноку Епифанию перед казнью кому вырезали язык, кому отсекали руку.

Но почему же самому Аввакуму царь не повелел вырезать язык?

Властям хотелось, нет, они просто жаждали, после долгих лет непрерывных мучений Аввакума, услышать из уст главаря раскольников вопли о помиловании, весть о которых они потом разнесли бы по всем городам и весям Руси, чтобы развеять и добить эту древнейшую веру! Специально приставленный к костру стрелец не услышал из уст сгоравшего ни одного слова о помиловании.

У Юрия Нагибина в книге “Огненный протопop”, посвящённой Аввакуму, есть немеркнущие слова: “Почему неправая власть так нуждается даже в мнимом изъявлении покорности, мнимом раскаянии тех, кого считает виновным в тяжких против неё, власти, прегрешениях? Может, потому, что власти нужна не преданность, не союзничество, основанное на единоверии, а только слепое послушание, пусть даже неискреннее, обманное, но полное и безоговорочное, проще – рабье. Тогда власть осознаёт себя силой”.

Промашка у них вышла. Аввакум погиб, не издав ни звука с мольбой о пощаде, с несокрушимой верой в праведность всех деяний Бога, до последних мгновений поддерживая соратников словами, что Бог не оставит их.

Протопop Аввакум с соратниками на протяжении десятилетий противостоял мощной государственной машине России во главе с царём Алексеем Михайловичем, его сыном Фёдором и официальной Православной Церковью, на всех парах идущей на сближение с Западом, за что был сожжён на костре. Кто вышел моральным победителем в борьбе старой Руси с новой – судить тебе, читатель.

После казни Аввакум стал символом бескомпромиссной борьбы с вседозволенностью государственной и церковной власти. Ведь у Бога “все равны, от царя до пса”, утверждал он. Его подвиг вдохновлял старообрядцев в борьбе с царём и официальной Церковью, затем с Синодом и поддерживал до наших дней в своём праве верить в такого Бога, который им представляется истинным.

### Протопop Аввакум. Кто он? А кто его жена?

Протопop Аввакум Петрович Петров родился 25 ноября по старому стилю (5 декабря по новому стилю) 1620 года в селе Григорово Нижегородского уезда в семье священника Петрова. Погиб 14 апреля (25 апреля) 1682 года



в Пустозёрске. Деда его звали Кондратием, поэтому некоторые исследователи называют его Аввакумом Петровичем Кондратьевым. Священник Русской Православной Церкви, священномученик, исповедник, писатель, вождь старообрядческой православной церкви России. В конце 1640—начале 1650-х годов — протопоп города Юрьева-Повольского, участник влиятельного Кружка ревнителей благочестия, друг и соратник будущего патриарха Московского Никона, также входившего в этот кружок. Впоследствии противник церковной реформы, начатой патриархом Никоном и царём Алексеем Михайловичем, идеолог и наиболее видный деятель старообрядчества в период его возникновения. Автор первой в России художественной автобиографической исповедальной повести “Житие протопопа Аввакума, им самим написанное” и других полемических сочинений.

Был женат на Анастасии Марковне, сироте, родившейся в одном с ним селе. Она пришла по душе матушке юноши своей набожностью, и он женился на ней в 17 лет. Настасье же было в то время 14. Их брак стал браком по любви. Родилось у них девять детей.

Анастасия Марковна (1624–1710) или Марковна, как называл её по жизни и в “Житиях” Аввакум, твёрдо поддерживала мужа в его борьбе с реформой древнерусского Православия никонианской Церковью и царём. Она прошла с мужем в ссылку на Крайний Север и в Сибирь пешком по бездорожью, проплыла по порожистым рекам свыше 11 тысяч километров (это если считать по прямой, дореволюционные историки насчитывают до 20 тысяч вёрст скитаний в ссылке вместе с мужем, детьми, порой беременная, с библиотекой мужа и семейным скарбом). Только во время ссылки в Даурию под командованием кровожадного садиста воеводы Пашкова она была непрерывно в пути 10 лет. Ведь прямого пути на восток тогда не было.

*Для сравнения:* лет 15 назад я предпринял путешествие на восток по единственной односторонней трассе на новенькой инжекторной “девятке”. Но доехал на ней только до Южного Урала, всего полторы тысячи километров, и проклял эту “дорогу”! Все тягунки на ней были забиты колоннами тяжело гружённых фур, спешивших вывезти наш кругляк в Китай и Японию. Но добились гордость нашего автопрома не три тысячи километров дороги туда-обратно, а десятки километров объездных путей по свежеспиленному лесу с торчащими пнями. По таким “дорогам” впору ездить на танках или КамАЗах. Пришлось в Москве отдать машину за бесценок.

Подвиг Анастасии в какой-то степени повторили в начале XVIII века жёны декабристов, уехавшие вслед за сосланными мужьями в Сибирь. Но им не довелось идти в Сибирь и обратно пешком, раня ноги об острые камни, да и нравы в XVIII веке слегка помягчили. К тому же декабристы были состоятельными людьми. Например, в Иркутске на каторге семья декабристов Муравьёвых жила в отдельном доме, в котором были рояль и прислуга. В том доме в XX веке уже ютилось 16 семей.

Анастасию Марковну Петрову без всяких натяжек можно назвать великомученицей, нёшей крест судьбы с мужем до его казни. Вот как Аввакум описывает в “Житиях” обратный путь из ссылки в Даурию: “Протопопица бедная бредёт-бредёт, да и повалится — кольско гораздо. В ыную пору, бредучи, повалилась, а иной томной же человек на нея набрел, тут же и повалились: Оба кричат, и встать не могут. Мужик кричит: “Матушка государыня, прости!” А протопопица кричит: “Что ты, батко, меня задавил?” Я пришол, — на меня, бедная, пеняет, говоря: “Дольго ли муки сея, протопоп, будет?” И я говорю: “Марковна, до самая до смерти!” Она же, вздохня, отвечала: “Добро, Петрович, ино ещё побредем”.

Преувратности судьбы вперемежку с радостями от осознания своей великой роли в деятельности мужа настолько закаляли её душу и тело, что она прожила 86 лет, пережив своего мужа на 28 лет.

В 1644 году молодого священника Аввакума поставили настоятелем прихода в селе Лопатицы, что на Волге близ Нижнего Новгорода. Там он принялся с жаром проповедовать Слово Божие, обличая паству, одержимую самыми дикими языческими суевериями. К примеру, в храм старались не пускать чужих. Причём не пускали даже жителей соседнего села — во избежание сглаза икон.

Мало кто соблюдал в быту христианские заповеди. Был случай, когда его прихожанин изнасиловал свою дочь, а поп за взятку отпустил ему этот грех. Или начальник забрал себе в наложницы у вдовы девицу из семьи. Дорого

обошлось заступничество за неё Аввакуму: начальник (он уже в XVII веке имел на то полное право), “пришед во церковь, бил и волочил меня за ноги по земле и в ризах”. А потом и дом у него отнял, всего ограбив, и выгнал с семьёй из села... Где же я видел недавно такие кадры? Забыл!

Попытки молодого Аввакума наставить народ к свету евангельской истины закончились плачевно: трижды он был бит до смерти прихожанами за своё усердие. Однажды его чуть было не утопил в Волге воевода Василий Шереметев, разгневанный тем, что священник отказался благословить его сына, поправшего церковные заповеди.

Особенно свирепствовали бабы, ведущие разгульный образ жизни, и попы, потворствовавшие такой жизни и списывавшие за мзду любые грехи и преступления. “Вытащили меня – человек с тысячу или полторы тысячи их было, – вспоминал сам Аввакум, – среди улицы били батошьем и топтали... Наипаче же попы и бабы, которых унимал я от блуда, вопили: “Убить вора, бл-на сына, да и тело собакам в ров кинем!”

Представляете, что было бы сегодня со священником, который вломился бы в один из ночных клубов и стал проповедовать целомудрие и требовать от девиц воздержания до брака?

Но эти годы не прошли даром для будущего исповедника. Он приобрёл своих первых духовных детей – “по се время сот с пять или с шесть будет”. Уже тогда он собственноручно сделал себе “прививку” от огня костра, “примерился” – сможет ли он выдержать пытку огнём. Ох, как она пригодится ему в дальнейшей жизни!

А дело было так. “Прииде ко мне исповедатися девица, многими грехми обремененна; блудному делу...; нача мне, плакавшеси, подробну возвещати во церкви...; аз же, треокаянный врач, сам разболелся, внутрь жгом огнем блудным...; зажёл три свечи и... возложил руку правую на пламя и держал, дондеже во мне угасло злое разжежение”.

Ещё не раз был до смерти бит Аввакум и изгоняем из церквей в Лопатицах, Юрьевец-Повольском за бескомпромиссное служение Богу. Зато он как прогрессивный священник, пострадавший в борьбе за веру, вызвал огромный интерес в Москве. Его тепло приняли и при дворе. Более того, царский духовник Стефан Вонифатьев ввёл Аввакума в придворный “Кружок ревнителей благочестия” – клуб богословов, обеспокоенных судьбой Церкви в России. В “Кружке” состоял и будущий патриарх Никон, с которым они вошли и в “Книжную справу” – так именовался учреждённый при Патриархе Иосифе совет богословов, занимавшийся исправлением важнейших богослужебных книг.

Но очень быстро пути Никона с советом разошлись. После назначения его Патриархом начальником печатного двора стал киевский монах Епифаний Славинецкий, которому поручили исправление церковных книг по западным образцам.

Аввакума в августе 1653 года отдали “под начало”, включающее ряд физических и нравственных мучений, и посадили в тёмный погреб, пока он не подчинится новому Патриарху. Но никакие истязания не сломили дух протопопа.

Через четыре недели его вновь привезли на цепи на патриарший двор для увещевания. “Журят мне, что Патриарху не покорился, а я от Писания его браню да лаю”, – вспоминает писатель в “Житиях”. Тогда Никон приступил к процедуре лишения сана протопопа. В последний момент царь, не желая разлада с царицей Марьей Ильиничной, отговорил его от этого шага. Расстрижение было отменено, и Аввакума вместе с семьёй отправили в ссылку в Тобольск.

## **В Сибирь**

Путь до Тобольска по бездорожью в трескучий мороз занял чуть меньше четырёх месяцев. По дороге Марковна родила ребёнка, но попала с ним в тёплую избу только в канун нового 1654 года.

Встретил протопопа тобольский архиепископ Симеон, считавший Аввакума страдальцем. Он дал ему церковь, где ссыльный священник провёл полтора года в горячих проповедях, “браня от Писания и укоряя ересь Никонову” (слова Аввакума).

С юмором решал протопоп застарелые нравственные проблемы города. Однажды пришёл к нему пьяный монах, с которым не могли совладать ни светские, ни церковные власти. “Учитель! Дай мне скоро царствие небесное!” – стал он требовать под окном новичка. Не выдержав долгих насмешек, Аввакум позвал чернеца в избу и спросил: “Можешь ли пить чаше, которую я тебе поднесу?” Получив утвердительный ответ, священник положил на стол топор. Монах призадумался, но выполнил требование протопопа – положил голову рядом с топором.

Аввакум взял книгу и стал читать ему отходную. И тотчас пономарь нанёс толстым шелепом (кнутом) удар по лежащей шее. Взыл чернец и стал просить пощады. Протопоп наложил на него епитимью – полтораста поклонов перед образом. При каждом поклоне пономарь “угощал” его шелепом сзади.

Этой ссылкой открылся новый долголетний подвиг страдания за проповедуемые идеи. В итоге Аввакум занял одно из первых и почётных мест в ряду апостолов раскола.

Наиболее внятно и исторически выверенно, без прыжков через десятилетия вперёд и назад, жизнь и подвиги Аввакума описаны учёным-энциклопедистом Венедиктом Александровичем Мякотиным в книге “Григорий VII. Торквемада. Савонарола. Лойола. Аввакум. Биографические повествования”, вышедшей в серии “ЖЗЛ” “первого разлива” – Ф. Павленкова – в 1894 году и выдержавшей 4 переработанных переиздания. “Полтора года провёл таким образом Аввакум в Тобольске, строго наблюдая за нравственностью и правотоверием своих прихожан, наставляя одних, обличая других, наказывая третьих, словом и делом осуществляя свой идеал подвижнической жизни”, – пишет об этом взлёте славы Аввакума В. А. Мякотин.

После пяти доносов его погнали дальше от Москвы, в Енисейск, оттуда в Даурию в качестве священника экспедиции с приказанием воеводе Пашкову “мучить” его.

По пути Аввакум совершил ряд гражданских и религиозных подвигов вопреки самоуправству озверевшего воеводы Пашкова. Он вступился за вдов, старух, собиравшихся вступить в монастырь, которых воевода принуждал выйти замуж. В “награду” за то вмешательство протопоп был избит до полусмерти. “Он же рыкнул, яко дикий зверь, и ударил меня по щеке, тоже по другой, и паки в голову, и сбил меня с ног, – вспоминает Аввакум в “Житиях”, – и, чекан (боевой топор с молотком на обухе, знак власти. – Прим. В. К.) ухватя, лежащего по спине ударил трижды, и розболочки (раздев. – Прим. В. К.), по той же спине семьдесят два удара кнутом. А я говорю: Господе Иисусе Христе, Сыне Божий, помогай мне! Да то же, да то же непрестанно говорю. Так горко ему, что не говорю: пощади! Ко всякому удару молитву говорил”.

Остальную дорогу до Братского острога Аввакума везли скованного по рукам и ногам, да и там бросили в холодную избу.

Более пяти лет провёл Аввакум в отряде Пашкова, испытывал ежедневные побои, лютый голод, ел мертвечину, траву с сосновой корой, потерял двоих сыновей, не перенесших голод. Но Аввакум... жалел Пашкова! “За что на него гневаться... Явно в нем бес действует. Да уж Бог его простит”, – пишет он о нём. В этом залог того, что, оказавшись победителем в борьбе с никонианцами, Аввакум не стал бы проливать кровь побеждённых церковников, как в порыве гнева он наобещал в письме царю Фёдору: “Я бы их... всех перепластал во один день”. Не случайно Аввакум, прошив все злодеяния Пашкова, в конце жизни сделал ему великое добро – постриг в иноки. Пашков, раскаявшись в совершённых злодеяниях, благодарит Аввакума за то, что он отнёсся к его семье “отечески – не помня зла”.

В 1661 году пришли два указа из Москвы: первый – сменить Пашкова, во втором протопопа приглашали в Москву. Но зря радовался Аввакум. Его позвали не потому, что старая вера была принята за истинную. Реформы древней религии в Москве шли полным ходом. Её поддерживали патриархи Антиохийский Макарий и Сербский Гавриил, предавшие проклятию двоеперстие и подписавшие исправленный “Служебник” и переведённую с греческого книгу “Скрижаль”. К ним присоединились патриархи Константинопольский Афанасий и Иерусалимский Паисий. Вот перед ними и должен был предстать на соборе 1666–1667 года и покаяться, приняв новую веру, Аввакум.

Перед приездом вселенских патриархов Аввакуму от имени царя было обещано место духовника царского, затем справщика на Печатном дворе, что

привлекало Аввакума. Царь, царица, многие бояре и церковные власти прислали ему от себя денег и припасов — лишь бы он молчал и прекратил свои проповеди хотя бы до собора, который обсудит ход никоновской реформы и утвердит его отречение от патриаршего престола.

— Уступи заморским мудрецам хоть самую малость! — упрашивали ходатаи протопопа.

— В малу дырку и море уплывёт, — отвечал узник.

Однако протопоп, тронутый лаской, в надежде, что ему будет поручено исправление церковных книг, как будто успокоился.

В это время Аввакум совершил молитвенный подвиг. Ни один олимпийский чемпион, ни один футболист в наше время не тренировался к чемпионату или мундиалю столь усердно, как готовились к встрече с Богом Аввакум и его жена. Ежедневно после вечерни протопоп совершал “правило”, состоящее из целого ряда молитв с земными поклонами. Окончив “правило”, он тушил огонь и вновь становился на молитву. Совершал 300 поклонов, 600 молитв Иисусовых и 100 Богородице. Жена, молясь вместе с ним, произносила 400 молитв и совершала 200 поклонов. А ведь он до этого весь день читал проповеди и молитвы в церкви!

Время шло, а перемен к восстановлению старой веры не происходило. Тогда не искушённый в подковёрной борьбе протопоп подаёт царю прошение. В нём он требовал замены всех главнейших церковных иерархов, в том числе Никона, который формально оставался Патриархом, хотя и жил уединённо в Воскресенском монастыре. И называет имена намеченных им кандидатов. Вслед за этим Аввакум подал челобитную, обличающую пороки и ереси приезжих греков и высшего московского духовенства. Непокорного протопопа вновь посадили на цепь и приступили к обряду его расстрижения. Да за него заступился сам царь Алексей Михайлович и его жена, и расстрижение было заменено ссылкой.

29 августа 1664 года, не прожив в Москве и полугодя, протопоп вместе с семьёй в преддверии суровой северной зимы отправился в дальний и нелёгкий путь в Пустозёрский острог, расположенный на берегу Северного Ледовитого океана. В пути, благодаря своему ходатайству и помощи своих многочисленных сторонников, местом ссылки его семьи определили Мезень. Там его и Настасью Марковну с двумя детьми посадили в земляную тюрьму.

### **Патриарх Никон**

Никон (Никита Минов, 1605–1681) — седьмой Патриарх Московский и Всея Руси (1652–1666). Он уловил и поддержал идею царя Алексея Михайловича и его окружения стать во главе православного мира. До декабря 1666 года имел официальный титул “Божью милостию великий господин и государь, архиепископ царствующаго града Москвы и всеа северныя страны и помориа и многих государств Патриарх”, а также титул “Великого Государя”. Стремился поставить церковную власть выше царской, за что в 1667 году был лишён патриаршества и архиерейства и сослан в Ферапонтов монастырь. По решению собора резиденция бывшего Патриарха в Воскресенске получила статус рядовой подмосковной обители.

Ещё до возведения в Патриархи Никон сблизился с царём Алексеем Михайловичем. Вместе они решили переделать Русскую Церковь на новый лад: ввести в ней но-вые чины, обряды, книги, чтобы она во всём походила на современную им Греческую Церковь. Алексей Михайлович мечтал сделаться в результате реформы византийским императором, а Никон — Вселенским Патриархом, для чего в 1656 году основал Воскресенский монастырь по подобию храма Гроба Господня, расположенного в Иерусалиме. Величайший по тем временам архитектурный ансамбль должен был продемонстрировать приоритет Церкви над светской властью и стать центром православного мира.

Никон, решивший провести свои задумки в виде исправления в Церкви погрешностей и ересей, окружил себя учёными греками, величал себя “отцом отцов”. Царь предоставил ему неограниченное право и чрезмерную власть во всём. Ободряемый и поддерживаемый царём, Никон приступил к церковной реформе весьма решительно и дерзко. Обойдя установленные процедуры принятия важных решений, он личным приказом упразднил двоеперстие и направил в приходы “память”: “... Не подобает во церкви метания творити

на колену, но в пояс бы вам творити поклоны, еще же и трема персты бы есте крестились”. “Изменение такой важной части православного обряда, как крестное знамение, личным, ничем не мотивированным циркуляром, — пишет известный исследователь раскола С. А. Зеньковский, — <...> было чем-то неслыханным в анналах не только русской, но и вообще христианской Церкви... А в Русской Церкви семнадцатого века значительных изменений обряда, не посоветовавшись с Собором, не делал даже такой авторитетный глава Церкви, как патриарх Филарет. Что же касается крестного знамения, то оно сохранило начальную греческую форму двух перстов с древнейших времён русского христианства, и когда в начале шестнадцатого века в России начала распространяться новогреческая форма перстосложения, она была осуждена и запрещена Стоглавым Собором 1551 года. <...> Теперь же Никон решался своим личным распоряжением, да ещё накануне Великого поста, который всегда вызывал на Руси большое религиозное напряжение, заменить старое русское и древнегреческое крестное знамение новогреческим”.

Никон ввёл обязательные по всем церквям хвалебные величания царю и его семье, что превратило Божественную литургию в хвалебство царя и всех родственников царской фамилии.

Никон жестоко преследовал несогласное с ним духовенство, все тюрьмы были наполнены священниками, чем-либо провинившимися перед Патриархом. Он истязал даже своего духовного отца Леонида: держал его два года в подвале закованным в цепи, мучил голодом и побоями. Патриарх любил богатство и роскошь. После царя он был первым богачом в России: ежегодно собирал несметные богатства — более 700 тысяч рублей. Памятниками почти безграничного могущества и строительного размаха Патриарха Никона стали три основанных им монастыря — Иверский Валдайский (1653), Крестный Онежский (1656) и Воскресенский Новоиерусалимский (1656). Они не причислялись к домовым монастырям патриаршей кафедры, а были личной собственностью Патриарха Никона. Благодаря его ходатайствам, царь приписал к ним 14 монастырей с их вотчинами и угодьями, солеварни, рыбные ловли на Кольском полуострове.

После разрыва с царём и ухода с патриаршей кафедры в Воскресенский монастырь Никон продолжал держать себя властно: осуждал и проклинал архиереев, предавал анафеме, в том числе царя со всем его семейством. В монастыре, ныне это Новоиерусалимский ставропигиальный (подчиняющийся только Патриарху) мужской монастырь, он жил в четырёхэтажном ските, окружённом со всех сторон искусственными водоёмами. В ските находились его приёмная и две церкви. В монастыре Никон жил 8 лет и был там впоследствии погребён.

Ещё будучи на патриаршем престоле, Никон заявлял, что старые Служебники добры и по ним можно совершать службу Божию. Уйдя же с престола, он позабыл о своих реформах, которые внесли раскол в жизнь Церкви и русского народа. Мало того, он начал печатать в монастыре богослужебные книги со старопечатными текстами. Этим возвращением к старому тексту Никон свершил суд над собственной реформой: он признал её “ненужной и бесполезной”. Никон скончался в 1681 году не примирённым ни с царём, ни с архиереями, ни с Церковью (Митрополит Макарий. История Русской Церкви в 12 томах. М., 1883. Т. XII. С. 449–450 и 455).

### **Большой Московский собор 1666–1667 годов**

В феврале 1666 года в Москве открылся собор русского духовенства для решения дела раскольников. К 1 марта в Москву был доставлен Аввакум, занявший положение главного вождя раскольников. Это был момент, когда путём взаимных уступок возможен был путь мирного решения накопившихся разногласий. Попытки примирить протопопа с церковной властью не увенчались успехом. Аввакума отправили в Пафнутьев монастырь, куда время от времени приезжали с собора духовные лица уговаривать его смириться и покаяться в своих заблуждениях. Десять недель прошло в увещеваниях. Наконец, 13 мая протопопа вновь привезли в Москву и поставили на суд собора.

Собор принял решение лишить Аввакума сана. Он вместе с диаконом Фёдором был расстрижен и предан проклятию как еретик. Но окончательную судьбу Аввакума по просьбе царицы отложили до приезда вселенских патриархов.

15 мая страдальца тайно перевезли в Угрешский монастырь. Вслед за ним потянулись в монастырь многочисленные посетители. Сам царь приезжал в обитель, но зайти к Аввакуму не решился. Тогда Аввакума перевели в более отдалённое место — в Пафнутьев Боровский монастырь. Ещё два с половиной месяца длились напрасные увещания, пока 17 июля он не был приведён на заседание собора на суд вселенских патриархов, где принялись его вновь увещевать.

“Наконец, — пишет сам Аввакум, — последнее слово ко мне рекли: Что-де ты упрям? Вся-де наша Палестина, и Серби, и Албанасы, и Волохи, и Римляне, и Ляхи, все-де трема перстами крестятся, один ты стоишь в своём упрямстве...”

Конечно, спор состоял не в количестве перстов, которыми крестились верующие, а в том, признавать ли суд и авторитет западных вселенских патриархов над русской старинной Церковью, которая к тому времени считалась третьим Римом.

И вот что ответил Аввакум: “Вселенстии учителяе! Рим давно упал и лежит невосклонно, и Ляхи с ним погибли, до конца враги быша христианом. А и у вас Православие пёстро стало от насилия турскаго Махмета, — да и дивить на вас нельзя: немощи есте стали. И впредь приезжайте к нам учитца: у нас, Божию благодатию, самодержество. До Никона отступника в нашей России... всё было Православие чисто и непорочно и Церковь немятежна”. Устав стоять перед увещевавшим его собором, Аввакум отошёл к дверям и лёг на пол со словами: “Посидите вы, а я полежу”.

Непоколебимыми остались призванные с ним на суд собора протопоп Никифор, поп Лазарь, дьякон Фёдор и чернец Епифаний.

Собор признал раскольников еретиками, Лазарю и Епифанию были отрезаны языки, Аввакума царица отпросила от этой кары, и он вместе с изувеченными товарищами и дьяконом Фёдором в конце августа 1667 года был отправлен в Пустозёрск.

По всей стране пошли казни старообрядцев и погромы их монастырей и домов. После 9-летней осады в результате предательства перебежчика монаха Феоктиста, указавшего на неохраняемый ночью тайный ход в Соловецкий монастырь, враги 22 января 1676 года ночью проникли внутрь укреплений и открыли ворота. Почти все защитники старообрядческой твердыни были перебиты и замучены стрельцами. Было убито и казнено 400 староверцев. Такая же участь постигла и другие монастыри старообрядцев. Сестёр боярыню Феодосию Морозову и княгиню Евдокию Урусову после пыток на дыбе хотели заживо сжечь. Не получив одобрения от Боярской думы на такую жестокую казнь людей высшего сословия России, их увезли в Боровск, бросили в глубокие ямы и уморили голодом. Перед самою смертью три боровские узницы (третьей была Мария Данилова) прислали протопопу в тюрьму последнее послание на столбце бумаги. Аввакум о нём писал: “Долго столбцы те были у меня: прочту да поплачу, да в щёлку запихаю. Да бес-собака изгубил их у меня”. Были казнены десятки тысяч не отрёкшихся от старой веры людей. По московским улицам катались мычавшие люди, которым вырезали языки. Жестокие репрессии продолжались 240 лет, но старообрядцы сохранили свою веру и донесли её до наших дней.

### **В огнедышащих стихиях**

Отстроенная в Пустозёрске тюрьма представляла собой четыре сруба, осыпанных землёй, по одному на узника. Верхняя часть сруба проходила сквозь слой вечной мерзлоты. Каждый из срубов был обнесён тыном, а все вместе — общим острогом. От пола до потолка можно было достать рукой. В самом верху находилось оконце, в которое подавалась пища и выбрасывались нечистоты. Весной тюрьмы до лежанок затопляло водой, зимой печной дым выедал глаза и душал. Глаза Епифания, в недавнем прошлом духовного отца Аввакума, давшего ему совет написать своё “Житие”, так загноились, что он временно ослеп и долго не мог делать тайники в топорницах стрелецких бердышей для передачи рукописей на волю. Но именно здесь, при постоянной нехватке бумаги, были написаны “Жития...” Аввакума и Епифания, оба Пустозёрских сборника — памятники совместной писательской деятельности

узников – и другие значительные произведения Аввакума. Здесь писал свои сочинения дьякон Феодор.

В пустозёрской тюрьме Аввакум оставался всё тем же строго благочестивым человеком, соблюдавшим пост и истощавшим плоть молитвами. Он сбросил с себя всё платье, даже рубашку, и остался совершенно нагим. Здесь его, голодного и обессиленного от непрестанных молитв, на вторую неделю строгого поста посетило видение. Тело его выросло до небес и распространилось по всей земле. “А потом Бог вместил в меня небо и землю, и всю тварь”. О своём видении Аввакум рассказал царю. “Ты владеши, на свободе живучи, одною русскою землёю; а мне Сын Божий покорил за темничное сидение небо и землю”.

Нашлись смельчаки из числа раскольников, которые, рискуя жизнью, добирались до пустозёрской тюрьмы (сегодня-то до этого пустынного места на берегу Северного Ледовитого океана трудно добраться!), чтобы доставить Аввакуму и его товарищам письма и посылки, а от них забрать исписанные клочки бумаги.

Постепенно тюрьма в Пустозёрске стала умственным центром широкого народного движения, прошедшего по всей русской земле. Сюда обращались за советом и поучением в делах веры. Сюда стекались все новости, отсюда исходили советы, как жить дальше.

Здесь у Аввакума и его товарищей оставалось больше времени писать мемуары. За 14 лет заточения в Пустозёрске Аввакумом было написано около 44 произведений разного жанра (некоторые исследователи называют 80), из которых до нас полностью дошла его автобиографическая повесть “Житие протопопа Аввакума, им самим написанное” в двух редакциях, или списках. В них отразились основные идеи того умственного движения, ярким выразителем которого стал писатель и протопоп Аввакум. Эта книга положила начало жанру автобиографической повести в русской литературе. Аввакум писал свои произведения ярким, сочным, насыщенным меткими сравнениями языком. В повести “Житие протопопа Аввакума, им самим написанное” трудно найти иноязычное слово. Зато живые разговорные обороты, порой граничащие с грубыми и нецензурными, когда он ими живописал Никона и его сторонников, были на каждой странице.

Только в конце XIX века просвещённые россияне открыли для себя неизвестное им до того литературное богатство – “Житие...” Аввакума. Первое издание “Жития...” Аввакума осуществил Н. С. Тихонравов в 1861 году. Однако задолго до этого времени его читали некоторые писатели по спискам, сохранившимся у старообрядцев. “Житие...” было переведено на английский, немецкий, французский и польский языки.

Лев Толстой был потрясён исповедью Аввакума до слёз и часто читал его в кругу семьи. У Аввакума стали учиться литературному языку Достоевский, Тургенев, Гончаров, Бунин, Лесков, Пришвин и многие другие русские и советские писатели. Д. Н. Мамин-Сибиряк писал: “Слово о полку Игореве...” и автобиография протопопа Аввакума... по языку нет равных этим двум гениальным произведениям”.

“Только раз в омертвелую словесность, как буря, ворвался живой, полнокровный голос. Это было гениальное “Житие...” неистового протопопа Аввакума. Речь его – вся на жесте, а канон разрушен вдребезги!” – говорил Алексей Толстой. Аввакум “писал таким языком, что каждому писателю непременно следует изучать его, – советовал И. С. Тургенев. – Я часто перечитываю его книгу”.

Все реформы в Русском Православии Аввакум связывал с желанием никониан “подстроиться” под нормы западной римской, польской, немецкой веры. “Ох, ох, бедная Русь! Чего-то тебе захотелось немецких поступков и обычаев?” – восклицал он.

Годы шли, но в положении пустозёрских узников не происходило никаких перемен. По-прежнему они были заключены в четырёх стенах тюрьмы. Тягостно стало даже 60-летнему, испытавшему множество ударов судьбы Аввакуму.

В Московском государстве происходили важные перемены. Умер царь Алексей Михайлович. Неожиданная смерть царя, последовавшая 29 января 1676 года всего лишь на 47 году его жизни и ровно через неделю после падения Соловецкой обители, была, по мнению людей старой веры, наказанием

Божиим за разгром монастыря и, конечно, не помогла росту престижа царской власти. Для России наступил период новых серьёзных смут.

На престол заступил его болезненный четырнадцатилетний сын Фёдор, воспитанный киевским монахом Полоцким, увлекавшийся польской литературой и говоривший на польском языке. Для него реформы Церкви стали давно свершившимся делом. Быть может, за государственными делами и балами уж забыл государь про опального протопопа. Но тот сам напомнил ему о себе. В 1681 году он написал и отправил царю Фёдору послание. Долго шло письмо туда и ответ обратно.

\* \* \*

Смертная казнь соединила их вновь и навечно. Снова был апрель, шла Страстная седмица. Снова четверых вели на площадь. Только теперь там ждала не плаха, а новенький сруб. Приговорённые знали, что их ждёт. Когда-то Аввакум писал: “А во огне том здесь небольшое время потерпеть – аки оком мгнуть, так душа и выступит! Разве тебе не разумно? Боишися печи той? Дерзай, плюнь на нея, не бось. До печи той страх-от; а егда в нея вошёл, тогда и забыл вся. Егда же загорится, а ты и увидишь Христа и ангельския силы с ним”. Теперь пришёл и его черёд “увидеть Христа и ангельския силы с ним”.

Перед смертью осуждённые на казнь прощались друг с другом. Дьякон Феодор подошёл к протопопу Аввакуму, и тот благословил его. Когда на площади сделалось жарко от полыхавшего сруба, кому-то из жителей в зыбком воздухе над языками пламени привиделась возносящаяся к небу фигура.

Так кончили свою земную жизнь пустозёрские узники в Страстную пятницу 14 апреля по старому стилю (25 апреля по новому стилю) 1682 года. А через две недели в возрасте 20 лет умер и царь Фёдор Алексеевич.

Сейчас мало, мало людей на Руси, готовых, не задумываясь, отдать жизнь свою за народ! Иначе народы России жили бы – при несметных богатствах земли своей и трудолюбии – не хуже, а намного лучше народов Европы и Америки. Вечная слава и бессмертие будущим храбрецам, которые не побоятся заступиться за свой народ не только на войне, но и в мирное время!



АЛЛА НОВИКОВА-СТРОГАНОВА

## ХРИСТИАНСКИЙ МИР И. А. БУНИНА

*(Очерк творчества к 150-летию писателя)*

*Я очень русский человек. Это с годами  
не пропадёт.*

И. А. Бунин

### ЧАСТЬ 1. “ЖАЖДА ТВОРЧЕСТВА”

В 2020 году отмечается 150-летие Ивана Алексеевича Бунина (1870–1953) – первого из русских писателей, удостоенного Нобелевской премии (1933).

В рассказе “Бернар” (1952) – одном из последних – Бунин оставил своего рода художественное завещание. Раздумья автора, дней которого “на земле осталось уже мало”, над последними словами французского моряка по имени Бернар, перед смертью твёрдо сказавшего: “Думаю, что я был хороший моряк”, – выливаются в оду жизни, прославление целесообразности устройства Божьего мира. Трагизм конечности земного существования преодолевается приближением к сокровенному смыслу бытия, который заключается для человека в том, чтобы всеми силами служить на земле своему призванию, исполнять долг, “возложенный на него Богом”. Бунин размышляет: “Бог всякому из нас даёт вместе с жизнью тот или иной талант и возлагает на нас священный долг не зарывать его в землю. Зачем, почему? Мы этого не знаем. Но мы должны знать, что всё в этом непостижимом для нас мире непременно должно иметь какой-то смысл, какое-то высокое Божье намерение, направленное к тому, чтобы всё в этом мире “было хорошо”<sup>1</sup>.

Писательское служение “высокому Божьему намерению” сродни апостольскому деланию. “Говорит ли кто, говори, как слова Божи; – наставляет Апостол Пётр, – служит ли кто, служи по силе, какую даёт Бог, дабы во всём прославлялся Бог через Иисуса Христа” (1-е Петра. 4: 11); “В усердии не ослабевайте, духом пламенейте; Господу служите” (Рим. 12: 11), – учит Апостол Павел.

Рассказ Бунина, “пламеневшего духом” в творчестве, содержит реминисценцию евангельской притчи о рабах, получивших от господина своего таланты – каждому по его силе. Эта притча приложима к труду писателя. Он не вправе уподобляться тому “лукавому и ленивому рабу”, который, приняв свой

“один талант”, не употребил его в дело, не отдал в рост, но “пошёл и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего” (Мф. 25: 18).

Говоря притчей о “таланте серебра” как денежной единице, Христос избрал образность, доступную и близкую иудеям – ростовщикам, меновщикам, торговцам и мытарям. В то же время новозаветная метафора не подлежит материальному измерению. Подразумевается не имущественная мерка, а таланты духовные, полученные рабами Божиими от Господа в дар. Именно эти дары человек призван развивать и приумножать, отдавать на служение ближним: “даром получили, даром отдавайте” (Мф. 10: 8); “Ищите прежде Царствия Божия и правды Его, и это всё приложится вам” (Мф. 6: 33).

Знаменательно, что писатели Серебряного века – современники Бунина – также сравнили его талант с “серебром”, уподобили “матовому серебру”. Этот драгоценный “металл” выковывался сложно, порой мучительно. Бунин иногда расценивал его как “тягостное бремя”. В рассказе “Цикады” писатель привёл самохарактеристику литературного творчества: “Кто и зачем обязал меня без отдыха нести бремя, тягостное, изнурительное, но неотвратимое, – непрерывно высказывать свои чувства, мысли, представления, и высказывать не просто, а с точностью, красотой, силой, которые должны очаровывать, восхищать, давать людям печаль или счастье?”

Ответ был сформулирован на закате дней Бунина в рассказе “Бернар”. Автор осознаёт, что талант не только дар, но и Божье задание, “и что усердное исполнение этого Божьего намерения есть всегда наша заслуга перед Ним, а посему и радость, гордость” (3, 491). Так, тяжкий крест, достойно пронесённый по дороге жизни, позволяет ощутить полноту и гармонию евангельской антиномии: “иго Моё – благо, и бремя Моё легко” (Мф. 11: 30). Оценивая свой творческий путь, Бунин пришёл к мысли о том, что он, согласно евангельскому завету, “не зарыл свой талант в землю”, работал “не за страх, а за совесть”, хорошо выполнил своё предназначение: “ведь сам Бог любит, чтобы всё было хорошо”. Он сам радовался, видя, что Его творения “весьма хороши” (3, 492).

Формирование творческого дарования писателя началось в самом раннем детстве, проведённом в глуши дворянской усадьбы в Елецком уезде Орловской губернии, где “зимой безграничное снежное море, летом – море хлебов, трав и цветов” (3, 9). В автобиографическом романе “Жизнь Арсеньева” (1927–1929, 1933) Бунин воссоздал историю развития собственной души и становления личности, поднимая тему на уровень общечеловеческий, философский, метафизический.

В начальных главах показано, как человек входит в мир и как мир встречает его со всеми радостями и печалью. Ребёнок отличается необыкновенной впечатлительностью, эмоциональностью, склонностью к созерцательности; интуитивно постигает неразрывную связь земного и небесного, дольного и горнего. Робкая и нежная душа маленького героя устремляется в запретное: “Солнце уже за домом, за садом, пустой широкий двор в тени, а я (совсем, совсем один в мире) лежу на его зелёной холодеющей траве, глядя в бездонное синее небо, как в чьи-то дивные и родные глаза, в отчее лоно своё. Плывёт и, круглясь, медленно меняет очертания, тает в этой вогнутой синей бездне высокое, высокое белое облако... Ах, какая томящая красота! Сесть бы на это облако и плыть, плыть на нём в этой жуткой высоте, в поднебесном просторе, в близости с Богом и белокрылыми ангелами, обитающими где-то там, в этом горнем мире!” (3, 9–10). В головокружительном космизме этой зарисовки соединяются конечность и бесконечность; жизнь внешняя растворяется в жизни внутренней. “Томление духа” – “томящая красота” – эстетически отзывчивому человеку, натуре творческой внушают ощущение неразрывной связи творения и Творца, жажду полного слияния с Ним.

“Слышать зов пространства, знать бег времени – редкому человеку (а тем более ребёнку) Бог даёт такое”<sup>2</sup>. Бунину была щедро отмерена необыкновенная острота чувств и душевных движений: “зрение у меня было такое, что я видел все семь звёзд в Плеядах, слухом за версту слышал свист сурка в вечернем поле, пьянел, обоняя запах ландыша или старой книги...” (3, 86).

В дальнейшем эти качества проявились в формировании неповторимой писательской манеры. Одна из её особенностей – в умении передать состояние мира внутреннего в ясных образах мира внешнего: красках, звуках, ароматах. Окружающее пространство, узнаваемое в своих приметах как природа

среднерусской полосы, в лирической преображенности становится “пейзажем души”, одинаково свойственным и бунинской поэзии, и прозе, на которой неизменно лежит поэтический отпечаток. Сам Бунин сознавал себя, прежде всего, поэтом и огорчался, когда его считали, в первую очередь, прозаиком.

Первый поэтический сборник молодого автора “Стихотворения. 1887–1891” был издан в Орле в начале 1890-х годов. Орловский период жизни (1889–1892), с которым связаны дорогие для писателя воспоминания о юности, начале литературной деятельности, первой любви, сыграл огромную роль в становлении всей творческой судьбы Бунина. Уже на склоне лет вдали от Родины у него появилось следующее лирическое признание: “Когда я вспоминаю о Родине, передо мною, прежде всего, встаёт Орёл, затем Москва, великий город на Неве, а за ними вся Россия”; “Не думайте, что я славословлю Орёл оттого, что стар, что влачу долгие годы на чужбине, что мне близок этот город по воспоминаниям юношеских лет. И то правда, в Орле вышла первая книга моих стихотворений, там я печатал в орловской губернской газете перевод “Песни о Гайавате”, там постиг Родину, проникся её красотой, там любил, там слагал о ней стихи”.

Орёл воспринимался Буниным как “город Лескова и Тургенева” (3, 168). Литературно одарённый юноша стремился на родину великих писателей. Он приехал сюда в начале марта 1889 года и тогда ещё не знал, что и сам, подобно своим знаменитым землякам, прославит Орёл – это литературное гнездо – “доброю славою во всём цивилизованном мире”.

Молодого автора, чьи стихи уже были опубликованы в петербургском журнале “Родина”, пригласила к сотрудничеству издательница газеты “Орловский вестник” Надежда Семёнова<sup>3</sup>. Работая в редакции, Бунин, по его воспоминаниям, “был всем, чем придётся, – и корректором, и переводчиком, и театральным критиком”<sup>4</sup>. В “Орловском вестнике” увидел свет целый ряд бунинских рассказов, очерков и стихотворений.

Писатель И. П. Белоконский – член орловского литературного кружка – вспоминал о Бунине: “уже тогда о нём говорили как о выдающемся поэте. Стройный, лет 23–24-х молодой человек, немного выше среднего роста, худой, он бросался в глаза своим, я бы сказал, поэтическим обликом. Кружок Бунин посещал с какою-то весьма красивою, изящною девушкой, что ещё более обращало всеобщее внимание”.

Имя этой девушки было скрыто в одном из бунинских стихотворений под инициалами посвящения “В. В. П.” – Варваре Владимировне Пашенко. Ей суждено было стать “радостью, несказанным счастьем, мукой и страданием” Бунина. Почти сорок лет спустя историю своей незабвенной любви Бунин поведал в повести “Лица”, включённой в художественную автобиографию “Жизнь Арсеньева”. На страницах этого романа – очень личных, исповедальных – раскрывается душа автора, “легко ранимая, независимая, до удивления нежная”. Психологическое повествование организуется лирически и ритмически, подобно тургеневскому чуду поэтической прозы цикла “Senilia” (“Стихотворения в прозе”). И вовсе не случайно упоминаются имена самого Тургенева, его персонажей, когда Бунин показывает едва уловимый момент предчувствия любви, её зарождения: “Уже вечерело. “Вы любите Тургенева?” – спросила она. <...> Тут недалеко есть усадьба, которая будто бы описана в “Дворянском гнезде”. <...> И мы пошли куда-то на окраину города, в глухую, потонувшую в садах улицу, где на обрыве над Орликом, в старом саду, осыпанном мелкой апрельской зеленью, серел давно не обитаемый дом <...> Мы постояли, посмотрели на него через низкую ограду, сквозь этот ещё редкий сад, узорчатый на чистом закатном небе... Лиза, Лаврецкий, Лемм... И мне страстно захотелось любви” (3, 178–179).

“Всё моё чувство состоит из поэзии, – писал Иван Бунин Варваре Пашенко. – О, Варенька, если б Господь дал нам здоровья и счастья! Как я хочу его – этого счастья, радости и красоты жизни!.. Как я хочу быть для тебя здоровым, смелым, стройным, чтобы в глазах светилась молодость и жизнь... Так много у меня в душе образов, жажды творчества! И любовь к тебе, как к моему другу, к поддержке жизни моей, и эти желания, желания запечатлеть жизнь в образах, в творческом слове – как всё это иногда окрыляет меня!”

“Жажда творчества”, окрылявшая Бунина, проявилась в те годы и в его таланте переводчика. Вершиной мастерства признан перевод “Песни о Гайавате” Генри Лонгфелло (1807–1882), впервые опубликованный в 1896 году на

страницах “Орловского вестника”. За этот труд Бунин был удостоен звания Пушкинского лауреата, почётного академика изящной словесности Российской академии наук. До сих пор поэму Лонгфелло мы читаем в непревзойдённом бунинском переводе.

Как переводчик Бунин необыкновенно бережен к звучащему слову, деликатен. Ему удаётся сохранить своеобразие и музыкальность поэтической речи подлинника, в основу которого положен эпос североамериканских индейцев. В предисловии Бунин дал восторженную оценку поэме Лонгфелло: “Она воскрешает перед нами красоту девственных лесов и прерий, воссоздаёт цельные характеры”. Это поистине “замечательное воспроизведение природы и человеческой жизни” проникнуто идеей преодоления розни во имя мира и жизнестроительства на началах веры в Бога, добра и правды:

*Вы, в чьём юном, чистом сердце  
Сохранилась вера в Бога,  
В искру Божью в человеке;  
<...> Вам бесхитростно пою я  
Эту Песнь о Гайавате!  
<...> О его рожденье дивном,  
О его великой жизни:  
Как постился и молился,  
Как трудился Гайавата,  
Чтоб народ его был счастлив,  
Чтоб он шёл к добру и правде<sup>5</sup>.*

Художественная установка на безыскусственность и чистоту стиха проявилась и в ранней, и в зрелой лирике Бунина. Высокую оценку современников получил его поэтический сборник “Листопад” (1901), в котором были отмечены “душевное равновесие, простота, ясность и здоровье” (К. И. Чуковский). Не остался равнодушным к бунинской поэзии А. Блок, подчеркнувший, что “цельность и простота стихов и мировоззрения Бунина <...> ценны и единственны в своём роде”<sup>6</sup>. А. И. Эртель писал Бунину: “Люблю Ваши стихи, простые, без нынешних выкрутас и сверхъестественных напряжений фантазии и языка”<sup>7</sup>.

Естественность и непринуждённость Бунина-поэта выражались и в том, как он, по воспоминаниям современников, читал свои стихи: не декламировал, а произносил их, как бы разговаривая сам с собою. Это была принципиальная позиция. В отношении к поэзии он считал недопустимыми манерность, театральность, вычурность. Своё убеждение Бунин перенёс и на страницы прозы. Например, в повести “Митина любовь” (1924) есть эпизод, когда герой испытывает мучительное чувство стыда за свою подругу, в то время как она со сцены декламирует стихи: “читала она с той пошлой певучестью, фальшью и глупостью в каждом звуке, которые считались высшим искусством чтения <...> она не говорила, а всё время восклицала с какой-то назойливой томной страстностью, с неумеренной, ничем не обоснованной в своей настойчивости мольбой” (2, 316).

Противник всякой пошлости и неискренности, Бунин проявил себя как продолжатель традиций русской классики от Пушкина до Фета: “Пушкин был для меня в ту пору подлинной частью моей жизни. <...> больше всего был я с Пушкиным. Сколько чувств рождал он во мне!” (3, 116-117).

В поэзии Бунин использовал самый широкий спектр средств художественной выразительности. При всей точности, конкретности наблюдений и зарисовок всегда остаётся нечто неуловимое, что особенно одухотворяет поэтические образы, оттенки и переливы душевных движений, эстетически воплощённые в слове. Весь мир сосредоточен в душе поэта. Это даёт ему ощущение счастья и полноты жизни: “Я вижу, слышу, счастлив. Всё во мне” (“Вечер”. 1909).

Устанавливая связи конкретного момента с непреходящим, вечным, Бунин умеет передать гармонию бытия во вселенском масштабе. Так, в стихотворении “Летняя ночь” (1912) пересекаются сферы земные и небесные:

*Прекрасна ты, душа людская! Небу  
Бездонному, спокойному, ночному  
Мерцанью звёзд подобна ты порой!*

По ощущению ценности каждого мига жизни в перспективе вечности и бесконечности мироздания эти стихи соотносимы с поэтическим шедевром Фета “На стоге сена ночью южной...”, лирический герой которого осознаёт себя как любимое Божье творение на Земле:

*Земля, как смутный сон, немая  
Безвестно уносилась прочь,  
И я, как первый житель рая,  
Один в лицо увидел ночь.*

Он испытывает захватывающее дух чувство полёта, растворённости во вселенском пространстве. Однако космическая необъятность не пугает человека, который постигает, что он “в руке Божьей”, и ощущает неизменную поддержку высших сил – “длани мощной”:

*Я ль нёсся к бездне полуночной,  
Иль сонмы звёзд ко мне неслись?  
Казалось, будто в длани мощной  
Над этой бездной я повис.*

*И с замираньем и смиреньем  
Я взором мерил глубину,  
В которой с каждым я мгновеньем  
Всё невозвратнее тону.*

Тема Божьей милости, христианского упования на высшее заступничество и тема родной земли, Родины в её русских приметах (“полевые пути меж колосьев и трав”) особенно пронзительно соединились в бунинском стихотворении “И цветы, и шмели, и трава, и колосья...” (1918):

*И цветы, и шмели, и трава, и колосья,  
И лазурь, и полуденный зной...  
Срок настанет — Господь сына блудного спросит:  
“Был ли счастлив ты в жизни земной?”  
И забуду я всё — вспомню только вот эти  
Полевые пути меж колосьев и трав —  
И от сладостных слёз не успею ответить,  
К милосердным коленям припав.*

## **ЧАСТЬ 2. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ СВЯТОЙ РУСИ**

Основные мотивы бунинской лирики – Россия, её природа и судьба, христианский дух земли русской, национальный характер, загадка русской души, человек и мироздание, любовь и тайны бытия, “вечные” проблемы жизни и смерти, уходящие корнями в сакральный текст Священного Писания, – воплощались и в его прозе.

Христианское мировоззрение, национально-русская патриотическая позиция, развитый эстетический вкус писателя в совершенстве проявились в раннем бунинском рассказе “Антоновские яблоки” (1900). В этом опыте “путешествия в воспоминаниях”, наполненном особым лирическим смыслом, складывались отличительные черты авторской манеры и литературного стиля Бунина, воплощалось его религиозно-художественное миропонимание.

В “Антоновских яблоках” отразились личные, недавно пережитые впечатления писателя от усадебной деревенской жизни в Орловской губернии. В августе 1891 года Бунин писал Вареньке Пашенко: “Вышел на крыльцо и увидел, что начинается совсем осенний день. Заря – сероватая, холодная, с лёгким туманом над первыми зелеными... Крыльцо и дорожки по двору отсырели и потемнели... В саду пахнет антоновскими яблоками... Просто не надышишься!...” (1, 564).

Бессюжетное плотно, будто состоящее из цветных мазков, световых пятен, фрагментов, впечатлений, имеет сюжет внутренний. Это хроника вечной

природной жизни. Но гораздо важнее сюжета сама неповторимая атмосфера рассказа. Она разлита в любовании красотой средней полосы России, в наслаждении немудрёной жизнью среднерусской усадьбы — “дворянского гнезда”. Это особое одухотворённое пространство представлено в тончайших наблюдениях и переживаниях.

Аромат антоновских яблок становится эстетической реальностью, пронизывающей всю художественную атмосферу произведения. В первоначальной редакции рассказ имел следующее вступление: “Где-то я читал, что Шиллер любил, чтобы в его комнате лежали яблоки: улежавшись, они своим запахом возбуждали в нём творческие настроения. Не знаю, насколько справедлив этот рассказ, но вполне понимаю его: есть вещи, которые прекрасны сами по себе, но больше всего потому, что они заставляют нас сильнее чувствовать жизнь. Запахи особенно сильно действуют на нас, и между ними есть особенно здоровые и яркие: запах моря, запах леса, чернозёма весной, прелой осенней листвы, улежавшихся яблок <...> чудный запах крепких антоновских яблок, сочных и всегда холодных, пахнувших слегка мёдом, а больше всего — осенней свежестью!”<sup>8</sup>.

Впоследствии автор снял это вступление. Но на его незримое присутствие указывает многообразие, непривычно вынесенное в самое начало рассказа, будто это не зачин, а продолжение повествования — в непрерывном потоке воспоминаний: “...Вспоминается мне ранняя погожая осень” (1, 147). Приём умолчания, усиленный глубокой паузой, подчёркивает своеобразие показа художественного времени: “Читатель входит в некий постоянно текущий, непрерывный, безначальный поток воспоминаний, и не так важно, где и когда в него войти”<sup>9</sup>.

Накрепко связанный с родной землёй, со своим народом, Бунин, производивший внешне впечатление холодного чопорного дворянина-аристократа, избирает в рассказе деревенский, именно крестьянский угол зрения. Впечатления лирического героя сливаются с фольклорным календарём, в котором народная мудрость соединила наблюдения над вечно обновляющейся жизнью природы с христианскими праздниками, духовно возрождающими человека, с именами Святых — наших молитвенников и заступников перед Господом. Знаменательно, что народный календарь наполнен добрыми знаками, счастливыми приметами. Эмоционально-оценочный контекст задаёт светлую тональность всему повествованию: “Август был <...> с дождиками в самую пору, в середине месяца, около праздника Св. Лаврентия. А “осень и зима хороши живут, когда на Лаврентия вода тиха и дождик”. Потом бабьим летом паутины много село на поля. Это тоже добрый знак” (1, 147).

Картина урожая из бытовой зарисовки вырастает в знаковый образ радости, красоты и полноты простонародного уклада русской жизни: “Ядрёная антоновка — к весёлому году”. Деревенские дела хороши, если антоновка уродилась: значит, и хлеб уродился...” (1, 150). Всё это определяет настроение веселья, довольства, православной праздничности: “Осень — пора престольных праздников, и народ в это время прибран, доволен” (1, 150).

Идущее от сокровенных духовных и национальных глубин чувство Родины под пером писателя преображает незатейливые пейзажи в картины необыкновенно прекрасные. Сцены, нарисованные Буниным, на редкость живописны. В палитре художника — разнообразные переливы красок: от нежных, прозрачных, пастельных полутонов до ослепительно ярких, сочных, насыщенных: “голубоватый дым”, вода “прозрачная, ледяная”, “бирюзовое небо”, “коралловые рябины”, “красные уборы”, “целый золотой город” собранного урожая.

Ракурс изображения также многоплановый. Бытовые зарисовки, лирические раздумья сопричастны не только конкретно-историческому движению времени, вызывающему ностальгию автора по уходящей в прошлое уютной усадебной жизни. Бунин вместе с тем устремлён к Божественной, заповеданной в Евангелии “полноте времён”: “В устроение полноты времён, дабы всё небесное и земное соединить под главою Христом” (Еф. 1: 10). Писатель стремится духом проникнуть в непостижимое таинство слияния небесного и земного, горнего и дольнего: “чёрное небо чертят огнистыми полосками падающие звёзды. Долго глядишь в его тёмно-синюю глубину, переполненную созвездиями, пока не поплывёт земля под ногами” (1, 149). Человека не покидает надежда на грядущее обновление жизни: “мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда” (2 Пет. 3: 13).

Концовка рассказа неожиданно обрывается многоточием. Финал повествования так же открыт, как и его начало. Эта жанрово-стилистическая особенность наполняется христианской метазначительностью: ведь “у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день” (2 Пет. 3 : 8).

Элегически-светлый поток воспоминаний без начала и конца замирает на печально-весёлой ноте. Это народная песня звучит “с грустной, безнадёжной удалью”:

*На сумерки буен ветер загулял, <...>  
Белым снегом путь-дорогу заметал... (1, 160)*

Бунин – писатель очень русский по духу – любил изображать зиму. Может быть, по той простой причине, что на Святой Руси она особенная, не похожая ни на какие другие зимы в чужих краях. В этой связи вспоминается пушкинское:

*Татьяна (русская душою,  
Сама не зная, почему)  
С её холодною красою  
Любила русскую зиму.*

Так же и Фет указал на русскость зимнего цикла своих стихотворений, назвав его “Снега” – как отличительный признак нашей зимушки-зимы.

Зима в её русских приметах рисуется во многих бунинских рассказах. “День хороший, морозный, за ночь снег выпал, виден следок везде: все к обедне пошли” (1, 426), – пишет автор в рассказе “Иоанн Рыдалец” (1913). “Ах, в зиме было давно знакомое, всегда радовавшее зимнее чувство! Первый снег, первая метель! – восклицал писатель в рассказе “Худая трава” (1913). – <...> В белых снежных полях, в метели – глушь, дичь, а в избе уют и покой” (1, 444).

Бунин с таким мастерством умеет передать тепло и уют запертого изнутри дома, который осаждают мороз, снежные метели и сугробы, что от текста исходит отрадное тепло, как от натопленной русской печки: “Вечером <...> горели лампады, а тепло изразцовой каменки и попоны, покрывавшие пол, давали сладостный уют” (2, 280), – читаем в рассказе “Святитель” (1924). Его действие происходит “двести лет тому назад, в некий зимний день”, на святках, когда звучат “песнопения во славу Пречистого Рождества Господа нашего Иисуса Христа, Красоты нашей неизреченной” (2, 280). Так соединяются святки и святость, сквозь русский зимний праздничный цикл светится образ святой Руси.

В рассказе “Святые” (1914) представлена настоящая зимняя сказочность: “светлая морозная ночь сверкала звёздами за мелкими стёклами старинных окон. <...> видно было глубокое небо в редких острых звёздах, снег, солью сверкавший под луною, длинная волнистая тень дыма <...> а дальше, за белыми лугами – высокие косогоры, густо поросшие тёмным хвойным лесом, сказочно посеребрённым луной сверху” (1, 483).

Картину Святой Руси создают предания о Святых страстотерпцах. Действие рассказа “Святые” разворачивается на святках. Бунин воспроизводит обстановку христианского, по традиции – семейного – зимнего праздника в гостеприимной дворянской усадьбе. Однако мотив беспечного веселья, заявленный во вступлении, в дальнейшем служит лишь контрастирующим фоном, сопровождающим совсем иную атмосферу – благостной тишины, внутренней сосредоточенности, раздумий о Боге и об истинном предназначении человека.

В то время как ярко освещённый барский дом беззаботно живёт “своей жизнью, весёлой, праздничной” (1, 484), в дальней бедной комнатухе, таинственно освещённой лишь лунным светом, бывший дворовый Арсенич, пришедший навестить своих прежних господ, “в какой-то радостной задумчивости” растроганно проливает слёзы о судьбе святого великомученика Вонифатия, святой мученицы Елены – “великой печальницы”.

Писатель выбирает необычный ракурс: жития святых представлены сквозь призму детского восприятия. Маленькие герои Митя и Вадя тайком пробрались в заднюю каморку, куда лишь отдалённо доносится шум праздника, чтобы послушать рассказы старого Арсенича.

Два разных мира – детство и старость – поставлены перед лицом друг друга. Дети с нескрываемым любопытством пристально разглядывают непостижимые для них признаки дряхления в облике Арсенича: “сизые старческие руки <...> жили на его сморщенной розовой шее” (1, 484–485). С простодушием, присущим юному возрасту, озвучивает Митя вывод из своих наблюдений: “Вы теперь умрёте скоро” (1, 485). Однако бесхитростная детскость в данном случае совпадает с умудрённостью старости. Арсенич принимает неизбежность своего скорого ухода из жизни настолько же мирно, насколько спокойно и дети спрашивают его об этом: “Суцая правда ваша-с. Полагаю, даже нынешней зимой” (1, 485).

Смиренномудрое, кроткое отношение к смерти при всей полноте жизнерадостия свойственно народному мировосприятию, основанному на православной вере. Это одна из загадок, постоянно волновавших Бунина.

“И когда это ты умрёшь, Панкрат? Небось, тебе лет сто будет?” – задают вопрос старику в рассказе “Антоновские яблоки”. В ответ он “кротко и виновато улыбается. Что ж, мол, делать, – виноват, зажился. И он, вероятно, ещё более зажился бы, если бы не объелся в Петровки луку” (1, 150). Его старуха сама купила себе на могилку большой камень, “так же, как и саван, – отличный саван, с ангелами, с крестами и с молитвой, напечатанной по краям” (1, 151). Осмысленность и тщательность этих приготовлений к последнему исходу (важно, чтобы он был обставлен должным образом, по православному чину) показывают, что смерть не страшит бессмертную в своих христианских чаяниях душу. Готовясь предстать перед Богом, Который “не есть Бог мёртвых, но живых, ибо у Него все живы” (Лк. 20 : 38), человек из народа обретает в конце земной жизни спокойное, ясное приятие бытия, мироустройства – в полном соответствии с упованиями Нового Завета: “если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения <...> Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскресши из мёртвых, уже не умирает: смерть не имеет над ним власти” (Рим. 6 : 5; 8–9).

В то же время и на пороге смерти земная жизнь, дивно устроенный Божий мир притягательны для человека. В Арсениче ещё очень сильна потенциальная энергия жизни. Со своими малолетними собеседниками он делится самым сокровенным: “Кабы моя воля, прожил бы я на свете тыщу лет!

– А зачем?

– А затем-с, что всё бы жил, смотрел, на Божий свет дивился...” (1, 491–492).

Таков же старец Иванушка, ещё полный жизненных сил, в повести “Деревня” (1909–1910). Этот герой никак не хочет поддаться смерти. Аверкий в рассказе “Худая трава”, своим благообразием напоминающий иконописный лик: “...измождённое лицо с тонким сухим носом, жидко-голубые глаза и узкая седеющая борода” (1, 429), – смиренно и безропотно ожидает смерти, но с последней надеждой на чудо, хотя сам он уже походит на “живые мощи”.

Пересечение с известным рассказом Тургенева “Живые мощи” (1874) весьма ощутимо, и это литературное влияние закономерно. Б. К. Зайцев (лично знавший Бунина, оставивший о нём очерк воспоминаний<sup>10</sup>) справедливо назвал тургеневский рассказ “драгоценностью нашей литературы”<sup>11</sup>. Его главное достоинство – изображение способности человека в любом состоянии радоваться самоценности жизни, благословлять и принимать её в любых проявлениях. Художественное воплощение получает новозаветная заповедь радости, во имя которой люди призваны жить на земле: “Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах” (Мф. 5 : 12).

К восторженному удивлению перед чудом творения совершенного Божьего мира присоединяется сознание несовершенства мира человеческого – с его “лукавым мудрствованием”, спасаемого лишь подвигами святых. Эти противоречивые переживания сливаются у Арсенича в неделимый комплекс эмоций – антиномий: радости и грусти, улыбок и слёз, чувства торжествующей печали. “Глядя на детей грустно-радостными глазами” (1, 491), он “в какой-то радостной задумчивости плакал горькими слезами” (1, 484), непрестанно рассказывая своим маленьким слушателям о подвижничестве мучениц и мучеников. В их житиях герой обрёл источник духовной силы. Восхищение подвигами святых пробуждает в Арсениче дар слёз, приближающий его самого



к идеалу праведности. Не случайно Вадя, заслушавшись, вдруг спросил “охрипшим голосом:

— А вы будете святой?” (1, 491).

Поистине, Бог “утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам” (Мф. 11: 25).

Оценивая себя как “человека грешного”, герой одновременно признаёт: “Душа у меня, правда, не нынешнего веку... Мне Господь не по заслугам великий дар дал. <...> слёзный дар называется” (1, 491).

Из Нового Завета известно, что на глазах Христа часто видели слёзы. Он плакал от жалости и сострадания к людям, об их нераскаянных грехах, ведущих к гибели: “когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нём” (Лк. 19: 41).

Согласно святоотеческому наследию, душа человеческая очищается покаянием и слезами. Святой Иоанн Лествичник говорит: “Мы не будем обвинены при исходе души нашей за то, что не творили чудес, что не богословствовали, что не достигли видения, но, без сомнения, дадим ответ Богу за то, что не плакали непрестанно о грехах своих”<sup>12</sup>.

Дар слёз отличается амбивалентностью, соединяя в себе эмоциональные полярности: “благодатные слёзы — завершение покаяния — одновременно являются началом бесконечной радости (антиномия блаженств, возвещённых в Евангелии, — “Блаженны плачущие, яко тии утешатся”)<sup>13</sup>.

Именно таков “слёзный дар” старика Арсенича в бунинском рассказе “Святые”. Многослойное повествование содержит в подтексте мощный новозаветный пласт — основу житийной темы. Текст бунинского рассказа позволяет восстановить обширный евангельский контекст. Так, преломление событий сквоз призму детского сознания — приём не столько стилистический, сколько содержательный. Евангельская заповедь: “Будьте, как дети” — по-особенному звучит на святках, когда празднуется Рождество Божественного Младенца. В Богомладенчестве Иисуса Христа человечеству дана новозаветная “сверх надежды надежда” (ср.: “сверх надежды поверил с надеждою” — Рим. 4: 18) — на искупление, прощение и спасение в “жизни будущего века”. Иисус сказал: “пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное” (Мф. 19: 14); “если не обратитесь и не будете, как дети, не войдёте в Царство Небесное” (Мф. 17: 3); “кто примет одно такое дитя во имя Моё, тот Меня принимает” (Мф. 17: 5).

“Святые” Бунина — классический святочный рассказ (хотя автор и не пользуется этим жанровым обозначением), в котором представлены наиболее устойчивые элементы поэтики святочной словесности: зимняя календарная приуроченность, образы детей, мотивы смеха и плача, чуда, спасения, дара, христианская мораль и спасительные уроки.

“Слёзный дар” Арсенича в “Святых” соотносит его с образом главного героя бунинского рассказа “Иоанн Рыдалец” (1913). Жизнь Христа ради юрдиового рисуется также с опорой на агиографическую традицию. Рос угодник Божий “в семье честной и праведной <...> С ранних лет полюбил он Писание” (1, 425–426), — Бунин сохраняет распевную древнерусскую ритмику, важнейшие житийные мотивы: целомудрия, “худых риз”, видения от Бога, чудесного знамения. Быль о непрестанно рыдающем блаженном страдальце после его кончины с годами превращается в легенду, и видится он, “точно в церкви написанный — полунагой и дикий, как святой, как пророк” (1, 427).

В этой связи можно провести параллель с повестью Н. С. Лескова “Очарованный странник” (1873). Жизненное странствие Ивана Флягина в итоге привело его в монастырь, где герой обрёл слёзный и пророческий дар: “И даны были мне слёзы, дивно обильные!.. Всё я о Родине плакал”<sup>14</sup>.

Святочная тема в творчестве Бунина соседствует с пасхальной. Пасхальное, возрождающее мироощущение не оставляло писателя даже в трагические, “окаянные” послереволюционные дни. Так, 24 мая 1919 года он записывал: “Весна, пасхальные колокола звали к чувствам радостным, воскресным. Почувствовал, кроме того, какое-то внезапное расширение зрения, — и телесного, и духовного, — необыкновенную силу и ясность его”.

Сцены православного богомолья, “картины соборов, проходов под золотыми колокольнями” (1, 450) киевских церквей, прозрачно-весенняя палитра пасхальных праздников: “тополя уже оделись, зеленели, церковно благоухали. Розовым цветом цвели сады, празднично белели большие старинные

сёла” (1, 447) — в рассказе Бунина “Лирник Родион” (1913) близки словесной живописи шедевра А. П. Чехова “Святою ночью” (1886). Искусство слепца Родиона, исполнившего под аккомпанемент лиры песнопения “на церковный лад, как и должен петь тот, чьё рождение, труд, любовь, семья, старость, смерть как бы служение” (1, 449), сродни одарённости чеховского героя — иеродиакона Николая. Этот монах, который “нигде не обучался и даже видимости наружной не имел”<sup>15</sup>, наделён талантом сочинять акафисты. Мы будто слышим бунинского лирника Родиона, когда Чехов устами своего рассказчика излагает теорию стиля православного религиозного искусства: “Кроме плавности и велеречия, <...> нужно ещё, чтоб каждая строчечка изукрашена была всячески, чтоб тут и цветы были, и молнии, и ветер, и солнце, и все предметы мира видимого”; “надо, чтоб в каждой строчечке была мягкость, ласковость, нежность <...> Так надо писать, чтоб молящийся сердцем радовался и плакал, а умом содрогался и в трепет приходил”<sup>16</sup>.

Образы бунинских героев в рассказах “Иоанн Рыдалец”, “Худая трава”, “Святые”, “Весёлый двор”, “Аглая”, “Лирник Родион” и др. продолжают художественную галерею святых и праведных земли русской, сотворённую Лесковым, создавшим для России “иконостас её святых и праведников”<sup>17</sup>.

### ЧАСТЬ 3. РУССКИЙ ПО ДУХУ

Бунин всю Россию воспринимал как “икону”: “Если бы я эту “икону”, эту Русь не любил, не видал, — скажет он позднее, — из-за чего же бы я так сходил с ума все эти годы, из-за чего страдал так непрерывно, так люто!” (1, 11).

Душевная мука писателя — от злого сознания того, что в народе присутствует “страшная переменчивость настроений, обликов, “шаткость”, как говорили в старину. Народ сам сказал про себя: “Из нас, как из дерева, — и дубина, и икона”, — в зависимости от обстоятельств, от того, кто это дерево обрабатывает”.

В дневниковых записях “Окайных дней” 5 мая 1919 года на память Бунину приходит характеристика Смутного времени на Руси, данная философом и историком В. С. Соловьёвым: “Дух материальности, неосмысленной воли, грубого своекорыстия повеял гибелью на Русь... У добрых отнялись руки, у злых развязались на всякое зло... Толпы отверженников, подонков общества потянулись на опустошение своего же дома под знаменами разноплеменных вожаков, самозванцев, лжецарей, атаманов из вырожденцев, преступников, честолюбцев...”

В ночь на 15 мая 1919 года писатель фонетически тщательно фиксирует воспоминание бывшего арестанта. За примитивной зарисовкой “ярусов” тюремного быта встаёт подлинная картина вертикали власти вкупе с вожаками-политиканами: “В тюрьме обнаковенно на верхнем этаже сидят политики, а во втором — помощники этим политикам. Они никого не боятся, эти политики, обкладывают матюком самого губернатора, а вечером песни поют: “Мы жертвою пали...” Одно из таких политиков царь приказал повесить и выписал из Синода самого грозного палача, но потом ему пришло помилование и к политикам приехал главный губернатор, третья лицо при царском дворце, только что сдавший экзамен на губернатора. Приехал — и давай гулять с политиками: налопался, послал урядника за граммофоном — и пошёл у них ход: губернатор так напился, нажрался — нога за ногу не вяжет, так и снесли стражники в возок... Обещал прислать всем по двадцать копеек денег, по полфунта табаку турецкого, по два фунта ситного хлеба, да, конечно, сбредал...”

Бунин видит, что сущность власти остаётся неизменной. Страдая душой о России, над которой то и дело сгущаются смутные времена, писатель с возмущением говорит о разлагающем влиянии несправедливой власти на душу человека, о преднамеренном осквернении людей властями: “Но какие подлецы! Им поминутно затыкают глотку какой-нибудь подачкой, поблажкой. И три четверти народа так: за подачки, за разрешение на разбой, грабёж отдаёт совесть, душу, Бога...”

Вот почему апостол Павел призывал: “Братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его; облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских; потому что наша брань не против

*крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных*” (Еф. 6: 10–12).

По апостольскому слову, Христос, *“отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою”* (Кол. 2: 15). В Новом Завете выражена вера в то, что во втором пришествии Христа *“Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство, и всякую власть, и силу”* (1 Кор. 15: 24).

Для подавляемой властью личности пространством свободы служит православная вера. Писатель показал, что рабство внешнее не убило в русском народе внутренней свободы души и духа. Художественная логика цикла неуклонно ведёт к выводу о том, что люди не должны быть рабами людей – по слову Апостола Павла: *“Не делайтесь рабами человеков”* (1 Кор. 7: 23). Люди не рабы, а дети Божьи: *“Посему ты уже не раб, но сын; а если сын, то и наследник Божий чрез Иисуса Христа”* (Гал. 4: 7). Бунин утверждает богоподобное достоинство человеческой личности, её духовную независимость. Человек рождён свыше, его Господь Отец сотворил. И этот дар творения подкреплён даром истинной свободы – в Боге и от Бога: *“Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства”* (Гал. 5: 1). Те же, кто отнимает у человека этот дар Божий, суть богопротивники, бесы – носители зла.

Противодействие сатанинским силам, устремившимся погубить Россию, может быть найдено только в Боге, в служении Ему молитвой, словом, делом. Церковная красота, церковное пение, по признанию писателя, трогали его *“необыкновенно”*, вызывали *“чувство лёгкости, молодости. А наряду с этим – какая тоска, какая боль”*. Облегчение душевной муки находил Бунин в православном храме: *“Часто заходим и в церковь, и всякий раз восторгом до слёз охватывает пение, поклоны священнослужителей, каждение, всё это благолепие, пристойность, мир всего того благого и милосердного, где с такой нежностью утешается, облегчается всякое земное страдание”*.

Писатель свято верил, что Русь не *“дубина”*, а *“икона”*. Бунинскую мысль продолжают раздумья его современника, религиозного философа И. А. Ильина: *“Русь именуется “святою” не потому, что в ней “нет” греха и порока; или что в ней “все” люди святые... Нет. Но потому, что в ней живёт глубокая, никогда не истощающаяся, а по греховности людской и не утоляющаяся жажда праведности, мечта приблизиться к ней, душевно преклониться перед ней, художественно отождествиться с ней, стать хотя бы слабым отблеском её <...> И в этой жажде праведности человек прав и свят при всей своей обыденной греховности”*<sup>18</sup>.

Именно такое отношение к православной России, к святой Руси свойственно Бунину-художнику, какие бы жестокие и тёмные стороны русской жизни он ни показывал, например, в повестях *“Деревня”* (1909–1910), *“Суходол”* (1911), в рассказах *“Танька”* (1892), *“Ночной разговор”* (1911), *“Чаша жизни”* (1913) и др.

В рассказе *“Косцы”* (1921) память подсказывает писателю один момент народного бытия: *“В берёзовом лесу рядом с большой дорогой пели косцы – с такой же свободой, лёгкостью и всем существом”* (2, 541). Бунин передаёт самую суть *“серединной, исконной России”* (2, 209) и кровное, нерасторжимое родство с ней русского человека, как бы далёко от неё он ни жил: *“Все мы были дети своей родины и были все вместе, и всем нам было хорошо, спокойно и любовно без ясного понимания своих чувств <...> что эта Родина, этот наш общий дом была Россия и что только её душа могла петь так, как пели косцы в этом откликающемся на каждый их вздох берёзовом лесу”* (2, 210–211).

Долгие тридцать три года Бунин жил вдали от Родины. Но России-“иконе” и православной вере он не изменял никогда, каждый миг сохраняя в душе и мыслях *“благословение отца своего, гробы родительские, святое Отечество, правую веру в Господа нашего Иисуса Христа!”* Мучительная ностальгия – *“сладкое и скорбное чувство Родины”* – ни на мгновение не оставляла писателя: *“Разве можем мы забыть Родину? Может человек забыть Родину? Она – в душе. Я очень русский человек. Это с годами не пропадёт”*.

В творчестве Бунина периода эмиграции нарастают мотивы одиночества, скитальчества, бесприютности:

*У зверя есть нора, у птицы есть гнездо...  
Как бьётся сердце горестно и громко,  
Когда вхожу, крестясь, в чужой наёмный дом  
С своей уж ветхою котомкой!*

(1922)

В основе этих стихов – евангельская притча, словами которой говорил о Себе Христос: “Лисицы имеют норы, и птицы небесные – гнёзда; а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову” (Мф. 8 : 20).

Бунин, покинувший в юности родное гнездо своей обедневшей дворянской усадьбы, по словам матери, “с одним крестом на груди”, с тех пор не имел собственного дома. “Мой дом – дорога”, – говорил он.

Рассказ “Копьё Господне” (1913), созданный по живым впечатлениям путешествий писателя, в философском масштабе представляет человеческую жизнь как вечное странничество в безбрежном море, полном зловещих предзнаменований: “беззвучно, этими слабыми и бедными знаками, которыми даёт весть крохотная человеческая жизнь другой такой же, окружённой морями, пустынями, безвестностью, смертью, ведём мы нашу морскую беседу, – с тревогой и надеждой спрашиваем о той родной точке земного шара, которая нам, скитающимся по всему свету, единственно дорога и нужна...” (1, 423).

В символично-смысловом контексте рассказа его финал звучит как лирическое заклинание – почти молитва – о человеке: “Но да сохранит Бог-ревнитель и его счастье!” (1, 423). Бунинская молитва сродни своеобразному молитвословию Тургенева в романе “Рудин” (1855), в финале которого так же громко озвучены мотивы дома, гнезда, одиночества, бесприютности: “Хорошо тому, кто такие ночи сидит под кровом дома, у кого есть тёплый уголок... И да поможет Господь всем бесприютным скитальцам!”<sup>19</sup>.

Открытое окно в мир, ароматы дальних стран манили Бунина. Для него стремление к познанию неизведанного, сокровенного сродни Таинству Крещения:

*Пора, пора мне кинуть сушу,  
Вздохнуть свободней и полней –  
И вновь крестить нагую душу  
В купели неба и морей!*

(1916)

“Я стремился “обозреть лицо мира и оставить в нём чекан души своей”, как сказал Саади, меня занимали вопросы философские, религиозные, нравственные, исторические” (1, 562), – признавался писатель. Бунинское решение проблемы личности – найти “вечное в человеке, человеческое в вечности”<sup>20</sup>. Это стремление воплотилось в лирико-философских рассказах “Братья” (1914), “Господин из Сан-Франциско” (1915), “Сны Чанга” (1916), “Роза Иерихона” (1918), “Слепой” (1924), “Ночь” (1925) и многих других.

Бунину-художнику присуще обострённое ощущение “всёбытия”, пребывания в мире Божественного начала. Библейские строки: “Господь над водами многими...” становятся эпиграфом к исповедальной повести “Воды многие” (1911–1926), герой которой – мечтатель, созерцатель, художник, одарённый великой исторической памятью, чувством “трепетного и радостного причастия вечному и временному, близкому и далёкому, всем векам и странам, жизни всего бывшего и сущего на земле” (2, 433). Ту же мысль Бунин выразил в стихотворении “Собака” (1909): “Я человек: как Бог, я обречён // Познать тоску всех стран и всех времён”.

Лирическому герою близок капитан из “Снов Чанга”, однако его нравственно-психологическое состояние иное. Он видел весь земной шар, но, потерпев крах в любви, столкнувшись с предательством, разуверился в жизни и уже не обратился бы с молитвой, как в повести “Воды многие”: “Продли, Боже, сроки мои!” (2, 433). Единственным спутником и “собеседником” капитана становится Чанг – собака, привезённая из Китая.

Упоминание о плавании в Китай обращает автора-повествователя к древнекитайской философии Дао – неисповедимому Пути, в котором бытие и небытие порождают друг друга, трудное и лёгкое создают друг друга, длинное и короткое сравниваются, высокое и низкое соотносятся, начало и конец

чередуются в вечном круговороте бытия — “в том безначальном и бесконечном мире, что недоступен Смерти. В мире этом должна быть только одна правда <...> а какая она, — про то знает тот последний Хозяин, к которому уже скоро должен возвратиться и Чанг” (2, 131).

В то же время нет оснований полагать, будто бы Бунин всерьёз увлекался восточными учениями. Так, в “Снах Чанга” китайская религиозная доктрина преподносится через сознание собаки китайской породы. Это ведущий художественно-стилистический приём рассказа. В картинно-полифоническом повествовании голос героя, история его судьбы передаются через воспоминания и размышления Чанга. Необычный в литературе образ мыслящей собаки (среди предшественников — “Каштанка” Чехова; в числе последователей — “Собачье сердце” Булгакова) ранее был создан Буниным в поэзии:

*<...> Вдыхая, ты свернулась потеплей  
У ног моих — и думаешь...  
Ты вспоминаешь то, что чуждо мне <...>  
Но я всегда делю с тобою думы <...>  
“Собака”*

(1909)

Любовь и преданность Чанга, сохраняющего верность хозяину до его последнего вздоха и даже после смерти капитана, оказались выше и прочнее женской любви. Мотивы одиночества, острой душевной боли человека, покинутого его возлюбленной, пронизывающие художественную ткань “Снов Чанга”, стали ретроспекцией бунинского стихотворения “Одиночество” (1903):

*Мне крикнуть хотелось вослед:  
“Воротись, я сроднился с тобой!”  
Но для женщины прошлого нет:  
Разлюбила — и стал ей чужой.  
Что ж! Камин затоплю, буду пить...  
Хорошо бы собаку купить.*

“Не будет, Чанг, любить нас с тобой эта женщина! — Есть, брат, женские души, которые вечно томятся какой-то печальной жадной любви и которые от этого от самого никогда и никого не любят (курсив Бунина. — **А. Н.-С.**) <...> Кто их разгадает?” (2, 128) — устами героя передаёт свои размышляет автор.

Чаще всего именно такой тип женщины — неразгаданной, непредсказуемой, которая заставляет страдать и страдает сама, — изображает Бунин: Оля Мещерская (“Лёгкое дыхание”), Катя (“Митина любовь”), Мария Сосновская (“Дело корнета Елагина”). Потрясённый пережитыми в юности муками и блаженством любви (автобиографическая повесть “Лица” — 1933), писатель в остро психологической прозе до конца дней своих стремился прикоснуться к загадкам и глубинам этого чувства: “Грамматика любви” (1915), “Казимир Станиславович” (1916), “Солнечный удар” (1925), “Ида” (1925), цикл рассказов “Тёмные аллеи” (1937–1945).

Любовь рисуется как болезненно внезапная вспышка, “солнечный удар”, неведомая сила, властно подчиняющая человека, так что он не в состоянии противиться: “Как дико, страшно всё будничное, обычное, когда сердце поражено <...> этим страшным “солнечным ударом”, слишком большой любовью, слишком большим счастьем!” (2, 369). Вместе с тем любовь преобразует окружающий мир, одухотворяет и переполняет его: “...всё любовь, всё душа, всё мука и всё несказанная радость” (2, 527).

Лики любви под пером Бунина могут быть разными. Одни герои не в состоянии преодолеть отчаяние разлуки (“Сны Чанга”, “Митина любовь”); другим одно только воспоминание об ушедшем счастье даёт силы продолжать жить (“Грамматика любви”, “Тёмные аллеи”); третьи не страшатся душевной боли. Даже от несбыточной любви они испытывают прилив сил и душевной энергии (“Ида”). Эти герои наиболее близки евангельскому идеалу совершенной любви: “Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нём”; “В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение; боящийся не совершен в любви” (1-е Ин. 4: 16, 18).

Бунин в своей элегически-лирической прозе прибегает к психологическому методу изображения, близкому художественным приёмам “тайной психологии” Тургенева: сокровенные чувства и движения души не поддаются анализу; о них можно только догадаться по внешним проявлениям – мимике, взгляду, жестам.

Так, в едином ключе с завершением романа Тургенева “Дворянское гнездо” (1858) нарисована финальная сцена в бунинском рассказе “Чистый понедельник” (1944). Представлена сходная ситуация – последняя встреча в монастырской обители, куда скрылась от мира героиня.

Тургенев пишет: “Лаврецкий посетил тот отдалённый монастырь, куда скрылась Лиза, – увидел её. Перебираясь с клироса на клирос, она прошла близко мимо него, прошла ровной, торопливо-смиренной походкой монахини – не взглянула на него; только ресницы обращённого к нему глаза чуть-чуть дрогнули, только ещё ниже наклонила она своё исхудалое лицо – и пальцы сжатых рук, перевитые чётками, ещё крепче прижались друг к другу. Что подумали, что почувствовали оба? Кто узнает? Кто скажет? Есть такие мгновения в жизни, такие чувства... На них можно только указать – и пройти мимо” (VII, 294). У Бунина читаем: “...тянулась такая же белая вереница поющих, с огоньками свечек у лиц, инокинь или сестёр <...> И вот одна из идущих посередине вдруг подняла голову, крытую белым платом, загородив свечку рукой, устремила взгляд тёмных глаз в темноту, будто на меня... Что она могла видеть в темноте, как могла она предчувствовать моё присутствие? Я повернулся и тихо вышел из ворот” (3, 473).

Оба писателя необыкновенно бережно, деликатно показывают православное религиозное чувство девушки, решившей посвятить себя Богу. Приём умолчания, глубокая пауза, эмоционально-психологический намёк красноречивее слов способны передать охватившую героев таинственную стихию, не подвластную рациональному анализу. Подобное состояние души и духа проявляется лишь, по слову Апостола Павла, “воздыханиями неизреченными”: “ибо мы не знаем, о чём молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными” (Рим. 8: 26).

Глубинные движения души не поддаются самораскрытию в слове – в этом Бунин в точности совпадает с Тургеневым, когда пишет в рассказе “Ида”: “А теперь позвольте спросить: как изобразить всю эту сцену дурацкими человеческими словами? <...> Боже мой, да разве можно даже касаться словами всего этого? <...> Есть мгновения, когда ни единого звука нельзя вымолвить. И, к счастью, к великой чести нашего путешественника, он ничего и не вымолвил. И она поняла его окаменение, она видела его лицо. Подождав некоторое время, побыв неподвижно среди того нелепого и жуткого молчания, которое последовало после её страшного вопроса, она поднялась и, вынув тёплую руку из тёплой, душистой муфты, обняла его за шею и нежно и крепко поцеловала одним из тех поцелуев, что помнятся потом не только до гробовой доски, но и в могиле” (2, 378). Любовь как высший дар Бога, как и “дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем” (Рим. 6: 23), преодолевает смерть. “Солнце моё! Возлюбленная моя! Ура-а!” – этот торжествующий возглас героя завершает бунинский рассказ “Ида”.

Искусство, творчество также одерживают победу над смертью. Своё писательское credo в соответствии с православным Символом веры – “знак веры в жизнь вечную, в воскресение из мёртвых” (2, 171) – Бунин сформулировал в лирико-философской миниатюре “Роза Иерихона” (1918): “бедное человеческое сердце радуется, утешается: нет в мире смерти, нет гибели тому, что было, чем жил когда-то! Нет разлук и потерь, доколе жива моя душа, моя Любовь, моя Память!” (2, 171).

Писатель, рождённый с русскою душой, до конца дней своих оставался верен русскому слову, русскому духу, русской православной вере и в жизни, и в литературе. Несмотря на то, что более трёх десятилетий он провёл за границей, Бунин внутренне не примирился с жизнью бездуховного, холодно-расчётливого Запада, жил только Россией, дышал ею, думал и писал о ней. Проявляя всечеловеческую отзывчивость, духом он постигал, что основное дело русского писателя-патриота – прославление своей Родины, своего народа, своей веры.

Исполнение писательского и человеческого предназначения в свете высшей истины, заповедей Нового Завета – таков завершающий аккорд творче-

ского пути выдающегося русского художника слова Ивана Алексеевича Бунина. “Матовое серебро” его таланта не потускнело под спудом времени и всё так же светится в мировой словесности своим неповторимым светом.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- <sup>1</sup> Бунин И. А. Собр. соч.: В 3 тт. – М.: Художественная литература. 1982. Т. 3. С. 491. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием тома и страницы.
- <sup>2</sup> Рыжов И. А. Мой Бунин // Писатели Орловского края. XX век.: Хрестоматия. – Орёл, 2001. С. 884.
- <sup>3</sup> Об отношениях Бунина с Н. А. Семёновой подробнее см.: Кондратенко А. Целую Ваши руки... // Новый Орёл. 2006. № 26. С. 2–4.
- <sup>4</sup> См. подробнее: Костомарова И. “Был всем, чем придётся...” (К столетию приезда И. А. Бунина в Орёл) // Орловская правда. 1989. 18 февраля.
- <sup>5</sup> Лонгфелло Г.-У. Песнь о Гайавате. Поэмы. Стихотворения: Пер. с англ. – М.: Художественная литература. 1987. С. 17–18.
- <sup>6</sup> Блок А. О лирике // Блок А. А. Собр. соч. – М.-Л., 1962. Т. 5. С. 141.
- <sup>7</sup> Цит. по: Русская литература. – 1961. № 4. С. 151.
- <sup>8</sup> Бунин И. А. Собр. соч. – СПб: Знание. 1902. С. 75.
- <sup>9</sup> Новикова Е. А. Воспоминание как форма повествования в рассказе И. А. Бунина “Антоновские яблоки” // “Поэтика” литературных гнёзд: филология, история, краеведение. – Тула, 2005. С. 105.
- <sup>10</sup> См.: Зайцев Б. К. Молодость – Иван Бунин // Писатели орловского края. XX век.: Хрестоматия. – Орёл, 2001. С. 414–420.
- <sup>11</sup> Зайцев Б. К. Жизнь Тургенева // Зайцев Б. К. Далёкое. – М.: Сов. Писатель. 1991. С. 247.
- <sup>12</sup> Цит. по: Лосский В. Н. Очерк мистического богословия восточной церкви. – М.: Центр “СЭИ”. 1991. С. 154–155.
- <sup>13</sup> Там же.
- <sup>14</sup> Лесков Н. С. Собр. соч.: В 3 тт. – М.: Художественная литература. 1988. Т. 1. С. 654.
- <sup>15</sup> Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 тт. – М.: Наука. 1974–1988. Сочинения. Т. 5. С. 96.
- <sup>16</sup> Там же. – С. 97–98.
- <sup>17</sup> Горький М. Н. С. Лесков // Горький М. Собр. соч.: В 30 тт. – М.: ГИХЛ. 1953. Т. 24. С. 231.
- <sup>18</sup> Ильин И. А. О “Богомолье” И. С. Шмелёва // Шмелёв И. С. Богомолье. – М.: Православное слово. 1997. С. 9–10.
- <sup>19</sup> Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 тт. – Сочинения: В 15 тт. Т. VI. – М.-Л.: АН СССР. 1963. С. 368. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием тома и страницы.
- <sup>20</sup> Литературное наследство. Т. 84. Кн. 1. – М.: Наука. 1973. С. 386.

АЛЕКСАНДР ВОДОЛАГИН

## ЛУЧЕЗАРНОЕ СЛОВО

*Лики Христа в космологии С. А. Есенина*

*Боже мой, воплоти Свою правду  
в Руси грядущей...*

Сергей Есенин

### 1. Христоцентризм есенинского мышления

В эпоху небывалого духовного оскудения, окончательной “расхристианизации мира”<sup>1</sup> и “завершённой бессмысленности” поэзия Сергея Есенина остаётся для нас сокровищницей воспринятых им в юности *герметических откровений* и мистических ориентиров на пути духовной самореализации<sup>2</sup>: неспроста он в “Ключах Марии” проговаривал мотивы допотопной мудрости “Изумрудной скрижали” Гермеса Трисмегиста и архаического мифомышления славян, обращался к тематике Евангелия от Иоанна и раннехристианских апокрифов. Отдавая дань “скрытой внутренней силе русской мистики”, двадцатидвухлетний поэт выходил за пределы славянофильско-почвеннического сознания и мыслил в категориях планетарного мышления, формулировал принципы “космической философии”<sup>3</sup>, по-своему толкуя приближение Царствия Небесного как “царства космических тайн”<sup>4</sup>, объемлющего человека и пребывающего в его душе как микрокосме: “царства солнца внутри нас”<sup>5</sup>. Поэтому, наверное, и приходил в бешенство, когда “делали из него исключительно крестьянского поэта” (С. М. Городецкий) — *пастушка*, ностальгирующего по “Руси уходящей”. В самом деле, его стихотворная речь-песнопение, пронизанная “просветлённым чувствованием новой жизни”<sup>6</sup>, была пророчески обращена в будущее (“О, Русь, взмахни крылами, // Поставь иную крепь!”), чем и раздражала “подлых людишек”, для которых “деньги — главное дело”, которые “живут ради чувственных наслаждений”, увязая в “сгущённом хаосе разврата”<sup>7</sup>.

Письма деревенского подростка, неуклюже подражавшего А. В. Кольцову<sup>8</sup> и С. Я. Надсону, мучимого вопросами “Жить или не жить?” и “Зачем жить?” — волнующие свидетельства его стремительного и вполне осознанного

---

ВОДОЛАГИН Александр Валерьевич — доктор философских наук, профессор. Член Союза писателей России. Автор книг “Метафизика воли” (2012), “Собрание духа. Пути и беспутьство русской мысли” (2013), “Русское познание Бога. Философия духа в России” (2019), сборника рассказов “Оливема” (2000), романа “Ворох, или Играющий с огнём” (2010, 2020).



продвижения к тому духовному максимуму, который точно именуется им *пробуждением*. Эта точность есенинской мысли тем более удивительна, что она не была порождением внешнего воздействия какого-либо авторитета, учительски передающего крупницы сакрального знания внимающему ученику. Начинаящий поэт-самоучка не располагал теми преимуществами двойного посвящения, которые веком ранее имел А. С. Пушкин, черпавший “вдохновение” сразу из двух источников недоступной профанам мудрости, усвоивший “преданья старины глубокой”<sup>9</sup>, поощряемый, с одной стороны, хранительницей благодатного ведения арийцев Ариной Родионовной Яковлевой, с другой стороны — знатоками масонского эзотеризма П. Я. Чаадаевым, Н. М. Карамзиным и В. А. Жуковским. Есенин же предавался *неистовым* поискам *самого себя* в полном одиночестве, превозмогая тоску и *томление духа*, защищаясь от враждебного отношения родичей. Следуя благотворному импульсу, полученному им от простого сельского священника Ивана Смирнова, семнадцатилетний “мечтатель” вчитывался в Евангелие, находя для себя в тексте очень много нового<sup>10</sup>, воображая себя “человеком, познавшим Истину”<sup>11</sup>, более того — потенциально Христом, невольно представляя в глазах ближних “сумасшедшим”<sup>12</sup>. Не всякий же мог распознать в “отроке солнцеголовом” божественного ребёнка, русского Христа, Алёшу Карамазова, провозвестника грядущих “священнейших дней обновления человеческого духа”<sup>13</sup>, то есть всемирной духовной революции — этого русского ответа на исторический вызов западной “материальной цивилизации”, сводящей человеческую жизнь к потреблению и пользованию, на “безмозглый ляг железа Америки”<sup>14</sup>. Уже в 16 лет он чувствовал себя *человеком Пути*, вырвавшимся из “греховного сонма”, сознававшим своё ничтожество и немощь, готовым **пойти на крест и умереть за святую правду**<sup>15</sup> — ту правду-справедливость, которую некогда явили миру как идею и норму, как образец для подражания Христос и Будда<sup>16</sup> и которая теперь почти всюду признана несбыточной (только не в России!). Нужно сказать, что до решающего “перелома” в своей внутренней жизни в 1914 году юный правдоискатель, тяготевший к христианскому социализму, воспринимал Христа как всего лишь совершенного “человека слова и дела”<sup>17</sup>, “Сына человеческого” — не более. “Христос для меня совершенство, — писал Есенин своему лучшему другу Григорию Панфилову в апреле 1913 года. — Но я не так верую в него, как другие. Те веруют из страха: что будет после смерти? А я чисто и свято, как в человека, одарённого светлым умом и благородною душою, как в образец в последовании любви к ближнему”<sup>18</sup>. Космическая природа *максимальной человечности* Христа (Николай Кузанский), заключавшей в себе и божественный максимум, тогда ещё ускользала от пытливого ума подростка, далёкого от иоанновского понимания Христа как Слова, ставшего плотью, как воплощения высшего смысла и цели мировой жизни. Подтверждение этому — рассуждение Есенина в том же письме:

“Жизнь... Я не могу понять её назначения, и ведь Христос тоже не открыл цель жизни. Он указал только, как жить, но чего этим можно достигнуть, никому не известно”<sup>19</sup>.

Простительное для подростка заблуждение. Тупиковый ход мысли, ведущий к приземлённой, толстовско-ренановской ереси, которой могут довольствоваться лишь те, кто пребывает в “слепоте нерождения”, как скажет уже прозревший Есенин в “Ключах Марии” (1918), где Христос изображён в виде героя космической мистерии, а Царствие Небесное описано как “солнечное пространство”, включающее в себя и “царство солнца внутри нас”<sup>20</sup>. Уже за два года до создания этого своего главного философского трактата Есенин довольно-таки чётко формулировал новизну своего христианского сознания, отличая его и от традиционного русского двоеверия, и от интеллигентской индивидуальной религиозности Серебряного века:

*Не в моего ты бога верила,  
Россия, родина моя!  
Ты, как колдунья, дали мерила,  
И был как пасынок твой я.*

Да, “ложноклассическая Русь” и в двадцатом столетии оставалась в его восприятии существом двуликим, являя себя то Светлой Девой, Богоматерью, то падшей Софией, пущенной по кругу, не кающейся Магдалиной<sup>21</sup>.

*О Русь, приснодева,  
Поправшая смерть!  
Из звёздного чрева  
Сошла ты на твердь.*

Не будем закрывать глаза на то, что поэт не раз давал повод своим недругам для обвинений его в богохульстве, впрочем, как и Христос – книжникам и фарисеям: “Тому ли, Которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите: богохульствуешь, потому что Я сказал: Я Сын Божий?” (Ин. 10, 36). Да и своим наивным ученикам – будущим апостолам – Христос напоминал о сказанном в Псалтыри: “вы – боги”. Так что Есенин, хорошо знавший Библию (“Только знаю Библию да сказки. . .”), усвоивший эзотерический подтекст Нового Завета, легко позволял себе пугавшие ортодоксов стихотворные строки, в которых отождествлял своё *высшее Я* с “маленьким боженькой”, “милым дятком” Христом, “отроком Иисусом” (есенинское – старообрядческое – написание), творчески переоткрывая *Евангелие детства*, неся русскому народу в эпоху власти Тьмы “новый свет”:

*Наша вера не погасла,  
Святы песни и псалмы.  
Льётся солнечное масло  
На зелёные холмы.*

*Верю, родина, я знаю,  
Что легка твоя стопа,  
Не одна ведёт нас к раю  
Богомольная тропа.*

## **2. Образ “отчего рая”**

Следуя по этой проторённой поэтом тропе, мы действительно оказываемся в светлом “земном раю”, где

*Снег, словно мёд ноздреватый,  
Лёг под прямой частокол.  
Лижет телёнок горбатый  
Вечера красный подол.*

В есенинском космосе каждая вещь, каждое существо извещает, *поёт*, *звонит*, *аукает* об одном и том же: о радости чистого бытия-в-Духе, о Царствии Небесном, включающем в себя “мать-землю черницу” и пребывающем “внутри нас”:

*Гляну в поле, гляну в небо —  
И в полях, и в небе рай.  
Снова тонет в копнах хлеба  
Незапаханный мой край.*

Это мирозерцание, связанное с восторженно-упоительным переживанием божественности нашего простого, будничного *бытия-в-мире*, Есенин правильно называл пантеизмом, который и защищал теоретически в “Ключах Марии” (воспроизводя кольцовское утверждение “Мир есть тайна Бога”), одновременно озвучивая мотивы пантеистической космологии в “огненном языке” своей поэзии, в непрерывном молитвенном песнопении “дымящейся земле”, её “полевой глухомани” и “лесной, дремучей мути”, “алому мраку в небесной черни” и “нездешним полям”. Понимая, что такой пантеистический пафос его лирики производил шокирующее впечатление на клир и вместе с тем вызывал к себе враждебно-настороженное отношение дорвавшихся до власти *бесов “русской” революции*, Есенин прятал под маской сказочника своё подлинное лицо пророка “прозревшей России”, *вестника* мистически обнвлённого христианства, придумывал периодизацию и менял хронологию

своего творчества<sup>22</sup>. “Самый щекотливый этап – это моя религиозность, которая очень отчётливо отразилась на моих ранних произведениях”, – признавался он в 1924 году в предисловии к первому тому стихов, написанных после 1912 года. И далее лукавил: “Я вовсе не религиозный человек и не мистик... Я просил бы читателей относиться ко всем моим Иисусам, божьим матерям и Миколам как к сказочному в поэзии”<sup>23</sup>. Видимо, мало кто из строителей безбожной теократии в СССР поверил тогда поэту, автору взрывных поэм “Страна негодяев” (опять прямое есенинское попадание!) и “Пугачёв”, где Есенин, как ранее Пушкин, провидел спасительное для России пришествие *красного царя*, строителя *государства Правды* – ради “вселенского братства людей”:

*Уже слышится благовест бунтов...*

### 3. “Светлая весть”

Проехавшись в 1922 году по Европе почти по-гоголевски (“Взвейтесь, кони! Неси, мой ямщик... Матушка! Пожалей своего бедного сына...”) <sup>24</sup>, Есенин писал А. М. Сахарову: “Что сказать мне вам об этом ужаснейшем царстве мещанства, которое граничит с идиотизмом? Кроме фокстрота, здесь почти ничего нет. Здесь жрут и пьют, и опять фокстрот. Человека я пока не встречал и не знаю, где им пахнет. В страшной моде господин доллар, на искусство начхать – самое высшее музик-холл... Пусть мы нищие, пусть у нас голод, холод и людоедство, зато у нас есть душа, которую здесь за ненадобностью сдали в аренду под смердяковщину”<sup>25</sup>. Даже в этих хлётских, казалось бы, сиюминутных оценках деградирующей западной цивилизации, предавшей забвению свои духовные истоки и ценностные основания, новоявленный Алёша Карамазов легко забегал на столетие вперёд, задевая наших нынешних “западников”, презирующих Россию и лакейски пресмыкающихся перед Западом. “Со стороны внешних впечатлений после нашей разлуки здесь всё прибрано и выглажено под утюг, – писал Есенин тогда же “пензенскому денди” А. М. Мариенгофу из Остенде. – На первых порах особенно твоему взору это понравилось бы, а потом, думаю, и ты бы стал хлопать себя по колену и скулить, как собака. Сплошное кладбище. Все эти люди, которые снуют быстрее ящериц, не люди – а могильные черви, дома их – гробы, а материк – склеп. Кто здесь жил, тот давно умер, и помним его только мы, ибо черви помнить не могут”<sup>26</sup>. И позже ему же об “этой кошмарной Европе”, навевающей тоску: “. . . Боже мой, такая гадость, однообразие, такая духовная нищета, что блевать хочется”<sup>27</sup>. Нечто подобное в том же 1922 году переживал в Берлине Андрей Белый, с которым Есенин нашёл общий язык в сентябре 1918 года – в ходе *значительного разговора*<sup>28</sup> о “грядущем христианстве”, неожиданно для себя оказавшись на *острие вершины “магической” линии всей истории* (Андрей Белый). И тогда же, в 1918-м с этой высоты прозвучало провидческое предостережение:

*И тебе говорю, Америка,  
Отколота половина земли, —  
Страшишь по морям безверия  
Железные пускать корабли!*

Обратим внимание на уникальность есенинского духовного опыта. С отроческих лет притязая на достижение высочайшего статуса *пророка в своём отечестве*, каковым до него был удостоен лишь один А. С. Пушкин, Есенин избежал обычных ошибок русских богоискателей, нередко застревавших в своём духовном развитии на ступени разорванного, “несчастливого сознания”. Собственно искания Бога в его жизни, можно сказать, и не было, ибо Бог Сам нашёл его – тоскующего “русского мальчика” – и призвал к исполнению пророческой миссии вопреки мальчишескому “желанию кощунствовать и хулиганить”, превратив его в **существо**, “**несущее сияние**”, в ключевую фигуру в истории русского гнозиса. Таким он и явился в литературные салоны Петербурга весной 1915 года – воплощением “долгожданного чуда”, подобием *херувима, тем, кто светится божественным знанием*, кто несёт заблудшим “*благодостную весть*”. Поэт не раз намекал, а иногда прямо говорил о не книжном

источнике этого знания, хотя и обрёл его в период обучения на историко-философском отделении университета Шаньявского:

*Не напрасно дули ветры,  
Не напрасно шла гроза.  
Кто-то тайным тихим светом  
Напоил мои глаза.*

Кто же? О каком госте заговорил прозревший поэт-вестник? “Кто-то в солнечной сермяге...” Да, сам “кроткий Спас”, “сладчайший Исус” *навестил* его и, минуя человеческих посредников, своих апостолов, отцов церкви и даже “белого Саровского Старца”<sup>29</sup>, передал ему благостную весть, призвав к мистическому пенью “звёздных псалмов” и “начертанию Третьего Завета”. Очевидно, эта встреча поэта лицом к лицу с Христом произошла в Духе, возможно, в дремлющем духе, в озарившем его жизнь сновидении, что не снижает ценности почерпнутой из него “благостной вести”. Так или иначе, Есенин был последним русским поэтом, который отчётливо ощущал присутствие “незримого Христа” в погружающемся в кровавое безумие мире, испытал на себе “концентрированную солнечную силу” Христова Импульса (Андрей Белый)<sup>30</sup> и предвидел грядущее воплощение Бога-Логоса, *Лучезарного Слова*, Его возвращение на землю в новом обличье:

*Верю: завтра рано,  
Чуть забрезжит свет,  
Новый под туманом  
Вспыхнет Назарет.*

*Новое восславят  
Рождество поля,  
И, как пёс, пролетает  
За горой заря.*

*Только знаю: будет  
Страшный вопль и крик,  
Отрекутся люди  
Славить новый лик...*

Хотя новым лик грядущего, некогда *вознесённого от земли* (Ин. 12, 32), космического Христа будет казаться лишь апологетами исторического лжехристианства, *людям лунного света*, не способным вместить в своё приземлённое, сумеречное сознание Откровение Иоанна Богослова и идею внехрамового служения Богу в Духе и Истине, о чём говорил своим ученикам Христос четвёртого Евангелия и что проповедовал в своих “звёздных псалмах” Сергей Есенин.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Термин Мартина Хайдеггера, введённый им для описания нашего *скудного времени* — эпохи “Мировой ночи”. Первый эксперимент по “расхристианизации мира” был поставлен французскими якобинцами, второй — троцкистами и хрущёвцами. В настоящее время этот проект иллюминатов осуществляется в глобальном формате. Примеры его поэтапной реализации: вынужденный уход папы Бенедикта XVI, совпавший с сатанинским ударом молнии в купол собора Св. Петра в Риме; ритуальное предание огню Собора Парижской Богоматери 15 апреля 2019 года, поджог 18 июля 2020 года собора Святых Петра и Павла в Нанте, где в XIV веке был вынесен приговор известному сатанисту-педофилу маршалу Франции Жилю де Ре; inferнальные действия поклонниц *Вавилонской блудницы* в Храме Христа Спасителя и у Никитских ворот (свадьба “самки богомола”), ежегодные люциферианские “фестивали света” в Москве, “сборища сатанинские” на Красной площади, нацеленные на десакрализацию “духовной столицы России” — последнего оплота Православия.

<sup>2</sup> Подробнее об этом в кн.: Водолагин А. В. Русское познание Бога. Философия духа в России. М., 2019. С. 215–230.

- <sup>3</sup> Термин К. Э. Циолковского.
- <sup>4</sup> Есенин С. А. Собр. соч. в шести томах. М., 1979. Т. 5. С. 178.
- <sup>5</sup> Там же. С. 187.
- <sup>6</sup> Там же. С. 180.
- <sup>7</sup> Там же. Т. 6. Письма. М., 1980. С. 39, 43, 45.
- <sup>8</sup> Поразившие семнадцатилетнего Есенина строки Кольцова: “Мир есть тайна Бога, Бог есть тайна мира”.
- <sup>9</sup> Водолагин А. В. Указ. изд. С. 22.
- <sup>10</sup> Есенин С. А. Указ. изд. Т. 6. С. 26.
- <sup>11</sup> Там же. С. 28.
- <sup>12</sup> Там же. С. 29.
- <sup>13</sup> Там же. Т. 5. С. 189.
- <sup>14</sup> Там же. С. 180.
- <sup>15</sup> Там же. Т. 6. С. 15, 25, 29.
- <sup>16</sup> Там же. С. 22.
- <sup>17</sup> Там же.
- <sup>18</sup> Там же. С. 26.
- <sup>19</sup> Там же.
- <sup>20</sup> Там же. Т. 5. С. 187. Сравнение Христа с “шаром солнца” Есенин обнаружил, видимо, в 1914 году в настольной книге русских мистиков – “Аврора, или Утренняя заря в восхождении” (Böhme J. Aurora oder Morgenröte im Aufgang. Frankfurt am Main und Leipzig, 1992. S. 141), переведённой Алексеем Петровским, другом Андрея Белого. С последним Есенин беседовал о *космическом Христе* и христианстве “Третьего Завета” в сентябре 1918 года – в период работы над трактатом “Ключи Марии”.
- <sup>21</sup> Роман Гуль был близок к пониманию мистического смысла есенинской поэзии, когда говорил о “дивных древних песнях пантеистического эротизма”, которые “пронзают всю лирику Есенина” (Русское зарубежье о Сергее Есенине. М., 2007. С. 310).
- <sup>22</sup> Подробнее об этом в кн.: Куняев С. Ю., Куняев С. С. Сергей Есенин. М., 2017.
- <sup>23</sup> Есенин С. А. Указ. изд. Т. 5. С. 205, 206.
- <sup>24</sup> Там же. Т. 6. С. 124.
- <sup>25</sup> Там же. С. 123.
- <sup>26</sup> Там же. С. 125.
- <sup>27</sup> Там же. С. 129.
- <sup>28</sup> Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. СПб, 1998. С. 165.
- <sup>29</sup> Белый Андрей. Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности. М., 2000. С. 499.
- <sup>30</sup> Там же. С. 408.

ГЕННАДИЙ КРАСНИКОВ

## “КТО ТАЙНОЕ В ЯВНОМ ОТКРОЕТ...”

(К 90-летию со дня рождения Новеллы Матвеевой)

После ухода в 2016 году Новеллы Матвеевой её племянник Павел Калугин, принявший на себя огромный труд по сохранению и изучению огромного творческого наследия поэтессы, обнаружил неожиданный факт её биографии, в которой, казалось бы, всё было более или менее известно. Во всяком случае, в том, что касается дат её жизни. Однако, как пишет П. Калугин, “оказалось, что невозможно найти свидетельство о рождении Новеллы Николаевны. По ряду юридических моментов было необходимо получить копию документа о рождении. Содержание ответа из архива отдела ЗАГС г. Пушкин, бывшего Царского Села, было и ожидаемо, и не очень. Год рождения был указан 1930-й... После уточнения всех деталей с сотрудниками архива стало понятно, что ошибки быть не может. По воспоминаниям Светланы Николаевны, родной сестры Новеллы Николаевны, их дом в Юной Республике в Щёлковском районе Подмосковья однажды после войны ограбили и вынесли всё ценное вместе с документами. При их восстановлении для подтверждения года рождения Новеллы было проведено врачебное освидетельствование. Это обычная и обязательная процедура для установления возраста ребёнка при отсутствии документов. По его итогам и был подтверждён и внесён в новые документы 1934 год рождения, который назвала Надежда Тимофеевна, мама юной Новеллы. Сделала она это для того, чтобы можно было снова отдать дочь в школу – из-за болезней было пропущено слишком много, а по физическому развитию девочка вполне подходила под ребят года на четыре младше. В школу она так и не пошла, а год рождения остался. Знала ли Новелла Николаевна об этом? Наверное, мы этого никогда не сможем ни утверждать, ни опровергнуть. Таким образом, этот, 2020 год с юридической точки зрения является юбилейным. Неоспорим тот факт, что вся биография, награды, премии и прошедшие юбилеи были организованы, исходя из 1934 года рождения. Ломать все эти устоявшиеся даты было бы неверным. Но и четыре года жизни убрать из биографии человека было бы несправедливо. Получается, что Новелла Николаевна покинула нас, не дожив чуть больше месяца до своего 86-летия”.

Такова предыстория открывшейся новой хронологии жизни Новеллы Николаевны Матвеевой, которую она либо не знала сама, либо запомнила, либо тщательно скрывала. Во всяком случае, за почти сорокалетнюю нашу с ней дружбу и долгие, откровенные разговоры на самые разные творческие и житейские темы она ни разу не обмолвилась об этом, хотя в последнее время

и заговаривала, чтобы я написал её биографию для молодогвардейской серии “ЖЗЛ”, где стали выходить и прижизненные биографии известных людей. Увы, этой книге в силу разных причин не удалось сбыться, да и сам внезапный уход Новеллы Николаевны прервал наши с ней планы, мы даже не успели довести до конца подготовку к печати её многочисленных дневников, которые она взялась переписывать для будущего издания, но работа не была доведена даже до середины, да это и невозможно было из-за её объёма — уже сейчас количество найденных её дневников приближается к пятистам...

За десятилетия нашей дружбы с Новеллой Николаевной и её мужем, прекрасным поэтом Иваном Семёновичем Киуру, к сожалению, рано ушедшим, я был редактором нескольких её книг, писал о ней, о её творчестве, составил с моим предисловием её биографическую книгу “Мяч, оставшийся в небе”, публиковал беседы с нею.

Если бы мы и в самом деле появлялись на Земле не один раз, то, несомненно, Новелла Матвеева жила бы и в эпоху Возрождения, и в век Просвещения!.. Ибо в ней так органично были соединены ренессансная полнота жизни — с её драмами и комедиями, добром и злом, — и энциклопедическая широта знаний, блеск ума, едкость иронии, горечь, скрытая даже и в весёлой озорной остроте. Я говорю об эстетическом родстве, хотя справедливости ради замечу, что так называемая смеховая культура, о которой писал М. Бахтин, была для неё категорически неприемлема, она не терпела никакой скабрёзости, грубости, пошлости, а Владимира Набокова за его “педофильскую” “Лолиту” она вообще не относила к роду человеческому и не раз упрекала меня за то, что я в свои антологии включаю его стихи. На мои возражения, что стихи-то у него есть хорошие, патриотические, с тоской по России, Новелла Николаевна категорически возражала: “Вот-вот, сначала прочитают якобы хорошие стихи, а потом начнут искать другие его вещи и доберутся до этой его мерзости...” Эти свои доводы она даже и в стихах запечатлела (стихотворение “А в остальном, прекрасная маркиза...”).

Кстати, в защиту от поклёпа на народную культуру она написала блестящее и как всегда остроумное стихотворение “О юморе”:

*Говорят: “Народный юмор груб.  
Грубостью простому сердцу люб”.  
Что вы! Юмор грубый чересчур —  
Он как раз для избранных натур!  
Старый вертопрах  
наедине  
Шепчет сальности чужой жене.  
Вроде бы и юмор площадной,  
Ан, глядишь, рассчитан для одной...  
То-то и оно, что грубый смех —  
Смех кустарный, редкий, не про всех!  
Не скажу, насколько он прожжён,  
Да не про детей и не про жён!  
Груб, а ведь не каждого берёт  
(Ржёт конюшня — да и то не вся!).  
Что за притча? Что за анекдот,  
Если вслух рассказывать нельзя?  
При мужьях нельзя, при стариках,  
При маэстро, при учениках,  
Там, где людно, там, где молодёжь,  
При знакомых, незнакомых то ж...  
Если двое крадучись идут  
“Посмеяться”, третьего не взяв,  
Скоро эти двое создадут  
Царство смеха на его слезах.  
...Спутник селадонов и блудниц,  
Чёрных лестниц, краденых утех,  
Смех “плебейский” — для отдельных лиц,  
“Аристократический” — для всех.*

При этом все времена, страны, культуры принимаются Новеллой Матвеевой с пушкинской “всемирной отзывчивостью”. Отторгается, рыцарски отмечается лишь то, что угрожает бесчеловечностью, всякого рода фамильярностью, высокомерием по отношению к униженным и оскорблённым, к бедности, к человеку труда, к истинному таланту... Не случайно среди её главных любимых писателей были Диккенс, Марк Твен, Достоевский, Грин, поэты Жуковский, Пушкин, умевшие лирой “чувства добрые пробуждать”...

Для эстетики Матвеевой изначально уродливо всё, что самодовольно, агрессивно завистливо, нагло, всё, что не согласуется с этической иерархией ценностей. В этом смысле ей близок Брейгель, его нелицеприятность в отношениях с жизнью, которая берётся для исследования в своей предельной неприукрашенности. При том, что внешняя брейгелевская грубость, изломанность, антиэстетичность уравниваются внутренним светом, внутренней чистотой и привлекательностью, жалостью к человеку, доведённому до уродства на фоне чистой и, кажется, непорочной природы как знака предвечной жизни. И наоборот, внешняя, показная прилизанность, благодность изобличаются в лицемерии, в сокрытии внутренней мерзости и захламлённости. Таков взгляд Брейгеля на мир:

*Прозренья его беспощадны,  
Сужденья его непреложны.  
Его дураки безупречны,  
Его богомольцы — безбожны...  
 (“Питер Брейгель-Старший”)*

По-своему беспощаден взгляд на мир и Новеллы Матвеевой, что особенно проявилось в её, скажем так, постромантический период творчества, совпавший с катастрофическими последствиями либерального перестроечного периода нашей истории, последствием которого стало крушение великой советской страны. В поэзии этого периода проявилась с новой яркой силой блестящая плеяда женщин-поэтов, среди которых столь непохожие друг на друга, классические во всех отношениях Татьяна Глушкова, Юнна Мориц, Новелла Матвеева, по жёсткости и преданности сравнимые разве что с певцом империи Киплингем, с их жёсткими, бескомпромиссными сатирическими и философскими стихами, за которые к ним всегда была враждебно настроена либеральная тусовочная критика и вся русофобская “пятая колонна”. (Так, Пушкина до сих пор честят за его гражданскую и политическую позицию в стихах “Клеветникам России” разного рода Шендеровичи-Иртеневы. И намеренно “забывают”, как крамольный П. Я. Чаадаев понял и поддержал Пушкина: “Я только что прочёл Ваши два стихотворения. Друг мой, никогда ещё Вы не доставляли мне столько удовольствия. Вот, наконец, Вы и национальный поэт. Вы угадали, наконец, своё призвание”...)

Матвеева одна из первых в пронзительных стихах “Такое впечатленье...” заговорила об утрате русского Крыма и Севастополя задолго до их возвращения “в родную гавань”, забив во все колокола тревогу об исторической несправедливости, чем, быть может, приблизила час победы, возмездия и торжества справедливости в 2014 году, ибо всё-таки верила: “Такое впечатленье, // Что с нами Бог Всемогущий”:

*Такой туман ехидный,  
Как будто сожгли в нём резину...  
Такое впечатленье,  
Что в море подлили бензину,  
    Что жирный блеск бензина  
    Мне радугу скорчил для виду,  
    Что старая дрезина  
    Собой заменила Тавриду.  
Какое странное море! —  
Ни белое, ни голубое...  
Такое впечатленье,  
Что сдан Севастополь без боя.*



*Неужто лиходеи  
 От праведной кары закляты?  
 Такое впечатленье,  
 Что крепости — подлостью взяты!*  
*О, всякий плен печален,  
 Погибельно рабство любое.  
 Но ДОБЛЕСТНЫХ плененье,  
 Но рабство ОТЧАЯННЫХ — втрое!  
 Решушь ли оглянуться  
 На шум заповедного флага?  
 Такое впечатленье,  
 Что льётся из глаз моих влага,  
 Что в мире  
 Нет одиноче  
 ГЕРОЕВ,  
 СВОБОДЫ ЛИШЁННЫХ.  
 Что нет ничего жесточе  
 Трусов вооружённых!*  
*И щиплет глаза от рези,  
 Как будто попал в них и жжёт их  
 Отскол от статуи Фрэзи, —  
 Заступницы мореходов...*  
*Но тот не взвидит света,  
 Кого униженный проклял.  
 Такое впечатленье,  
 Что там, за моросью блёклой,  
 Есть яркое море Грина  
 И Фрэзи Грант на “Бегущей”...  
 Такое впечатленье,  
 Что с нами Бог Всемогущий.*

Бывают писатели разные — хорошие, интересные, читаемые. Но очень редко появляется тот, о ком можно сказать: вот писатель со своим неповторимым миром! Как это говорим мы о Свифте, Рабле, Кэролле, Грине, Платонове... Как можем сказать и о Новелле Матвеевой. Речь идёт не о сопоставлении дарований в этом ряду, а о характерной самобытности, которая объединяет этих авторов. И не потому, что они изобретают какой-то особый язык (хотя по этой части они великие Мастера!) или придумывают необыкновенных героев, расшатывают реальность, а потому, что они оставляют после себя эту реальность обновлённой, показанной в её метафизической сущности, недаром же — “тем более дорого стоит, кто тайное в явном открое...”, из чего следует и другая формула: “Если бы не было жизни в книгах — // В жизни бы не было книг”. Но пророческие стихи о Севастополе говорят и о том, что Матвеева, благодаря поэтической интуиции, владела мастерством и в тайном, до времени сокрытом открывать явное, неизбежное...

Мир Новеллы Матвеевой — это её стихи, песни, поэмы, проза, эссеистика. И в них — ум, порядочность, честность, справедливость, жажда совершенства не просто желательны, но обязательны. Может быть, потому у Матвеевой нет эпигонов. Ибо как подражать уму? И можно ли симулировать честность?..

Подражать Матвеевой нельзя, потому что её поэзия не просто сумма блестящих и виртуозных приёмов (их-то как раз в той или иной степени возможно копировать!), не следование за модой, не заигрывание с критикой и читателями, а напряжённое, парадоксальное движение острой мысли, мастерским трудом отлитое в лёгкую, весёлую, ироничную и стройную, как чудесный кораблик из её песен, совершенную форму. Достигший подобного мастерства станет сам не эпигоном, но Мастером!

Поэзия Новеллы Матвеевой практически вся цитируема. Жаль, нечасто обращаются критики к её афористичным, крылатым строкам. Нынешних “телевизионных”, тусовочных пропагандистов и культуртрегеров в печати и на телевидении больше привлекает непристойное, хохмаческое, ёрническое, космополитичное либо откровенно русофобское! По злой иронии судьбы, считающий

себя учеником и поклонником поэзии Матвеевой, ею же когда-то рекомендованный мне со стихами в альманах “Поэзия” розовощёкий мальчишка Дима Быков стал мерзким рупором русофобии, выступил против возвращения Крыма, с компанией Макаревичей поддерживая нацистскую бандеровскую власть на Украине, стал апологетом предателя Власова. Надеюсь, что на нём и на таких, как он, сбудутся-таки слова Матвеевой: “*Но тот не взвидит света, // Кого униженный проклял*”. . . Как здесь не вспомнить её убийственную формулу: “*Эстет и варвар вечно заодно*”. Не ради красного словца высказалась эта мысль. Подобно ростановской реплике бесстрашного Сирано, ставит она на место любого пошляка и мерзавца, а тем паче любого клеветника России.

Каждого своего читателя, в ком заранее предполагает благородство и ум, поэтесса словно приглашает на пир мыслей, истины, воображения. То она глубока и серьёзна: “*... в мир приходит гений // Не мешать, а мешать*”. . . То язвительна: “*... Вся та святая простота, // Что не проносит мимо рта...*” То огорчена: “*Кто сам не песня — тот обычно против песни...*” То, по-русски ахаясь с хлебниковским восторгом: “*Русь, ты вся поцелуй на морозе!*” — откликается: “*... Разве даром в полях января // пахнет перцем российский мороз?!*” То философски спокойна: “*Лишь истина стоит забот*”.

Великий полемист (хотя и поневоле, — жизнь заставила!), в споре, в отстаивании справедливости она — неисправимый максималист! — всегда резко непримирима, жало её иронии, сатиры безжалостно. И тут уж прочь с дологи, романтика, которую так упорно приписывают критики поэту.

*Не пиши, не пиши, не печатай  
Хриплых книг, восславляющих плоть.  
От козлиной струны волосатой  
Упаси  
Твою лиру Господь!  
.....  
Отползи поскорее к затону,  
Отрасти себе жабры и хвост,  
Ибо путь от Платона к планктону  
И от Фидия к мидии — прост.  
 (“Не пиши, не пиши, не печатай...”)*

Вот так — жёстко, беспощадно, при этом вполне элегантно, аристократично. Не припоминаю в нашей усыпляюще теплокровной и самовлюблённой поэзии последних лет столь бесстрашного, рыцарского противоборства с пошлостью, эстетизированной вульгарностью (не случайно предисловие к её биографической книге я назвал “И одна в поле воин”).

Знающим Новеллу Матвееву лишь по её песням, по её почти детскому, беззащитному голосу, словно на ветру во тьме качающемуся огоньку свечи, непривычным кажется это новое узнавание поэта. Но нет здесь противоречия. Чтобы мир окончательно не обрушился в хаос, не стал ещё более угрожающе дисгармоничным, чем уже есть, в него необходимо вносить музыку, лад, великодушие, дрожащий на ветру комочек света. . . Но чтобы разлаженность, дьявольская дисгармоничность мира не погасила этот хрупкий свет, не заглушила своим скрежетом чуть слышный голос небесной музыки, Поэт восстаёт против всего разрушительного, разлагающего, восстаёт, наконец, против расчеловечивания, против ускоряющейся энтропии души. . .

Помнится, когда-то я был по-настоящему удивлён, узнав, что у песни “Цыганка” есть автор, да ещё наш современник. . . С которым в начале 80-х прошлого века мы подружимся и пронесём эту дружбу через десятилетия. . . У нас, на Урале, в рабочем городке, давно уже распевались как народные слова:

*Развесёлые цыгане по Молдавии гуляли  
И в одном селе богатым ворона коня украли...*

И сегодня, по прошествии лет, воспринимаю я эту песню Новеллы Матвеевой как существовавшую в нашей песенной культуре всегда, как ставшие

народными песни на стихи Некрасова, Есенина, Рубцова... Есть в ней (как, впрочем, и во всех её песнях) и щемящая грусть, и красота, и волнующий, влекущий в неизвестность зов дороги (одна из её пластинок так и будет называться "Дорога – мой дом")... И уже не конкретный человек – её автор, а те, кто поёт эту песню сегодня, кто будет петь завтра, потому что они добавляют к ней своё настроение, свои мысли, свою личную историю, свою личную Вселенную, в которой у каждого человека, по слову Канта, есть моральный закон и личное звёздное небо над головой...

Она навсегда остаётся Поэтом в русской культуре. А пока в мире есть хоть один Поэт – людям остаётся надежда.

*...И шёл поэт, спокойный, как ковчег,  
Над всплесками библейского потопа,  
И телескоп смотрел, как человек,  
И человек стоял у телескопа...*

## НОВЕЛЛА МАТВЕЕВА 1930 — 2016



## СПОЛОХИ ДУХА

*В этой публикации представлены стихи, давно ставшие классикой, а также стихи, найденные Павлом Калугиным в архивах Новеллы Матвеевой.*

### Пожарный

*Жил-был пожарный в каске ярко-бронзовой,  
Носил, чудак, фиалку на груди!  
Ему хотелось ночью красно-розовой  
Из пламени кого-нибудь спасти.  
Мечта глухая жгла его и нежила:  
Вот кто-то спичку выронит и — вот...  
Но в том краю как раз пожаров не было —  
Там жил предусмотрительный народ.  
...Из-за ветвей следить любила в детстве я,*

---

МАТВЕЕВА Новелла Николаевна — поэт, прозаик, драматург, эссеист, автор-исполнитель бардовских песен. Родилась в Детском Селе Ленинградской области. Окончила Литературный институт им. М. Горького. Автор книг стихотворений “Лирика” (1961), “Кораблик” (1963), “Душа вещей” (1966), “Ласточкина школа” (1973), “Река” (1978), “Страна прибоя” (1983), “Избранное” (1986), “Хвала работе” (1987), “Кассета снов” (1998, проза, пьесы, стихи), “Сонеты” (1998), “Пастушеский дневник” (1998, проза и стихи), “Караван” (2000, стихи и песни), “Жасмин” (2001), “Мяч, оставшийся в небе” (2006, проза и стихи) и других. Лауреат Пушкинской государственной премии.

*Как человек шагал на каланче...  
Не то чтобы ему хотелось бедствия,  
Но он грустил — о чём-то вообще...  
Спала в пыли дороженька широкая,  
Набат на башне каменно молчал...  
А между тем горело очень многое,  
Но этого никто не замечал.  
Но этого никто не замечал.*

1961

**“Не пиши, не пиши, не печатай...”**

*Не пиши, не пиши, не печатай  
Хриплых книг, восславляющих плоть.  
От козлиной струны волосатой  
Упаси  
Твою лиру  
Господь!  
Не записывай рык на пластинки  
И не шли к отдалённой звезде,  
В серебристую дымку  
Инстинкты  
И бурчанья в твоём животе.  
Верь:  
Затылок твой — круглый и плотный,  
Группа крови и мускул ноги  
Не предстанут зарёй путеводной  
Пред лицо поколений других!  
...Как волокна огнистого пуха,  
Из столетья в столетье  
Летят  
Звёзды разума, сполохи духа,  
И страницы в веках шелестят...  
Но уж то, что твоя козлоноготь,  
Возгордись, разбежалась туда ж, —  
Для меня беспримерная новость!  
Бедный мастер!  
Закинь карандаш,  
Отползи поскорее к затону,  
Отрасти себе жабры и хвост,  
Ибо путь от Платона к планктону  
И от Фидия к мидии — прост.*

1964

### **Элегия**

*Ах, и сам я нынче  
Чтой-то стал нестойкий;  
Не дойду до дому  
С дружеской попойки...*

Сергей Есенин

*Вас толкать на пьянство, волокитство,  
Дескать, пей, гуляй, на то и стать, —  
Умысел кровавого ехидства;  
Уж какая “стать”, когда не встать?!  
А теперь про Вас воспоминанья:  
“Пьяным видел там и пьяным сям...”  
Вы любили*

*Изливать признанья  
Тайно забавлявшимся “друзьям”.  
Тем, что отказали наотрез Вам  
В разуме! (Что им — во лбу звезда?)  
Будто Вас в короткий век Ваш трезвым  
Не встречал никто и никогда!  
А портреты? — ничего от хмеля,  
Всё от неба! (Видно, в оны дни  
Только птицы Вас не проглядели,  
Музы да фотографии одни).  
“Не дойду до дому...” Эка жалость:  
Вьюга все дороги замела.  
Стало быть, никто не провожал Вас?  
А попойка “дружеской” была!  
Толки, толки...  
“Как жену чужую,  
Обнимать берёзку” — стыд и грех!  
Или вдаль не с той черты гляжу я?  
Или вижу скрытое от всех?  
Не сманить тому ничьей подруги,  
Не пробиться да на твёрдый шлях,  
Кто, один, среди полночной вьюги  
Обнимает дерево в полях.*

#### **Ставрогин и дети**

*Тот автор, что Ставрогина Николу  
Нам вывел как растлителя детей,  
Жаль, не видал сегодняшнюю Школу,  
Не посетил детсадик наших дней,  
Не сведал, что таких, как он, людей  
Наивных — мятежу и произволу  
Теперь каюк! И книжечку весёлу —  
Порно-Букварь со множеством статей  
И снимков для дошкольного показу,  
Жаль, не листал! Не то смекнул бы сразу,  
Что понапрасну “Бесов” создал он,  
Что их взяла! И что его Ставрогин  
Не цепью волчьей класает в остроге,  
А... в педагоги днесь произведён!*

1989

#### **Современная логика на полном серьёзе**

*Чтобы вновь развеселиться  
Наконец могла и я,  
За врагов моих... молиться  
Обещали мне друзья!*

*Братцы! Если негодяи  
И не стоят батогах,  
Что же вы так быстро взяли...  
Сторону моих врагов?*

*И хоть я, — вы не сумлитесь! —  
Благодарна вам весьма,  
За СВОИХ врагов молитесь!  
За МОИХ — уж я сама.*

2001

### Половецкие пляски в Москве

*Откуда половцы в Москве? Им нет числа!  
Где я? Черно в глазах от половецких плясок!  
Где все мы, русские? Или потрясло от встрясок?  
Втоптало в топоты? Эй! Где в Москве — Москва?*

*Откуда половцы в Москве?! Им нет числа!!!  
Бывали бедняки и в половецких станах,  
Но власть московская — каких-то сладких, странных,  
СВЕРХЖИРНЫХ половцев над нами вознесла!*

*Мол, дескать, нам нужны гнёт, иго и Орда,  
Чтоб с ними нам не смочь подраться никогда.  
Однако их земель НЕ ЗДЕСЬ лежит граница!*

*Бросай лукавить, босс! Гони дружков туда,  
Откуда их несёт! И С НИМИ МЫ ТОГДА  
ПРИ ВСЁМ ЖЕЛАНИИ НЕ СМОЖЕМ ПОБРАНИТЬСЯ.  
2001*

### Ляпота!

*Кто изукрасил Москву первобытными цацками?  
Рожками страшными, пробочниками дурацкими?  
Кто завалил её ЛИК, её вид исторический  
Идолы полубезумных игрушками адскими?!  
2001*

### НА ПРИВАТИЗАЦИЮ РУССКИХ ЛЕСОВ

*Страна сгорела, но не вся.  
И решено в итоге  
Сдать поджигателям леса  
В награду за поджоги!  
Рать думская не может, чтоб  
Вконец не осрамиться,  
И вору,  
Вместо пули в лоб,  
Страну отдать стремится!  
Кто в силах Западу пропить  
Бор, обращённый в брёвна?  
Кто в силах заросли скупить?  
Неужто мать Петровна?!  
Тогда, когда всё дело здесь  
В количестве “лимонов”?  
Знать, понапрасну “Русский лес”  
Писал старик Леонов!  
— Как позабыться? — плачет мать. —  
Сынка в Чечне убили!  
...Пойти бы в лес — грибов набрать, —  
Да лес огородили!  
В стране надуманных гербов  
Петровна прозревает.  
В углу  
Корзинка для грибов  
Ей душу надрывает...*  
.....

*Вот вам и сказка про гуся!  
Отдать, на радость бесам,  
Тому и виллы, и леса,  
Кто жёг деревни с лесом?!  
Народу — гриб сорвать нельзя.  
Всё можно — для Ылиты!  
Страна разграблена. Не вся.  
Но нет у ней защиты.*

#### **“НОВЫЕ РУССКИЕ”?**

*Среди красавцев криминала  
Я мало НОВЫХ лиц видала.  
И РУССКИХ — тоже что-то мало, —  
Чай, разбрелись туды-сюды?*

*Но либералы  
“Новых русских”  
Чествуют на взгорьях и на спусках!  
И “патриоты”  
“Новых русских”  
Готовы клясть на все лады!*

*Так, значит, именно у русских —  
Круиз, “Бургундское”, закуски?  
(— Голь! Вам сарделек? Вам капустаки?  
Бомжи! Вам сёмги не подать?  
— Нет, — лучше — консоме с пашотом).  
...Вопрос хотя бы к “патриотам”:  
Откуда столько “новых русских”,  
Когда и старых не видать?*

*И что за выдумки такие,  
Что обездолена Россия?  
Об чём, народные витии,  
Раз всё “О кей”, шумите вы?  
Где сыты пристяжные клячи,  
Уж коренные-то — тем паче!  
С обжорства мрём, видать. (Иначе  
Не отдали б Москвы!)*

*Что ж. Если россы так богаты,  
То главные проблемы сняты?  
Так отчего ж гремят дебаты  
Про обнищание слоёв?  
Среди которых нищий самый —  
Слой русских!.. Гряньте ж, эпиграммы,  
На их лохмотья, их стограммы,  
Их шрамы со времён боёв!*

*Их слёзы в память той Победы,  
На зимней свалке — их “обеда”...  
Должно быть, мы сошли с ума;  
Для славы, для авторитету —  
Считается, что русских нету.  
Для оскорблений, для навету, —  
Считается, что русских — тьма!*



## ПРЕСС-ПАПЬЕ (сонет)

*В клеветников  
немолчной трескотне  
Проковыляла жизнь по буеракам.  
Что нравилось —  
и то покрылось мраком.  
А что запечатлелось?  
Пресс-папье!*

*Облитое цветным и чёрным лаком,  
Нарядное, как бабочка на пне, —  
В простом быту — оно  
мне было знаком,  
Что мы стоим на Творческой тропе;*

*Что мне искусства  
будут образцом;  
Что путь далёкий,  
миллионномильный,  
Большими приключениями обильный,  
Нам открывается  
перед крыльцом;  
Что никогда Художник  
вниз лицом  
Не упадёт, —  
затравленный, бессильный.  
Сентябрь 2009*

### **“А в остальном, прекрасная маркиза...”**

*Этот писатель — не сволочь,  
не гад и не клец!  
Сплетням цена — полушка!  
Создал он только одну  
педофильскую вещь,  
А в остальном он — душка!*

*О слабоумная постмодернистская рать!  
Племя шальное  
Радо предлогу — из рук отвратительных брать  
Всё остальное!*

29.09.2009

## **Зов Приморья**

*Солнце осеннее греет  
Светлый прибрежный песок.  
Гордым величием веет  
Дальний Восток.*

*Вижу над морем я, как впервые,  
Чаячы лапки сафьяновые,  
Крылья — как сабельный бой —  
Там, где гремит прибой.*

*К берегу волны морские  
Держат кипучую речь:  
— Люди! Здесь тоже Россия;  
Надо сберечь!*

*Январь 2012*

### **Застолбили участочек!**

*Ты говоришь: “Моя страна!”  
С чего ж ты это взял, чудак?  
Али стоит на ней цена?  
Аль ты купил её? За так?*

*“Твоя страна”, —  
ты говоришь?  
Ты ошибаешься, ей-ей!  
Страна, которой ты вредишь,  
Никак не может быть “твоей”!  
Сентябрь 2012*

*Публикация и подготовка текста стихов  
Павла Калугина*

АЛИМ МОРОЗОВ

## ИЗ ЗАБЫТОЙ ПАПКИ ПОЭТА

*К 90-летию со дня рождения поэта Алексея Прасолова*

Возле “пруда, где нынче омут, // Где, говорят, бывал Толстой, // Родился я...”. Так известный воронежский поэт Алексей Прасолов в поэме “Владыка” сообщает о месте своего рождения. Если определить конкретнее, то это село Ивановка, относившееся тогда к Россошанскому району Воронежской области. Ныне этого села нет, а территория, на которой Ивановка располагалась, отошла к Кантемировскому району. Появление поэта на свет произошло 13 октября 1930 года, ровно 90 лет назад.

Первое стихотворение Алексея Тимофеевича Прасолова было напечатано в россошанской районной газете “Заря коммуны” 7 ноября 1949 года. Называлось оно “Великий свет”. В нём с наивным юношеским восторгом молодой поэт воспевал Октябрьскую революцию и её великих вождей.

Алексей долго не решался выступать со стихами, стеснялся признаться однокашникам по педагогическому училищу в своих сокровенных поэтических опытах. Преподавателю педагогики Александре Ивановне Просфорниной пришлось долго уговаривать Прасолова, чтобы он согласился поместить свои стихи в училищном рукописном журнале.

В районной газете сочинения юного поэта появились благодаря её редактору Борису Ивановичу Стукалину. Однажды во время встречи редактора с учащимися педучилища второкурсник Алексей Прасолов передал ему ученическую тетрадь со своими стихами. Выбор парня из села Морозовки оказался тогда на редкость удачным. В лице Б. И. Стукалина он сразу нашёл и заинтересованного читателя, и первого доброжелательного критика. После этого в “Заре коммуны” Алексей Прасолов в течение полутора лет печатался почти регулярно и как поэт, и как очеркист, а случалось, и как репортёр. Эти первые литературные опыты увлекли его, но ещё не до такой степени, чтобы свернуть с ранее избранного пути.

После окончания педучилища Прасолов оставался в роли сельского учителя недолго. Первый год он отработал в семилетней школе села Первомайского. На следующий, 1952 год перебрался учительствовать в Шекаловку. На новом месте продержался до декабря. Директор школы не устоял перед настойчивыми просьбами молодого учителя отпустить его в Воронеж. В областной центр Алексей отправился по приглашению того же Б. И. Стукалина, который к тому времени возглавлял редакцию “Молодого коммунара”.

Новичка из провинции определили на должность корректора. Места литсотрудников в областной молодёжной газете к тому времени уже были заняты

широко известными воронежским читателям авторами: Владимиром Кораблиновым, Василием Песковым, Павлом Касаткиным, Иваном Сидельниковым. Для начинающего поэта из сельской глубинки работать в такой редакции было престижно. К тому же редактору удалось быстро решить вопрос с жильём: Прасолову вместе с Павлом Касаткиным выделили однокомнатную квартиру. Казалось бы, более интересная и разнообразная городская жизнь должна была пригласить Алексея, но он, наоборот, вскоре начал ею тяготиться. В одном из писем своему земляку Михаилу Шевченко Прасолов тогда с грустью писал: “Тут и птиц почти нет. Вместо них звенят деньги, свистки на перекрёстках”. Отношения с областной писательской организацией у него не сложились, а однообразная работа корректора ему вскоре порядком наскучила. К тому же и от своего сочинительства он не получал удовлетворения. Разочарование своими последними стихами в то время Алексей выразил в письме Стукалину: “...Прежние (сельские) стихи... пусть они не глубоки, но светлы; а последние — как могильные плиты; под их формой я хоронил в каждом живое, сегодняшнее, поэтому, когда я дописывал последнюю строчку и остывал, мне не хотелось их читать...” Причину этих творческих неудач поэт прямо связывал с переездом в Воронеж. “Город втиснул меня в скорлупу, сковал, оглушил и, наконец, озлобил; я ходил с одним желанием: бросить им в глаза железный стих, облитый горечью и злостью! Хорошо, что я дольше не остался там...”

А ещё недавно в стихотворении, посвящённом Ал. Багринцеву, Алексей, выражая свою приверженность к сельской жизни, писал:

*И так милы мне мазаные хаты,  
Где люди все — как из одной семьи.  
Кто так любовью, как они, богаты?  
Родные... работающие мои...  
Да, все мы дети Родины великой,  
Как будто мать одна нас родила.  
И потому с невольною улыбкой  
Я прохожу по улицам села.  
И потому, вовек не зная скуки,  
В людскую гущу я всегда и мчусь.  
И там, где труд и слышны песен звуки,  
Я нахожу истоки новых чувств.*

В августе 1955 года Алексей Прасолов сбежал из областного центра и вернулся в Россошь. С 1 сентября он был зачислен в штат районной газеты “Сталинская искра”. Вряд ли перемена места жительства и работы принесли ему удовлетворение. В том же году к Алексею Прасолову неожиданно пришли другие, приятные хлопоты и волнения. На пути из Воронежа в Россошь в общем вагоне пассажирского поезда он познакомился с симпатичной девушкой Ниной Лукьяновой. Она только что окончила Астраханский финансовый техникум и по направлению ехала в Ольховатку на работу. Случайное знакомство быстро переросло в любовь. Провидение тут же послало влюблённому поэту испытание: Нину с повышением перевели из Ольховатки в Петропавловку. Но для Алексея увеличение расстояния между ним и возлюбленной и водная преграда в виде широкого Дона не стали непреодолимым препятствием. Петропавловка для него стала сразу главным центром притяжения. Не прошло и года с той памятной встречи в поезде, как Алексей и Нина стали мужем и женой. Это знаменательное событие поэт в 1956 году запечатлел в одном из своих стихотворений:

*И вот за то, что долго  
мы искали  
Друг друга в шумном  
шестии людей,  
Устелет след дорожку  
лепестками,  
Чтоб мы смогли вдвоём  
пройти по ней.*

Ещё одно важное событие в жизни молодого человека произошло в 1957 году: у Прасоловых родился сын Сергей. Но безмятежная семейная жизнь продолжалась недолго. Однообразная работа в газете Алексею давалась слишком легко, а стремлению творить препятствовали узкие рамки районки. Это противоречие с окружающей поэта обыденностью приводило к конфликтам. Его поведение было непонятно окружению, и он всё чаще общался с “зелёным змием”. 1 июня 1958 года Прасолов уволился с работы в редакции. В этот же день в газете, называвшейся к тому времени “Ленинской искрой”, было напечатано его стихотворение “Обречённый корабль”, которое начиналось вопросом: “Эй, куда ты средь полночи тёмной // направляешь корабль, капитан?” и кончалось пессимистическими строчками:

*На пути твоём  
гибельный риф,  
Час придёт —  
и заплачут сирены,  
Погребальный напев  
повторив...*

С 1955 года Алексей Прасолов проработал в росошанской районной газете 2 года и 9 месяцев. До конца жизни он ещё сменит много районных редакций, но ни в одной из них так долго не задержится.

Летом 1958 года у Алексея начался поистине кочевой образ жизни. Он уже не мог подолгу оставаться на одном месте. В конце июля Прасолов устроился на работу в газету “Красное знамя” Новокалитвенского района. В редакционном коллективе в то время было много его знакомых: В. П. Жилыев, Р. И. Каменева, И. И. Ткаченко. Новое место жительства имело несомненные достоинства. Райцентр Новая Калитва располагался на реке, прославленной в знаменитом шолоховском романе “Тихий Дон”. Широкая водная гладь, живописные берега не могли оставить равнодушной поэтическую душу. Да и люди, трудившиеся рядом, были доброжелательны и не чужды литературному творчеству.

Однако Алексей Прасолов начал работать в Новой Калитве в неподходящее время. Реформаторы наверху жаждали деятельности. Они, как кройщики в швейной мастерской, начали перекраивать территорию страны. В 1959 году Новокалитвенский район был ликвидирован, а вместе с ним перестала существовать и газета “Красное знамя”. Алексею пришлось возвращаться в Россошь. Его второе “пришествие” в “Ленинскую искру” завершилось через полгода. Затем, как короткий полустанок на жизненном пути, промелькнули два месяца работы в газете Ровеньского района Белгородской области.

Следующую, более длительную остановку Прасолов сделал в Петропавловке, где ему предоставили место заведующего сельскохозяйственным отделом в редакции районной газеты “Под знаменем Ленина”. В этом самом удалённом от областного центра захолустном углу Алексей особенно остро ощутил свою оторванность от мира. Именно в период работы в Петропавловке в стихотворении “Мелькают звёзды в синей бездне...” он напишет: “Обжитый мир четырёхстенный // сдавил по-волчьи — не вздохнуть...” Вскоре его снова усилившееся пристрастие к алкоголю привело к беде.

Те, кто сейчас изучают поэтическое и эпистолярное наследие Алексея Прасолова, могут давать высокую оценку его таланту и причислять к сонму знаменитых литераторов России. Когда же он был жив, те, кто с ним работал, смотрели на него, как на равного себе. За появление на работе в нетрезвом виде его сначала журили, потом наказывали и, наконец, увольняли. И, лично зная Алексея, могу сказать, что при постоянном общении с ним мириться с его выходками было нелегко. Даже Нина, любящая жена, мать его сына, так и не смогла после десяти лет супружества продолжать с ним отношения.

В Петропавловке наказание ужесточили. Участь заведующего сельхозотделом, которого сочли причастным к пропаже редакторского пальто, решила местная Фемида. Обычно вершительницу человеческих судеб изображают с аналитическими весами в руке с плотно завязанными глазами. У той, что судила Прасолова, повязка, по-видимому, немного сползла, открыв глаз, явно косивший в сторону райкома партии, где вопрос о возмутителе редакционного спокойствия был решён ещё до судебного заседания. В итоге — обвинительный приговор и три года лишения свободы.

Местом заключения для осуждённого поэта избрали село Кривоборье бывшего Берёзовского района. В октябре 1961 года в адрес редакции россосшанской газеты на имя её сотрудника И. И. Моргунова пришло письмо. В нём бывший товарищ по перу Алексей Прасолов обстоятельно рассказывал о своём зековском житье-бытье. “Девятый месяц, — писал он, — я нахожусь в той обстановке, о которой не раз думал прежде. Думал не от того, что она приятна, а потому, что она мне в последнее время была необходима... Ведь рано или поздно я окончательно бы спился. Мне нужно было горькое, но необходимое лекарство — изоляция на год, на два, чтобы окончательно очиститься от заразы, которая меня всё больше захватывала на воле...”

Я никогда за последние годы не чувствовал себя так облегченно и спокойно. И знаешь, у меня сейчас такое отвращение к прежней полутрезвой жизни, что я не верю порой: неужели это со мной было?.. Я работаю завклубом, за зону выхожу, когда мне надо, конвоя в нашем лагере нет, люди работают на стройке рядом, а часто и вместе с вольными... Я сейчас много читаю и думаю. А думая, продолжаю писать. Есть уже пять рассказов, блокнот стихов и несколько глав повести. Я готовлюсь к новой жизни и с трезвой головой...

Освобожусь я в мае того года по половине срока. Как раз намеченное доделаю и выйду не с пустыми руками. Переписываюсь с Воронежем, Тамбовом и Белгородом. Недавно отослал новую поэму...

В Россосшь я не вернусь. Не знаю, как там моя бывшая половина существует. Я с ней порвал всяческую связь и написал только об одном: пусть берёт развод, срок у меня даёт ей право на быстрый и бесплатный развод. Но она почему-то не берёт. Надеется? Так это пустая надежда. Отрезанный ломоть не пристаешь. Серёжа, Ваня, мне очень больно терять...”

В мае 1962 года Алексей Прасолов вышел на свободу. Бывшие сослуживцы по журналистскому цеху Борис Стукалин и Василий Песков одолжили ему денег, чтобы после полного гособеспечения было легче обжиться на свободе. В газетном секторе обкома партии помогли с работой, направив литсотрудником в межрайонную газету “Ленинец”, редакция которой находилась в посёлке Анна.

Своё недавнее намерение жить с трезвой головой Прасолов забыл очень скоро. Как-то в нетрезвом состоянии он оказался во дворе частного дома. В дверь не достучался, пошёл к окну веранды. В соседнем дворе услышали звон разбитого оконного стекла и вызвали милицию. Нарушителя задержали и при обыске обнаружили в его карманах страховое платёжное извещение на имя хозяина дома и губную гармошку. Мелкого похитителя задержали, составили протокол и передали прокурору.

7 августа в Анне состоялся второй суд над поэтом Прасоловым. Вынесенное решение было несоизмеримо с проступком: три года с присовокуплением того срока, что не отсидел в первый раз. Судья с прокурором перегнули палку, скорее всего, из-за тех слов, которые бросил им в лицо подсудимый: “Сколько раз вы ни кинете меня в неволю, я буду свободнее вас”.

Парадокс, но на этот раз время, проведённое в тюрьме, в творческом отношении стало для Алексея Прасолова наиболее плодотворным. В мае 1963 года он писал аспирантке МГУ Инне Ростовцевой: “...Чувствую в себе какую-то будущую уже близкую перестройку... Я, пожалуй, впервые почувствовал участие своей души в писании стихов, присутствие своей мысли”. На 33-м году жизни Прасолов стал писать по-новому. Эти стихи рождались в творческих муках:

*Всё незнакомо, как в начале:  
Открой, взглядишь и разреши!..  
За неизведанностью дали —  
Вся неизведанность души.  
И подчиняться не умея  
Тому, что отрезвляет нас,  
И слепну в медленном огне я,  
И прозреваю каждый час.*

Прозрение, продолжавшееся весь 1963-й и первую половину 1964 года, завершилось своеобразным творческим рекордом — в неволе поэт написал

более семидесяти стихотворений. Его московский корреспондент Инна Ростовцева, с которой Прасолов делился своими сокровенными думами и делами, помогла ему установить связь с большой российской литературой. На опального поэта обратил внимание А. Т. Твардовский. В августовском номере “Нового мира” была напечатана подборка из десяти стихов никому не известного тогда поэта Прасолова. В том же месяце главный редактор журнала А. Т. Твардовский вызволил Прасолова из заключения, а в сентябре они встретились. После, вспоминая эту встречу, Алексей писал: “На втором этаже мне показали дверь с именем, видеть которое здесь — на дощечке, а не на книге, — было непривычно: А. Т. Твардовский...”

Пока он занимал место за своим редакторским столом, я непроизвольно произнёс:

— Прежде всего, спасибо за то, что я здесь стою...

Александр Трифонович понимающе кивнул и, сразу же придав моему последнему слову более простой смысл, ответил:

— А вы... садитесь.

Всё стало на своё место — я почувствовал Твардовского...

Встреча продолжалась полтора часа. Уходя от Александра Трифоновича, Прасолов уносил с собой “самое сущее — сознание того, что поэзия — дело”, и что он “не ошибался раньше, определяя её именно так: дело большое и праведное!” Подводя итог этой встречи, Прасолов писал: “Судьба дала мне встречу с одним лишь поэтом. Но им был Твардовский”.

Вскоре после возвращения из Москвы Прасолов по приглашению заведующего библиотекой Россошанского мясомолочного техникума Георгия Степановича Тарасенко встретился в читальном зале с учащимися этого учебного заведения. Он рассказывал о себе и своём творчестве, читал стихи. Алексей был полон энергии, творческого воодушевления и производил впечатление сильного, уверенного в себе человека.

С Георгием Тарасенко Прасолов познакомился сразу после того, как тот приехал в 1955 году в Россошь работать собкором областной газеты “Коммуна”. Тогда Алексей часто приходил к Тарасенко, чтобы почитать ему свои новые стихи. Думаю, что в то время, да и позже он очень нуждался в доброжелательном, неравнодушном слушателе своих поэтических опытов. Появлялся Прасолов в нашем дворе коммунального дома обычно поздно вечером или даже ночью. Тарасенко занимал двухкомнатную квартиру на первом этаже, и случалось, что на стук Алексея он, чтобы не беспокоить жену с маленьким сыном, вылезал к нему через окно. Они садились за грубо сколоченный, стоявший под раскидистым клёном стол и беседовали до первых петухов. Наведывался Прасолов и к россошанскому художнику Фёдору Петровичу Басову, человеку, не чуждому поэзии, оставшемуся романтиком до конца жизни. После, рассказывая об этих встречах, Басов находил в прасоловском сборнике стихотворение, которое они с ним обсуждали, и, глядя на меня, спрашивал: “Как ты думаешь, что Алексей подразумевал под этими строчками?” И читал, далеко отставляя раскрытую книжку от глаз: “Платье струями косыми. // Ты одна. Земля одна. // Входит луч тугой и сильный, // в сон укрытого зерна”. “Понимай, как хочешь, — отвечал я, — поэт тем и хорош, что даёт простор читательскому воображению”.

С Алексеем Прасоловым я был знаком на протяжении многих лет, но друзьями мы не были. Помню, он стал чаще заходить ко мне после возвращения из Москвы, куда он ездил на семинар молодых поэтов. Мероприятие это было рассчитано на два месяца, но Алексей выдержал только один.

Наверное, это было летом 1968 года. Прасолов уже не работал в редакции газеты “За изобилие”, куда он в третий раз вернулся в июне предыдущего года. Когда он заходил ко мне, я старался задержать его, поговорить с ним подольше, но он почти всегда торопился. Случаи, когда он соглашался остаться, можно пересчитать по пальцам. Одним из них был тот, когда мне удалось Алексея сфотографировать. Я хотел это сделать тайком, но он заметил и тут же посмеялся надо мной: тоже, мол, папарацци. В тот раз мы долго сидели на сложенных во дворе брёвнах. Алёша был в ударе, много рассказывал, читал стихи на память. Вспомнили войну, оккупацию. Некоторые моменты в его рассказе показались мне неправдоподобными. Я высказал свои сомнения, и это ему не понравилось. Алексей сразу умолк, замкнулся и тут же

засобирались уходить. Тогда я пожалел, что так опрометчиво влез со своими замечаниями.

Много лет спустя, когда в журнале “Подъём” напечатали “Жестокие глаголы” Прасолова, раскрывая только что купленный номер, я, грешным делом, подумал, что и здесь он, как при той последней встрече, нафантазировал. Подумал напрасно. В напечатанном отрывке из незавершённой повести не было и намёка на те, явно выдуманные похождения, о которых Алексей мне рассказывал на “дубках”. Живший в нём настоящий художник ни на йоту не погрешил против правды. Эти двадцать журнальных страниц взволновали меня и как читателя, и как земляка, и как сверстника. Прасолову удалось живо и ярко воссоздать время и людей той трагической поры. Почти у каждого тогдашнего школьника была учительница, проводившая на фронт близкого человека; и первая вражеская бомба, прервавшая школьный урок; и гнетущее чувство тревоги от приближавшегося фронта, и первая страшная встреча с оккупантами.

В этом коротком повествовании Алексей Прасолов очень точно передал характер местности, на которой происходили события. Легко узнавалось село Морозовка, старый помещичий сад над речкой Чёрная Калитва, вражеский аэродром у хутора Красный Пахарь. Знакомые места представляли в особом свете драматических событий 1942 года. Если бы автору суждено было пожить дольше, то наверняка в литературном мире заговорили бы не только о его стихах, но и о прасоловской прозе.

Последнюю страницу “Жестоких глаголов” я переворачивал с чувством глубокого сожаления. Ведь продолжения повести и её окончания уже никогда не будет...

\* \* \*

Более чем спорное утверждение о том, что рукописи не горят, всё же иногда подтверждается удачными примерами из жизни. И, безусловно, к такому можно отнести недавно обнаруженные рукописи четырёх рассказов россосанского поэта Алексея Прасолова. Интересно, что рукописи найдены были там, где вряд ли бы кто догадался их искать.

Пять лет назад умерла в довольно преклонных годах жительница Россоши Нина Тимофеевна Удовенко. В вещах умершей обнаружилась старая папка с небольшой стопкой пожелтевших от времени листов и два сборника стихов с дарственной надписью хозяйке дома. На первом листе рукописи было написано: “Это писал Алёша Прасолов”, — а в левом углу стояла приписка: “Это всё, что он дал мне”, — и подпись: “Н. Удовенко”.

Чтобы понять, почему рукопись поэта оказалась в вещах покойной, необходимо вернуться в далёкое прошлое. А. Т. Прасолов родился в 1930 году в селе Ивановка. Сейчас этого села нет, а территория, на которой оно стояло, вошла в состав Кантемировского района. В 30-е годы Ивановка относилась к Россосанскому району. Отец Нины Удовенко, которая на шесть лет была старше Алексея, в те годы возглавлял парторганизацию ивановского колхоза. Однажды зимой 1932 года, возвращаясь из школы, Нина услышала доносившийся из хаты плач ребёнка. Она заглянула в крестьянское жилище и увидела там сидевшего на холодном земляном полу одинокого маленького Алёшу. Девочка пожалела мальчика и увела его к себе домой.

Поздно вечером к Удовенко заглянула вернувшаяся с колхозной фермы Вера Ивановна, Алёшина мать, уже успевшая обойти всех соседей в поисках сына. В это время Алёша, накормленный и отогревшийся, играл со своей добровольной нянькой. Наверное, матери нелегко было согласиться с тем, что её ребёнку лучше в доме у чужих людей, а не в собственной хате, из которой ей приходилось чуть свет, оставляя его одного, бежать на работу. Но она, пересилив себя, робко попросила: “Можно он ещё у вас побудет?” Родители Нины только переглянулись, ещё не зная, что ответить, а дочь радостно воскликнула: “Хорошо! Пусть Алёша живёт у нас. Я буду его нянчить”. Так маленький Алёша Прасолов оказался в семье парторга Удовенко. Он прожил у них зиму, весну и часть лета. Всё это время Нина заботилась о нём, как о своём младшем брате.



Память о маленькой няньке Алексей Прасолов сохранил на всю жизнь. Уже будучи известным поэтом, он не раз навещал Нину Тимофеевну. Случалось, когда был при деньгах, приходил к ней с подарками, а в трудные моменты она сама его подкармливала.

Предлагаемые к публикации повествования не совпадают по форме. Во второй автор представляет читателю дневник друга. Нетрудно догадаться, что содержание его перекликается с состоянием и личными переживаниями поэта. Алексей Прасолов не закончил работу над рукописью. Поэтому пришлось в некоторых местах корректировать текст, менять последовательность изложения. Но это очень незначительное вмешательство абсолютно не нарушило стиль и, самое главное, мысли и чувства, которые он хотел выразить.

Новогодний рассказ предлагается читателю нетронутым.

А. Морозов

### Новогодняя ночь

Приближается Новый год, а я снова один. От этого мне немного смешно, немного грустно. Раньше я боялся одиночества. Оно было для меня таким же страшным, как страшно для бело-розового мая колючая метель. Теперь этого страха нет. Обычно под конец декабря меня посещает мысль, что в новогодний вечер мне встретится необыкновенная женщина, и, наверное, этим я подсознательно себя успокаиваю.

О жене и сыне я не тоскую... Нет, но всё же иногда подумываю о них. Да и эта вожденная новогодняя незнакомка у меня всегда получается чем-то похожей на мою бывшую жену.

В этот предновогодний вечер я долго оставался дома. Делать ничего не хотелось. Просто сидел, облокотившись на стол, и исподлобья рассматривал свою комнату. Кресло, журнальный столик, фотография сына, книжный шкаф... Меня давно подмывало пойти погулять. Оставаться в четырёх стенах было уже невозможно, но сдерживала мысль, что в такой вечер бродить по улицам в одиночестве могут только ненормальные. Некоторое время моё желание спорило с рассудком, но в итоге оно пересилило. Я оделся и вышел на улицу.

Вьюжило, на дорогу косыми прядями ложилась позёмка, звёзд не было видно. Возле фонарей искорками металась снежинки. Я иногда останавливался и смотрел на освещённые окна, за которыми люди готовились сесте к праздничному столу. Тоска одиночества вместе с холодом проникла под куртку. В тот момент надежда на интересную встречу с женщиной мне показалась особенно глупой. Может, без приглашения ввалиться к кому-нибудь из знакомых? Наверное, они встретили бы меня с подчёркнутым вниманием, но как раз этого мне и не хотелось.

Я остановился, раздумывая. А чего думать? Вернись домой, включи все лампочки, приёмник на полную мощность, откупорь бутылку и сиди, рассуждай сам с собой, пока не сморит сон. Наверное, я так бы и поступил, если бы моё внимание не привлёк силуэт, одиноко маячивший на слабо освещённой улице. "Интересно", – сказал я сам себе и пошёл навстречу. Подойдя ближе, я увидел, что это женщина. Она медленно шла, спрятав лицо в поднятом воротнике, который придерживала руками. Я не видел её глаз, но чувствовал, что она смотрит на меня. Когда мы поравнялись, я не выдержал и громко засмеялся. Она тоже остановилась, открыла лицо и явно заинтересованно, с милой улыбкой посмотрела на меня. По виду ей можно было дать лет двадцать пять, а там – кто его знает. Судить о возрасте женщины – непростая задача. Глаза у неё были весёлые, но чуть-чуть с грустинкой. Я эту грустинку уловил сразу, хотя она была глубоко спрятана в её широких зрачках.

У меня невольно вырвалось:

– Давайте встретим с вами Новый год.

– Вот так сразу, при первой же случайной встрече?

Она поправила пушистую шапочку, из-под которой выбилась тёмная прядь, и подняла воротник.

Я стал говорить ей, что в мире нет ничего случайного. Она кивнула мне в задумчивости и насторожилась. Наверное, от сознания того, что уже так поздно, а она одна стоит с незнакомым, совершенно чужим мужчиной.

Желая её успокоить, я осторожно, чтобы не отпугнуть, коснулся её рукавички. Наши взгляды встретились, и мы некоторое время, как бы знакомясь, смотрели друг на друга. В эти мгновения мне показалось, что я знаю эту женщину очень давно, как будто ещё в школьные годы мы сидели за одной партой.

— Так вот, ничего случайного нет, — прервал я затянувшееся молчание. — Разве случайно рождение человека или измена женщины, которая уходит к другому?

Она вопросительно посмотрела на меня.

— Видимо, женщине было одиноко с мужем, — пояснил я, подумав про себя: “Какую же чушь я несу”.

По правде сказать, я не умею говорить с женщинами, и совсем напрасно на мой счёт злословят, что будто бы я готов кланяться каждой юбке, и жена тоже была обо мне такого же мнения.

— Вы увлекаетесь философией? — спросила незнакомка.

— Нет, я физик.

В этот момент она спохватилась:

— Ой, ведь уже, наверное, двенадцать?

Я посмотрел на часы. Осталось пять минут. Улица выглядела пустынной — ни одного прохожего.

Мы остановились и прислушались, ощутив на мгновение нависшую над нами глубокую тишину, которую тут же нарушил донесшийся из окна рядом стоявшего дома бой курантов. Первый удар, второй, третий...

Её пальцы дрогнули в моей руке, и она облегченно вздохнула. Мы поздравили друг друга. Я почти с тоской посмотрел на её губы. Она понимающе улыбнулась, хотела что-то сказать, но в это время во дворах, на балконах захлопали ружья и взвились яркими рассыпающимися звёздами ракеты.

И только теперь она спросила:

— Может, всё же скажете, как вас зовут?

— Роман Андреев, — нарочито поклонился я.

— Лида, — непринуждённо и просто прозвучал её ответ.

Я плохо помню, о чём мы говорили потом, но я испытывал приятное чувство, когда своим плечом касался её плеча. Мне давно недоставало женской ласки. Мы долго бродили по улицам. Окна в домах начали гаснуть. Ветер утих, появились звёзды, мороз крепчал.

В последнее время, когда я посещаю родное село, матери моих друзей детства смотрят на меня с сожалением. Они говорят: “Вот росли вместе, играли, учились в одной школе... Все свили себе гнёзда, живут с семьями, а он...” И замолкают, недоумевая, почему у меня всё получилось так нескладно. Что я им могу сказать? Ну, разошёлся, плохо мне без сына. Но человеческое счастье, видимо, не только в том, чтобы разделять с женщиной одну постель, плодить детей и жить всегда под одной крышей... А может, я не всё понимаю в этой жизни?

Усилием воли заставил себя отвлечься от этих грустных мыслей и посмотрел на Лиду. Она тоже думала о чём-то своём. Я остановился, взял её за руки и подвёл к уличному фонарю. Потом долго смотрел на её милое лицо, но так и не решился поцеловать.

— Ты не обидишься, если я приглашу тебя к себе? — спросил я, не замечив, как перешёл с нею на “ты”.

— Пойдём, мои ноги уже совсем закоченели, — легко согласилась она, и от её непринуждённой простоты мне стало тепло.

У меня в комнате было довольно прохладно, и я разжёл печку. Лида в это времязнакомилась с моим жилищем. Потрогала книги на полке, долго смотрела на фотографию сына и, ничего не спрашивая, села в кресло.

— Может, снимешь пальто? — спросил я, открывая дверцу поддувала.

— Потом, мне ещё зябко.

Лида сняла шапочку, тряхнула головой, расправляя короткую причёску. Её тёмно-каштановые прямые волосы скользнули вниз, закрыв щёки. Они волновались, поплёскивая, при малейшем движении милой головки.

Я поставил на стол бутылку шампанского.

— Не открывай. Пить сегодня ничего не будем, — попросила она.

— Пусть будет по-твоему.

Печь разгоралась, и комната наполнялась теплом. Я приготовил чай. Лида сняла пальто и, пока пристраивала его на вешалке, я пристально её

рассматривал. Она была одета в тёмно-синее платье прямого покроя, хорошо сидевшее на её стройной фигуре. Лида посмотрела на меня через плечо и, поймав мой откровенный взгляд, нахмурилась. Она вернулась в своё кресло. Мы долго молчали и, чтобы снова начать разговор, я пустился в рассуждения:

— Что такое 31 декабря? Просто земля в этот день из века в век возвращается в прежнее положение относительно какой-то звезды. Она вместе с нами заканчивает свой очередной бег вокруг солнца для того, чтобы снова ринуться в безбрежное пространство. Люди выбрали концом года 31 декабря, но это могло быть и 5 марта, и 13 мая, и любое другое число. Я не ручаюсь за точность своих рассуждений, но лично мне представляется, что сегодня или уже вчера мы как бы взошли на вершину перевала, и человечество, сбросив накопившуюся за год усталость, устремляется к следующей вершине.

Лида слушала меня и загадочно улыбалась.

— Ты сейчас рассуждаешь о вселенском явлении, а я сижу, думаю и, как ученица, не могу понять, что мы с тобой в такую ночь вот так просто сидим и разглагольствуем. Расскажи людям — не поверят.

Признаться, я тоже об этом думал, и мне давно хотелось её поцеловать, но какой-то внутренний голос отговаривал меня от этого. И только потом, когда мы вышли прогуляться, я, наконец, решился. Мы целовались долго, уповательно, сладко и, казалось, готовы были разорвать все запреты. Мы долго стояли, обнявшись, Лида доверчиво прижималась, касаясь своими коленями моих. Оба громко смеялись при этом и, похоже, были счастливы.

— Какие же мы глупые с тобой! — сказала она и спросила. — А у тебя же-на есть?

— Есть, вернее была.

— Да, и у меня есть муж.

Лида помолчала и неожиданно призналась:

— Не могу объяснить почему, но мне хочется ещё погостить у тебя.

Мы вернулись в квартиру. Часы показывали четыре утра. Лида устало откинулась в кресле, расслабилась. Она смотрела на меня пристально и лукаво и, немного посидев, сказала:

— Я прилягу, а ты покарауль меня в кресле.

Я замер. Она подошла к диван-кровати, потрогала её и села. С усмешкой посмотрела на мою смущённую физиономию и легла. Уютно свернулась калачиком и поправила платье. Я укрыл её одеялом, включил ночник и сел рядом в кресло. Сидел и слушал дыхание своей гостьи. Какие только мысли не будоражили меня! Сердце билось неровно, в голове шумело, пересыхало горло. Я долго не мог успокоиться. Но постепенно, заставил себя расслабиться. Меня окутало приятное тепло, и я погрузился в забытие.

Когда я проснулся, Лида была уже в пальто. Она улыбнулась и подала руку.

— Мне пора.

Я только кивнул головой и прикоснулся губами к кончикам пальцев её руки. Она сразу ушла, и я снова почувствовал себя одиноким. Сидел и глупо улыбался. В моей комнате ещё долго витал дух очаровательной незнакомки. Не верилось, что она была здесь несколько минут назад.

Я подошёл к диван-кровати, быстро разделся и нырнул под одеяло. Постель ещё хранила тепло Лиды, подушка пахла её волосами. Мне было хорошо. Я ни о чём не думал, просто наслаждался покоем и мыслью о том, что всё хорошо кончилось.

Мне приятно вспоминать эту необыкновенную встречу в новогоднюю ночь. Но меня огорчает то, что, когда я рассказываю кому-нибудь об этой встрече, мне обычно не верят. А чему здесь не верить? Ведь это действительно было.

**Алексей Прасолов**

6 июня 1962

## **ЦВЕТОВ НЕ БУДЕТ**

*(Дневник друга)*

У меня в комнате чисто, и на столе цветы. Цветы, бедные вы мои цветы, вы всегда меня радуете, когда я трезвый. Я говорю сам себе: "Пусть будут всегда на столе цветы".

Честное слово, не верится, что я три раза лечился. Не верится, что я мог спать где-то под забором, в подвалах, на кладбище. И просыпаться с единственной жгучей мыслью бежать туда, где можно глотнуть вина. Скорее глотнуть, боясь, что вот-вот перевернётся мир в моём сознании.

Я часто думаю о сыне. Получилось так, что у нас с женой не сладилось, и сын остался у неё. Мне самому не верится, что такое могло случиться со мною. Порою чудится, что это всего лишь ссора, недолгая размолвка и скоро мы снова будем вместе.

Мой маленький Андрейка, сколько я тебя уже не видел? Две недели. И две недели я не пью. Можно же не пить? Можно. Так в чём же дело? Ты же три раза лечился от алкоголизма! Ты всё потерял: сына, семью, хорошую работу. И вот сидишь один в четырёх стенах, пишешь и говоришь себе: “Пора начинать всё сначала”.

13 июня 1962 г.

Сегодня чертовски устал на работе. Смена кончилась, все торопились домой, а мне куда? Взял у прораба в долг 5 рублей. Когда деньги в кармане, трудно пройти мимо магазина. Зашёл и купил две бутылки вина. Купил, а на душе скверно — недавно же давал себе обещание бросить пить. И тут же придумал оправдание: “Немного выпью и хватит. Может же, смогу как те, кто знает меру”.

Я пошёл к реке. Люблю поплутать по берегу в зарослях ольшаника среди старых белолосток. Плеск воды удивительно успокаивает. Бродил, слушал и потихоньку пил вино из горлышка, постепенно хмелея. Не заметил, как начал говорить вслух с воображаемым собеседником о своём прошлом, настоящем и будущем. Наверное, от выпитого вина моё будущее рисовалось в розовом свете.

Иногда я останавливался и от души смеялся над собой: “Нашёлся герой, мечтаешь о небесных пряниках, а позади и впереди — тьма, залитая вином”. Неожиданно мою душу охватил страх, и я поспешил домой.

В квартире не убрано, спёртый воздух. Мозг сверлила мысль: “Опять я не сдержался... Может, не надо больше?” Мой взгляд упал на скомканную грязную газету. В голове мелькнуло: “Она похожа на мою жизнь”. Я смотрел на жизнь легко. В 30 лет я ничего не добился, хотя нет, скорее, добился многого, но оно мне легко давалось, и так же легко я всё терял.

“Ну, глотни ещё, пусть не лезут эти ненужные мысли”, — говорю я себе. Зачем я всё это пишу? Затем, чтобы хоть чем-нибудь отвлечься, убить время, чтобы не пить. Может быть, когда-нибудь эти записи прочтёт мой сын, и это поможет ему избежать горькой отцовской участи.

Неужели нет выхода? Из зеркала на меня в упор смотрят беспокойные серо-синие глаза. Они ещё не помутнели. Сегодня я почему-то мало хмелею.

В единственное окошечко моей конуры, где я обитаю, вот уже месяц постукивает веточка алычи. На полу, залитом вином, вместе с окурками, пробками валяются книги, рукописи, грязное бельё... Я всё это сдвинул ногой в угол и подмёл пол.

Думать ни о чём не хочется. Как бы там ни было, как бы я ни оправдывал себя в мыслях, я хорошо понимал и понимаю горькую тяжёлую правду. И сейчас мы с этой правдой один на один.

Что мне дали последние восемь лет? Репутацию алкоголика, неврастеника, дебошира, четыре сердечных приступа, три психоневрологических диспансера, десятки работ, которые я сменил. Вот с такими данными я должен начать свою жизнь сначала.

Было около девяти вечера, и я заторопился в дежурный магазин, чтобы купить ещё вина, после чего забыться и уснуть. А утром... а утро, как говорят, мудрее вечера.

10 августа 1962 г.

Андрейка, сыночек ты мой! Я сегодня весь день тебя рисовал. Меня ещё не выгнали с работы. Я сейчас трезвый. Дрожат руки, выступает липкий пот. Трудно дышать. Плохо с сердцем. Не стал, сыночек, похмеляться. У меня всего одна твоя фотокарточка, и я боюсь, что она со временем испортится.

Сынок, я как-нибудь эту ночь отмучаюсь, и больше не буду пить. Наконец, до меня совсем дошло, что я не могу себя сдерживать. Спасение одно: работать, работать и работать так, чтобы валиться с ног и на ходу засыпать.

Я пойду немного пройдуся, а потом ещё с тобой поговорю.

Темнело. Я бродил по улицам просто так. На скамейках сидели старухи, грызли семечки и, наверное, как всегда, о чём-то тихо сплетничали. Вслед мне лаяли глупые дворняжки.

Из-за верхушек тополей выглядывала огромная красная луна. Вечер был душный, и в душе у меня было душно и гадко. Болела голова, хотелось выпить, но не было денег. Я их сразу пропил. Конечно, денег можно занять, но не хочется унижаться, что-то придумывать, лгать... Ничего не хочется.

Луна уже не пряталась за деревьями. Она поднялась выше, побледнела и уменьшилась. Я шёл по гравийной дорожке, по обе стороны которой росли сливы, вишни, абрикосы. Вверху они переплетались ветвями, образуя туннель. Навстречу попадались девушки в коротеньких юбчонках и, обдав меня молодостью и свежестью, торопились дальше. Иногда встречались подвыпившие юнцы, стараясь задеть меня плечом.

Я шёл и не знал, чего мне надо. В памяти год за годом проплывала прошлая жизнь. Ни товарищей, ни друзей, ни родных. Полубродяга, полуженатый, полухолостой, а скорее, полуидиот. Мне стало невыносимо, и я повернул обратно.

Видишь, мне плохо, мой мальчик, поговорим завтра.

10 ноября 1962 г.

Ну вот, Андрюшка, а жизнь-то хорошая штука! Только стоит бросить пить. Уже три месяца не пью. Меня премировали, и я на эти деньги купил тебе подарок. Завтра вышлю.

Я снова выхожу в люди. У меня есть всё. И, чего греха таить, этим я тоже обязан людям. В будущем году, видимо, получу квартиру.

А зачем я снова начал писать? У меня же всё есть. Всё, но чего-то мне не хватает. Что-то я утратил. Всё время ощущается какая-то пустота, которую я ничем не могу заполнить. Так у меня есть сын или нет сына? Я всё один и один. Не хочется второй раз жениться. Не то, что не хочется, а я просто об этом и не думал. И сына я давным-давно не видел и ехать боюсь к нему. Боюсь встречи с ним. Нет, не хочу писать об этом. Не надо самого себя терзать.

30 ноября 1962 г.

Недолги осенние сумерки. Только что всюю сочно пламенела на западе заря, и всё было пропитано лёгкой голубизной. Но с востока быстро надвинулась холодная синева, поглотившая все краски. Она поминутно густеет, опускается ниже, становится мутной, и вот уже далеко то замерцает вдруг нерешительно, то вновь погаснет крохотная звёздочка.

Сынок, ты мне снишься каждую ночь, а ещё мне снится моя работа. Я сейчас наслаждаюсь трудом и с головой отдаюсь ему, как когда-то в прежние годы.

25 марта 1963 г.

Конечно же, все заметили сегодняшнее утро. Нельзя было не удивиться тому, что нам подарила щедрая природа. Как она разукрасила в иней окна, ветви деревьев, паутину проводов. Мы всегда торопимся и часто не замечаем эти прекрасные мгновения. А ведь такого утра больше не будет. Оно неповторимо. Это зима встречалась с весной и поднесла людям свой последний дар. Так ловите же эти мгновения, не торопитесь, остановитесь на минутку, побольше глотните воздуха и радуйтесь! Радуйтесь, люди добрые!

А что там делает мой малыш? Мой славный Чики-Чики... Как ты чудесно смеялся, когда я тебя так звал. Ты не помнишь, ты был тогда совсем несмышлёныш, только счастливо тарашил глазыньки.

Я целую вечность не пью. Пропах весенними ветрами и терпким запахом хвои. Сегодня был в лесу. Нашёл на поляне три крохотных подснежника. Они стоят в стаканчике рядом с твоим портретом. Ты смотришь на них чуть удивлённо и озорно. Твоя мама очень любила подснежники. Первые цветы всегда были её.

28 марта 1963 г.

Сегодня в честь тебя, Андрейка, посадил берёзу. Может, когда-нибудь ты, усталый, с сединами присядешь отдохнуть в её тени. Я знаю, она тебя ус-

покоит и вольёт силы... Буду её поливать, чтобы она весело шумела листочками. Моя берёзка, как и я, будет скучать по тебе.

1 сентября 1964 г.

Больше года не писал. Не знаю, как это снова случилось. Рухнуло всё. Весь год не пил. Возьму бутылку вина, ничего, думаю, не случится. Дома выпил. Показалось мало. Взял ещё три литра домашнего вина. Уснул. В два часа ночи допил вино и снова свалился. Утром голова раскалывалась. Не вытерпел, похмелился.

На третий день уже дрожали руки. На работу не ходил. Я ни о чём не думал. Знал, что если не выпью, придёт конец. Пульс почти не прощупывался.

Называл хозяйку квартиры самыми ласковыми словами и выпросил три рубля. Просил три дня. Потом продал часы, костюм, рубашки – всё, что было. Просил по 20 копеек у прохожих, объясняя, что задержали зарплату и не хватает денег на билет. Потом украл у хозяйки простыню и продал за рубль.

Хозяйка не стала пускать ночевать. Три ночи спал на сырой земле под забором. Кое-как уговорил хозяйку пустить в дом, согреться. Когда хмель стал проходить, начались кошмары. Всё тело содрогалось, и никакими усилиями я не мог унять эту дрожь. Временами казалось, что я теряю сознание. На четвереньках дополз до стола, где у хозяйки хранилось перебродившее варенье. Как сквозь сон, слышал проклятия, которые посылала в мой адрес старуха. Она ударила меня пинком, а потом через грязную марлю нацедила жижицы из банки. Зубы стучали о край стакана. Немного полегчало.

За окном начинало сереть. Я ещё раз проверил все её банки с перебродившей кислятиной. Старуха ругалась отборной бранью. Я терпел. Мне был нужен глоток вина. Стал перед ней на колени, целовал грязные, вонючие руки, умолял найти где-нибудь стакан самогона. Она долго-долго одевалась.

Я тороплюсь писать, пока ещё в жилах ходит хмель, пока слушается рука. Где те мечты, те надежды, которыми я жил в юности? Их давно нет. Липкая действительность железными лапами обступила меня батареями бутылок, за которыми мелькают, терзая и ужасая, образы того, что не сбылось, что кануло в вечность. Рассыпались в прах и пыльные порывы, и ясные стремления, и неукротимые силы. На что надеяться? Осталась удушливая, дикая тоска, которая заполнила всего меня. Старуха спрашивает, что я пишу. Я ей отвечаю: “Сейчас выпью твой самогон и тогда, может быть, доберусь до дома для сумасшедших”.

Ну что ж, сынок! Нет у тебя отца. Я никогда так не пил, как сейчас. Пятый месяц без отдыха. Прости, мне больше не выпутаться... Каким бы я ни был, ты всегда был со мной... А вот и проклятая старуха что-то несёт...

\* \* \*

На этом записи Романа Андреева обрываются. Он передал мне их, когда я пошёл проведать его в диспансер. Он лежал притихший, блеск его глаз потускнел, кожа лица и рук была жёлтой. “Печень полетела”, – просто объяснил Роман. Мы почти всё время молчали. Я навсегда запомнил его последние слова: “Не может быть никакого оправдания тому, кто пьёт. Ни тяжёлые испытания, ни тоска одиночества, ни радость не заслуживают того, чтобы пить. Пьёт малодушие. Это я знаю точно”. При расставании он тихо попросил: “Поливай, пожалуйста, берёзку”.

Он очень любил сына, жену, любил людей и лес. Он любил жизнь и вино.

Кто-то другой всё это долюбит за него, пройдёт по диким лесным тропинкам, порадует голубизне неба. Кто-то другой воспитает его сына и будет дарить цветы его жене.

Через день он умер. Никто не принёс цветы на его могилу.

**Алексей Прасолов**  
1964

МАРИНА ЛИТВИНОВА

## “ЖИЗНЬ МОЯ, ИЛЬ ТЫ ПРИСНИЛАСЬ МНЕ?..”

*Воспоминания о Ю. П. Казакове*

### ПРЕДИСЛОВИЕ

“Самое недостоверное – исповедь человека. Достоверно только “непрямое высказывание”, где не может быть ни умолчаний по стыдливости, ни рисовки “поднимай выше”. И самое достоверное в таком высказывании то, что неосознанно, что напархивает из ничего, без основания и беспричинно, а это то самое, что определяется словом “сочиняет”, – писал Алексей Ремизов в книге о Гоголе “Огонь вещей” (глава “Хвостики”). Скажу другими словами: исповедь, воспоминания – недостоверны, зато в романах, рассказах – “непрямых высказываниях” – всегда найдутся отзвуки событий из жизни автора, о которых он никогда не решился бы упомянуть в автобиографии или мемуарах. Написанное мной – не исповедь, а воспоминания. Но и воспоминания недостоверны. И в них есть “умолчания по стыдливости”, от этого не уйти, но поползновений рисоваться у меня нет. Когда-то мне хотелось написать роман, в основу которого легли бы пять лет жизни и странствий с Юрием Павловичем Казаковым (июнь 1960 – июнь 1965). Но эту мысль я отвергла. Мне хочется до конца осознать те далёкие годы, они были важны и в моей, и в его жизни...

Цель моих воспоминаний – показать в житейских подробностях, как жил и работал Юрий Казаков те пять лет нашего близкого знакомства. Они, возможно, прольют свет на эту, ещё одну трагическую судьбу писателя. Любовная драма и жизненная трагедия – вот содержание моих воспоминаний. Попытаюсь осознать, почему, по каким объективным и субъективным причинам Юрий Павлович Казаков, наделённый, по моему мнению, гениальным живописным писательским даром, фактически перестал писать рассказы к концу шестидесятых годов? Только рождение сына всколыхнуло в нём великий творческий порыв, и он оставил нам ещё два великолепных рассказа. Всего два за семнадцать лет! Рассказ “Долгие крики” был задуман и начал писаться ещё в первой половине шестидесятых. И где-то уже в самом конце аллегория – “Розовые туфли”. Любые мысли, эпизоды, островки природы, пейзаж, были и небылицы, – словом, всё, что отпечатывалось в памяти и воображении, без натуги стекало с его пера в совершенной словесной форме. Были у него любимые эпитеты (“нежный”, “тугой”), любимые синтаксические конструкции

(повторы). Но были ещё и любимые мыслительные приёмы. Описывая какое-то место точно и живописно, он любил перенестись от него за тысячи километров, погадать, что делают там люди – близкие и совсем далёкие, заглянуть в седую старину, красочно поведав трогающую душу, достоверную историю. Или даже в лучезарное будущее – “Калевала” (1962):

“Назад мы идём пешком по каменистой гряде. И когда поднимаемся, когда начинает овевать нас тёплый, нежный ветер, когда кругом видна, кажется, вся страна с синими озёрами, с нагромождениями камней и маленькими редкими деревеньками, – я думаю: придёт время, и ничего этого не будет, не станет дикости, пустынности, на берегах озёр возникнут стеклянные дома – тут ведь особенно любят свет! – и побегут шелковистые розовые, и жёлтые, и голубые дороги, и среди лесов будут краснеть острые черепичные крыши ферм, отелей и городов; тогда забудется многое, забудется бедность и приниженность избушек, бездорожье, одно не забудется – не забудется Калевала, выпеваемая старыми голосами, и великий дух Вяйнемейнена, осеняющий эту прекрасную страну, и имена сказителей, несших этот дух сквозь столетия”. Это было написано весной 1962 года, вскоре после “Осени в дубовых лесах” и “Двое в декабре”, когда Юра не был одинок, и мироощущение у него было светлое. Даже можно сказать – оптимистичное, хотя это слово ко всему его творчеству мало подходит.

И ещё не могу не сказать: русский язык Юрин не только красив, сочен, богат, – он везде русский, никаких влияний иностранного синтаксиса, никаких иностранных калек. В том числе и поэтому уже к началу шестидесятых годов проза Казакова считалась выдающимся явлением в русской художественной литературе.

В статье “Беспорные и спорные мысли”, опубликованной в “Литературной газете” в мае 1959 года накануне писательского съезда, Паустовский писал: “Особенно глубока, прозрачна и берёт за сердце правдой и силой эта народная струя в рассказах Казакова и Никитина. . . Достаточно прочесть хотя бы два рассказа Казакова “Никишкины тайны” и “Арктур – гончий пёс” и рассказ Сергея Никитина “Вкус жёлтой воды”, чтобы прикоснуться к заветным источникам народной жизни и поэзии. Воздух огромной и любимой страны, дыханье изумительной нашей Родины струится из этих рассказов”.

Тогда же прозу Казакова высоко оценили такие не похожие друг на друга именитые литераторы, как В. Шкловский, Ф. Панфёров, И. Эренбург, М. Светлов. Ф. Панфёрову в августе 1959 года Казаков писал: “Вы по-настоящему помогли мне в самую мою злую, трудную минуту – и это не забудется. Мне особенно радостно, что рассказ <“Отщепенец”> все хвалят, меня поздравляют, и выходит, что я уже как-то отблагодарил Вас как редактора. Мне было бы хуже, если бы рассказа не заметили. И мне очень хочется принести Вам ещё что-нибудь настоящее, хорошее, чтобы Вам понравилось, чтобы ещё и ещё оправдать Ваше доброе внимание ко мне. . .”

Возможно, в Юре проявился ген поэтической прозы, дремавший в его генетическом древе. “Позже, когда стал он признанным прозаиком, его художественная культура воспринималась порой как врождённая, наследственная, делались даже попытки объяснять её “секретами” далёкой казаковской родословной, – и в этом слышалось уже что-то от легенды”, – пишет Кузьмичёв в его литературной биографии. Мне мама Казакова Устинья Андреевна рассказывала о семейной легенде. Я её помню, вот вкратце её суть.

Предки Устины Андреевны были крепостные крестьяне князей Мещерских. Деревня была на Смоленщине. Миловидную крестьянскую девушку взяли в барский дом в качестве горничной. В доме был молодой князь, он сделал ей ребёнка. И девицу выдали замуж за бедного помещика-однодворца. Устинья Андреевна была не то её внучкой, не то правнучкой. Я слышала это из её уст. А в роду князей Мещерских был ген литературной одарённости, один из князей по материнской линии был внуком Н. М. Карамзина. Среди князей были писатели – драматурги и романисты, поэтические переводчики. Хорошо было бы сравнить их портреты с Юриными фотографиями. Но и до сравнения можно сказать, что черты его лица, форма головы, маленький размер ноги при довольно высоком росте изобличали в нём породу. В его внешности ничего не было от простолодина, он не был похож ни на мать, ни на отца.

Юра оттачивал природное дарование чтением русской классики – поэзии и прозы. Помню, мы прилетели в деревню Пялица на Терском берегу Белого



моря. И сразу отправились в библиотеку. Большая пустая комната, на полу – длинные книжные полки в три яруса, на них – толстые журналы и русская современная и классическая литература. Мы взяли, оставив в залог три рубля, “Анну Каренину”. Делать в деревне нечего (мы ждали самолёта), и Юра стал читать мне этот роман, чуть-чуть заикаясь. Он был очень внимателен к слову, точному его значению. Любил Бунина, Чехова, Паустовского.

Но к учёным сочинениям его не тянуло, работа ума не прельщала. Почитайте Юрины статьи – в них глубокие мысли в прекрасной словесной оболочке. Но если вчитаться, то новых, неожиданных поворотов мысли нет нигде. Есть только блестящее изложение превосходных идей и чувств, высоко благородных, общечеловеческих, которые и прежде неоднократно высказывались, но никогда так красиво и чувствительно. Возьмите любой абзац из статьи “О мужестве писателя”: “Когда писатель сел за чистый белый лист бумаги, против него сразу ополчается так много, так невыносимо много, так всё зовёт его, напоминает ему о себе, а он должен жить в какой-то своей выдуманной жизни. Какие-то люди, которых никто никогда не видел, но они всё равно как будто живы, и он должен думать о них, как о своих близких. И он сидит, смотрит куда-нибудь за окно или на стену, ничего не видит, а видит только бесконечный ряд дней и страниц позади и впереди, свои неудачи и отступления – те, которые были и будут, – и ему плохо и горько. А помочь ему никто не может, потому что он один...” Мне хочется чуть не всю статью переписать здесь, чтобы показать, как точно, изящно, проникновенно описывает он труд писателя, вызывая понимание, участие и восхищение.

Ещё одна черта писательского мастерства Казакова – герои его писаний трогают сердце, как живые люди, от его строк всегда веет живой дух. Читайте рассказ, и такое чувство, что ты сам чуть не вчера общался с его героем. Он, конечно, умел вызвать участие читателя к своим персонажам и в очерках, и в рассказах.

Оставленное им наследие невелико, но так оно полнокровно, так дышит жизнью всего живого под солнцем! Пусть написано мало – мал золотник, да дорог. Почему же прекратилось дальнейшее развитие творчества? Лёгкость писания не выработала привычки приклеиваться к стулу на многие часы на протяжении месяцев, лет. Он писал в упомянутой статье “О мужестве писателя”: “Настоящий писатель работает по десять часов в день”. Но сам он десять часов подряд никогда не сидел за машинкой. А закончив рассказ или длинный очерк, стремился вырваться из дома – на лыжах, на байдарке, или совсем из города – в Вилково, на Валдай, куда угодно. Путешествия давали материал для его чувственного, живописного творчества. Мой учитель, замечательный переводчик художественной литературы Ольга Петровна Холмская называла его “медиум”. Она говорила, рассказы у него получаются сами собой, он всеми фибрами души ощущает красоту природы, он безупречный словесный посредник между ней и читателем...

Полвека отделяют меня от тех давних событий. Думаю о них, как будто вспоминаю сюжет любимой, давно не читанной книги.

## **НАЧАЛО. ЛЕТО 1960-го – ЛЕТО 1961-го**

### **ПОХОРОНЫ ПАСТЕРНАКА**

Январь 1960 года. Бегу морозным январским днём по центральной улице подмосковного посёлка Голицыно, спешу на московскую электричку. Мне тридцать лет, я давно развелась с мужем, у меня семилетний сын. Мы живём у моих родителей, где есть ещё моя младшая сестра и брат, который родился 22 июня 1941 года в четыре часа утра, как раз когда немцы бомбили наши пограничные города. Я еду в Москву, у меня дела в институте, я преподаю перевод в МГПИИЯ (Московский государственный педагогический институт иностранных языков, бывший “Инъяз”, бывший “Мориса Тореза”, теперь Московский государственный лингвистический университет) на переводческом факультете, с которым будет связана вся моя взрослая жизнь, скорее всего, до последнего часа.

Навстречу идёт молодой, грузного вида мужчина в меховой шапке пирожком, с красивым неулыбчивым лицом, кожа под носом (там, где усы, как

у Чарли Чаплина) покраснела от стужи. Он замедлил шаг, посмотрел на меня близорукими голубыми глазами, наверное, хотел поздороваться, вдруг кто-то знакомый, и меня как током ударило. Увидев, что ошибся, он пошёл дальше. А я поспешила на электричку.

В Доме творчества живет моя учительница, вернее сказать, Учитель, Ольга Петровна Холмская, которая учит меня переводу уже десяток лет. И не только переводу. Это очень умный, саркастический, но благородной души человек. Ольга Петровна Холмская часто жила не у себя дома. В послевоенные годы её домом была комнатка “сапожок” в студенческом общежитии, что в Петроверигском переулке, позже – двухкомнатная квартира в писательском доме у метро Аэропорт по улице Черняховского, дом 4, квартира 106. Какое-то время и я там жила – Ольге Петровне было неуютно одной. Обычно она уезжала в Голицыно – жила в Доме творчества писателей или снимала комнату у местных обывателей. Я приезжала к ней и тоже останавливалась в Доме, если бывала свободная комната, или что-то снимала. Отношения у меня с О-Пехой, как звала её Евгения Давыдовна Калашникова, ещё одна переводчица из группы кашкинцев, были как у мастера и подмастерья. Ольга Петровна учила меня мастерству перевода, а я, чем могла, помогала ей. Она плохо видела, и вот мы сидим у неё в комнате, она, полужёжа на кушетке-кровати, читает вслух свой перевод “Тайны Эдвина Друдра” Чарльза Диккенса, а я слежу по английскому тексту, чтобы поймать пропуск или неточность. По ходу дела Ольга Петровна разъясняет, почему она перевела какое-то место именно так. Это была великая школа.

В тот раз, во время студенческих каникул, я снимала комнату у древней, но живой и весёлой старухи в такой же древней халупе, тёмной внутри и снаружи, недалеко от Дома творчества, где я обедала за небольшую плату. Так я оказалась среди молодых писателей, которые стремились в небожители, но были совсем обычными молодыми людьми. Кроме одного – Юрия Павловича Казакова. Это его я встретила по дороге на станцию тем морозным январским днём. Ольга Петровна сказала мне, что Юрий Казаков – начинающий молодой писатель, как говорят, очень талантливый. Попросила взять в институтской библиотеке его нашумевшую книжку “На полустанке”. Уйдя на пенсию, Ольга Петровна больше в институте не работала. Последний год я посещала все её занятия. Чтобы получать полноценную пенсию, Ольга Петровна перешла на полную ставку, но тянуть такой воз не могла – институт находился в нескольких зданиях, одно – в Ростокинском проезде, куда надо было добираться на трамвае от метро Сокольники. Мне доверили её полставки (я была аспиранткой Ольги Петровны) и половину нагрузки с неё сняли. Разумеется, я не взяла у неё той половины денег, что она получала за полную ставку (она, естественно, предложила их мне): ведь я ходила на все её занятия и училась не только переводить, но и преподавать.

И я взяла в библиотеке книжку Казакова – маленькую, беленькую, невзрачную. Сначала её прочитала Ольга Петровна, потом уже я. Книжка меня восхитила, такого ясного, чистого, невязкого, даже поэтического языка я не встречала ни у одного современного писателя, разве что у Паустовского. Я сказала об этом Ольге Петровне. Она подумала, подумала и говорит: “Казаков пишет под влиянием Бунина, так же сочно и живописно, да и жизненный материал, и отношение к нему – бунинские. Впрочем, это свидетельствует, скорее всего, о сходстве натур”. Я подумала, что это, наверное, правда.

Кончились каникулы, и я вернулась в Москву. А весной, в марте, Ольга Петровна опять поселилась в Голицыне, она любила жить поближе к природе. У неё было полдомика в Звенигороде, но там некому было готовить. И она зимой жила в голицынском Доме творчества. Ольга Петровна позвонила мне оттуда. Попросила привезти что-то и сказала, что можно пожить в доме дней пять между моими уроками в институте, свободна крохотная комнатка на втором этаже. Я приехала, заплатила в местной конторе за пять дней, вошла в дом и в сенях на вешалке увидела тёмно-красный шарф Юрий Павловича. Сердце моё чуть не выскочило из груди. На этот раз среди писателей был великий Юрий Домбровский. Он дружил с Ольгой Петровной, однажды она взяла меня в Переделкино, к нему в гости. Я уже тогда сомневалась насчёт авторства Шекспира. А Домбровский написал о Шекспире книгу “Смуглая леди сонетов”. Мы пришли к нему в комнату. Беспорядок там царил страшный, везде: на кровати, на стульях – книги, рукописи, бумага. Он был великолепен.

Высокий, тощий, на голове – копна чёрных волос, и очень добрые цыганские глаза. Я не осмелилась вымолвить свои сомнения в авторстве Шекспира, и он нам долго рассказывал, как ему самому виделся ещё более великий Шекспир.

И вот теперь здесь и Домбровский, и Казаков. Юрий Павлович дал мне прочитать коротенький рассказ о Ленинграде, где описано разведение мостов. Кажется, это рассказ “Пропасть”, только он был короче и без трагической нотки. На другой день после обеда мы сели с ним в укромном местечке, и я сказала ему, что думаю об этом рассказе. В нём нет глубины, неповторимости чувств, он даже чуть-чуть пошловат. Но очень похвалила описание разведения в Ленинграде мостов. Ни слова не сказав, Юрий Павлович взял свой рассказ и ушёл к себе в комнату на первом этаже. Как же я себя ругала! Сама, сама разрушила крошечный мостик, который стал между нами возводиться! Но на другой день во время общего разговора в гостиной Юра вдруг сказал, чуть заикаясь: “А мне нужна такая жена, как Марина, чтобы неравнодушно читала мои рассказы”. Я не отнесла этих слов к себе, восприняла их как обобщённое заявление. Речь шла не обо мне, а об определённом женском характере. Таким гигантом, особенно по сравнению со мной, представлялся мне Юрий Павлович. Чего он, конечно, не подозревал. И сам в себе как в человеке не ощущал олимпийского величия. Но силу своего таланта понимал, чувствовал свою исключительную незаурядность. И хотел, чтобы для близкого человека он был самым великим писателем. Это я поняла позднее.

Кончились мои пять дней, я опять вернулась в Москву, не имея никаких надежд на неслыханное блаженство – быть вместе с любимым человеком. И хотя я как будто покорилась невозможности счастья, воспитывала сына, с увлечением переводила, читала Достоевского, готовилась к занятиям, но, когда в мае Ольга Петровна, которая всё ещё жила в Голицыно, сказала, что там опять поселился Юрий Павлович, и, кажется, надолго, я рванула туда, и наша встреча меня согрела. Он был явно рад меня видеть. В доме тогда жила Рита Райт-Ковалёва со своей дочерью Маргаритой, умной, целеустремлённой, доброжелательной, но не очень красивой. Я увидела, что Юра небезразличен ей. Рита Яковлевна говорила о нём с восторгом и как бы уже о близком её семье человеке. Май был очень тёплый. Юра позвал меня покататься на лодке на голицынский пруд. Я согласилась. Взяли лодку, купаться он не думал, но было так жарко, что он стянул свои выцветшие бумажные штаны, и в синих семейных трусах нырнул в воду. Юра не потерял для меня ранг небожителя, но становился как-то более своим, что ли. Я вернулась в Москву, ни о чём важном для себя не поговорив с Юрой. А у Маргариты умерла бабушка, она поехала хоронить её и попросила меня по возвращении не приближать Юру к себе. Я ей обещала.

А 1 июня умер Борис Пастернак\*. Какая-то столичная газета, кажется, всё-таки “Литературная газета” поместила позорно короткое сообщение в малосенькой траурной рамке: “Умер член Литфонда, поэт Б. Л. Пастернак”. Поэт и переводчик Андрей Сергеев, мой приятель и коллега (мы вместе переводили роман Томаса Гарди “В краю лесов”) позвал меня поехать в Переделкино, почтить память великого русского писателя. Подошли к дому, калитка открыта, на дорожке к крыльцу – еловые ветки, вступили в светлую комнату – никого, на столе – гроб, кто-то тихо играет на фортепьяно в соседней комнате, кажется, Рихтер. Андрей наклоняется к мёртвому лицу и целует в лоб. Я смотрю, стараясь запомнить смертную маску. Не запомнила. Всегда в воображении Пастернак, каким нарисовал его Анненков.

Похороны на переделкинском кладбище через день. Я не сомневаюсь, Юрий Павлович приедет на похороны. И там я увижу его.

В этот раз поехала в Переделкино одна. Улица, ведущая к кладбищу, вся заполнена медленно движущейся тёмной лентой пришедших проститься. Мне удалось подняться на возвышение почти к самой могиле. Народу – море. Опускают гроб, с сильным деревянным стуком падают первые комья земли. Вспоминаются поразительно точные стихи Марины Цветаевой: “И первый ком о крышку гроба грянет”. Растёт гора цветов, меняются один за другим чтецы. Гениальный “Гамлет” из “Доктора Живаго”. Да, Пастернак – небожитель. А мы, неспособные придумать ничего подобного, – пигмеи. И всё же я счастлива – живу в столетие, когда в России расцвёл величайший поэтический

---

\* На самом деле он умер 30 мая, а 1 июня его хоронили.

цветник. А если бы меня угораздило родиться раньше, скажем, в XVIII веке, я не знала бы стихов, считанных с небес в последующие века, не читала бы Пушкина, Лермонтова, Тютчева... Каких радостей была бы лишена моя жизнь!

В том дне для меня сплелись два мотива – прощание с великим поэтом, претерпевшим страдание от невежества, обернувшегося агрессивным злом, и предчувствие, казалось бы, невозможного счастья – встреча с писателем, у которого потрясающее поэтическое перо. Это я сейчас так перевожу на язык смысла обуревавшие меня тогда чувства. А тогда я всё время искала взглядом грузноватую фигуру с неласковым лицом. И я увидела его недалеко от себя, он был один в плотной толпе прощавшихся. Был уже конец траурной церемонии.

– Юра, – окликнула я его с забившимся сердцем.

– Привет, милая, ты одна?

– Одна, Андрей Сергеев был здесь позавчера. Сегодня не мог приехать.

– Поедем ко мне в Голицыно, помянем гения. Ты свободна?

– Свободна.

Любовь – это помрачение рассудка, мозг отключается, грудь распирает сладчайшее блаженство. Помянуть великого поэта с любимым – такое не могло присниться даже в самом счастливом сне. В моей жизни до сих пор всегда было так: тебя любит тот, кого ты не любишь, а ты любишь того, кто не любит тебя. Наверное, это потому, что я всегда влюблялась не в ровню себе, а в того, кто меня чем-то превосходил, во всяком случае, мне так казалось.

Мы не пошли на станцию Переделкино, от которой доехали бы до Киевского вокзала, оттуда на метро до Белорусской и в Голицыно. Юра сказал, что от писательского посёлка всего несколько километров до Баковки, что на Белорусской железной дороге. Пройдёмся по лесу. А там на электричку, до Голицына всего полчаса. И мы двинулись в путь, понятия не имея, сколько нам предстоит идти. Сначала шагалось легко; начало лета, пешеходная дорожка шла лесом, яркая, свежая зелень заслоняет солнце, веет прохладный ветерок, перешли мостик через ручей. Говорила больше я, рассказывала о трудностях художественного перевода, о русском языке. А потом он завёл разговор о своём друге, писателе Иосифе Герасимове, с которым мы познакомились в Доме творчества.

– Миленькая, – вдруг сказал Юра, – брось ты свои переводы, давай говорить о вечном. Как поживает Оська?

– Какой Оська?

– Уже забыла? Герасимов.

– А-а, Герасимов. Я его с тех пор не видела. С ним что-то случилось?

– Да нет, ничего. Он мне сказал тогда, что ты с ним...

– Что за чушь! Он мне не нравится. Я даже целоваться с ним не могла бы.

– Странно!

– А когда он это сказал?

– Да тогда и сказал. В январе, в Голицыно. Ты ведь с ним ходила.

– Да, он меня провожал один или два раза. Потом уехал в Москву, а когда вернулся, через два дня, кажется, уехала я. У меня даже его телефона нет.

– Это правда, старуха?

– Я, Юра, уже тогда только о тебе думала.

– А что же молчала?

– Так ведь ты был влюблён в Наташу, дочку Тушновой.

– И то правда.

– А Наташа как поживает?

– Я её тоже с тех пор не видел. Она мне рассказывала, что втюрилась в своего историка.

– Юра, а Маргарита сейчас в Голицыно?

– Нет, уехала. Рита Райт, её мать, провела со мной беседу. Попросила без серьёзных намерений её дочь не трогать, это неблагородно. Я испугался и стал с ней холоден.

Лес кончился. Давно перевалило за полдень. Было очень жарко, мы шли, шли, а конца дороге все не было. Попался деревенский магазинчик, Юра выпил пива, купил бутылку коньяка. Спросили, сколько ещё до Баковки. Оказалось, километров пять. Он устал, идти ему было тяжело, взяли такси и поехали

в Голицыно, не подозревая, что едем к нашему будущему, которое продлится ровно пять лет.

Вернулась я домой на другой день. Мы с Юрой были свободные от брачных обязательств люди, могли отдаться чувствам, никого не обманывая. Особого привкуса, существующего в отношениях между любовниками, имеющими семьи, у нас не было. Для меня Юра скоро стал родным человеком до последней клеточки его ума и тела.

Провожая меня на станцию, Юра взял у меня телефон. “Позвоню, когда буду скучать”, – сказал он, прощаясь, некоторые его фразы я до сих пор наизусть помню. 14 июня – мой день рождения, мне тридцать один год, выгляжу я молодо, судя по фотографиям того времени. Мои родные – на даче в Барвихе. Я дома в большой четырёхкомнатной квартире одна. Вечером пришёл мой школьный друг ещё с довоенной поры – В. С. Он литературовед, научный сотрудник Института мировой литературы Академии наук СССР. Умница, и теперь уже можно сказать – трагической судьбы. Он не женат, волочится за мной, я дружу с его матерью и сестрой. Мы вечно спорим о литературе, о роли Ольги Петровны в моей жизни. Он считает, что мог бы больше делать для моего творческого развития, чем она. Вдруг телефонный звонок, беру трубку.

– Привет, миленькая, – слышу Юрин голос. – Что ты делаешь?

– Ничего.

– Давай будем ничего делать вместе, – говорит Юра, слегка заикаясь. – Приезжай на Арбат, дом 30, квартира 29, жду.

– Еду, – говорю я.

Время час ночи, но не очень темно. В. С. знает про Юру. И понял, кто звонит.

– Еду к нему сию минуту, – бросаю я.

– Поезжай, конечно. Но не сомневаюсь, очень скоро мы с тобой весело посмеёмся над этим приключением.

Не посмеялись. Хотя друзьями остались на всю жизнь.

Метро уже не работает. Я живу в Покровском–Стрешневе. Тогда ходить ночью по Москве было не страшно. Дошла до Ленинградского шоссе. Подхожу к метро “Сокол”. Возле меня тормозит грузовик. Шофер лет пятидесяти приветливо спрашивает, далеко ли иду. Говорю, на Арбат.

– Садитесь, говорит, довезу, со стороны Смоленской.

– Мне надо как раз туда, – отвечаю я, – дело спешное.

Сажусь к нему в кабину, и через полчаса он остановился у Смоленского универмага. А ещё через пять минут я в объятиях Юры, он ждал меня на Арбате у своего дома. Не помню, какой этаж, но лифта, по-моему, не было.

И вот я первый раз, на цыпочках, чтобы не разбудить соседей, вхожу в комнату, где живёт Юра с родителями. Сейчас их нет, они у кого-то на даче. Очень хорошо помню эту комнату, могу даже нарисовать её. Комната четырёхугольная. Напротив двери – узкое высокое окно. Комната, как войдёшь, слева поделена двумя глухими шкафами, стоящими перпендикулярно к двери, на две половины, левую и правую. Между шкафами – неширокий проход в левую, спальную половину, там стоит изголовьем ко второму такому же узкому окну высокая широкая кровать с металлическими шарами, где спят родители. Угол за изножьем кровати заставлен какой-то рухлядью. Обои мутно-зеленоватые, на них рисунок, напоминающий подводное царство, – силуэты водорослей, во всяком случае, такое у меня ощущение. В правой половине, куда ведёт дверь из коридора, у стены возле окна та самая кушетка, которую мне было обещано завещать, перед ней, у той же стены, небольшой стол, что-то ещё под окном, не помню. Вот и вся обстановка. И вот что я хочу сказать. Никакого стеснения за такую скудность у Юры не было. Он был естественный человек, воспринимающий внешние атрибуты жизни, как неизбежное, но не позорящее данное, и оценивал их только как “удобно” или “никуда не годно”, а не как возвышающий или принижающий признак социальной лестницы. В этом мы с ним были похожи. Он понимал, испытывал на себе, что его жилище “скверно”. Но всё же – крыша над головой. Так мы и начали жить, время от времени, в этой комнате. По утрам за окном громко гулила голуби. Я ходила в Смоленский универмаг за едой. Обед не готовила, нельзя было из-за соседей появляться на кухне. Юрина комната находилась, как войдёшь в квартиру, сразу же первая дверь налево. Мусор складывали в продуктовые бумажные пакеты и, уходя, брали с собой.

Так вышло, что наша вторая ночь выпала на мой день рождения. Повторю, мы были два свободных человека. У меня не было ни мужа, ни любовника. Мне они были не нужны. Мой брак не открыл мне, что брачные отношения могут давать наслаждение и женщине. Подруга моей дочери в двадцатипятилетнем возрасте говорила: “Зачем мне это сомнительное удовольствие?” Если бы у Юры не было такого таланта, я не влюбилась бы в него с силой *солнечного удара*. Но если бы такой же талант был облечён не Юриной плотью, я бы тоже не полюбила его. Что ко мне чувствовал тогда Юра, не берусь судить. Так встретились и полюбили два человека.

Мы были искренни, не лицемеры, любили русскую культуру, простых русских людей, русскую природу. Но мироощущение и восприятие людей у нас было разное. Моё мироощущение – светлое, Юрино – мрачное, что объясняется совершенно разными условиями протекания наших детских лет и юности. И, конечно, Юра был наделён великим поэтическим даром, а у меня этого дара не было. И для меня этот дар был великим сокровищем и достоинством, перекрывавшим все остальные качества человека. И вот эти двое принялись, очертя голову, сплестать свои жизни.

### ПЕРВАЯ ПОЕЗДКА В ПЕЧОРЫ

Юра собирался ехать с друзьями на Север. Это была командировка для какого-то журнала. Он собирал материал для “Северного дневника”. А мне пришлось на несколько дней отлучиться из Москвы. Я летала в Ставрополь за семилетним сыном, который жил у второй своей бабушки, матери его отца. Мы с Юрой договорились: когда он вернётся с Севера, я буду в Москве. И мы отправимся куда-нибудь, где он будет писать, а я переводить.

У меня остались от тех пяти лет письма и телеграммы, билеты на поезда, самолёты и даже на один пароход. Есть дневник, какие-то заметки, ноты, моя запись его рассуждений. От 1960 года сохранилось несколько писем, записок и телеграмма. Вот такое письмо, например, я получила от него 26 июля:

“Койда 26 VII 60

Милая моя! Я живу хорошо. Отсюда будем двигаться в сторону Архангельска. Теперь у меня вот какая идея. Когда мы закончим наш вояж, ребята уедут, и я останусь один. Так вот, не сможешь ли ты приехать, скажем, в Онегу или ещё куда-нибудь, и дальше мы пожили бы с тобой вместе или поехали бы напр<имер> в Карелию? Напиши мне на Архангельск. А я, когда туда приеду, еще тебе позвоню. Будет это числа 5–8 августа. Или ранее. Вот так. Будь здорова. Я тебя вспоминаю. Иногда. Целую. Твой Ю. Казаков <подпись>.

Если ты выберешься ко мне, это будет гениально” (пунктуация Ю. Казакова.)

Не помню, ответила ли я на это письмо. Наверное, ответила. Разумеется, ехать или нет, вопроса для меня не было. На крыльях бы полетела. Я ведь и сама люблю путешествовать, в 90-е годы дважды летала из Нью-Йорка на Гавайи.

Но потом планы у Юры изменились, и 5 августа получаю такую телеграмму из Ручьёв: “письмо телеграмма москва д-98 второй щукинский проезд дом 4 кв 25 литвиновой марине= приеду наверное двенадцатого хочу поехать псковскую область Печоры и Михайловская не хочешь ли ехать со мной имей дней на 10–12 телеграфируй в архангельск на главпочтамт салют= юрий”.

Наверняка телеграфировала, что согласна. Потому что через несколько дней по его приезду мы уже ехали на автобусе в Псков. В книге “Две ночи”, изданной в 1986 году, через четыре года после Юриной смерти, есть отрывок, начатый в 1963-м и не законченный. Юра очень точно описывает, как он жил в Печорах во вторую его поездку туда, уже со мной. Была ещё и третья, осенью 1962 года, и четвёртая. Пишет он только о себе: “И вот на другой год, проболтавшись полтора месяца на Севере, я ехал домой, и мне хотелось писать о рыбаках и обо всём, что я там увидел, и тут я вспомнил Печоры, и мне захотелось туда. <...> И вот через три дня я сел в автобус, всю ночь мчался, начало только смеркаться, я приехал в Псков, тут же нашёл машину и поехал

в Печоры”. Заканчивается отрывок таким абзацем: “В каком году это было? Да в 1960-м – во второй половине августа, значит, уже два с половиной года прошло, а мне иногда кажется, что двадцать, и очень захотелось рассказать про этого М. М.\*” (с. 133–137).

В приведённом выше письме 1970 года есть упоминание о нашей поездке в Печоры. И есть ещё одно письмо, где говорится об этом городке на границе с Эстонией. Вот что Юра писал из Поленова 14 сентября 1960 года. Приведу письмо почти полностью.

“Хэлло, старушка!

Я получил твоё письмо, спасибо, что не забываешь и, вероятно ради моего спокойствия, расписываешь все свои дни.

Насчёт всякой рыбы и прочего ты заблуждаешься – ни рыбы, ни чего бы то ни было – нет! Ибо я питаюсь в доме отдыха, а живу совсем один – Федя <Поленов> уезжал в Тулу, в холодной комнате. Вот. Поленово само по себе, разумеется, прекрасно. Но это понятие отвлечённое, потому что я почти целый день высиживаю дома.

Знаешь ли ты, что такое писатель, особенно такой, как я? Это самый что ни на есть занюханый человек. Это человек, который живёт в мире эфемерном, в мире, выдуманном им самим, в мире своих воспоминаний. Это человек, подменяющий реальность гнилым идеализмом. Этому человеку надо морду бить.

Никому я своего ничего не читаю, и тебе напрасно читал, потому что этого вовсе не нужно – нужно закончить вещь и остаться с ней наедине, нос к носу, а потом отнести в редакцию, чтобы её напечатали, а потом будет видно, хороша она или нет. И если хороша, то ладно, если нет, то надо помотать головой и приниматься за новую.

А Печоры я помню. Я ложусь, закурываю и вспоминаю. И я всё помню, почти каждый день. А ты помнишь?

Помнишь, как я опаздывал – до того, что даже стал равнодушным – надоело волноваться. Помнишь первую остановку возле туалета? Когда стояла пасмурненькая погода и мы ходили от автобуса и назад? Помнишь автобусную станцию с тусклым светом и страшными уборными и ещё кто-то спал на лавке, а я даже вздохнул, потому что знаю, что значит спать на лавке?

А Валдай <остановка в Валдае> – его тёмный, освещённый одной лампочкой возле ресторана кусочек и какие-то дома, по-видимому, хорошие, его мостовые? И как мы с тобой поднялись на второй этаж и выпили “Старки” <...> и как я тебя хотел в ту ночь, когда автобус мчался и в нём было темно?

А Новгород с его соборами, с серебристыми луковицами на них, с их древностью – у-у-у-ух какой древностью – Новгород ночной, пустой и освещённый? И его станцию-вокзал?

А дорога в Печоры и то первое, почему-то солнечное утро на Рабочей улице, Михал Михалыч, ворота, калитка его дома, комната и его вид, когда он сказал, что сто рублей? И как я, узнав, что магазины торгуют, тотчас побежал в магазин за выпивкой, и как я боялся, что ты станешь по бабскому обычаю канючить и говорить, что, мол, не надо и всё такое, но ты не канючила, а наоборот сама выпила, и как я был тебе благодарен за это, потому что, наверное, я бы возненавидел тебя, если бы ты тогда начала мне действовать на нервы?

<...>

Ах, как я жалел, что мало денег, что надо считать и рассчитывать и в чём-то прижиматься и что нельзя было купить, например, коньяку и т. п.!

А дороги в Эстонии! Господи, боже мой, какие там дороги, какие были поля со скирдами, какие хутора, озёра и реки! И вообще – как это человечно всё было! Тебе м<ожет> б<ыть> и не понять, а я-то перед этим шлялся по нашим русским “палестинам”, по северу, по дичи и глуши – и вдруг нечто божественное по разуму, по порядку, по труду, потому что эти поля и скирды это же не само собой родилось, а было создано руками людей!

А потом наши прогулки в лес, грибы и то, как ты жадничала и прятала грибы в карман, какие я хотел выбросить. <...>

Я не знаю, я очень боюсь, что теперь пойдёт всё вниз, к худшему, потому что мне сейчас трудно представить себе, чтобы опять так было. Но это

---

\* М. М. Белянин – хозяин дома, в котором мы останавливались.

неважно, надо как-то верить, что ли, надо к этому идти и путь для этого – автомашина. Я ещё не отказался от неё, я её хочу, я жажду её и ты мне в этом помоги, если придётся. До весны след<ующего> года у нас должна быть машина, а там посмотрим: может быть ещё и не то будет, что было.

Я не знаю, когда я приеду. Здесь я начал переписывать всё, что сделано в Печорах – это для разгону, так как сперва у меня ничего не клеилось. Ну, а теперь уж я втянулся в это дело. С перепиской всё хорошо и работы ещё дней на пять, а там начну дописывать конец. И если пойдёт так же, как шло в Печорах, то и кончу, как предполагал – числу к 24-25.

Завтра поеду в Тарусу, отвезу плёнку, которую снимал в Печорах. Отдам проявить и отпечатать, а тебе потом пришлю снимки.

Будь здорова, всего тебе доброго. Постарайся работать так, чтоб потом можно было взять отпуск.

14 сент., Поленово

Ю. Казаков”.

(Пунктуация Ю. Казакова.)

В письме опущены очень личные подробности. Мне не хочется, чтобы их читали посторонние глаза. Три с половиной месяца мы с Юрой вместе, но уже плотно поселились в уме и сердце друг друга.

Юрино письмо из Поленова коротко и ёмко описывает нашу жизнь в Печорах – события и размышления. Как живописно, без единого лишнего слова описал он увиденную Эстонию – её пейзажи и рождаемые ими мысли и чувства.

Однажды там с нами случилась поистине чудесная история. Перпендикулярно Рабочей шла Ивановская улица. Она вела в лес, до которого мы ни разу не доходили. Мы любили гулять по ней. Однажды идём и говорим о музыке.

– Знаешь, миленькая, – говорит Юра, – я очень люблю Второй концерт Рахманинова. Помнишь, как он начинается? Гениальный колокольный звон.

– Да, – отвечаю, – я тоже люблю этот концерт. И первый, и третий, но особенно второй. Потрясающий перезвон колоколов.

И в эту самую минуту воздух, а уже смеркалось, гулко наполнился колоколами Второго концерта Рахманинова.

Это было чудо. Иначе не назовёшь. Музыка доносилась из темневшего вдали леса. Мы поспешили туда. И вот что оказалось. В этом лесопарке был ленинградский пионерский лагерь. Он уже закрылся – последние числа августа. В нём временно остался пионервожатый, ленинградский студент, который тоже очень любил этот концерт Рахманинова. Поставил пластинку и пустил звук на полную мощность, для величавости. Мы восприняли это чудесное совпадение как благословение свыше.

В Печорах я ещё не заметила пристрастия Юры к спиртному. Он выпивал почти каждый день стакан красного вина. Несколько раз покупал водку. Денег у нас было мало, после вечерней выпивки утром опохмеляться ему не требовалось. Но на одно я обратила внимание: много выпив, Юра впадал в мрачное, подозрительное настроение. Начиналась ревность к моему “прошлому”. Почему меня бросил муж? Я, наверное, изменяла ему. Почему я вышла замуж, не дождавшись встречи с ним? Как жаль, что у меня сын, у его жены первым должен быть его ребенок. Всё это грубо, даже оскорбительно комментировалось. Уговаривать его в такие минуты было бессмысленно, уговоры не помогали, а только подливали масла в огонь. У него было сильное воображение, сильная впечатлительность, надолго сохранявшая в памяти пережитое. И ещё он был очень ревнив.

Юра как-то рассказал мне такую про себя историю. В 1959 году он был влюблён в умную и красивую журналистку. Их отношения дали Юре материал для рассказа “Адам и Ева”. Чувство у него к ней было очень сильное. Летом она уехала отдыхать на юг. Юра ехать не собирался, но скоро соскучился и, не телеграфировав, полетел к ней. Идёт по набережной в предчувствии встречи. Впереди него пара, мужчина с девушкой, он держит руку на её талии. Юра сразу её узнал, обогнал их. Она шла с красивым, южного типа брюнетом. Этого он ей простить не смог. Он сказал мне, что, когда увидел её с другим, к горлу подступила рвота. Она приезжала к нему в Голицыно мириться.



И тут же уехала, он её не простил. Я её видела — красивая молодая женщина с правильными чертами лица.

Вот как я писала тогда в дневнике о своих чувствах к Юре:

“31.8.60. Я так себе представляю любовь мою с Ю. П. Вот если бы я была его мать или сестра, то стала бы я дуться, обижаться на него, затаивать мстительные чувства, злобу, ревность? Ясно, что нет бы. И вот что интересно: я, не силясь, не делая над собой efforts, не принуждая себя, ни разу не обиделась за всё время, злобно не ревновала, если иной раз мне и было грустно, так оттого, что мне казалось, что я в тягость Ю. П. Я знаю, что не могу быть в тягость, если отношения дружеские, но вот любовные? Все женщины, которых Ю. П. знал, были очень хороши собой, либо целиком, либо были у них красивые глаза или фигуры, или цвет лица и т. д. А я что? Я только знаю, что такой второй любви ему не встретить. Потому что я не к себе его люблю, а к нему. Это точно и это мне странно. И мне очень, очень горько, что я не красавица писаная и не могу петь, и оттого не могу дать ему тех радостей, какие дают обольстительные женщины”.

Моя мама, доцент педагогических наук, чтобы не развить во мне самолюбования, говорила мне в детстве, что я некрасивая, у меня маленькие глазки и большой рот. Я с таким мнением о себе и росла. Но я никогда из-за этого не отчаивалась, и в моих отношениях с молодыми людьми это мне не мешало. Могла посоветовать, но в унынье никогда не впадала. Унынье мне генетически не свойственно.

После разрыва я ни разу не читала дневник. Собрала все письма, телеграммы, билеты, газетные вырезки, письма его друзей, сложила всё это в толстую папку и спрятала на полати в квартире моих родителей. Когда Юра умер, я спросила сестру, на месте ли Юрины письма. Она сказала, что не знает, кажется, их выбросили. Но через год она их нашла и отдала мне. Я спрятала письма в большую коробку из-под конфет. Остальное, в том числе и дневник, опять убрала в толстую папку. Так они и путешествовали со мной с места на место. Читать мне их было недосуг. Перечитывала несколько раз только его письмо от 13 июня 1970 года. Было ещё одно позднее письмо. Куда-то оно заделалось. Там он пишет о нашей жизни в Алма-Ате. Заделался и оригинал письма к моему дню рождения 1970 года, но я, зная, как легко теряются вещи с переездами, попросила свою первую невестку Лену Белосельскую (первую жену моего сына) переписать его, а оригинал отдала на хранение моей американской подруге Шарлоте Сайковски, московской корреспондентке газеты “Крисчен сайенс монитор”. После смерти Юры она мне его вернула. Где-то оно схоронилось в моих бумажных завалах. Не теряю надежды его найти. Вообще-то я очень не люблю писать письма, но Юре я писала с большим одушевлением.

Вернулись мы из Печор в начале сентября. Мне надо было приехать к 1 сентября, я сообщила, что опаздываю на неделю, и меня заменили. Юра сейчас же уехал в Поленово, письмо 14 сентября — оттуда. Там он продолжал писать “Северный дневник”.

“Хэлло, старушка! Гоод моооорнинг! Сюда тебе показываться не стоит. Тут плохо. Во многих смыслах. Во-первых, я живу в самом поленовском доме, в комнате без печки, но с умывальником зато. Во-вторых как-то я себя чувствую не в своей тарелке — гость, чорт меня побери! В-третьих, Поленово мне в этот раз не показалось. Вышел сегодня, походил, позевал и назад. И целый день спал. С 12 до 7.

Не работается. Я знаю, почему: перебил состояние. Понимаешь? Не надо было мне, дураку, уезжать из Печор, а там и добивать очерк. А теперь как-то зевается мне от него.

Вообще я тут долго не посижу. Всё-таки постараюсь кончить очерк, а потом домой. И никакой октябрь я здесь не буду.

Это, конечно, в том случае, если я вдруг не очаруюсь вновь Окой.

Грибов здесь полно. Но мне их не надо, и собирать не хочу — нечего мне с ними делать.

Напиши мне что-нибудь весёлое. Я тут взял почитать Д. Лондона, видал рассказ “Маленький счёт...” и даже немного обрадовался, будто тебя увидел. Белосельская! О господи!

Слушай, выбери-ка теперь ты городок, чтобы удобно было до него добраться и быстро. Я приеду с очерком, распишаю его куда-нибудь, и мы с тобой закатимся, а?

Ну всего хорошего. Жму твою лапку. И целую, конечно, раз ты так этого хочешь.

Ю. Казаков (подпись от руки).

11 сент., Поленово”.

И дальше от руки:

“Я тебе не послал письмо сразу, лень было идти. А теперь и рад – дела налаживаются, начал работать. И Ока вроде ничего. Но всё равно в Поленово тебе – ни-ни! Тут плохо. Я вот выберу время смотаюсь в Марфино или в Тарусу, погляжу и тогда вот как: я тут дописываю очерк, потом еду в Москву, дня за 2, за 3 устраиваю его, а затем обратно и жду тебя уже где-нибудь – в Тарусе, Марфино, ещё где-нибудь... Вот. А м<ожет> б<ыть> и вместе поедем.

Ну auf Wiedersein. Да, это будет лучше всего.

Ты помнишь Печоры? Закаты? Поля, красные обрывы?” (Орфография и пунктуация Ю. П. Казакова).

## МАРФИНО

Юра поехал в Поленово. А я у себя дома на Щукинской готовилась к своим занятиям, помогала делать уроки сыну. И писала Юре письма в ответ на его послания. Первое письмо – ответ на его сообщение от 14 сентября. Я не без интереса прочитала его. Прежде всего, это “дикое историческое” письмо, как выразился Юра, писалось любимому человеку. Я, как видно, представляла его себе таким, какой была сама. И думала, что подробности русской истории должны и его так же сильно волновать...

17 сентября Юра прислал мне из Поленова письмо, написанное от руки, в ответ:

“Meine liber Meri!

Я по тебе тоже соскучился. А ты мне пишешь какие-то дикие письма про Ивана Грозного. Я например страшно рад, что живу не в его царствование. Вот и всё моё мнение о нём.

Теперь о нас. У меня дело застряло. Мне надоели очерки. И я поклялся, что больше ни за что, кроме рассказов, не возьмусь. Мне в этом пример Чехов и Бунин – они молодцы, знали свой шесток и не лезли в публицисты. Хотя у Бунина есть “Путевые поэмы”... Но это другое.

Так вот – я застрял. И наверно не уложусь в срок. Поэтому я решил так: в ближайшие дни съезжу в Марфино и договорюсь. Потом, допитавшись здесь (я заплатил за питание в д/о до 22-го) перебираюсь в Марфино и буду жить до победного конца, т<о> е<сть> до середины октября. Там будет печка и деревня, и баня, и осень. И всё такое. Молоко, яйца и проч. И там я буду “наблюдать на природу”, как говорят кишинёвские евреи. И там я буду работать по утрам. Господи! Там я буду плевать на всех и работать, чтоб заработать моральное право мотануть потом в Пицунду валяться на солнце, есть виноград и кряхтеть.

А вообще я подонок – у меня все планы летят к черту. Я хотел ехать бражничать в Тбилиси. Ну фиг с ними. Так вот. Ты работай, брось все свои побочные дела, работай по-коммунистически, т<о> е<сть> набирай часы. К концу сентября началу октября ты должна быть свободна. И не меньше, чем на 15 дней. А то одно расстройство будет. И бери какой-нибудь перевод. Будешь по утрам потихоньку переводить, чтобы не мешать мне.

А в полдень мы будем надевать сапоги и плащи и выходить. Только обязательно достань настоящий плащ с капюшоном <последние четыре слова подчёркнуты>. Отними у мамы или у Тани (моей сестры. – Прим. автора) или у кого хочешь. А то я тебя убью.

Вот и всё. Я потом тебе позвоню или напишу и всё растолкую (расписание пароходов, как ехать и пр.) и буду встречать на пристани, прокопченный деревенским дымом и пропахший навозом и молоком.

Телеграмму получил, спасибо. У меня такое чувство, что я помер; а там где-то продолжается жизнь и печатают то, что когда-то было у меня в сердце и башке.

Очень я пережил смерть Панфёрова. Хороший был человек. Писатель плохой, но человек — редкий. “Октябрь” теперь пойдёт на нет.

Ну, будь здорова!

Ю. Казаков

Поленово 17 сент.

**P. S.:** Я намазал сапоги дёгтем, и теперь у меня в комнате стоит душу очищающий запах. Я вот капну на лист, а ты понюхай. Это здоровый русский посконный сермяжный запах, а не какой-нибудь там пудры или духов. Я тебя буду мазать дёгтем и любить за твою сермяжность” (орфография и пунктуация Ю. П. Казакова).

Когда я сейчас читаю это письмо, я знаю, что было потом, какой конец уготован нашей любви, и мне грустно и горько. А тогда, получив его, я ощутила неслыханное счастье. Может, потому, что я родилась в деревянном доме с русской печкой и не раз жила там до восьми лет, или потому что мой отец был крестьянин, я люблю русскую деревню, парное молоко, запах цветущего картофельного поля, лес, полный грибов и ягод. И возможность пожить с любимым “вдали от шума городского” была для меня таким же счастьем, как и для Юры. Юра писал очерки не очень охотно. Но, получив командировку от журнала или газеты — это давало верные деньги (других верных доходов не было): его очерки публиковали сразу, — тут же по возвращении садился за машинку и писал живые зарисовки виденного. Так появились “Северный дневник”, “Калевала”, “Белуха”.

20 сентября Юра пишет из Поленова такое письмо:

“У меня вчера тоже был хороший вечер: получил газету с Брегетом, получил твоё милое письмишко и окончательно договорился насчёт своего дальнейшего жития.

Ты кричала как-то, что меня любишь, и ещё кричала о “делании”. Так вот, настала пора деяний. Вот я тебе задам!

Я снял целое поместье на Оке, этакую усадьбу. Там многое есть, но кое-чего нету, и это всё “чего” ты должна будешь привезти.

Перечисляю по пунктам

Коньяк 3 зв<езды> /одну бутылку/.

Простыни и наволочки /штуки по четыре/. <Вычеркнуто ручкой>

Масло сливочное /1 кг/

Кофе молотый /полкило/

Чай /самый лучший — пачки три/

Хлеба белого /побольше/

Колбасы, ветчины и т. п. /побольше/

Патронов охотничьих, заряженных /30 штук/. О калибре я тебе потом напишу особо. <Вычеркнуто>

Кофейник /Может быть, не надо, я тебе напишу/. <Вычеркнуто>

Ленту для пиш<ущей> маш<инки> чёрную 13 мм <Вычеркнуто>

Сахару /2 или 3 кг/

<Неразборчиво> и убытки за мой счёт.

Вот кажется и всё. Впрочем, наверняка, я что-нибудь забыл, я тебе потом напишу или позвоню.

Это письмо я отправлю тебе из Тарусы, я туда еду сегодня — за карточками, к Паустовскому и позвонить тебе.

Теперь — как сюда ехать. На сей день по Оке идут из Серпухова три парохода: один — рано утром, часов в пять, второй — днём (я не знаю во сколько, на пристани узнаю и напишу тебе), третий — в 5 часов вечера. Если будешь ехать с пятичасовым, то из Москвы надо выезжать с тем поездом, с каким выезжал я. На вокзале бери такси, до пристани 12 рублей. Билет на паром надо брать до Егнышовки. Здесь я тебя встречу. Можно ехать и на машине. Серпухов — Таруса, из Тарусы по большаку до Трубецкого, а оттуда в Марфино. Если будешь ехать на машине, то в Марфине последний дом направо — мой. Но насчёт машины — это я на всякий случай, м<ожет> б<ыть> тебе неудобно будет затруднять отца, или м<ожет> б<ыть> он будет занят или

м<ожет> б<ыть> вообще ты не захочешь, чтобы он стал участником <"участником" зачёркнуто, сверху ручкой написано "свидетелем"> всей нашей мрачной жизни <"жизни" зачёркнуто, сверху – "любви">.

Осень настаёт великолепная. Я тебя очень прошу: бери отпуск на максимально возможный срок, чтобы потом не рыдать у меня на груди, что мало пожила. Да, вот ещё: с 1 октября остаются два парохода из Серпухова: 5 утра и 5 вечера.

Я хочу купить себе тут дом, так мне нравится в Марфине. Понимаешь, как здорово? Такие дали, такие детали, что ай люли! Я дрожу. Дом сдали мне москвичи. Там есть печка – русская. Буду топить и сушить грибы. Грибы ещё есть – белые. Рыба есть – в реке. Дичь есть. Ах, ах!

Теперь относительно рассказа <"Звон брегета">. Рассказ плохой. Там только одно место хорошее – это когда Лерм<онтов> на Зимней канавке и снег идёт. Всё остальное ненатурально и следственно литературно. Но всё равно я его люблю, и если мне будут говорить о нём плохо, я стану рычать и драться. Этот тип из "Комсомольца" написал мне, что беспрерывно звонят читатели и спрашивают, где можно достать мои книги.

А ты обратила, старуха, внимание на мою фамилию? Она набрана такими аршинными буквами, что это дело даже несколько компенсирует для меня те 600 руб<лей>, кот<орые> я получу за рассказ. Никогда в жизни фамилию мою так не наберут. Счастье мгновенно и единично в нашей жизни.

Я тебя жду в конце сентября или в начале октября. Но если ты сможешь освободиться раньше, то это будет вообще такой бенц, такой бенц, что я помру.

А за водой надо ходить глубоко вниз, к Оке, к роднику, а потом, высунав язык, карабкаться вверх. Я так замучился с этим делом, что вот уже дня четыре ничего не пишу. Очерк мой завяз окончательно. И вообще я помираю без тебя. Нету, понимаешь ли, – как это слово, симптомов\*, что ли? Ну, в общем сверхзадачи.

Письма ты пишешь мне гнусные – какие-то литературно-исторические. Ну да бог с тобой.

Я тебя прощаю.

Адрес мой теперь такой: Калужская область, Тарусский район, дер. Марфино. Мне.

Да, я вспомнил, пароход (второй) в Поленово в 11–08, значит из Серпухова выходит он часов в девять утра. Это тебе не подходит, очень рано. Так вот, значит, остаётся только один пароход – 5 часов вечера. В Марфино он приходит в 9 вечера. Из Москвы ты помнишь поезд – 2 часа 4 минуты, кажется.

За день или два тебе нужно меня известить телеграммой о дне твоего выезда.

Вот и всё пока. Будь здорова.

Юрий

20 сент. Поленово.

\*А вспомнил – стимулов!" (орфография и пунктуация Ю. П. Казакова).

В этом письме – отклик на одно из моих посланий, в котором есть такие строки:

"Сегодня утром, отправив Димку <сына>, я легла досыпать и не уснула, а долго тебе рассказывала, как по-доброму я к тебе отношусь. И все хорошие слова точно соответствовали тому, что имеется в душе. А эти слова, оттого, что они означают хорошие человеческие чувства, приобрели от своих значений привкус наигранности, сладости, неискренности и сентиментальности, но других-то слов нет. Я приуныла. А потом вот что поняла: всякое чувствование душевное обязательно материализуется. Оно, если только оно в самом деле имеется, не удовлетворяется тем, что ему соответствует, как вывеска, почётное слово (любовь, доброта, верность и т. д.), – а обязательно прояснится в "делании". И вот по "деланию"-то и надо судить о том, что в душе. Темно что-то я пишу, только ты пойми, что я хочу сказать".

Судя по Юриному письму, он понял моё понимание "делания", взывая ко мне, чтобы я осуществила его.

Мне удалось договориться с кафедрой и деканатом, и меня отпустили на месяц, до ноября. Числа 24-го я отправила Юре такую телеграмму (черновик на телеграфном бланке):

“Калужская обл Тарусский район дер Марфино Казакову Юрию Павловичу Собиралась выехать воскресенье <25 сентября> отпуск дают задерживает книга Гарди Кажется придется переводить с Андреем Сергеевым роман Вудляндеры 24 листа условия хорошие Всё окончательно выяснится в понедельник или вторник Тоска сидеть в Москве однако делать нечего напиши что ещё захватить Целую Марина”

В тот год осень была чудесная. Я выехала из Москвы, наверное, в среду или четверг – 28 или 29 сентября. Было очень тепло. Хорошо помню, как ходила по залитому солнцем Серпухову в поисках коньяка “три звёздочки”, и помню доброго продавца в маленьком магазинчике, который радовался, что у него нашлась последняя бутылка именно такого коньяка. Все остальное было куплено в Москве. Юра нервничал, что пароход, на котором я поплыву, не остановится по просьбе пассажиров у Марфина. 26 сентября один вечерний пароход не остановился, он даже написал жалобу в речное пароходство.

Я благополучно добралась до пристани, люблю путешествовать по неизвестным местам. Крошечная пристань, темно, хоть глаз выколи. Кажется, на ней никого нет. На носу у теплохода прожектор. Его сильный луч, поворачиваясь, высвечивает Юрину фигуру. В руке у него фонарь, но не зажжённый: он побоялся, что меня на теплоходе нет, а капитан, завидев свет фонаря, подумает, что надо взять пассажира, и напрасно причалит. Но я там была, попрощалась с капитаном – и соскочила на дощатый причал.

Ночь, сильные запахи реки, осеннего леса. Теплоход прощально загудел, повернул и скоро слился с чернотой ночи. И мы с Юрой зашагали по береговому склону наверх. В одной руке у него ведро, в другой – мой чемодан. Я несу сумку и фонарь. Мы следуем к нашему первому жилью – снятому деревенскому дому. Он точно описан в “Осени в дубовых лесах”.

Прожили мы там, наверное, дней пятнадцать, потому что уже 19 ноября Юра пишет мне письмо из Гагры. Вот оно:

“Здравствуй, Мариночка!

Я приеду 26-го в два часа (или в 3) дня, это, кажется суббота, ты, пожалуйста, сиди дома, я тебе позвоню, и мы пойдём в “Прагу” и выпьем и чего-нибудь слопаем. Только ты не ешь, а голодай, чтобы вкусить всего со сладостью.

Я тут не работал совсем, обстановка не располагала. Но есть идеи. Одна из них: поселиться наподобие Р. Райт в Голицыно на всю зиму. Ходить на лыжах и работать.

Чтоб ты не скучала, я посылаю тебе песню, которую сам сочинил. Её можно петь на слова “Я безумно тебя люблю” или “жестоко ранен тобой”.

Вот она:

*Allegro Moderato* (довольно быстро, с джазовым оттенком)

<Дальше идут ноты>

Сейчас тут шторм, ветер, пахнущий розами из Турции. Машину – ту, которую тебе предлагали – к чертям. Я покупаю новый “Москвич”, т<о> е<сть> новой модели.

Привет!

Гагра (?) XI 60 г.”

У меня есть ещё одно письмо от Юры из Тарусы, написанное 9 сентября, а какого года – неизвестно:

“Ну вот я и сподобился и опять побывал в Марфино.

На этот раз мы нырнули правее деревни, если заезжать в неё со стороны холмов; это мы сделали, чтобы миновать Терентьевых <хозяева дома, который мы снимали осенью 1960 года>.

Ночью был мороз, утром иней, туман. До девяти часов нельзя было выехать, ничего не было видно, хотя и видно было, что наверху солнца, и пароходы гудели предостерегающе внизу. Зато потом какой зацвёл день! Мы ехали вверх и вниз между золотых лесов, зелёных озимых по скатам, паутина сверкала, и всё летела, летела навстречу – эти длинные нити, упругие, толстые, так что мы головы невольно пригибали, когда что-то блестящее протягивалось вдруг перед глазами.

А в лесу, когда мы проехали по аллее, не той, кот<орая> ведёт вниз к роднику, а по той, по которой мы ходили за грибами, вывернули в поле, съехали вниз – опять, как и тогда, сидели грибы и ждали нас. И так же шумели под ногами листья и проглядывалась внизу река, и звуки идущих катеров доносились оттуда. Мы обошли эти бесчисленные параллельные овражки, которые начинаются ещё в поле и идут к реке, нашли много белых и хороших подберёзовиков. Было так тепло, что мы разделись, а я всё припоминал и говорил: “Вот там должны быть грибы” – и шёл туда, и там они были. И ещё, когда мы проходили под дубами, то так много было на земле, под листьями, желудей, что они хрустели у нас под ногами. И как это я забыл про этот слабый звук и не упомянул о нём в “Осени в дуб<овых> лесах”?

Вот так я пока и живу – ковыряюсь дома в словесах и езжу почти каждый день за грибами то туда, то сюда, всё по старым местам. И осень теперь в самой поре, в самом своём накале – раньше было много зелёного, позже начнёт “с печальным шумом обнажаться” – теперь ночами холодно, утром туманы, днём совсем тепло, и сколько это ещё продержится? Так и ждёшь, вот-вот оборвётся, дожди пойдут, сырость и мрак, и станет пакостно.

Засим – прощай. Наверно, скоро наведаюсь я в Москву, я тогда тебе позвоню может быть накануне. Как ты там?

<Подпись рукой> Юрий”.

(Орфография и пунктуация Ю. П. Казакова.)

Печальное письмо, если не сказать, горькое. Причём горечь не от злости на меня, а от осеннего печалования. Думаю, думаю и не могу отнести это письмо ни к одному году из наших пяти.

Но вернёмся в Марфино.. Вошли в избу, я достала привезённую снедь – хлеб, чай, масло, колбасу, конфеты, коньяк. Из русской печки достали горячий чайник. Юра заварил чай. Мы были так рады друг другу, очутившись в четырёх бревенчатых стенах, отделявших нас от всего света.

Широкие сени, слева – большой крытый двор. Известное словосочетание “удобства во дворе” к этой усадьбе неприменимо. Удобств вообще нет – ни во дворе, ни в сенях. Это ещё усиливало неповторимость марфинской жизни. Справа – вход в избу, состоявшую из одной комнаты. По левую руку – большая русская печь, под печью – неглубокая выемка, где лежат ухваты и кочерга. Справа к ней примыкает широкое ложе с подушками, накрытое одеялом, дальше – пустой промежуток, ограниченный стеной, противоположной входной двери. В ней в середине – окно, перед ним – стол, который стоит не вплотную, между ним и окном – старенькое кресло. За этим столом, спиной к окну, Юра стрекочет на машинке свои сочинения. В правой стене тоже окно, в углу под низким потолком висит на ремнях допотопный радиоприёмник. А шагах в четырёх от стола в сторону двери – лёгкая сквозная перегородка из планок, которая отделяет кухонное пространство от “кабинета”. Тут есть стол, где я готовлю и смотрю сквозь широкие щели, как Юра пишет. Он ещё в Печорах сказал, что никогда не мог работать, когда кто-то есть в комнате, а со мной, оказалось, может.

Так мы и зажили в русской деревне на берегу Оки. Две недели, полные до краёв счастья. Мне даже не верится, что жизнь эта длилась всего две недели, – такие они были насыщенные.

В первые дни мы собирали в лесу грибы, в основном волнушки, я их солила по рецепту Юриной мамы. Юра захватил с собой гвоздику; чеснок и укроп дала добрая марфинская старуха, которую потом, прочитав в Тарусе “Матрёнин двор” Солженицына (рассказ тогда назывался “Не стоит село без праведника”), я отнесла к солженицынским праведницам. Скоро у Юры кончилась бумага. Достать её можно было только в Тарусе. И я решила отправиться туда на попутках. Вышла из деревни по большаку, ведущему на шоссе. Иду, слякоть ужасная, я в резиновых сапогах, чавкаю по лужам, особенно глубокие обхожу. И тут меня нагоняет грузовичок, на нём везут в больших бидонах молоко с фермы. Останавливается рядом со мной, шофёр спрашивает, куда это я иду. Отвечаю, в Тарусу. И они туда же. Втащили меня в кузов. И покатали по выбоинам, под звяканье бидонов. Была уже глубокая осень. Ядрёная, бодрящая свежесть. На фоне тёмно-сизого низкого неба тонкие белые ветви берёзы походят на нервы человека, как их рисуют в анатомических атласах. Мне тогда много приходилось ездить осенью, и это сравнение всегда приходило в голову. Купила в Тарусе бумаги, колбасы, сыру, конфет и тем же днем вернулась, опять

на попутках. Опять шла по слякоти и поняла, почему сапоги – русская национальная обувь: их шить дешевле, чем строить дороги.

Юра каждое утро работал, я читала Томаса Гарди, которого предстояло переводить для Госиздата. Работал он до обеда, после обеда – прогулка в лес, последние дни грибы встречались только замерзшие. Теперь-то я знаю, что и из них можно суп варить, а тогда мы ногами сбивали звонкие ледяные подберёзовики, и одно блюдо из нашего рациона выпало. Юра тут написал “Красную стрелу” и почти закончил “Северный дневник”. Я тоже пыталась что-то писать. Юра это моё стремление не одобрил, сказал, в семье двух писателей быть не может. А когда мне в голову приходил сюжет (один был из жизни советских литературоведов), он говорил: не пиши, испортишь, я это сам напишу. Но не написал. У него было тогда много жизненного материала для своих сюжетов.

Грибы грибами, но без мяса-то скучно. И опять мы отправились в деревню, на этот раз за курицей. Нашлась хозяйка, которая продала нам живую курицу, но наотрез отказалась порезать её. Принесли курицу в избу, она стала летать по дому, потом забилась под печку и не выходит. Юра говорит: рубить ей голову будешь ты. Я категорически сказала: нет. И он понял, что я буду твёрдо на этом стоять. Мне до сих пор больно вспоминать эту историю про курицу. Юра хотел куриного супу, мяса. Для этого надо было убить. Как мы гонялись по избе за этой беднягой, понявшей, что пришёл её смертный час! Юра тоже на всю жизнь запомнил это печальное происшествие. Ощипали мы её, сварили, она оказалась старая, тощая и жёсткая. И суп был почему-то невкусный. Так нам и надо.

Юра был счастлив жизнью в деревне, приливом творческих сил и тем, что рядом любимая женщина. Эту жизнь – наши пять лет – я сравниваю теперь с морем. Она была то тихая, умиротворённая, то бурная, штормит, а потом успокоится и опять ласковая. И мы в ней всегда вместе. Мне было хорошо, радостно. Юре тоже. Дай Бог всем испытать хоть раз в жизни подобную счастливую общность души и тела. Именно Марфино и родило рассказ “Осень в дубовых лесах”.

Этот рассказ начинается так:

“Я взял ведро, чтобы набрать в роднике воды. Я был счастлив в ту ночь, потому что ночным катером приезжала она. Но я знал, что такое счастье, знал его переменчивость и поэтому нарочно взял ведро, будто я вовсе не надеюсь на её приезд, а иду просто за водой. Что-то слишком уж хорошо складывалось у меня в ту осень”. Советую, читая эту часть воспоминаний, взять этот, один из лучших, рассказ и прочитать. В нём поэтически описано всё, что окружало нас в том далёком октябре.

У рассказа есть своя история. Через полгода, в середине мая я получила от Юры письмо из Крыма, из поселка Планерское, написанное от руки:

“Дорогая Маринка! Ты небось сейчас в Звенигороде? <У Ольги Петровны в Звенигороде на той улице, где стояла липа Чехова, было полдома с большим садом. В нём была комнатка для гостей, и я там часто жила. Но в то лето я сняла по соседству две комнаты с верандой, надеясь, что Юра будет туда наезжать>. Завидую, ибо сейчас у вас там (вернее у нас) майские жуки, берёзы, зори, прибывающее тепло и всякая прочая штукovina, и всего этого я лишён поневоле.

Это первое. Второе – ура! – только что разогнул спину, кончил рассказ 22 страниц, называется “Осень в дубовых лесах” – про долгожданную встречу некоего мужика с некоей бабой. Заглянул я на одну, на другую страницу и всё мне показалось омерзительным и фальшивым. Ну да авось это просто авторское... Завтра посылаю всё это в “Знамя” и в Калужский сборник <“Тарусские страницы”>.

У меня вот только что родилась гениальная идея (серьёзно мне надо было быть управдомом). По приезде в Москву <“в Москву” вставлено сверху> и при отъезде в Тарусу я еду не через Серпухов, а через Калугу. Там я иду в Калужское отделение Союза писателей, становлюсь на колени и бью челом насчёт того, чтобы они вошли в Калужское земство чтобы оно мне разрешило построиться в Марфино. Ух! А оттуда я лечу самолётом и сажусь напротив Тарусы на берегу Поленова.

Вот так. А ты будешь жить в своём Звенигороде и чахнуть. За Звенигород меня не агитируй, я его знаю и бывал там в Поречье и в Дунине

у В. Д. Пришвиной. Перед Окой и Марфиным это чепуха (прошу прощения). А смотри, что я написал в своём рассказе — плохо это или хорошо? “Телята с наслаждением паслись на седых озимых и часто мочились, задрав хвосты и расставив курчавые в паху ноги. И там, где они мочились, появлялись изумрудные пятна мокрой молодой ржи”.

Здесь я просижу ещё числа до 22-23, ответить ты не успеешь, а если очень захочешь, то пошли письмо-телеграмму из 60 слов по следующему адресу: Крым, Судакский р-н Планерское Дачная 22 для Юрия Казакова.

В Москве я буду числа 25-26, ты тоже постарайся быть, вернее лучше позвони сперва из Звенигорода спроси меня или маму и если я приеду тогда тоже приезжай.

Привет!

Послала ли ты два №№ “Знамени” Мих. Мих. в Печоры?

Твой Юрий

13 мая 61. вечер”.

(Орфография и пунктуация Ю. Казакова.)

Опубликованный в журнале “Знамя” рассказ “Осень в дубовых лесах” отличается от рассказа, вышедшего в сборнике рассказов 1962 года. У меня сохранилось письмо Георгия Семёнова, посланное в Тарусу 29 мая 1962 года (штемпель на конверте). Вот что он пишет (на машинке):

“Юра!

Никак я, понимаешь, не мог связаться с Бочаровым, а потом, когда попросил Мулю Дмитриева это сделать и когда он поговорил с Бочаровым, с Толей, как он его называл, потому что Бочаров его хороший приятель, так вот, когда я узнал от Мули каковы дела с твоим рассказом, мне стало очень досадно и я никак не мог взяться за перо: всё медлил и медлил. Прости меня, пожалуйста.

ОНИ, т.е. Бочаров и, вероятно, редактор сборника, взяли для издания “Ни стуку, ни гроку”, а потом НЕКТО запротестовал и, как я понял, рассказ не вошёл в сборник. Я тогда сказал Муле, чтобы он передал “Толе” твои слова об “Осени в дубовых лесах”. Он это сделал, и, тот, кажется, должен предложить рассказ редактору.

Вот такие, понимаешь ли, смутные дела на этом фронте. По-моему всё это мерзко. И хочется после всего этого с кем-нибудь поругаться и обозвать кого-нибудь заслуженным словечком.

А я ездил в Новгородскую область охотиться. Приехал домой с тремя кряковыми селезнями и вальдшнепом. Приехал радостный, а тут ещё твоё письмо меня дожидается. Я очень люблю твои письма, Юрка! А сам писать лень. <...>

Вот и всё.

Крепко жму руку.

Г. Семёнов <подпись ручкой и дальше приписка от руки:>

Юра, пришлось распечатывать конверт. Вчера узнал, что твой рассказ “Осень в дубовых лесах” вошёл в сборник. Всё отлично! А мой “Тростниковые заводи” выкинули, черти! Ну да ладно”.

(Орфография и пунктуация Г. Семёнова)

Письмо шло в Тарусу три дня, получено там 31 мая 1962 года.

Рассказ в сборнике отличается вот почему. Лето, 1962-й год. Мы в доме на Арбате, телефонный звонок. Редактор толстого тома “Рассказ 1962 года” говорит Юре, что “Осень в дубовых лесах” — прекрасный рассказ, но короткий, Юра немного за него получит, у него есть ещё возможность дописать несколько страниц. Юра и прибавил тот кусок, где автор и поморка бродят по Москве ночью в поисках пристанища. Помню, как он очень быстро отстучал на машинке вставку, и рассказ удлинился страниц на пять. Этот рассказ — разительный пример того, как писатель сплетает события из жизни с выдумкой. Не зря Юра писал: “Произведения всех авторов автобиографичны — автобиографичны в том смысле, что всё, чем их произведения наполнены, — события, детали, пейзажи, вечера, сумерки, рассветы и т. д., — когда-то происходило в жизни самого автора. Не в той последовательности, в какой описано в рассказе или в романе, но автор это должен пережить сам. Каждый рас-



сказ, который мною написан, имеет свою историю, своё начало и конец и свою судьбу”\*

У меня хранится рисунок художника (не помню его имя) к этому рассказу: Юра стоит на берегу с фонарём в руке. Долго думала, написать ли, что однажды сказал Юра, давая интервью газете. Не помню, какая это газета, не помню, кто лет семь-восемь назад дал мне её. Она где-то затерялась среди бумаг. Корреспондент спросил про “Осень в дубовых лесах”: была ли та женщина у него в жизни. Он коротко ответил: “Да, я её любил всю жизнь”. Понимаю, этому могут не поверить. Но даю слово чести, такое интервью было, и Юра эти слова сказал. Почему эти слова так и канули в небытие? Ведь это ключ к одной из загадок его жизни. Надо было искать эту женщину. Я прочитала эту газетную статью в Зарайске, мне уже было за семьдесят. И я снова жгуче ощутила свою вину, что не смогла, не хватило сил, характера, да и помощников спасти Юрия Павловича от пагубной болезни.

Обратно мы ехали, поймав на шоссе машину. Потом электричка, метро. Таруса, Серпухов и снова Москва.

### МОСКВА. 1960-1961, ОСЕНЬ, ЗИМА, ВЕСНА

Вернувшись домой, я стала искать квартиру, чтобы было где жить, когда Юра в Москве. Мне в жизни встречались поистине замечательные люди. Одна из них – Вера Ивановна Прохорова, из семьи известных русских промышленников Прохоровых и двоюродная сестра Рихтера. Она преподавала английский язык на педагогическом факультете нашего института в тех самых группах, в которых я учила студентов переводить. Мы часто возвращались из института вместе, шли пешком до метро Сокольники через большой лесопарк. Я как-то спросила у неё, не знает ли она кого-нибудь, кто сдаёт квартиру или комнату. Оказалось, что её родственники живут в Норильске, у них есть в Москве две комнаты, и они одну, наверное, могут сдать. Она с ними списалась, и к декабрю у меня была маленькая, метров десять комната в старинном кирпичном доме на Пионерской улице, что у Павелецкого вокзала. В ней был стол у большого окна, выходявшего на крыши соседних домов, высокая старомодная кровать, книжный славянский шкаф, где была пустая полка, ставшая полкой для посуды. На окно я повесила бежевую тюлевую штору с длинной бахромой, стало красиво и загадочно. В доме на первом этаже был продовольственный магазинчик, куда я бегала за хлебом и вареньем, из чего и состоял, главным образом, мой завтрак и ужин. В институте у меня было много часов, я всё ещё переводила Томаса Гарди и давала уроки английского языка в институте судебной медицины имени Сербского, который находился недалеко от Иньяза, так в народе назывался мой институт МГПИИЯ. И готовить мне было некогда.

Время от времени Юра наезжал в Москву, мы гуляли по Садовому кольцу, той его части, которая начинается от Павелецкого вокзала. Это широкая улица, на которой почему-то мало прохожих. Мы гуляли по ней в конце зимы, когда уже веяло весной. Часов около пяти начинало темнеть – сначала будто кто капнул в светлый день лиловую каплю, мало-помалу воздух лиловел, лиловая синь густела, зажигались жёлтые фонари – наступал вечер. Мы шли домой, пили – я чай, Юра – горячительный напиток. Я всё ещё понятия не имела, какая опасность ему грозит. Мне никогда не приходилось сталкиваться с пьянством как с социальным явлением. И потому я не была во все колокола.

В новый, 1961 год Юра прислал мне тёплую новогоднюю открытку – заснеженный домик в лесу, ночь, звёзды, луна, синица на суке, в окне – огонь, и бегут, взявшись за руки, два зайца. Открытка послана из Москвы 30.12.60 года, “Литвиновой Марине” на адрес моих родителей – “2 Щукинский пр., д. 4, кв. 25”. Вот её содержание:

“С Новым Годом!

Да будет он для  
тебя похож на этот  
домик – такой же

\* Казаков Ю. Опыт, наблюдение, тон // Вопросы литературы, 1968. № 9. Цитирую по книге: “Две ночи”. М.: Современник, 1986. С. 302.

симпатичный и милый.

Будь здорова  
и счастлива

Ю. Казаков”

Это – почтовая открытка, поздравление – слева, справа – адрес.

А в феврале получаю длинное письмо, от 18.II.1961. Диаметрально по настроению. Вижу, как настроение меняется у него, пока он пишет. Тогда я поняла это послание, как “сержусь, но не насовсем”. Хотя оно длинное и мелким почерком, переписываю его целиком:

“Здравствуй!

Когда ты будешь миллионершей, тогда купишь яхту из красного дерева с мотором и поедешь на Средиземное море.

Пока же тебе придётся удовольствоваться байдаркой. У меня раньше твоего родилась идея – байдарка, палатка, ружьё, киноаппарат – и два месяца путешествия с озера Лаче до Кеми. До июня я буду жить в Дубултах, а в июне поеду, и если мы дотудова не поругаемся, то м<ожет> б<ыть> поедем вместе.

Здоровье у меня сносное, только вот уже дней десять как онемела рука – мышцы и безымянный пальцы и дальше понизу к локтю. Что это такое никто не знает – м<ожет> б<ыть> нервное, м<ожет> б<ыть> микроинсульт, аллах ведаёт. Надо бросать курить, а я всё не могу и очень злой поэтому. Твоё письмо (особенно последнее) какое-то очень искусственное – какое-то оно сочинённое.

Я был в Голицыне у Коринца. Там славно, очень ко мне все хороши были, и много старых лиц: Гусев с женой <секретарь Льва Николаевича Толстого, у него в Голицыне был свой домик, ему тогда было восемьдесят лет; это красивый бодрый старик, вегетарианец, он как-то сказал: “Я всё ещё помню запах жареного гуся”>, Славин, Лебедев и проч. Назад ехали на машине: Рита Райт, Вероника Тушнова, Коринец и я.

Заходер перевёл сказку А. Милна “Винни-Пух”, купи её своему Димке, сама прочитай, и да будет вам всем стыдно, что вы не удосужились перевести эту книгу. Вышла она в 1925 году и по значению равна таким как “Алиса в стране чудес”. И проч.

У Заходера же есть чудный киноаппарат, дорогой очень, японский, стоит 550 руб<лей> но я наверное куплю.

И ещё есть у меня намерение, которое, слава богу, встретило полное одобрение мамы. Ты не угадаешь, я тут подумал, что стыдно писать о своих мечтах пожить простой жизнью, а жить всё время в Малеевках и в Дубултах, так вот я хочу этим летом завербоваться сезонным рабочим куда-нибудь на лесосплав и месяца два-три поработать, не говоря никому, что я писатель и всё такое прочее. Думаю, что месяца на два меня хватит, да и для здоровья м<ожет> б<ыть> будет полезно пошачить на свежем воздухе. Вот такие планы у меня до осени.

А там Коктебель. В Крыму я не был, беру байдарку, маску и ласты и еду.

Писать в этом году не буду ничего, врачи не велят м<ожет> б<ыть> только в Дубултах кое-что поковыряю.

Ты привыкай жить одна (если способна на это), так как мы будем редко теперь видеться (до лета во всяком случае.) Здоровье у меня не ахти какое, настроение поэтому – тоже, в Москве я почти не буду, только приехав отсюда, тотчас уеду в Румынию, и вернувшись оттуда, – в Дубулты. . .

И вообще как-то после того телефонного звонка что-то у меня по отношению к тебе сломалось. Я не верю, конечно, что это был розыгрыш, как ты говоришь, всё это шито белыми нитками и дурно пахнет.

Да и вообще, если ты заметила, в последние месяцы я очень изменился, я сам в себе это ощущаю, постоянная почти хандра разные мелкие и крупные болезни, неохота писать и пр. и пр.

Я тебе было написал тут, чтоб ты не писала мне больше, но не послал, а вот сейчас сижу и думаю, и вижу, что как ни кинь, всё клин.

Словом, летом определится, поедем ли мы вместе или нет.

Хожу на лыжах, в лесу хорошо, тихо, следы лосей, зайцев и лис. И опять меня привлекает охота, которую я когда-то любил больше всего, хочется снова ружьё, забраться погуще и походить м<ожет> б<ыть> снова потрястись выстрелом, запахом дыма и счастливой усталостью.

Я всё тут думаю, что неправильно живу и что жизнь моя хотя внешне свободна, однако и не свободна внутри почему-то. И наверное, виноват в этом один я. Так вот этот год я хочу заняться своим что ли высвобождением.

Ну пока, будь здорова. Я м<ожет> б<ыть> приеду в Москву вскорости, а приехав, очень просто могу забрести к тебе попозже к вечеру прямо так, без звонка – ты ведь, наверное всё больше на Павелцекой?

Ю. Казаков

18 II 1961”. (Орфография и пунктуация Ю. Казакова).

Юра первые годы никогда в письмах не жаловался на здоровье. Это февральское письмо – исключение. Думаю, он подсознательно хотел возбудить в моём сердце жалость к нему и беспокойство о нём. Теперь я понимаю – повод для ревности имелся. Одно дело – я жила в семье родителей, с сыном, никакой мужчина не мог остаться у меня ночевать. А тут я одна, свободная молодая женщина, довольно привлекательная на вид (это я теперь так вижу себя тогдашнюю), окружена молодыми слушателями, соблазн-то велик. Конечно, здравый смысл мог бы ему подсказать: я люблю его, это ясно, к тому же много работаю, готовлюсь к занятиям, перевожу, езжу к сыну. И вообще не из тех, кто изменяет любимым людям. Трезвый, Юра понимал это. Но выпив, оказывался во власти демонов ревности. Разжалобив меня в письме “разными мелкими и крупными болезнями”, Юра изложил свои будущие планы – путешествия, работа в Дубултах и фантастическое желание поехать на лесосплав под чужим именем. Но мостов сжигать не стал, обещал заглянуть невзначай в комнатку на Пионерской.

Февральское письмо было первым вылившимся на бумагу всплеском беспричинной Юриной ревности. Но он сумел с собой справиться. В марте Юра путешествует в Румынии, Польше и Чехословакии и шлёт мне оттуда добрые письма. Вот открытка из Бухареста (я часто живу у родителей, на 2-м Шукинском проезде):

“Милая Маринка! Я был в Карпатах и этот вид который я тебе посылаю (Дунай) ни в какое сравнение не идёт с Карпатами. У всех головокружение и разбитые от восторга сердца. У меня тоже. Завтра утром едем в Констанцу, потом в Бухарест, а потом и в Москву. В Карпатах сплошные джазы, горные хижины (отели), американцы, немцы и проч<ие> шведы. Там снег, а в Бухаресте весна, как у нас в мае. Всю плёнку я потратил уже. Привет! Ю. Казаков март 1961. Бухарест”. (Орфография и пунктуация Ю. Казакова).

Открытка у меня сохранилась.

Есть ещё одно письмо из Бухареста, без даты:

“Здравствуй, Марина!

Все пошли в театр, а я забастовал, сижу в отеле и пишу письма, а то не очень-то распишешься, день загружен целиком с раннего утра и до 2-3 ночи. Сейчас отсыпался за всё прошлое.

Очень всё занято, многое, как у нас: много наших автомашин (“москвичи”, “победы”, “волги”), – но есть и здешние, которые разделяются как бы на две струи: румынские и вообще западные. Румынское – это некоторые лица, одежда: высокие бараньи шапки, вышитые рубахи, расшитые душегрейки. А запад – это рестораны.

Первый раз запад открылся мне вечером в ресторане нашего отеля, когда вошёл я в дымный зеркальный зал и услышал милые моему сердцу звуки джаза. Я уже ничего не мог видеть, а смотрел только на музыкантов, а они играли всё лучше, входили в экстаз; выскочили две девочки, сёстры Думитриу, с серебряными волосами, и стали петь у микрофона, перебирали ногами, качались и т. д. потом пошли танцы, весь народ почти встал из-за столиков и теснясь, топчась на одном месте, качались и поводили плечами, и сквозь гул и шум ног и одежды всё время с завораживающим однообразием вскрикивал саксофон.

Потом был блистательный ресторан отеля “Лидо” с красивой подсветкой, с постепенно темнеющим залом, потом бар “Melodi” в подвале с низким потолком, современный, с прекрасной программой, с дымом, как на вокзале, с женщинами, и, наконец, вчера – нечто совершенно удивительное и экзотичное: Жан Якубеску, приятель и ученик Лещенко, говорящий по-русски, пел специально для нас русские песни на западный манер, пел “Очи чёрные”, “Прощай, мой табор”, “...умирал ямщик” – и свистел румынскую “Дойну” так, что мурашки по коже шли. И мы, подвыпив, ходили в антракте целоваться

с ним! Господи, мне иногда казалось, что и я эмигрант, так больно и сладко было, и чего-то хотелось — русских изб и грачиного крику.

А днём — поездки на заводы и в музеи и шляние по городу. Много здесь хороших вещей но цены высокие раза в 1,5-2 раза выше, чем у нас, а лей нам дали всего 240. Вот мы и терзаемся. Тут есть изумительные французские кофточки по 450 лей. Ах! Думаю о матери и тебе — что бы вам привезти? — и ничего не придумашь.

Завтра или послезавтра уезжаем в Карпаты, потом в Трансильванию, оттуда в Бухарест, в Констанцу, снова в Бухарест и 21-го домой. Будь здорова! Приеду — всё расскажу. Ю. Казаков”. На левом поле строчка: “Живём мы в хороших номерах, но мука с лифтёрами” (орфография и пунктуация Ю. Казакова).

Затем получаю письмо из Кракова. Я решила, подумав, полностью давать на этих страницах его письма. Перепечатаваю и не только заново переживаю, но и по-новому понимаю их. Да и для исследователей его творчества, его характера, да и вообще той жизни наверняка интересна каждая его строчка. Юра пишет:

“Прошем Пани!

Я в Кракове. Это совсем иной город, нежели Варшава. Варшава была вся разбита и теперь выстраивается снова. Краков уцелел и поэтому кругом сплошное Средневековье.

Очень все устали и вымотались потому гляди сама: надо 1) совершить все предусмотренные программой походы 2) надо походить по городу самому 3) надо пойти вечером в какой-нибудь бар и слушать джаз.

Я тут как-то не очень возбуждён, а так... так себе. И смотрю с умилением на байдарку берегу её пуше глаза.

Впереди у нас Закопане, а там Чехословакия. Завтра поедem в Освенцим. Много, конечно, интересного, но сейчас как-то сумбур в башке, неохота рассказывать, пишу потому только, что накопил конвертов и открыток и надо их расходовать. Всё-таки эти турпоездки, да ещё с такой бешеной программой как у нас очень тяжелы и мало интересны. Буду теперь ездить только со спецгруппой. Или один.

Теперь вот что: вернусь я числа 18-17 в Москву и числа 29-го надо выехать в Тарусу. Я купил себе тут хорошую лыжную куртку, а штанов нету м<ожет> б<ыть> в Закопане попадут<ся>. Или в Чехословакии.

Ну вот и всё, обнимаю! Купи себе за ради бога что-нибудь эlegantное к лыжам. Я хотел да не выходит надо мамаше кофточку.

Целую и обнимаю. Напишу из Чехословакии” (орфография и пунктуация Ю. Казакова).

Мне и маме Юра всё же привёз из-за границы по шерстяной кофте. Устинья Андреевна — бордовую мохеровую, она её потом не снимала. Мне — светло-бежевую, вязанную из тонкой шерсти, я в ней ездила чуть ли не во все наши походы. И ещё — большую круглую коробку со светло-розовой пудрой, одну на двоих. Я отсыпала себе половину. Главное его приобретение — байдарка “саламандра”, серебристая, с двумя небольшими вёслами. А я тем временем купила двухместную брезентовую палатку бутылочного цвета. Она ещё долго жила в моей семье, но потом куда-то сгинула. Сохранилось моё письмо, где я пишу о её покупке.

В апреле Юра поехал в Ялту, в Дом творчества. Был его телефонный звонок, а писем всё не было, и я послала ему 30 апреля такое письмо:

“Здравствуй, Юра! Ну, что же ты ничего не пишешь? Хотя бы написал несколько строк, что здоров и работаешь, и вспоминаешь меня.

Я купила двуспальную палатку. Они бывают редко. Это хорошая палатка. Лёгкая. У неё пол и марлевое окошечко. Очень портативная. Я так давно мечтала о доме, а теперь он лежит свёрнутый в нашей комнате, между дверью и шкафом. Такой славный дом: взвалил его на плечи и ступай, куда глаза глядят.

У нас холодно. Сегодня утром вышла, вижу — пух летает редкий; удивилась: неужели лопнули коробочки у тополя? Вроде рано ещё. А это снег. Послезавтра 1 мая. Буду дома <на Щукинской, у родителей>, как всегда. Будут наши любимые Митюшины <боевой генерал, артиллерист Владимир Георгиевич Митюшин и его жена Ольга Ивановна, друзья нашей семьи>.

Сегодня говорила с твоей мамой по телефону. С лёгкими у неё всё в порядке. Рентгеновский снимок готов и ничего страшного не показал. Слава богу.

Но что-то ещё, что она по телефону не сказала. Завтра вечером буду у неё, расскажет. Тогда напишу.

Тут о тебе по радио говорили. Я не слыхала. Но будто бы очень что-то хорошее, про очерк. Да, очерк, верно, получился.

Работа у меня не иссякает. Но она даёт деньги. А с деньгами веселее. Большие надежды возлагаю я на это лето и в смысле работы, и в другом смысле. Надо будет оформить в систему все мои рассуждения и взгляды, которые определяют мою жизнь и всё моё поведение. Это всё надо будет записать. Потому что я лъщу себя мыслью, что жизнь моя самая правильная и потомуки, ознакомившись с тем, что руководит мною, будут начинать свою жизнь сразу хорошо, без тех поисков, провалов, мучений, которые сопутствовали мне в первом десятилетии моей взрослой жизни. Вот.

Целую. Марина”.

Через неделю получаю от Юры письмо, написанное от руки, которым он отвечает на моё предыдущее, не сохранившееся:

“Здравствуй, милая! Письма твои я получил, очень грустно, что всё так выходит, — видно не каждый год подваливает человеку счастье. Буду перепланировать теперь всё. От поездки я не откажусь, конечно, она мне слишком нужна и слишком долго я о ней думал. А решим, наверное, так: я буду шляться по Северу, сколько смогу, а затем, когда прекращу движение, — отправлю все свои шмотки домой и тогда м<ожет> б<ыть> ты приедешь просто так нюхнуть Севера.

Здесь хорошо, но срок моей путёвки истекает, в продлении мне отказали, а мне надо бы ещё здесь остаться, так что я верно буду перебираться ещё куда-нибудь получше — в Судак или в Коктебель... И проживу здесь до начала июня.

Будь здорова, береги себя. Не забудь послать журналы с очерком в Печоры.

Целую твой Юрий.

Ялта 2 мая 1961” (орфография и пунктуация Ю. Казакова).

## ЛЕТО 1961 ГОДА, СЕВЕР

В конце мая или в начале июня Юра вернулся в Москву и засобирился на Север. У него был намечен план путешествия, начиная от Кеми и кончая Мурманском. Я в это время переводила для Гослитиздата несколько писем Диккенса, и уезжать не было никакой возможности. Но и отказаться от поездки я не могла. Нашла своего бывшего студента Игоря Гаврилова и вместо себя предложила этого способного юношу. Издательство согласилось на замену — он справился с работой прекрасно. Так что душа у меня была спокойна. Юра к этому времени уже уехал в Кемь. Надо было его догонять. Получаю 21 июля такое письмо-телеграмму: “звенигород московской красноармейский тупик 5 литвиновой / выезжай мурманским экспрессом кемь вещей бери минимум я уезжаю ухту жди меня гостинице о невозможности выезда телеграфируй ухту калевала пленки не нужны ухте буду дня два три целую = юрий”. Через два дня, 23 июля, ещё одна телеграмма, сердитая: “сейчас же телеграфируй ухта калевалы приедешь или нет = юрий”. Телеграмму о выезде я отправила, сохранилась её крошечная квитанция “КВИТАНЦИЯ в приёме телеграммы № 634 в Ухту Казакову Колич. сл. 16 Общая плата 58 Принята (разобрать невозможно) Подпись (тоже невозможно)”. Телеграмма из Звенигорода. Пришлось бросить свою дачу, в ней поселились родственники моей подруги. И я отправилась в Кемь. Билет в Кемь через Ленинград сохранился, даже с квитанцией об оплате. На нём число, пробитое компостером, — 27 VIII I.

Из Кеми мы поехали поездом в Кандалакшу. Там в морском вокзале пришлось ждать до утра грузопассажирского парохода. Отплыли мы рано утром 29 июля. Плаванье было спокойное, у нас были билеты третьего класса (мой билет сохранился), но капитан любезно пригласил меня в кают-компанию, чтобы я могла поспать на узком, длинном, но мягком диване. Отдохнув, я вышла на палубу, солнце стояло низко, и его лучи насыщали воду густым оран-

жевым цветом. Вода колыхалась и казалась тяжёлой, непрозрачной, похожей на расплавленный металл в тигле. Сравнение точное, этот образ до сих пор у меня стоит перед глазами.

Мыплыли в Умбу, поселение на Кольском полуострове, где люди занимаются рыбной ловлей, разведением рыбы и обработкой плавника. Приплыли к вечеру, причала для большого судна не было. Спустили для нас трап, мы попрощались с капитаном – всегда грустно прощаться с добрым человеком, которого никогда больше не увидишь, – и осторожно сошли в приставший к борту карбас. Карбас – это обычная вёсельная, довольно большая лодка.

Из Умбы путь лежал дальше, на Терский берег Кольского полуострова, в поморскую деревню Чаваньгу. Летели мы туда на маленьком самолёте. У меня до сих пор сохранился на него билет. Когда поднимались в воздух, и самолёт делал круг, я глянула вниз: на воде, окружавшей Умбу с трёх сторон, как будто рассыпаны спички – так видится сверху сплавленный сюда лес. Большую часть года эти дребезжащие при посадке самолёты – единственное средство сообщения между посёлками.

В Чаваньге на лётном поле нас встречал председатель сельского совета, он получил телеграмму о нашем прилёте. Это был высокий красивый помор с норвежского типа чертами лица, с высокими (не широкими) скулами, твёрдого очертания рта и умеренно длинным, нешироким носом. Улица, по которой мы шли, называлась “Пионерская”, а буква “я” была написана как “А” с перпендикулярной полоской вниз от середины перекладки. Так писалась буква “я” в древнерусском языке, этого написания я не могла найти среди компьютерных символов. Председатель повёл нас к себе домой. Дома в деревне высокие, жилые помещения стоят на подклети. К дому примыкает крытый двор, он ниже жилой части дома, в нём держат скотину. Из сеней сбоку тянется над двором длинная узкая галерея, которая заканчивается уборной: небольшое, чистое помещение, крытый дощатый ящик с овальной дырой посредине. Человеческие испражнения падают вниз, их время от времени засыпают коровьим навозом. По весне чистят эти “авгиевы конюшни” и содержимым, перемешанным с соломой, удобряют малопродуктивные для земледелия земли. Дом и мебель построены без единого гвоздя. Лавки не такие, как в средней полосе России, они шире, с подлокотниками и спинкой.

В доме просторные светлые комнаты с большими окнами, нас накормили отличным рыбным обедом и пирогами с моршшкой и отвели к соседке, которая приютила нас на две-три ночи. Этот дом был иного свойства. Небольшой, тесноватый; нам отвели закуток, что-то вроде спального отсека без окон. В нём широкая постель без простыни, две подушки в ситцевых наволочках в цветочек, одеяло без пододеяльника, засаленное испарениями человеческого тела. Мы проспали там две ночи, и ничего плохого с нами не случилось. На Севере в воздухе совсем нет микробов, им в тех широтах неуютно. И люди не болеют, но в каждой семье есть хотя бы один утопленник: с морем шутки плохи. В августе, когда мы там были, штормов не бывает.

Устроившись с жильём, двинулись к морю. Вышли на песчаный берег, широкий, уставленный шестами, между которыми сушатся растянутые сети, и я тогда поняла, откуда в пушкинских сказках море. Это было точь-в-точь то море, тот берег, где “жили-были старик со старухой”. Деревня стоит на берегу порожистой речки. В домах есть электричество, даёт его местная крошечная электростанция на этой речке. Всё время слышится мерный стук работающего движка. Заметили и одно досадное обстоятельство. В один из дней причалил грузопассажирский пароход. Он привёз, кроме нужных товаров для местного магазина, ящики со спиртом в бутылках без этикеток, с выпуклыми стеклянными буквами, производство Ленинграда. Народ ожидал этого товара с большим энтузиазмом. Нам это показалось неправильно и вредно для местных жителей.

Но в основном впечатление от Чаваньги, да и вообще от Севера огромное, ничего подобного южнее в русских краях я не встречала. Пахотной земли нет, но угодья для выпаса коров есть. Какая там трава, чем эти коровы живы, не помню. Кто-то, может быть, в шутку сказал, что они очень любят грибы. Коровы дают жирное молоко, из которого делают сметану, она продаётся в магазине. Такой густой сметаны в средней полосе я не встречала, её стряхивают с ложки. А грибов там, действительно, много. Растут они в карликовых лесах. Иду я, мне показалось, по лугу, и вдруг вижу среди зелени под

ногами листья на тонких веточках. Как есть берёзовые, но только размером с трёхкопеечную монетку (с теперешнюю двухрублёвую). Такие же зубчики, нагнулась — неужели это карликовые берёзы? Да мы ведь о них в школе учили! Мне было стыдно спросить, но я всё же спросила.

— Да, — говорит наш спутник, — это берёзы и осины, а между ними грибы, выше них ростом.

Грибы там — подберёзовики и подосиновики — растут очень быстро из-за длинного светового дня; крупные шляпки лопаются, на них образуются перемычки, как на панцире у черепахи. Червивых грибов почему-то нет. Мы их собирали, варили суп, жарили на сливочном масле. Попросили у хозяев луковицу. Не допросились. Плодородной земли для огородов нет, её за большие деньги привозят в пакетах с Большой земли. Высыпают в длинные глубокие ящики и выращивают в них лук. Ну, сколько луковиц можно вырастить в таком ящике? Поэтому каждая луковица на счету. Кормятся там люди рыбой, нас потчевали пирогами с сёмгой. Много морошки. Чернику собирают широкими деревянными вилками, прочёсывая черничные кусты, черника там величиной с виноград. Мясные консервы, крупы, мука — это всё привозное.

Нам очень захотелось побывать на тонё. Тоня — это два-три дома в нескольких километрах от деревни, таких тонь по берегу — от деревни налево и направо — несколько. Здесь живут во время лова поморы, иногда вместе с семьями. Привезли нас на ближайшую тоню на карбасе, она километров в десяти от Чаванги. У рыбаков здесь семьи, бегают детишки. Встретили нас весело и гостеприимно. Только что поймали несколько сёмужек, при нас вспороти одну брюхо, достали икру, посолили, и через полчаса икра готова. Ловить сёмгу для себя запрещено. Всю выловленную сёмгу сдают государству. По берегу ходят инспекторы рыбнадзора. И, тем не менее, ловят и едят её все. Нас угостили пирогами с сёмгой и с морошкой. Так есть морошку не очень вкусно, а вот пирог с ней — объединение, как будто с жёлтой малиной. Мы на тонё заночевали, постелили нам на берегу оленьи шкуры, прямо на землю, дали одеяла и подушки. Оленьи шкуры оказались мягкие. Волоски на них полые, наполнены воздухом, и поэтому на шкурах так мягко спать. Это были, наверное, самые удивительные дни в моей жизни. Край земли, белая ночь, на самом-то деле, она прозрачно-серая. Мы в гостях у добрых, бесхитростных людей. И рядом со мной — любимый и очень талантливый человек, отмеченный Богом. Мы не спим, говорим о вечном: о жизни в разных местах земли, о том, какие разные всюду люди. Как занятие, работа, место обитания влияют на характер, привычки, нравы людей. И какое счастье, что мы очутились здесь, в Заполярье, два человека, слившихся в одно духом и телом.

Карбас в Чавангу собирался нескоро. Пришлось думать, как добираться обратно. Кто-то сказал, что на соседнюю тоню завтра зайдёт дора (катер с мотором), которая нас туда и подбросит. До соседней тони было, кажется, километра четыре. И мы решили идти пешком. Заблудиться не заблудишься, держись кромки моря — и пункта назначения не минувешь. Ну, мы и пошли. В тундре, однако, идти не так просто, это не наезженная колея и даже не лесная тропа. Что-то похожее на тропу есть, но она то и дело исчезает, единственный ориентир — море. Земля вся усеяна мелкими и крупными камнями, прямой дороги нет. Чтобы обойти нагромождение камней, приходится делать большой крюк в сторону от воды и возвращаться, продвинувшись всего на несколько метров. (Стараюсь писать как можно точнее, чтобы Юра, будь он жив, похвалил бы меня. Обычно он мои писания критиковал.)

Мы шли и шли, и казалось, конца-края нашему пути нет. Справа — море, слева — плоская, неровная тундра. И вдруг на горизонте замаячила фигура человека. Встретить человека в тундре — большая удача. Людей там мало, злоумышленников нет. Встреча всегда сулит что-то интересное. Человек быстро приближался к нам. Это был высокий, лет сорока пяти мужчина в брезентовом плаще, в высоких сапогах и фуражке. Он тоже спешил на дору. Пошли вместе. И он рассказал нам свою историю. Он специалист-ихтиолог. Много лет назад приехал на Север, чтобы заниматься разведением рыбы. В Москве (точнее, в Подмосковье) у него осталась жена, и он каждый год возвращался в отпуск домой. И каждый год думал, что возвращается насовсем. Но поживёт немного в суете средней полосы, и что-то начинает его тянуть

в низкие широты. И он опять едет на Кольский. Так прошло лет десять. И вот однажды он взял и не поехал в отпуск к себе домой, в Подмоскowie. Да так и остался жить на Севере. Эту тягу он объяснил тем, что на Севере в воздухе нет микробов, и организму здесь любо. Потому так сюда и тянет. Значит, ко всему прочему (мало людей, мало начальства), есть ещё и тяготение тела. За разговорами мы подошли к тонé. Дора должна прийти часа через три. На этой тонé только один дом, и в нём тогда был только один помор. Он нас приветливо принял, предложил нам высокую стопку блинов на большой тарелке, которые сам напёк. Мы сели за стол и рассказали ему, что мы из Москвы, собираем материал для журнала. Он обрадовался, полез в печь, достал большую кастрюлю с супом из лосиногo мяса. Говорит, принял нас за рыбнадзор. Лосей тоже запрещено убивать, он и решил потчевать нас не запрещённой законом пищей. Затем достал странный сосуд – коричневоый эмалированный ночной горшок с ручкой, довольно большой. В нём была брага. Эти посудыны им привозят по разнарядке, а они используют их для своих надобностей.

Скоро подошла дора, приткнулась на мелком месте. Идти к ней надо по колено в воде. Наш спутник подхватил меня на руки – у него были высокие сапоги – и перенёс с берега на дору. Юра разулся, и скоро мы удобно устроились на скамье тархтевей доры. Я обратила внимание, что любезность нашего спутника не вызвала у Юры и тени раздражения. Дора эта не сразу направилась в Чаваньгу, надо было зайти ещё в какую-то деревню – туда как раз плыл наш спутник, – и уж потом она пойдёт обратно в Чаваньгу.

В Чаваньге стали думать, как добираться отсюда до Мурманска. Кто-то посоветовал лететь в Пялицу, последнее поселение на Терском берегу, который оканчивается мысом Святой нос, разделяющим Белое море и Баренцево. Из Пялицы самолётом в Апатиты, где останавливаются московские и ленинградские поезда, идущие в Мурманск. В Чаваньге мы не стали больше задерживаться и полетели в Пялицу. На этих самолётах летаешь, как будто качаешься на огромных качелях. Только успел самолёт достичь высшей точки полёта, как опять снижение, посадка, и опять взлёт.

В Апатитах было уже что-то вроде аэропорта. Большое взлётно-посадочное поле. Лёгкое строение, где продаются билеты, несколько служащих. Нашли попутную машину, которая отвезла нас на станцию. Много железнодорожных путей. Небольшой вокзал с высокой, круглой железной печкой, которая сейчас, разумеется, не топилась. Смеркалось, пассажиры сидят на лавках, сильно пахнет махоркой. Всё у нас складывалось удачно, поезд “Москва–Мурманск” подошёл часа через два, мы купили билеты в мягкий вагон и насладились купейной цивилизацией. В часы ожидания на вокзалах мы обычно играли в слова. Брали какое-нибудь длинное слово и из его букв составляли новые слова. Потом сравнивали, у кого больше. Я всегда выигрывала, потому что у меня была метода. Юра обгонял меня по интересным, редким словам, но по количеству – никогда. Я брала первую букву и начинала методично подставлять к ней гласные, имеющиеся в слове. Например, слово “портал”, беру букву “п”, подставляю к ней первую по порядку гласную из имеющихся в слове букв, к ней подставляю такую же согласную, потом опять гласную, потом опять “п” и следующую гласную. И так с каждой буквой по очереди. Система работала безотказно, Юра в шутку сердился, я ему объяснила систему, но ему искать по системе было неинтересно. В нём сидели вороха удивительных слов, он их быстро извлекал на свет божий, а копаться со всякой мелочью ему было скучно. У меня сохранилось много таких бумажек.

В Мурманске нас поселили в общежитие обкома партии. Юра пошёл в Рыбное управление, узнавать, когда уходит в море ближайший сейнер. Оказалось, что через день. Мы ходили по городу, мужчин на улицах было гораздо больше, чем женщин, особенно моряков. Осмотрели рыбный порт, нам дали туда пропуска.

В порту стоял сильный рыбо-морской, йодистый запах, приятный, не гнилостный. Просторно, деревянный настил. На автотележках возят большие светлые и тёмные ящики. У причала – десятки судов разных калибров. На одном Юре предстояло уйти на днях на рыбный промысел.

Мы сильно поистратились, путешествуя по Кольскому полуострову. Юра послал телеграмму Коринцу, умоляя выслать пятьдесят рублей. Я – маме и Фриде Абрамовне Вигдоровой с просьбой перевести телеграфом немного



денег. Когда Юра отплыл в море, у меня в кармане было ровно семь копеек. Надо было ждать переводов из Москвы. Мама была в это время на даче и получила мой телеграфный вопль дня через три. Телеграмму ей привезла сестра. И она тут же выслала деньги. Фрида Абрамовна тоже перевела деньги не сразу.

Таким образом, я осталась в чужом городе без рубля в кармане, без единого знакомого, но, правда, с крышей над головой. К полудню мне очень захотелось есть. Я купила у частной торговки возле овощного магазина репу, она как раз стоила семь копеек. Я всё это хорошо помню, потому что часто рассказывала родным и знакомым этот замечательный эпизод. Тогда-то я и поняла на собственном опыте, что без денег и пищи человек может запросто умереть с голоду. Если, конечно, не найдёт дороги к спасению. Я зашла в скупочную, предложила свои ручные часы, никакой особой ценности в них не было, и часы у меня не взяли. И тогда я пошла в редакцию местной газеты “Заполярная правда”. Мы с Юрой туда заглядывали, Юра познакомился с главным редактором, обещал ему что-нибудь написать. И я направилась прямо к нему. Это был уже немолодой человек, с простым и добрым русским лицом. Он и на самом деле оказался добрейшим человеком. Я поведала ему о своём бедственном положении. Сказала, что могу делать в редакции всё: редактировать, писать, быть корректором. Мне надо заработать немного денег, пока мы не получим телеграфные переводы. По-моему, его звали Николай Николаевич. Он сочувственно выслушал меня, покачал головой и позвонил своей помощнице. Пришла молодая энергичная женщина, он объяснил ей в двух словах ситуацию и спросил, какие у них есть остро важные на сегодняшний день темы, по которым хорошо бы собрать материал. Помощница говорит, что самая важная сейчас тема – как маленькие мурманчата готовятся к длинной, без солнечного света зиме. Н. Н. говорит мне: “Вот вам и задание. Походите по городу, идите в школы, в детские центры при домоуправлениях, адреса вам дадут. Записывайте всё, даже если покажется неинтересным, не беспокойтесь, какой-то материал всё равно будет. Если что, поможем”.

Дали мне мандат от газеты и займы три рубля. Тогда на эти деньги могла прожить день целая семья.

Я на крыльях вылетела из редакции. И первым делом пошла обедать в ближайшую столовую. Поела ухи с рыбным пирогом, выпила чаю. И тут же отправилась по адресам. В Мурманске это действительно проблема. Где-то в октябре начинается полярная ночь, солнце ни на секунду не появляется над горизонтом. И дети возвращаются из школы домой тёмной ночью, хотя часы показывают два-три часа дня. Задача городских властей, школ, управдомов – организовать интересные занятия для детей, чтобы дневная темень не угнетала их психику. Пошла по первому адресу. Октябрьская улица, ЖКО. Председатель ведёт меня в клуб “Весёлые дворы для детворы”, в комнату отдыха. Телевизор есть, но нет антенны. На стене – четыре граммоты за первенство по бегу. Староста Тоня Похотина читает здесь детям газеты “Пионерскую правду”, “Комсомолец Заполярья”, “Арктическую звезду”. Подготовка к зимней работе с детьми идёт вовсю. Будут работать кружки по вышиванию, фотокружок. Я всё выспрашивала, записывала на четвертушки листа, они до сих пор целы. Будет ещё комната затейников, спортивные секции. Судоремонтный завод пришлёт инструкторов для кружков – столярного и по морскому делу. Я спросила: может, им нужна помощь от редакции? Нужна, в клубе нет футбольных мячей, достать их трудно и дорого. Я обещала в этом помочь. Чувствовала себя заправским корреспондентом, всё было интересно. Клуб организует путешествия. Ходили недавно в сопки за Семёновское озеро, человек двадцать. Собирали камни, цветы. Пели песни “Картошка”, “Бескозырка белая”, “Наш край”, “То берёзка, то рябина”. В другом дворе разговорилась с женщинами. У них в каждом жилом районе – женсовет, который тоже принимает самое активное участие в организации детского зимнего досуга. Они мне рассказали одну интересную вещь. По их инициативе было запрещено нанимать на сейнеры женщин, эти женщины (поварихи, медсёстры) были большим соблазном для мужской команды, которая проводила в море иногда несколько месяцев. Это, конечно, я записывать для газеты не стала. Побывала в детском центре ещё на одной улице. Большая комната отдыха, в ней 265 книг и 192 журнала. Среди книг “Сказки” Пушкина, Маршак, Иосиф Дик,

Вальтер Скотт, “Чингиз-хан” В. Г. Яна. Журналы “Огонёк”, “Вокруг света”, “Пионер”. В углу – телевизор. Есть телеграфный аппарат, уголок здоровья. Висят самодельные гирлянды. Белые занавески, синие шторы, на столе – скатерть. На стене – монтаж о первом космонавте Юрии Гагарине. И тоже грамоты за спортивные успехи от горкома комсомола. Во дворах готовятся к пионерскому слёту, который пройдёт в конце августа. Торжественно пойдут к Дому пионеров в пионерской форме. Будет торжественная линейка. Дворовые команды выступают со своей самодеятельностью.

А на другой день я отправилась в городской Дом пионеров. Там как раз готовился праздник цветов в честь нового учебного года. Шьют костюмы, делают венки из ромашек, колокольчиков, васильков. Репетируют самодеятельность, поют. У каждой дворовой команды будет свой пропуск – живой цветок. Круглый год в Доме пионеров читают лекции для школьников. Недавно была лекция о художниках. Ребят пришло много. И в одном двореком клубе был сделан монтаж из картин Тропинина, Брюллова, Кипренского, Репина. В Доме пионеров проходят встречи с иностранными делегациями. Были уже встречи с норвежцами, французами, поляками. Приезжали моряки с Кубы, обменивались с пионерами значками. Намечен поход к пограничникам, пограничники обещают развести костёр, ребята готовят самодеятельность. Выделены деньги на сухой паёк. В Доме пионеров есть кукольный театр, показывают кинофильмы – бесплатно. Обещают ещё устроить теневой театр.

Всё это я описала на девятнадцати больших страницах. На третий день пришла в редакцию, Н. Н. отправил страницы перепечатать. Прочитал и говорит: “Неужели это всё происходит у нас в Мурманске?”. И весь материал пошёл в следующий номер “Заполярной правды”. Много лет спустя я нашла этот номер газеты в Ленинской библиотеке (“Заполярная правда”, 1961 год, конец августа) и прочитала свою статью с ностальгическим удовольствием. Мне за неё заплатили двадцать рублей. Я отдала свой долг, и мне тут же предложили ещё одно задание. Но Юра уже вернулся, и мы засобирались домой. Получили деньги и от мамы, и от Фриды Абрамовны. Да ещё мой заработок. И я отказалась от дальнейшего сотрудничества. Честно говоря, с большим сожалением. Мне пришлось по душе работа в газете, да и вообще там понравилось. Москва куда хуже с её склоками, сплетнями, завистью, подсиживанием. Ничего подобного в Мурманске я не заметила. Конечно, я была в этом городе всего несколько дней, наверняка, и там имелись свои благоглупости. И всё же у меня сохранилось сильное чувство, что личная и производственная жизнь по-мурмански гораздо честнее и чище, чем жизнь в метрополисе.

Вот какую телеграмму прислал мне Юра с РТ 38: “мурманск комсомольская 3 общежитие обкома партии белосельской <ниже полоска> мурманску мрм 199/2 ке 38 нр 234 23 14 21 45 зам радио <далее текст> всё в порядке завтра будем мурманске 12 часов дня рт 38 уточни диспетчерской встречай у порта = юрий – 0122”.

А спустя два дня мы покидали Мурманск. Тогда в некоторых поездах был вагон с двухместными купе, но билеты в такие вагоны в общих кассах не продавались. И Юра послал меня к начальнику вокзала за разрешением ехать в Москву в двухместное купе. В повседневной жизни Юра не заикался, может быть, чуть-чуть, это ему даже шло. Но когда надо было о чём-то просить, заиканье становилось сильнее, и вместо него просила я. Как смутно в памяти проясняется эта моя прогулка к начальнику вокзала! Я обходила какие-то светлые каменные дома, день был ясный, тёплый, много спешащих пассажиров, как будто все куда-то опаздывали. Начальник дал разрешение. Спросил только, улыбаясь, откуда мы знаем про эти вагоны. “От главного редактора “Заполярной правды”, – ответила я. Купе большое, две полки, обе нижние. Вагон-ресторан. И вот мы в Москве. И опять каждый едет к себе домой. И опять нужно думать, куда отправиться, чтобы снова жить вместе.

*(Продолжение следует)*

ЭЛЬВИРА ТРИКОЗ

*кандидат филологических наук,  
научный сотрудник Музея-квартиры В. И. Белова*

## К ПЕРВОМУ ЮБИЛЕЮ МУЗЕЯ-КВАРТИРЫ В. И. БЕЛОВА

*Музей-квартира Василия Белова — один из тех литературных музеев, открытие которого ознаменовало не только 2015 год, но и начало XXI века, подарившего нашей стране несколько литературных музеев — “Полторы комнаты” Иосифа Бродского в Петербурге, музей В. Г. Распутина в Иркутске, музей-квартиру Александра Солженицына в Москве.*

*До появления музея-квартиры существовало четыре музейные экспозиции, посвящённые писателю. Три — в Вологодской области: комната-музей В. И. Белова на родине писателя в Харовском районе, экспозиция в вологодской общеобразовательной школе № 21 и в Центре писателя В. И. Белова при Центральной библиотечной системе г. Вологды. И ещё одна — в Санкт-Петербурге, её в кинофотолаборатории СПбГУ создал в память о пребывании писателя на берегах Невы известный петербургский фотограф Анатолий Пантелеев, давний знакомый Белова. В этой лаборатории, по словам Анатолия Викторовича, Белов останавливался, работал, здесь “бывали многие известные художники, друзья-писатели Белова”.*

*Рождение мемориального музея-квартиры Василия Белова поставило не только новую точку на музейной литературной карте России, но и открыло возможности для новых исследований, посвящённых изучению творчества писателей из русского простонародья, вошедших в историю нашей литературы.*

### **Музею-квартире В. И. Белова пять лет**

В этом году исполняется 5 лет мемориальной квартире В. И. Белова в Вологде. По мнению многих специалистов в области музейного дела, пять лет — первый сложный этап становления, пройдя который музей утверждает своё место на литературной карте страны, открывает учёным ещё не изученные или малоисследованные документы, создаёт первые исследования на материале архива писателя, становится узнаваемым для посетителя.

Музей был открыт спустя почти три года после смерти Белова, создан благодаря усилиям родственников, друзей, русских писателей: Валентина Распутина, Валентина Курбатова, Владимира Крупина, Станислава Куняева, Валерия Ганичева, Михаила Карачёва, Анатолия Грешневикова, Дмитрия Шеварова, руководителя Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаила Шаромазова.

Не знаем, верил ли Василий Иванович в рождение литературно-мемориального музея в своей вологодской квартире, где он прожил 25 лет, но из рассказов Анатолия Заболоцкого и его дарственной музею подписи от 23 октября 2017 года в богато иллюстрированной фотографом книге “Лад” точно знаем, что близкие друзья пророчили ему такой удел: “Белович”, увидишь, тебе музей спроворят скоро”, – весело пророчил Шукшин в 1970 году... Музей-квартира волею судеб Верховной власти случился... Если удастся музею продержаться хотя бы полвека – угнездятся фонды, появятся исследователи письма и смыслов Белова...

Озвученные несколько десятилетий назад слова, направленные в будущее, верно, были не просто словами: в них много шукшинской веры в талант друга и великая сила намеренья, заключённая в слово. Устаревший глагол “спроворить” точно определил характер созидательного действия в будущем: музей был создан достаточно быстро. Василий Макарович Шукшин не говорил красивых слов и не доверял им: “Слов красивых люди наговорили много, надо дел тоже красивых наделать столько же, и хорошо бы – побольше”. И свершилось дело.

### **Островок достоверности**

Известно, чья ещё воля внесла свой вклад в создание музея. Жена писателя Ольга Сергеевна Белова в беседе с Анатолием Грешневиковым, опубликованной в книге “Василий Белов. Воспоминания современников” (М., 2018), рассказала, что Белов очень любил посещать литературные музеи: “От витрин, где были выставлены рукописи и письма классиков, его невозможно было оторвать. Вот почему мне пришла в голову мысль после его ухода превратить нашу квартиру в литературный музей”.

Сейчас музей является одним из немногих литературных музеев страны, в котором сохранена обстановка жизни писателя и его семьи. Атмосфера питана энергией личных вещей жильцов квартиры, подлинных предметов быта, интерьера... Их в фонде свыше восьми тысяч: рукописи, автографы, фотографии, составляющие архив писателя (более 3 тысяч документов), книги, журналы, газеты (более 4 тысяч), предметы быта и интерьера (более 700 предметов), собранная В. И. Беловым коллекция изобразительного искусства XIX–XXI веков (82 работы). Всё это – тот островок достоверности, который важно сохранить для искусства и науки, для современников и их потомков, которые придут в литературный музей художника, чтобы понять его, оказавшись на родине писателя или внутри его дома.

По мысли журналиста и писателя Дмитрия Шеварова, для Белова заветным местом на земле был отчий дом в Тимонихе, однако “эта квартира в центре Вологды, где он прожил последние четверть века, – его обжитое, родное. Здесь он написал “Год великого перелома”, “Бухтины вологодские”, “Повесть об одной деревне”, пьесы и рассказы, воспоминания о Шукшине.

Понять такого писателя, художника, как автор “Лада”, вне его дома, вне того мира, что он создал вокруг себя, – невозможно. Для вологжан дом Белова – это как гаванский дом Хемингуэя для кубинцев, усадьба Уильяма Фолкнера для жителей штата Миссисипи, дом Маркеса в Аракатаке для колумбийцев...”

### **“Хлевы, подвал и всевозможные закутки”**

Богатая коллекция музея позволяет найти и рассказать гостям те истории из жизни и творчества писателя, которые после посещения музея приведут человека к книге, к внутренней необходимости познать слово Василия Белова, услышать его голос. Образованный человек должен знать о его роли в литературе, понимать, почему без творчества писателей–сыновей деревни нельзя жить, быть добрым, справедливым...

Во многом те истории помогают найти записи воспоминаний современников Василия Ивановича, новые предметы, которые люди из окружения В. И. Белова приносят в музей. Таких даров в эти годы в музей поступило более тысячи. Среди них документы, предметы изобразительного искусства, книги, фотографии, газетные публикации от вдовы писателя О. С. Беловой, оператора А. Д. Заболоцкого, фотографа А. В. Пантелеева, режиссёра

и актёра С. П. Никоненко, скульптора А. М. Шебунина, вдовы композитора В. А. Гаврилина Н. Е. Гаврилиной и др.

Благодаря этим дарам мир пятилетнего музея, говоря словами Василия Ивановича, “расширяется стремительно и ежедневно”. Вроде бы вот музей со своим предметным миром, всё на этом материале может быть изучено и узнано, а оказывается, впереди ещё не исследованные пространства – незнакомые сундуки, шкафы и божницы... “светлица, вышка (чердак), повесть, хлевы, подвал и всевозможные закутки” (“Лад”, часть вторая, “Жизненный круг”).

О новшествах и находках сотрудники ежегодно рассказывают музейному и научному сообществу. География публикаций и публичных выступлений на региональных, всероссийских, международных конференциях достаточно обширна – Вологодская область, Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Петрозаводск, Иркутск, Пермь, Красноярск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Орел, Тульская область, Алтайский край, Смоленская область и др. Лишь с 2018 года музей начал свои издательские проекты: первым изданием была книга “Пословицы и поговорки простонародныя”.

Рукописный словарь петербургского генерала 1824 года с одноимённым названием сохранился в библиотеке писателя. Музейное издание представляет собой копии оригинальных страниц рукописного текста и построчное печатное воспроизведение записанных народных выражений.

Эту рукопись Василий Иванович получил в дар от москвички Зинаиды Ивановны Казаковой, землячки, последней хозяйки сборника, о чём сам писатель рассказал в “Диалогах о культуре”: “Рукопись, оказывается, побывала в руках одного известного московского писателя. Но, видимо, не заинтересовала его”.

Генеральский словарь был создан современником А. С. Пушкина за несколько десятилетий до появления известного словаря В. И. Даля “Пословицы и поговорки русского народа”. Понимая значимость подарка, Василий Белов посвятил ей целую главу “Пословица” в третьей части “Лада”. Автор цитирует пословицы, пытается пробудить в читателе дух истинного языка, напомнить ему о забытых народных образах.

Ценным обретением для музея оказалась и найденная в беловском архиве машинопись первой пьесы “Не спи на закате” (1969). Это первый текстуально представленный опыт Белова на поприще драматурга, который предшествовал пьесе “Над светлой водой” и киносценарию “Целуются зори”. В работе над этим произведением был реализован принцип, неоднократно озвученный впоследствии Беловым: писатель должен попробовать себя в разных художественных формах, в разных жанрах.

По мнению литературоведа С. Ю. Баранова, “Не спи на закате” – опыт, единственный в своём роде у Белова, не удовлетворивший автора, не доведённый до стадии публикации, отрицательно им впоследствии оценённый и сохранившийся в виде единственной машинописной копии. Существование этой копии побуждает к тому, чтобы воплощённый в ней авторский опыт был учтён при реконструкции целостной картины его творчества”. Подробно об этом можно прочитать в статье Э. Л. Трикоз и С. Ю. Баранова “Сюжет “грехопадения” в интерпретации В. И. Белова (Новонайденная пьеса писателя “Не спи на закате”)”, опубликованной в “Вестнике ВоГУ” в 2020 году\*.

До этой находки было известно, что Василием Ивановичем было написано и опубликовано всего пять пьес, однако в ходе исследования обнаружилось, что Белов на протяжении всего творческого пути обращался к драматургии. В интервью, опубликованном в одной горьковской газете в 1983 году, писатель признался: “Помню, как пробовал писать комедию, когда учился в Литературном институте. А потом, после института, мне захотелось написать одну философскую штуку, где бы действовали Адам, Ева и два архангела. Эту пьесу я делал не для тщеславия, не для театра, а просто хотел попробовать свои возможности”. Получается, что В. И. Беловым было написано, как минимум, семь пьес, две из которых не известны современным исследователям и читателям. О чём была студенческая комедия, остаётся только догадываться.

Среди последних находок музея-квартиры – ранние стихотворения В. И. Белова, черновики нескольких неопубликованных рассказов, последние

\* Вестник Вологодского государственного университета (Серия: Исторические и филологические науки). 2020. № 1. С. 54–65.

письма В. Г. Распутина к другу-писателю и др. В 2019 году ценным обретением музея-квартиры была тетрадь композитора Валерия Гаврилина, переданная его вдовой Наталией Евгеньевной. В эту тетрадь семья музыканта переписала весь текст беловской повести “Целуются зори”, которую Валерий Александрович очень любил и не раз перечитывал до знакомства с прозаиком.

### **“Родные русские люди”**

Что впереди у юного музея? А всё впереди, говоря словами Василия Ивановича, потому что...

“Мы живём в такое время и переживаем такую трагедию, что нам нужны родные русские люди во всём – и в искусстве тоже. И вот таким писателем был Василий Иванович Белов с начала и по сей день”, – говорил Виктор Лихонос на юбилейном вечере В. И. Белова в 2007 году.

Потому что современные писатели продолжают беловские традиции, держат за ним ногу, как держал Валентин Распутин, писавший в 2010 году другу: “...ты всю жизнь поперёд нас... и не уступаешь дороги. А нам за тобой и хорошо. И когда книги писали, хорошо было по твоим пятам идти, и сейчас хорошо на тебя оглядываться и не падать духом. Не подводи нас – так впереди и иди, а мы уж как-нибудь будем держать за тобой ногу”.

Потому что есть вера, что “родниковое искусство Василия Ивановича и его единомышленников вернёт Россию на праведный путь”, как написал в книге отзывов музея в 2018 году заслуженный артист РФ Борис Галкин. И едут со всей страны в гости к Белову люди – неизвестные и знаменитые, юные и мудрые – поколения Василия Белова...

Потому что помнят его “глубоко национальные, дышащие любовью к России и болью за неё” (В. Крупин) произведения, его человеческое служение народу и своим землякам, которые до сих пор помнят его вклад в строительство дороги до родины – деревни Тимонихи, восстановление Николаевской Сохотской церкви, сохранение корабельных лесов, по которым Василий Иванович ходил в детстве, молодости, зрелости, отыскивая родники своего счастья, которое, по Белову, сквозит в лесной свежести.

АЛЕКСАНДР ТРАПЕЗНИКОВ

## НА ПУТИ “ЧЕРНОЙ СМЕРТИ”...

Михаил Фёдоров посвятил свою книгу “Герои Сирии. Символы русского мужества” нашим воинам, вставшим на пути “джихадистов”, которым причудилось, что человечество должно жить по их правилам. Она насущно необходима в наше непростое, тревожное время.

М. И. Фёдоров всегда обострённо воспринимает любую беду, падающую на тот или иной народ. Будь это сербы – у него в издательстве “Вече” в книге “Сестра милосердия” опубликована повесть “Пусти ме дро гинем...” о защитниках Крайины, которых “просвещённые страны” бросили на произвол судьбы. И лишь отдельные парни и герой повести Погожев пытались спасти эту маленькую республику. Или гордые и свободолюбивые абхазы. В той же книге напечатана повесть “Сестра милосердия” – о защитниках Абхазии, когда её в 1992–1993 годах утюжили грузинские танки. А ещё у него есть документальный роман “На полях гражданской...” – о трагедии нашего народа, которых история разделила на “белых” и “красных”. Он вышел в свет в прошлом году в том же “Вече”. И вот, наконец, новая книга о, казалось бы, далёкой от России Сирии, этой измученной военным хаосом земле.

Эту книгу нельзя читать со спокойным сердцем... Оно стучит так остро, как будто ты сам побывал на том участке боевых действий, где оказался герой Фёдорова. Его зовут старший лейтенант Александр Прохоренко. А для кого-то он просто Саша. Этого мальчика из оренбургской глубинки с детства не останавливали трудности, потом, повзрослев, он вместе с армией переживал её невзгоды, когда училище, куда поступил, расформировали. Тогда, в 90-е годы, ломали и крушили всё, а уж от армии только щепки летели. Он пережил это, понимал, что служит Отечеству, а не компрадорским либералам. Выдержал и окончил военное заведение уже в Смоленске. Женился. Попал в специальные войска. Кем? Казалось бы, обычная, “негероическая” специальность: передовой авиационный наводчик. И вот он уже продолжает службу в Сирии – наводит наши самолёты на цели врага в многострадальной Пальмире. Несколько дней лётчики долбят ИГИловцев, метя прямо в десяточку. И кто же это обеспечил? Александр Прохоренко. Враги знают об этом, им известно его имя.

Чего только стоят его последние радиопереговоры! Автор приводит стенограмму.

**“Офицер** (Александр Прохоренко): Командир, я в ловушке, я в ловушке снова.

**Командир:** Пожалуйста, повторите и подтвердите.

**Офицер:** Они видели меня. Здесь вокруг перестрелка, я застрял. Я требую немедленной эвакуации.

**Командир:** Запрашиваю эвакуацию.

**Офицер:** Пожалуйста, поторопитесь, у меня осталось мало патронов. Они лезут отовсюду, я не продержусь долго, пожалуйста, поторопитесь.

**Командир:** Подтверждена эвакуация. Удерживайте их. Продолжайте вести ответный огонь. Перейдите в безопасное место, поддержка с воздуха уже в пути. Дайте вашу контактную информацию.

**Офицер:** (даёт координаты).

**Командир:** (повторил координаты). Подтвердить.

**Офицер:** Подтверждена. Пожалуйста, поторопитесь, у меня осталось мало боеприпасов. Они окружают меня, гады.

**Командир:** Двенадцать минут до эвакуации, вернитесь в укрытие. Повторяю, вернуться в укрытие.

**Офицер:** Они близко. Я окружён. Может быть, уже поздно. Передайте моей семье, что я люблю их.

**Командир:** Вернитесь к зелёной линии, держите огонь. Помощь в пути. Ждите поддержки с воздуха.

**Офицер:** Не могу, я окружён, здесь очень много этих ублюдков.

**Командир:** Через десять минут возвращайтесь к зелёной линии.

**Офицер:** Я не могу. Они окружили меня, они уже близко. Пожалуйста, поторопитесь.

**Командир:** Перейти к зелёной линии, снова перейти к зелёной линии.

**Офицер:** Они здесь. Запрашиваю атаку с воздуха. Пожалуйста, спешите, это конец. Передайте моей семье – я люблю их и умираю, сражаясь за свою Родину.

**Командир:** Ответ отрицательный, возвращайтесь к зелёной линии.

**Офицер:** Я не могу. Командир, я окружён. Они здесь. Я не хочу, чтобы они взяли меня и утащили в плен. Запрашиваю атаку с воздуха. Они будут издеваться надо мной и над униформой. Я хочу умереть с достоинством, хочу, чтобы все эти ублюдки погибли вместе со мной. Пожалуйста, исполните мою последнюю волю – запросите атаку с воздуха. В любом случае они убьют меня.

**Командир:** Пожалуйста, подтвердите свой запрос.

**Офицер:** Они здесь. Это конец, товарищ командир, спасибо. Расскажи моей семье и моей стране, которую я люблю. Скажите им, что я был храбр, и я сражался, но я не смогу больше ничего сделать. Пожалуйста, позаботьтесь о моей семье, отомстите за мою смерть. Товарищ командир, прощайте. Скажите моей семье – я очень люблю их.

**Командир:** (нет ответа, следует приказ об авиаударе)”).

Вот так. Добавить нечего. Вызвал огонь на себя. Так ушёл Саша... А для армии – передовой авианаводчик старший лейтенант Александр Прохоренко. Про такое нельзя не написать. И это сделал Михаил Фёдоров, честь ему и хвала за книгу. Что ещё сказать об этом? Нельзя не сохранить в памяти всю цельную натуру Александра Прохоренко – и школьника, и курсанта, и офицера, и сына, и мужа, и отца, и подлинного патриота Родины. А ведь ещё в школе его самым любимым и почитаемым стихотворением было “Сын артиллериста” Константина Симонова. Про Лёньку, которого отец послал в тыл фашистов наводить артиллерийские удары на врага. И это глубоко символично.словно он мистическим образом принял эстафету у героя этих стихов. Нет, у всех русских героев, павших на полях сражений за правду и справедливость. Александр всегда жил мыслью о подвиге. А какой настоящий человек не грезит этим с детства?

Другой герой этой замечательной, нужной книги – Марат Ахметшин. Начальник разведки гаубичного дивизиона. Также выпускник военного училища, попавший служить в посёлок Прохладный на Северном Кавказе. Спасший солдат во время осетино-грузинского конфликта. Переживший развал армии, когда его воинскую часть в Прохладном расформировали. Но он вернулся в строй, лишь только армии стало тяжело, а после уехал продолжать службу в Сирии.

И вот он на батарее в этой измученной и измочаленной непрестанными сражениями стране. Так уж случилось, что сирийцы отступили, и он остался один. А напротив него – оголтелый, вооружённый до зубов враг. Марат отстреливается из пушки. Подбита одна цель, другая... Он ранен... Бой идёт тяжёлый, ночной. Боец понимает, что, пройди они сейчас через его последний рубеж, а за ним воинская часть, и что тогда будет с ней? Но, услышав залпы,



эту часть подняли по тревоге. Солдаты подошли, когда Марат уже лежал на земле, а в руке держал гранату, которая вот-вот должна была взорваться, и пальцы сжимали чеку. А рядом были разбросаны обрывки его паспорта, все в крови. Листки, где значились его любимые жена и дети. Вот о чём думал Марат в последние секунды своей жизни. О родных, ради которых он выполнил свой долг... Как о нём не написать?

И ещё один герой этого мартиролога мужества – полковник Ряфат Хабибуллин. Для сослуживцев просто “Батя”. Когда-то мальчишка из приволжской глубинки, не поступивший сразу в военное училище после школы, но взявший этот барьер после службы в армии. Попавший потом в Польшу, когда СССР уже трещал по швам, когда войска не просто выводили, а беспорядочно срывали с мест. Хабибуллин оказался вместе со своим полком в чистом поле под Кореновском, но не бросил службу. Летал в Абхазию для спасения и эвакуации людей, когда на эту крошечную страну напали отморозенные грузинские уголовники. Он сделал из Кореновского вертолётного полка лучший гарнизон, награждённый орденом Кутузова. Сам лично спасал солдат и офицеров, сажая вертолёт на опасных, практически непригодных для посадки участках. Смелый, отважный “Батя”.

И вот он оказался в Сирии, когда понадобился командир, который смог бы наладить работу вертолётчиков. Однажды, облётывая вертолёт, он ринулся на помощь попавшим в беду сирийским солдатам. Не мог поступить иначе. Ведь это его боевые соратники, как изменить воинскому братству? При первом заходе уничтожил несколько “джихаток” (машин боевиков), при втором ещё добавил. И лишь при третьем заходе получил удар ракетой в бок вертолёта. А когда его боевая машина падала, задирая нос в небо, будто тонущий человек, когда переворачивалась, надеясь вывернуться, когда закружилась и рухнула, о чём он думал в последние мгновения своей жизни? Вот так погиб командир Кореновского вертолётного полка Ряфат Хабибуллин. Вечная ему память!

Михаил Фёдоров не прошёл мимо героической судьбы лётчика Липецкого авиационного центра Олега Пешкова. О нём много писали и прежде, но мы по-новому вновь вспоминаем черты выдающегося воина, который где только ни служил и ни сражался. Он тоже на себе испытал развал армии и авиации, но остался верен им до конца и также попал в Сирию. Его подло сбил турецкий самолёт, помните? Автор выразительно рассказывает и о штурмане Пешкова Константине Мурахтине, который в тот день спасся... Благодаря чему? Не какой-то суперсовременной технике, а обыкновенному сотовому телефону-мышьнице. Прочитайте этот захватывающий рассказ. Ведь из тылов джихадистов выйти было практически невозможно.

В книге есть повествование и о боевом лётчике авиационного центра Дмитрие Линнике, который прошёл две чеченские войны и сейчас защищает Отечество на дальних рубежах в Сирии. Своей профессиональной работой он наводит на ИГИЛовцев буквально панический ужас.

Автор не ограничивается службой своих героев, старается собрать как можно больше фактического материала, чтобы каждого мы увидели с разных сторон, лучше поняли и сильнее полюбили. Здесь и родители, родные, семья, дети... Здесь их мир, оставленный нам этой книгой. Вернее, скажу иначе: подаренный нам. И добавлю только одно. Именно про таких людей, героев-воинов, и надо, в первую очередь, писать и издавать книги.